

ISSN 0130-7673

ЖО В Ы И  
М И Р

ЖО В Ы И  
М И Р

1986

7

---

1986



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1986 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРК СОБОЛЬ — Стихи о ровесниках	3
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Ум лисицы, повесть	6
ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ — В пути, стихи	62
ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ — Витушок, рассказ	65
ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ — Три стихотворения	88
АКСЕЛЕУ СЕЙДИМБЕКОВ — Проводы невесты, рассказ. Перевел с казахского Игорь Захоршко	90
ЛУЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ — Стихи. Авторизованный перевод с болгарского Сергея Бобкова	105
ТИМУР ГАЙДАР — Голиков Аркадий из Арзамаса	109
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
БОРИС СЛУЦКИЙ — Стихи. Публикация Юрия Болдырева	162
ПУБЛИЦИСТИКА	
ПРИКАМЬЕ — ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСТРЕЧ	
Н. И. БЕХ — Обновление	166
—————	
ЮРИЙ РЮРИКОВ — По закону Тезея. Мужчина и женщина в начале биархата	174
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ — На взгляд редактора. Публикация М. Вашкевич и К. Эгон-Бессер (Полонской). Вступительная статья и примечания М. Вашкевич	199
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
БОРИС ЯКОВЛЕВ — Испытание правдой. По поводу одной книги и некоторых других	218
В. БАЛАС — Ассоциативный поиск. Публикация Т. В. Балас	224
С. ТОРОПЦЕВ — Разрушение «великой стены»	240

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Стр.  
246

#### *Литература и искусство*

**А. Коган.** Служба памяти.

**Игорь Золотусский.** Донкихот из Вейска.

**Н. Малиновская.** Сто лет латиноамериканской литературы.

**Ю. Богомолов.** Пограничная ситуация.

#### *Политика и наука*

261

**Ю. Шарапов.** Новый вклад в Лениниану.

**Виктор Цоппи.** Революция, личность, бланкизм.

**В. Хайт.** В битве за культуру.

#### КОРОТКО О КНИГАХ:

**А. Старков.**— Даниил Гранин. Выбор цели Публицистика. Проза. ♦

**Г. Федоров.**— Вадим Ковда. Житель лирика. Вадим Ковда. Стихи ♦

**Андрей Василевский.**— Андрей Белый. Армения. Очерк, письма, воспоминания ♦

**И. Дубашинский.**— Маргарет Форстер. Записки викторианского джентльмена. Уильям Мейкпис Теккерей. ♦

**Игорь Белоус.**— Юрий Жуков. Журналисты

268

#### КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

---

---

МАРК СОБОЛЬ

★

СТИХИ О РОВЕСНИКАХ

\*.\*.\*

Человеческие, не божьи,  
так сказать, из народных масс,  
мы не раньше пришли, не позже,  
мы — как раз.

В потрясенной насквозь державе,  
стиснув зубы,  
врагам на страх  
наши матери нас рожали  
в лазаретах и погребях.

Обрели мы свою закваску,  
горьким вскормленные молоком,  
к нам отцы применяли ласку  
между боем и сypняком.

И крестил нас верстой простертой  
мир, где в пламени даль и высь...  
Не в сорочках, а в гимнастерках  
мы — я думаю — родились.

В них, родимых, — в крови, в заплатах,  
и посмертно, и кто в плену —  
прорубились мы к вам, ребята,  
сквозь Отечественную войну.

Эх тачанка да эх дороги! —  
было «завтра», и вдруг — «вчера»:  
вдруг пора подбивать итоги,  
вдруг отчитываться пора.

Объясняю легко и внятно  
нашей жизни простой секрет.  
Путь — в колдобинах. Солнце — в пятнах.  
А на знамени пятен нет.

Потому-то везде, повсюду,  
от Гренады до Колымы,  
на угрозы и на посулы  
никогда не сдавались мы.

Не в угоду одной минуте,  
не затем, что хитры умы, —  
по своей изначальной сути  
напролет не годились мы

ни в заводчики,  
ни в помещики,



ни в доносчики,  
ни в перебежчики.

Мой сердечный и мой заочный  
друг-потомок поймет в свой час:  
мы во времени жили — точно,  
в нем родившиеся — для вас.

### Булат Окуджава на эстраде

Сквозь венок его лавровый — отзвук смертного «ура»...  
Телекамеры готовы, и горят юпитера.

Он знал, усталый витязь, лобызанья и щелчки;  
мировая знаменитость: безрукавка и очки.

Он заставит потомиться, он помедлит, а потом  
улыбнется вам, как птица перед полным решетом.

Он рентгеном вас проверит, расстреляв из-под ресниц  
тех, которые не верят в улыбающихся птиц.

Но гитара неизбежна, вот настал ее черед,  
и как будто бы небрежно ту гитару он берет.

Никакой не ждет награды, просто песенки поет;  
вам не видно, что эстрада — пьедестал и эшафот.

Ах гитара, струны-строчки! Ты запомнилась впервой  
на затерханном шнурочке, на веревке бельевой.

И в знакомом переборе память сердца дорога:  
сад над Волгой, степь у моря, забайкальская тайга...

Пусть не в голос нынче спета эта нота или та —  
в песне только жизнь поэта, больше нету ни черта.

Он входил с гитарой дружбы в заграничные шатры,  
старый денди и биндюжник от Арбата и Куры.

Сам немножечко держава, хоть и частное лицо,  
шевалье<sup>1</sup> де Окуджава — понимаешь ли, кацо?

Намекнув о том, что слава — это, братцы, ерунда,  
он глядит на вас лукаво, не слукавя никогда.

Он стоит чуть-чуть сутуло, из-под пальцев отпустив  
к людям песенку простую незатейливый мотив.

От ее высоких строчек, от ее житейских фраз  
слезы льются, между прочим, из моих влюбленных глаз.

\* \* \*

Семинарист, приученный к поклонам;  
веселый парень: вдарим по иконам! —  
таков наш век, палач и звездочет.  
Ожгло нам души время, а не пламя,  
стареют не в боях — между боями,  
а гений объясняет: все течет.

<sup>1</sup> Шевалье Морис — знаменитый французский поэт и певец. В буквальном переводе «шевалье» — кавалер.

Он говорит, наверно, справедливо,  
 что время криво и пространство криво,  
 но, как профан, ошибку допустил,  
 сочтя за незначительные факты  
 твои самоубийства и инфаркты  
 в спокойные периоды светил.

В газетах века — вирусы и стронций,  
 дно океана, изверженья солнца..  
 Так что же мир — всевидящ или слеп?!  
 А где-то объегорили Ивана —  
 и кровянеет фронтовая рана,  
 горька вода и несъедобен хлеб.

### Сонет

У ног текла недвижная река,  
 и мгла была холодной и осклизлой.  
 Казалось мне: вели по краю жизни  
 меня в ту ночь тропинка и тоска.

Но кто-то впереди издалека  
 сквозь эту тьму, как будто в укоризну,  
 сверкающею искоркою брызнул...  
 Как хорошо вдвоем у костерка!

И вот мы курим с лодочником старым...  
 — Ты приходи. Я переправлю даром,  
 но только лишь в одну из двух сторон.

А если вдруг костер не вспыхнет жаром  
 в глухую ночь под этим черным яром —  
 покличь меня. Меня зовут Харон.

### Песня о рыжей звезде

#### Шутка

Один волшебник на ходу —  
 наверно, был он пьян —  
 снял с неба рыжую звезду  
 и положил в карман.

А та звезда, хотя мала,  
 зато раскалена...  
 Она халат ему прожгла,  
 и выпала она.

Шагал бродяга через лог,  
 и голоден и бос,  
 он поднял рыжий огонек  
 и ювелиру снес.

А ювелир, а ювелир —  
 звезда ему к чему? —  
 вот так рукой пошевелил:  
 задаром не возьму!

А все же взял. И на обед  
 бродяге дал пятак;

у ювелира жил поэт —  
 отапливал чердак.

Напрасно думал: ерунда! —  
 тот лысый ювелир.  
 Смешная рыжая звезда  
 поэту — целый мир!

Поэт воспел в своих стихах  
 счастливую судьбу,  
 в полночный час  
 воскликнул «ах!»  
 и вылетел в трубу.

Он ликовал, он горевал,  
 летя среди светил,  
 звезду от сердца оторвал  
 и к небу привинтил.

Вот с этих пор, и навсегда,  
 в державной вышине  
 сияет рыжая звезда  
 ему, тебе и мне.

---

---

ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

★

## УМ ЛИСИЦЫ

*Повесть*

**М**естность эта испокон веку называлась Телячьим Бродом. Ни в одном официальном документе такого названия, разумеется, нет: у нас не любят оставлять народные названия, особенно если звучат они с насмешкой, и обязательно переназовут, переименуют как-нибудь так, чтобы они ничего не говорили ни уму ни сердцу. Я, признаться, даже и не знаю, как теперь зовут эту местность, и прозываю ее по старинке.

Но что верно, то верно: телят теперь на речку не гоняют. Приречная пойма распахана под капустное поле. Брод заезжен тракторами и автомобилями. Бережок обезображен, а речка погублена асфальтовым заводиком. День и ночь дымит он, грохочет, скрежещет железом, возвышаясь над речкой безобразным чудовищем, окунувшим в воду черный вонючий свой язык. Что-то не слышать пока про могучего витязя, который отсек бы голову безмозглому губителю: то ли лень обуяла, то ли равнодушие. Живет змей горыныч, дышит мазутной гарью, полыхает во тьме осеннего вечера утробным огнем, нарушая тишину грохотом и визгом. Стонут люди, жалуясь на притеснителя, пишут куда надо бумаги, а витязя все нет и нет.

Когда осенью созревает капуста, возят ее из-за речки с утра до вечера на грузовиках, на тракторных прицепах и на самосвалах. Дорога с пойменного луга до самого брода бывает в эти дни белой от раздавленных кочанов, падающих под колеса на ухабах. Гибнет ее здесь великое множество. А те побитые кочаны, что валят в кучи на плодоовощных базах Москвы, мокнут под дождями, преют под собственной тяжестью. Научные сотрудники московских НИИ, пригнанные на подмогу, трудятся на холоде, очищая их от гниющих листьев, терпят брань обнаглевших работниц баз, взявших на себя роль злобствующих надсмотрщиц. Но первый морозец ударит ночью, скует мокрые сетки и капусту в них. И опять аврал, опять младшие и старшие научные сотрудники обдирают мороженые кочаны, зачем-то выращенные на пойменном лугу возле Телячьего Брода.

На лугу этом когда-то с весны до осени паслись стада, а еще раньше — гурты пригнанной с юга, отощавшей в дороге скотины. Набирала до первой пороши потерянный вес, входила в тело на сочных кормах, прежде чем попасть на московские бойни, до которых отсюда один дневной перегон.

А нынче — капуста до самого горизонта! Хрустят снегом под ногами раздавленные кочаны, вымостив собой обводную дорогу. Холодный воздух остро пахнет свежей капустой...

В ту осень меня донимала хандра, и все, на что бы я ни смотрел, виделось мне в черном цвете. Работа валилась из рук. Жить стало невозможно. Это порой случается даже с самыми крепкими людьми,

осененными вдруг смутной идеей гибели всего сущего на земле, от которой они никак не могут избавиться. Сила их улетучивается, а будущее, только что казавшееся лучезарным, сворачивается, как береста, взявшаяся огнем, и горит, потрескивает, чадит черной копотью. Ничто тогда не радует, ничто не приносит облегчения, а бывшие удачи кажутся обманными. Впереди только смерть, разрушительная ее сила, от которой никому нет спасенья, черви в черепе, черные провалы глазниц...

Все это в полную меру вкусил я в ту осень, пропадая в мрачной тоске, и если бы не случай, не знаю, во что бы вылились тогдашние мои страдания. Смешно вспоминать, но тогда я страдал, как отвергнутый юноша, думающий о самоуничтожении. Не только духовных, но и физических сил не хватало, чтобы просто двигаться. Я считал, что все для меня кончилось и никогда уже ко мне не вернутся былые радости.

Случай же столкнул меня с душой такого же пропадающего в тоске, отчаявшегося существа, и, как ни странно, чужое это отчаяние, в котором я увидел свое собственное, встряхнуло меня. Я понял вдруг, что вовсе не одинок на этом свете. Мои добрые друзья, окружавшие меня заботой и старавшиеся развеселить, не могли сделать и сотой доли того, что сделал для меня этот страждущий, с душой которого как бы переглянулась моя душа и воскресла.

Приятель мой, страстный рыболов и охотник, как-то сказал мне по телефону:

— Купил себе дом. Дорого, но зато близко. Жуткое дело! Прежний хозяин жил, и ничего... Умер... Никто не отобрал. Нужна прописка, понимаешь? А я купил у покойника, который тоже не был прописан, одна лишь страховка на дом. Понял теперь?

Я разолился на него, потому что терпеть не могу этих штучек: «купил у покойника»... Какого черта разыгрывать из себя дурака, если и так не отличаешься умом... Что-то в этом роде я ему и высказал в трубку, но он рассмеялся и стал уговаривать, чтобы я месячишко пожил в этом доме, потому что вместе с домом ему досталась и собака, а времени у него теперь нет, да и собака старая, привыкла к дому, жалко выгонять, а в Москве у него и так лайка, которая, конечно же, из ревности загрызет старушку.

Я знал его собаку, она и в самом деле могла загрызть кого угодно. Но я опять наорал на него, что он-де не обо мне думает, а о собаке, которую надо кормить, что на меня ему наплевать, что ему нужен лишь сторож. Но в конце концов неожиданно для самого себя крикнул в отчаянии, что согласен наняться в сторожа и в собачьи няньки. Когда же узнал, что деревня расположена поблизости от Телячьего Брода, утвердился в своем обещании и через два дня переехал. То есть домовладелец заехал за мной на машине, погрузил мои вещи и выбросил меня с ними рядом с деревянным домом в три окошка, под которыми росли еще не облетевшие кусты сирени.

Дождик моросил в этот день; приятелю хотелось уехать засветло, он торопился. Правда, кое-что он мне объяснил: где магазин, где телефон, где амбулатория...

— Там дрова,— говорил мой приятель,— вот печка, а там, за печкой, бумага на растопку...

— А где же собака?

— В конуре на цепи...

— И тебе не стыдно?! На цепи! Сейчас же, аферист, приведи ее сюда и познакомь со мной!

— Я сам с ней незнаком! — заявил оскорбленный домовладелец, махнул рукой и, не дав мне опомниться, уехал.

— Сукин сын! — крикнул я чуть ли не со слезами — все-таки рассчитывал на прием, на какой-нибудь горячий чай... Как же иначе?! — Хоть бы велел взять горячий термос!



Крик мой утонул в сумерках пустого, промозгло-холодного дома, где все показалось враждебным мне и захватанным чьими-то жирными руками. Все углы словно бы лоснились в голом свете одинокой лампы под потолком.

— Аферист! — опять воскликнул я. — Даже не сказал, как зовут собаку! Живодер!

Я понял, что сглупил, согласившись на эту убогую жизнь. Сердце мое бешено заколотилось, страх перед неизвестностью помутил рассудок, и я решил, пока не поздно, уехать домой. Московская квартира показалась мне отсюда роскошной, каждая вещь в ней драгоценной, и я, привыкший к теплому освещению торшера или настольной лампы, которые высвечивали для меня письменный стол или журнальный, за которыми так приятно было когда-то работать, чуть было не сиганул через окошко из мертвого этого дома. Заперев дом трясущимися руками, сбежал по ступенькам крыльца, помня сквозь дикий испуг, что до станции отсюда километра четыре или пять. На улице было еще светло, хотя и очень пасмурно. Я вполне успевал до темноты и направился было к калитке, но какая-то сила задержала меня и заставила оглянуться.

Из черного проема конуры на меня смотрела собака. Именно ее взгляд я и почувствовал затылком, именно он и остановил меня.

Сощуренные ее глаза в слабой надежде слезились старческой немощью. Большая голова, скуластая, беспородная, с толстыми, на хрящах висящими ушами, приподнялась, звеня цепью, словно собака увидела или учуяла сострадание в моем сердце. Серые брыли ее растянулись в улыбке, и собака выкарабкалась из конуры. Была она статью своей и цветом отдаленно похожа на русскую гончую, с черным чепраком и рыжеватыми подпалинами. Грудастая и прочная, на костистых ногах, она встряхнулась, и, заколотив по гачам жестким хвостом, радостно, звучно зевнула, и, поскуливая, запросилась ко мне, видимо, по-своему, по-собачьи, вычислив меня, уловив во мне жалость.

Пришлось отстегнуть карабин и, когда собака набегалась, позвать ее в дом; она послушалась с превеликим удовольствием.

Конечно, она была голодна, но не настолько, чтобы есть пустой хлеб. От нее сильно запахло псиной, когда она улеглась напротив горячей печки. А печка гудела, трещала сухими дровами, капая, как раскаленным металлом, красными углями сквозь колосники в золу поддувала. Собака давно уже не испытывала такого блаженства, и, когда я отворял топку, она чутко открывала огненно-красные, дрожащие глаза, в которых отражалось бушующее пламя, и сквозь дремоту улыбалась, будто ей снился счастливый сон.

Это ее состояние меня стало беспокоить, и я сердито сказал:

— Не я купил дом, глупая! И ни на что не надейся. Все это миаж! Я не хозяин твой, а обманутый дурак...

Но она застучала хвостом по полу, как палкой, и в зевоте показала мне старые свои зубы и огненно-красное ребристое небо, освещенное пламенем.

Радиоприемник наигрывал музыку, печь гудела, согревая жилище, большая собака лежала, раскинувшись на досках крашеного пола. А за печью свалены были бумаги. Это были старые газеты и журналы. Среди них попалались «Наука и жизнь», «Здоровье», «Огонек», которые я откладывал в сторону, чтобы полистать перед сном. Все они были безнадежно устаревшими, а потому, если я даже читал их, в памяти моей ничего не сохранилось. Иногда смешно и грустно бывает листать старые иллюстрированные журналы, видеть знакомые лица, слава которых казалась немеркнувшей, читать речи и воскрешать в памяти подробности отшумевшей жизни.

«А почему он сказал «старушка»? — подумал я, отвлекаясь и разглядывая собаку. — Он старик! Как-то ведь надо его назвать... Няня?»

— Наян,— тихо сказал я, и собака тут же подняла голову, прислушиваясь.— Ты Наян? Не может быть. Спи давай, балбес. Я завтра все равно смогаюсь отсюда. Ничего не жди.

И собака уронила башку, стукнула сырой костью по полу. Я даже услышал тяжелый, глубокий ее вздох, как если бы она все поняла. Видно, привыкла к человеческому голосу и улавливала интонации. Цепная собака на это не способна.

Широкий диван, обитый грязной, засаленной, почерневшей на сгибах узорчатой тканью, был ужасен. Жесткие бугры пружин упирались в ребра, и от боли избавиться не было никакой возможности. Они не скрипели подо мной, а скрежетали, ухали, стреляли. От дивана пахло плесенью. В доме стало так жарко, что пришлось настезь открыть окно. Во тьме моросил дождь.

Я испробовал все способы, какие только знал, чтобы уснуть, но сон не приходил. Меня пугало одиночество, мне грезились кошмары, я со стоном вздыхал, на что Наян откликался глухим сквозь сон рыком.

— Спи,— говорил я ему, радуясь, что можно кому-то это сказать.— Спи, несчастный. Не знаешь, что надо спать, и спишь, а я знаю, а потому и не сплю. В этом наша с тобой принципиальная разница. Да-а, Наян, да, дорогой...

В темноте сквозь мокрый шепот дождя я слышал, что Наян слушает меня. Это было очень странное, новое для меня состояние: слышать слушающую душу, ее внимательную затаенность во тьме чужого дома.

Это было очень трогательно. Мне даже почудилось вдруг, что какой-то замочек, висевший в моей груди, маслено щелкнул механизмом, дужка откинулась и замочек соскользнул во тьму, отворив во мне дверцу в былой мир радости. Я понял, что уснуть мне в эту ночь не удастся. И готовился встать, зажечь свет и одеться... Увидел опушку елового леса, такого темного, что казался он черным в солнечный день. А перед опушкой расстиался спелый серебристо-желтый овес, как будто высыпаемый с небес в зеленую чашу леса. Над чашей этой голубизна, а в голубом сиянии — стада облаков, гонимые верховым ветром. В небесной бездонности они плыли на небольшой высоте. Светящиеся по краям, они тоже казались голубыми, прозрачными, как перья белых птиц. Маленький соколик — пустельга — трепетал крыльшками, зависнув над овсяным полем. Тени от облаков гасили вдруг яркую желтизну овсов и, скользя, накидывали на поле сеть. И тогда ели на опушке становились зелеными, но ненадолго. Солнце опять уже озаряло поле и во мрак погружало еловый лес, из которого когда-то на это поле выходили тетерева. Теперь тишина. Ни грохота взлета, ни мелькания тяжелых, кургузых птиц...

Я открыл глаза и понял, что это был сон. Так много радости сулили светлые его картины, что я с удивлением ощутил свое дряблое тело, лежащее на бугристом диване, и ужаснулся, ибо время, которое я здесь без смысла тратил, напомнило мне вдруг о других заботах, о других страданиях и муках, как если бы я неожиданно брошен был опять в пучину жизни, исполненную животворящих и гибельных страстей.

Восторженное это и возвышенное состояние, какое испытал я, придало мне сил, я поднялся, зажег свет, оделся и, чувствуя звериный голод, сказал Наяну, чтоб он катился к чертям собачьим со своими ласками, распахнул ему дверь в дождливую ночь, а сам поставил чайник на теплую еще плиту и принялся снова растапливать печь. Я знал в эти странные минуты, что теперь мне все удастся сделать в жизни; я без всякого уже сомнения знал, что брошу курить и опять радостные силы наполнят мои мышцы, отравленные никотином. Мечтательный дух вошел в меня, горло мое перехватило от сознания, что впереди еще много будет счастливых дней, я понимал себя

в эти блаженные минуты так, будто поднялся с постели после тяжелой и опасной болезни, которую победил. Я был победителем!

В общем, чувствовал я себя, если говорить всерьез, довольно скверно, потому что состояние мое было сродни истерике, то есть я легко мог сорваться в слезы, перевозбудив себя бессонницей и затянувшейся хандрой, и то, что казалось мне тогда освобождением, было другой, не менее опасной крайностью, когда жизнь моя стала мне казаться суетным, торопливым и восторженным движением к стремительной победе. Я думал черт знает о чем в эти тревожные минуты!

На ум пришла вдруг сумасбродная идея начать новую жизнь, женившись на красавице литовке; поселиться на берегу какого-нибудь рыбного озера, в обратном доме, ловить рыбу в благословенном краю, вжиться в обычаи и привычки хуторянина, обрубить все концы, связывавшие меня с прежним существованием. И видел я себя человеком как будто бы совсем еще молодым, а потому и в жены себе выбирал молодую... Чудилось мне, что нет на свете женщин милее белокурых литовок. Настороженный и горделивый их взгляд манил мою душу, омолаживал и бередил несбыточной мечтой.

Дрова в печи между тем приняли огонь сгоревшей бумаги, и печь, сначала медленно и туго, но с каждой минутой все сильнее разгораясь, загудела окрепшим огнем. Клочок бумаги, который я держал в руке, не понадобился — пламя уже обнимало все поленья.

В пальцах у меня трепетала пожелтевшая страница какого-то рукописного текста. Почерк был необыкновенно красив: каждая буква, выведенная с любовью и той витиеватой легкостью, которая говорит о привычной руке, была строго наклонена вправо, все заглавные начинались с лихого росчерка, словно человек, писавший их, щеголял своим умением, но в то же время и о читателе думал, берег его глаза и нервы, строго выписывая каждую линию, каждый завиток. Так теперь никто почти и не пишет. Во всяком случае, именно эта каллиграфия и привлекла меня к листу бумаги, который я держал в руке.

Делать было нечего. Наян, вернувшийся с прогулки, опять улегся на теплый пол перед топкой, а я присел к столу и, слыша, как сипит чайник с водой, начал читать.

С первой же строки я понял, что это литературное сочинение или, точнее сказать, продолжение его, потому что наверху страницы стояла цифра три, тоже начертанная с необыкновенным изяществом, напоминающая стремительной своей линией зигзаг крохотной черной молнии. Я с трудом разыскал в бумажном хламе еще несколько десятков подобных страниц, разложил их по порядку, но начала, увы, найти не смог, хотя и перерыл все бумаги. Видимо, я растопил им печь. Зато был конец. На страничке так и было написано: «Конец».

Я заварил в фаянсовой кружке крепкий чай, закурил и, затягиваясь дымом, увлекся чтением. Да так, что и про чай забыл. Передо мной была рукопись искреннего человека, который писал свою повесть, по-видимому, не для печати,— все, о чем он рассказывал в ней, не укладывалось в рамки привычных публикаций.

Впрочем, судите сами.

\* \* \*

...Всякий раз она задумывалась, уходила взглядом в пустоту и курила, курила, ненавидя все вокруг и самую себя в первую очередь. Молоденькая эта развратница несла в себе разрушительное начало и не могла, не имела сил бороться с ним, как больной человек, которому нельзя есть копчености, но он их ест вопреки запрету, а потом страдает, как и пьяница, не умеющий бороться со своей привычкой, мучается, идя в магазин за спиртным. Всякий раз она зарекалась покончить со старой и начать новую жизнь, но голова у нее кружилась **опять от одного поцелуя**, жадность распырала ее, захватчица одер-

живала верх над монашенкой, и рассудок ее мутился. Она как бы жила без прошлого и без будущего, без всякой привязанности к реальному миру, ибо сама становилась этим реальным миром, от начала его и до конца, от дней творенья до вселенской его гибели. Все эпохи, прошлые и будущие, сжимались в напряженную пружину и сообщали ей свою безумную энергию, с которой она и шла на голгофу, помня лишь о воскрешении, которое ждет впереди.

Она делалась очень красивой, глаза ее блстели, и лицо пылало, движения замедлялись, словно она впадала в сомнамбулическое состояние, губы шептали бог знает какие признания, а температура тела, кажется, поднималась до критической отметки. Никто не мог удержаться под напором ее страсти; всякого своего избранника она приводила в состояние полной подчиненности, и каждый из них тоже, как и сама она, забывал все на свете, как если бы тоже терял связи с прошлым и будущим.

Такая уж она была искусница!

Впрочем, это я теперь так-то вот анализирую и пытаюсь все ее поступки объяснить с точки зрения логики или, во всяком случае, здравого смысла. А тогда! Господи, я сам был безумцем. Не понимал и не хотел понимать, что со мной происходит, и даже не задумывался, к чему все это может привести.

Взволнованный ее голосок (а он был всегда очень взволнован) даже на вздохе звучал рвущейся серебряной стрункой, вздох был кратким, и в мгновении его чуть слышался, как от внезапного испуга, айкающий звук, придававший речи ее особенную прелесть.

Волосы рыжие, тусклые, измученные всякой химией. Смотрит на меня бледными ледышками, как будто сейчас расплечется. И вот говорит однажды:

— Слушай, Васенька (она меня прозвала Васенькой, хотя имя мое не Василий), я к тебе с просьбой огромной, и ты мне не имеешь права отказать, иначе я не знаю, что со мной сделается. Я могу даже погибнуть.

— Что такое?

— Мне... Ты только, пожалуйста, не отказывай. Мне очень, мне просто необходимо завтра же уехать в Ленинград. И ты мне должен дать на поездку сто рублей. Эта поездка равносильна, я не знаю... Она для меня все! От этой поездки зависит, буду я счастлива или нет.

— Да что у тебя за необходимость такая? Скажи, если не секрет.

— Секрет, Васенька! Я ж просила тебя... Будь милосердным! И ни о чем не спрашивай, пожалуйста. Ведь, кажется, можно понять!

Я больше не сказал ей ни слова, взял сберегательную книжку, на которой было в то время чуть больше ста рублей, и повел свою истязательницу с собой.

Деньги она у меня из рук взяла так, будто я ее покупал за эти сто рублей: глаза опустила, пальцы холодные. Руки у нее были слишком уж детские: ни плавности линий, ни эластичной кожи. Кисти пятиклассницы, вечно вроде бы озябшие и такие жиденькие, что даже страшно иной раз бывало брать их в свои руки — слишком уж слабенькие.

— Ты хоть не забудешь меня? — спрашиваю у нее. — Надолго ли ты уезжаешь?

— Я сама ничего не знаю, — отвечает. — Я в Ленинграде никогда не бывала. А тебе — спасибо. Ты единственная моя опора в жизни. И уж это такая беда, если я тебя забуду! Мне нельзя. Я без тебя погибну. Зачем только говоришь такое...

Вот за что я обожал ее, так это за выражение крайней искренности, хотя и скрывала она от меня, утаивала многое. Но скрывала ведь тоже искренно! Этим-то она и изумляла меня; я терял всякое представление о том, что хорошо в ней, а что никуда не годится, будто терял рассудок от расправившей меня радости. Кому ж не ра-



достно чувствовать себя опорой для любимого человека, особенно если этот милый человек смотрит тебе в глаза и словами своими, речью своей как бы вливает в твою душу веру, что ты и в самом деле единственный.

Это приятно очень и обязывает ко многому.

Хотя и то истинная правда, что не одному мне дарила она подобные откровения. Я знал это гораздо лучше, чем мне хотелось. Да Мария и не скрывала! Она приходила ко мне, к своему Васеньке, и жаловалась на кого-нибудь, а то подшучивала; другой раз злилась и словно ждала от меня совета, как ей быть в том или ином случае. Чего она только не делала со мной! Уверен, что каждого своего возлюбленного она тоже изумляла своим странным поведением, то есть сводила с ума, лишала здравого рассудка, истязала своей откровенностью, делая, как и меня, своими опорами в жизни, награждая всякого такими высокими качествами, какими ни я, ни мои соперники никогда, увы, не обладали.

Что уж такое она из себя представляла, я даже до сих пор не могу понять. Вполне возможно, что и надо мной она тоже посмеивалась в чих-нибудь объятиях. Хотя злиться или жаловаться на меня у нее, кажется, не было причин. Судить, конечно, не мне, но зла я ей не делал, и это утешает меня теперь, когда Марии нет в живых.

А вот взять, например, ее мужа, Станислава Наварзина. Я хорошо с ним сдружился в ту пору жизни. Что тоже, конечно, очень странно и, разумеется, не делает мне чести, потому что я обманывал его, но при этом вел себя так, как если бы его общество было приятно мне.

Ростом под двухметровую отметку, молодой этот человек по первому впечатлению мог показаться добродушным малым. Но он ко всему на свете относился с некоторой долей недоверия и даже подозрительности, делая вид, что его мало интересуют люди как таковые. Взгляд его цементных глаз блуждал с лица на лицо, и трудно было понять, что он думал обо мне или о других друзьях жены. Иной раз чудилось, что он все о нас знает, играя таинственную роль в этом греховном круговороте: жена ему все рассказывает, и они вместе смеются над нами. Что-то в глазах его, опущенных густыми серыми ресницами, говорило иной раз об этом, и мне становилось страшно, когда он глуховатым баском приветствовал меня и кланялся с подчеркнутой церемонностью, загадочно улыбаясь при этом. «Как будем драться, сударь? Оружие выберем или по физиономии врезать?» — что-то в этом роде я порой читал в его глухом взгляде, которым он обласкивал меня при встрече. И мне стоило больших усилий непринужденное поведение.

Зачем я, спрашивается, ходил в этот дом, зачем ломал комедию перед Наварзиным, которого я, разумеется, считал гораздо лучше самого себя, чище, доверчивее и умнее? Зачем я все это делал, мне и до сих пор непонятно. Вот уж верно так верно — бес попутал!

Я забыл все свои прежние девизы, свое место в жизни среди людей, свои принципы, почувствовал себя свободным от всех негласных, но строгих правил, которые я соблюдал с щепетильностью немца, и лег, что называется, в дрейф. Или, точнее сказать, был втянут в орбиту небесного гела, гравитационное поле которого было сильнее моего, и включился в очень странный, непонятный, но приятный эксперимент, где я исполнял роль счастливого любовника. Мне иногда даже казалось, что Наварзины бросили вызов всему свету и, решив соединиться браком, доказывали вместе, что семья в наш суетный век не несет никакой цементирующей силы, а скорее является ширмой для прикрытия всевозможных, так сказать, шалостей. Мне было и страшно и радостно; я не испытывал никаких обязательств, не чувствовал никакого долга перед этими людьми, лепетал что-то вместе с ними об искусстве, о науке, о мировых и внутренних собы-

тиях, старался не ударить в грязь лицом, напрягая свой интеллект. Все, как правило, соглашались со мной (в этом доме вообще не бывало разногласий), никто не спорил, не возражал, поддерживая во мне уверенность, что я блестяще умен и достоин любви.

А надо сказать вот что! Это была, как я теперь понимаю, оригинальная формула внутренних отношений в доме Наварзиных: коль умен, так будь любим. В доме этом не процлала только глупость. Во всяком случае, шла подспудная, жестокая борьба с дуростью, с невежеством, и пощады ждать не приходилось никому. Добродушный Наварзин скалил зубы в презрительной усмешке и (уж не помню теперь подходящего примера) расправлялся с простофилей, поражая меня всякий раз бесцеремонностью, с какой он набрасывался на человека, оплошавшего, по его мнению, и показавшего недалекий ум. Человек мог быть гостем или гостьей, это могло быть изображение на экране телевизора или голос в радиоприемнике, это могло быть лишь воспоминание о знакомом человеке — все равно рискованно-резкое замечание или усмешка перечеркивали его, как будто это была муха, залетевшая в окно, которую Наварзин прихлопывал мухобойкой и тут же забывал о ней. Брезгливая мина искажала бесстрастный его взгляд, серые ресницы смыкались на какое-то мгновение в едва заметной дрожи, но это мог уловить только наблюдательный человек.

Это я теперь только понимаю, что своей жестокостью с людьми, неугодными ему, он старался как бы нарастить элитарный слой на клубок своей жизни, удобрить эту жизнь, аристократизировать с помощью постороннего интеллекта, считая, видимо, что умному человеку необходимо обособиться и если не возвыситься над массой, то хотя бы позволить интеллектуалам некоторую вольность, недоступную прочим, то есть раздвинуть поведенческие рамки, презреть убогую нравственность и брать нектар с любого цветка, дабы показать, что интеллект завоевал себе право на свободную любовь, ибо не в ней истинное наслаждение, а в творчестве. А если так, то какого же лешего распускать нюни там, где нет ничего, кроме питательной среды для восхождения духа к высотам творчества.

Не знаю, верны ли мои запоздалые размышления, ибо они не что иное, как догадка, но, признаться, меня и раньше беспокоили эти постоянные шпильки, брезгливые замечания, хладнокровное отрицание многого из того, что для меня было если не свято, то уж во всяком случае заповедно. Хотя, впрочем, частенько он бил, конечно, в точку, некоторые, так сказать, вольности с его стороны имели право быть. Как сейчас слышу резкий, глуховатый голос Наварзина: «Не говорите, пожалуйста, плоскости». Но и в самом деле — как не возмутиться, если при тебе какой-нибудь с виду нормальный человек скажет, например, с экрана телевизора: «Пункты массового потребления продуктов питания» вместо того, чтобы сказать «столовые» или, смотря по тому, что он имел там в виду, «магазины».

Приятно ли, когда в твою комнату вламывается экранный красноречивый и говорит, например: «Полны решимости выполнить решения». Ведь тут и думать не приходится! Ну почему бы не сказать: «Постараемся выполнить решения», — скромно, точно да и по-русски к тому же.

Но не только это пустозвонство бесило спокойного с виду Наварзина, который, будучи добродушным человеком, всякое проявление неуверенности или застенчивости, всякий намек на скромность тоже готов был высмеять, фыркнуть с презрением в лицо, вычеркнуть негодного из сознания, из памяти и как бы из жизни вообще.

Я противоречу себе. И делаю это невольно. Я не могу избавиться от естественного чувства неприязни к человеку, который, если хладнокровно рассуждать, родился, наверное, слюняжем и фригидным малым, не наделенным от природы даром любить, ревновать, вообще

увлекаться, то есть забывать о себе во имя другого человека. Ах господи! Что я говорю? Кто во мне говорит это, какой подлец?!

Не он ли, живя со своей Марией, страдал, может быть, как никто другой на свете, вынужденный терпеть увлечения своей возлюбленной, если тем более представить себе, что он догадывался или даже доподлинно знал о неумных, болезненных страстях своей супруги, которую он, вероятно всего, безумно любил! А я вполне допускаю это, потому что не любить Марию, рыжую женщину с ледяными глазами и молочной кожей, было невозможно....

Сам Наварзин отличался поразительной одноцветностью, словно его выкрасил маляр-самоучка, не знающий, как смешивать краски, и привыкший малевать только заборы и цоколи оштукатуренных зданий. Льняная холстина и та по яркости своей превосходила общий бледный колорит Станислава Наварзина. Одними только рубашками, галстуками, костюмами он и скрашивал скупость своей палитры, имея тяготение к цветистым одеждам, особенно к красным рубашкам, которые теперь для меня приобрели почти мистическое значение... Даже ресницы и те у него были, как я уже сказал, серые, как, впрочем, и жесткие волосы цвета соли с молотым перцем.

Наверное, он обладал острым умом, хотя сердцем я и не принимаю такой ум. Однажды в каком-то плавном и, как часто бывает, банальном разговоре о музыке (как можно говорить о музыке не банально?) я задал ему, естественно, банальный вопрос. Мне тут же пришлось пожалеть об этом, и я согласился с Наварзиным, признав свою глупость, но, однако, вопрос был задан.

— Музыка? — переспросил он с брезгливым подергиванием бледных губ. — Какой она имеет для меня смысл? Никакого, конечно. Приятные и неприятные звуки, и все. А зачем мне искать в наслаждении какой-то смысл? Вы что это, всерьез спрашиваете? Что вы, право, задаете такие глупые вопросы? Всюду хотите найти смысл, все хотите принизить объяснениями. Зачем? Что за век такой практичный! Яблоку с ветки упасть нельзя — сразу вспоминаем Ньютона.

И он посмотрел на меня с таким сожалением, будто усомнился, что я был избранником его несравненной Марии, которая была рядом и тоже, кажется, устыдилась за меня.

— Все надоело, как манная каша, — говорила она мне потом, глядя в одну точку, словно в огонь. — Мы теперь с мужем включаем телевизор, смотрим этот... художественный какой-нибудь. Чтоб позиздеваться, язычок поточить. «А вот сейчас начнется любовь, — говорит муж. — А потом она порвет с ним, потому что он консерватор и не пускает новое в жизнь». И вот что удивительно! Не было случая, чтоб не угадал... Так хочется правды! Рассчитывать на терпение народа можно, даже на долготерпение. Но до каких же пор? Мне кажется, наступил момент, когда даже при всем желании народ уже не в силах терпеть ложь. В любом ее проявлении. Понимаешь, Васенька? В любом! Конечно, ярче всего это среди молодежи... Может быть, опять проблема отцов и детей? Но только не та, о которой нам в школе... Нет! А более серьезно! Отцы многое вытерпели, привыкли терпеть, а молодежь уже не может. Даже если бы очень хотела — не может. Как будто предки прививку сделали, вприсынули нам такую дозу терпелина какого-нибудь, что он умертвил всю нашу способность терпеть, у нас пропала иммунная система. Это очень серьезно! Даже страшно делается. Говорим, говорим, а ведь молодежь-то не слушает. Она думает. Задумались так глубоко, что ничего вокруг не видят и не слышат. А что тут сделаешь? Посмеялись над тем, что было свято, а теперь попробуй убеди, верни-ка их... Раз уж посмеялся — все! Нужна правда! Такая, чтоб перья летели, синяки под глазами, кровь из носа, но — чтоб правда. Истосковались! Не хочется ничего смотреть, читать — никто уже не верит в это... в литературу, в кино. Правды нет никакой. А если есть, то она для таких, которые

привыкли: «Ах как смело!» А какая там смелость? Смешно! Что-нибудь про удои молока, про пахоту, про цех какой-нибудь. Это кому же все нужно-то?! Вот уж манная каша! Так все надоело — сил нет.

Это, конечно, влияние Наварзина, думал я, стараясь развеять ее пасмурное настроение.

— Я не понимаю тебя. Может быть, я состарился? Но я не знаю ни одного человека, который заведомо говорил бы ложь. Разве ты знаешь таких?

— Нет, я тоже не знаю,— соглашалась она.— Но ты не хочешь меня понять. Ты хитрый.

Настроение ее так быстро менялось, что без улыбки я об этом и вспомнить не могу. Только что она говорила о задумавшейся молодежи, имея в виду, вероятно, себя в первую очередь и Наварзина, а уже и следа не осталось от искренней тревоги, с которой она думала о судьбе народа.

— Что-то странное происходит с моим слухом! — восклицала она в необыкновенной радости и даже смеялась.— Я иногда вдруг начинаю слышать, что говорят на первом этаже или на втором, а то и вообще под крышей. Страшно интересно! А другой раз с обонянием: чую вдруг, где что готовят, и даже знаю, вкусно или нет. Удивительная какая-то способность! Вот я иногда думаю: в сказках своих люди учитывали, например, ум лисицы... Вообще каждого зверя награждали такими способностями, которые вполне соперничали со способностями человека. Может быть, раньше люди знали язык животных?

Взволнованная ее речь опять словно бы увядала, трепетала на холодном ветру, когда Мария перескакивала на другую тему:

— Я на работе так устаю! Так изматываюсь! Приходится столько нервов тратить, потому что заставить кого-нибудь что-нибудь сделать — это надо совсем потерять все силы. Так наругаешься за день, придешь домой, и даже приятно, что муж командует. Наконец-то, думаешь, опять женщиной стала... Но если б ты знал, как мне скучно жить!

Смотрит на меня тающими глазами и, кажется, испытывает: верю я ей или нет. Я-то хорошо ее знаю, меня ей трудно обмануть, но и то тоже знаю, что ей не важно это. Для нее гораздо важнее придумать что-нибудь такое, во что бы я безусловно поверил или, во всяком случае, сделал вид, что поверил. Иногда мне кажется, она и любит-то меня за то, что я верю во все, о чем она рассказывает мне, играя всякий раз новую роль передо мной.

— Сегодня на заре,— говорит она, например, потупив очи,— я чуть не умерла. У меня остановилось дыхание. Я вдруг забыла, как надо дышать и что для этого нужно делать. Это так страшно! Всегда знала, а вдруг забыла. С тобой бывало такое? — спрашивает она и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Мне приснилось, что ты меня целовал, так впился в мои губы, что я перестала дышать, не могла. Проснулась — все равно не могу. Лежу как мертвая.

— Ну что ты говоришь... Я и целоваться-то так не умею. Ты же знаешь.

— А вот выходит, умеешь,— говорит она, поглядывая на меня исподлобья.— Мне было приятно...

С ума меня сводила своими выдумками.

А то начнет о муже рассказывать, о Станиславе, которого звала Стасом, и всем своим видом, тоном голоса, взглядом велит мне, чтоб я обязательно верил и не спорил с ней.

— Ты его, Васенька, совсем не знаешь. Он талантлив, как бог. Только не любит об этом распространяться. Ты хоть знаешь, что он физик-теоретик? Вот в том-то и дело. А знаешь, какой он удивительный хозяин? Видит, что я ноги еле волочу, и все хозяйство на себя берет. Я в своей жизни не купила даже кастрюльки какой-нибудь. Это его забота. Он в командировку едет и обязательно до-



мой что-нибудь привезет: то сковородку, то кастрюлю, то чайник со свистком. Ножи какие-нибудь купит или вилки. Не может без этого. Если хозяйственный магазин видит, обязательно зайдет, все осмотрит и непременно что-нибудь купит: клей или наждачную бумагу, а то и молоток или отвертку. «Зачем тебе, Стас?» «Нужно»,— говорит. Как-то притащил электрическую дрель со всякими приставками. Сверлил где надо и не надо, точил ножи, полировал что-то. Потом надоело, опять заскучал: мне, говорит, очень хочется маленький токарный станочек купить. «Вот уж будет красота! — говорю.— Заводской цех вместо квартиры». А он без всякой улыбки смотрит на меня, как будто не слышит, а в глазах такая тоска по этому станочку! «Зачем тебе токарный станок?» — «Нужно». Вот и весь ответ. Я тогда еще не догадывалась, какая у него идея в голове. Сам он никогда ничего толком не расскажет; ты, наверное, заметил, он не улыбается, с ним бывает не так-то просто — очень серьезный. Но ведь знаю, что не нужен ему никакой станок! Что на нем точить?! А он все равно купит, притащит и начнет что-нибудь точить. И это не упрямство. У него великая идея в голове. Потому я и мирюсь со всеми его капризами. Женам великих всегда было трудно. А он великий, я знаю. Я готова у него на побегушках служить. И мне, ты знаешь, это бывает очень приятно. Попробуй мне кто-нибудь на работе сказать: «А ну, Мария, слетай-ка за сигаретами!» Да я такому нахалу... А Стас попросит, я и бегу. Дождь не дождь, знаю, что он «Яву» за сорок копеек курит, ищешь, ищешь эту «Яву» по всей Москве. И удовольствие получаешь, потому что он доволен будет; ждет, волнуется — куда пропала! А я целый блок этой «Явы» притащу, он что-нибудь приятное мне: «У-у-у». А мне больше и не надо ничего... Я ж понимаю, я очень виновата перед ним! Какая уж мне благодарность... На душе так приятно, так радостно! Сижу смотрю, как он дымит, и чуть не плачу от удовольствия.

Нижняя челюсть у Марии чуточку выпирает, мелкие зубы крепко сидят на изогнутой, крутой дуге розовой десны. Если долго смотреть на ее веселенький ротик, то невольно начинаешь улыбаться, улавливая сходство с ротиком какой-нибудь красавицы газели. Лицо в эти минуты нежно окрашено, как будто над ним колдовали искусные гримеры. А в глазах черт знает какая радость влюбленной женщины. На нескольких человек хватило бы с избытком, а тут вдруг одной досталось, и она не знает, что с ней делать.

Даже во сне лицо ее выражает удовольствие. Все черты его загадочно сплетены в неоконченную улыбку, которая как бы выражает радостный испуг перед жизненной силой, перед всемогуществом этой силы. Перед ней она крохотная частичка, зеленый листик на ветке, но тоже, как этот листик, имеет право на все те радости, какие дарит солнце или лунный свет, дождь или пушистый снег среди зимы. «Я очень люблю! — как бы говорит она всему окружающему миру, зная, что мир этот хороший, а потому и она в нем тоже хорошая.— Люблю! Мне больше ничего не надо. Я очень счастлива».

В этом смысле она похожа на подрастающего ребенка, который только-только стал сознавать себя жителем земли, приспособлявая мир к себе, маленькому человеку, способному в жестоком и могучем мире выжить, если только все остальные существа будут хорошими, добрыми и любящими его: медведь, волк, баба-яга и кощей бесмертный...

Мария мне рассказывала, что еще девочкой она без тени страха ходила в потёмках по безлюдным переулкам, без боязни шла навстречу мрачной кучке парней, если они попадались на пути, и, зная, что они не только не тронут ее, но и не оскорбят грубым словом, проходила мимо, заставляя умолкнуть даже самых бесцеремонных, как если бы шла перед ними в сияющем ореоле.

— Э-э! — услышала она однажды несмелый оклик.

Мария остановилась, плавно повернулась всем корпусом к четверке больших, как баскетболисты, рукастых и ногастых ребят, которые ошеломлены были и обескуражены своим смятением, и с легким, едва заметным полупоклоном улыбнулась им.

— Кто сказал «э-э»? — спросила она и так весело и так громко рассмеялась, что ребята совсем растерялись.

Тьма казалась коричневой в этот час. Под хлипким асфальтом тротуара дышала мокрая, оттаявшая земля, просачивалась сквозь трещины кремовой жижей. Дворы между старыми домами едва свелись корявыми стволами спящих еще тополей.

Парень, который окликнул ее, был Станиславом Наварзиным.

Я, признаться, не хотел верить, слушая Марию, хотя вполне реально представлял себе апрельский вечер, московский переулок где-нибудь в районе Самотеки и этих парней... Я даже представлял себе Марию в демисезонном пальтишке, которая смеялась, и мне отчего-то распирало грудь от страха за нее, такую доверчивую и такую смелую, что только диву можно даваться, как она не погубила себя в те юные годы. Уж я и не знаю теперь, что о ней думать. Все ли, о чем я слышал от Марии, она выдумывала или кое-что из ее рассказов было правдой? Иногда мне даже кажется, будто вся ее правда в том и состояла, что она такая фантазерка. Что ж тут поделаешь! Иногда обман, проистекающий от обыденной невнимательности, дороже всякой правды. А я был невнимательным, то есть я не хотел вдаваться в размышления о ней: я просто любовался ею, получая наслаждение, и жаждал только видеть ее и слушать, как музыку, ласкающую слух. Тут уж, конечно, прав Наварзин, сказав, что нет никакого смысла в музыке; я с ним сразу же согласился. Да и кто остановит, нацелит наше внимание, которое торопливо скользит в буднях жизни, ни на чем особенно не задерживаясь! Так, наверное, на судьбе у меня написано — скользить по жизни в поисках эфемерного счастья. И я, признаться, совсем не жалею об этом. Может быть, у меня низкое качество жизни? Может быть, я деревянный, как древний город, который много раз сгорал дотла от пожаров, а потом заново отстраивался?.. Но сердце мое и до сих пор не окаменело, хотя города со временем становились каменными. Наверное, я глуп. Но мне и всей жизни не хватит понять, что я глуп. Вот ведь в чем дело, оказывается! Всей жизни не хватит. А зачем же тогда пытаться думать, что ты глуп? В этом моя маленькая хитрость, и я ее унесу с собой в могилу. Пусть меня считают умным: мне так проще. Это обо мне, наверное, мудрый сказал: мы растем, но не зреем.

Я и теперь плачу, как только вспомню о счастье, которое приносила мне эта удивительная женщина!

Впрочем, счастье ли? Оно ведь просто так на голову не падает. Ничем ведь не заслужил я такого положительного внимания. Роюсь теперь в памяти, как погорелец на пожарище, и никак не могу найти малости, которая мне нужна. Так нужна, что тоска гложет душу, будто я в будничной суете забыл имя матери. Не лицо Марии хочу увидеть или слово какое-нибудь вспомнить, не событие восстановить в подробностях — все это пока цепко держит нетерпеливый мозг. Никак не вспомню, не уловлю в памяти благоухание той жизни, таинственный ее аромат, сотканный из множества забытых теперь запахов, которые и составляли мое мимолетное счастье. Словно бы жизнь моя окрашена была пахучими, благовонными веществами, обметана, как крыло бабочки, нежнейшей пылью, которая и позволяла мне летать... Теперь пыльца осыпалась, и без нее я беспомощное насекомое, обреченное на гибель. Жизнь посмеивается надо мной, и одна лишь смерть способна избавить меня от мук.

А дни между тем становятся холоднее, опадают листья. Ближится зима. На карнизы садятся синицы и заглядывают в окна,

постукивают клювами по стеклу, смотрят на меня черными бусинками. Пытаюсь глазами этих пташек сам посмотреть на себя и никак не могу увидеть. Все мне кажется — до старости еще жить да жить; строю планы на будущее, словно живу во сне.

Лес прояснился, запестрел листьями, упавшими на землю, траву, на зеленые замшелые бугры гниющих стволов, проредился, вознес в вечернее небо полуобнаженные свои ветви. Тихий, он прощается с прожитым днем, который и дождем его посыпал и снежной крупкой и согревал солнцем, озарявшим его зеркальными, холодными лучами. Так и в Москве бывает на закате, когда солнечный свет, отражаясь в стеклах противоположного дома, отбрасывает в погасшие уже окна, входя в восточную мою комнату, нежно-зеркальные блики. Зеркальным отражением мерещится теперь и мокрый лес, блестя зеленой еще лиственной лещины, темнея побуревшими листьями черных лип и пронзительно сияя березами в синеве неба. И холодно и тепло.

Из-под ветвей старой ели неслышно выпорхнула нахохлившаяся птичка с пепельно-оранжевой грудкой, посмотрела на меня и так же неслышно спряталась в бурых колючках. «Чего тебе надобно, старче?»

Привиделась мне однажды странная картинка, и я решил предаться фантазии. Сохлый дуб, убитый молнией, стоял на краю деревни, неведомо как и когда выросший тут, а я будто бы взлетел на верхние его сучья, захлопал крыльями и закукарекал на всю деревню. И чувство у меня такое появилось, точно я в ребенка превратился; страх у меня на душе только мистический, а конкретного нет — ни высоты не боюсь, на которую взобрался петухом, ни ножа, которым мне голову отсечь всякий может. Сижу распеваю, как на дождь, а страх исходит лишь от неизвестности... Что уж потом вышло из всей этой чепухи, я не помню, но только и в жизни я порой казался себе этим фантастическим петухом на сохлом дереве — так же возбуждался, пылая сердцем и умом, кукарекал что-то на всю округу, не замечая своего лица и той отвратительной самоуверенности, которая, как известно, проистекает от невежества. Так я теперь думаю о себе, ругаю себя, проклинаю тот час, когда жизнь свела меня с той, которая убила во мне стереоскопическое зрение: все я стал видеть в одной плоскости, и только Мария сделалась для меня живой природой, заменив собой все прежние радости, все увлечения и все чувства. Я катастрофически быстро старел. Всякое явление в жизни заключает в себе множество разных граней. И надо быть слепцом, чтобы не видеть их блеска... Я же перестал видеть эти грани, мне даже стало казаться, что средневековые схоласты были правы, утверждая, что Земля плоская, а на небесном куполе развешены звезды-игрушки.

Кстати, когда Мария говорила о хозяйственных способностях мужа и о своем невмешательстве в эти дела, она, конечно же, выдавала желаемое за действительное. Уж кто-кто, а она была при всей кажущейся своей несобранности и расхристанности очень властной и настойчивой проводницей необыкновенных замыслов. Двухкомнатная кооперативная квартира, которую я ощущал, как частичку самой Марии, была по моим представлениям вершиной художественного и функционального совершенства. По прошествии времени я переменял свое мнение об этом жилье, но в те годы мое восхищение было беспредельно.

Представьте себе комнату привычной кубатуры с невысоким потолком, из которой при всем желании не сделаешь, кажется, ничего из ряда вон выходящего, потому что дверь и окно крадут сразу две стены. Но Мария сумела обмануть пространственное убожество и сделала из одной комнаты две.

Именно в то время я и услышал от нее, что человек всегда учитывал в своей прошлой действительности ум лисицы. Она не раз повторяла это, уходя взглядом в пустоту и как бы обмирая от загадочного значения сказанного, будто раскрывала мне по секрету очень важную тайну, которую берегла в своей душе, и ужасалась содеянному.

Что она имела в виду, говоря про этот ум лисицы, я не знаю, но уж, конечно, не простонародное представление о хитрости, не подвиги в курятнике, а что-то гораздо большее и значительное, как если бы она и в самом деле старалась вспомнить лисий язык, который знала когда-то, уходя теперь всякий раз во тьму времен и пугаясь там, в той пещерной тьме.

Да, так вот представьте себе комнату, одна стена которой оклеена от угла до двери фотообоями и превращена как бы в осенний, золотисто-охристый лес. Обои эти были обрамлены дубовой аркой, создающей перспективу. На передний план вынесены были кашпо с ниспадающими растениями, сиренево-розовые листья которых создавали иллюзию объемности и пространственной глубины сияющего леса. Особенно эффектно смотрелся этот пейзаж вечером, когда из-под потолка направленный луч освещал цветы и осенний лес, журнальный столик и низкие мягкие кресла, подниматься из зеленых объятий которых так не хотелось мне в поздние часы. Эта полуконната отделена была от другой половины тяжелой гардиной шоколадного цвета, косо свисающей с потолка. Гардина напоминала складками огромное знамя, была подобрана в двух местах тесемками, так что при желании можно было чуть ли не полностью перегородить комнату, обособив уютную столовую возле окна, в которой стояли раздвижной стол, стулья с мягкой обивкой и стеклянный буфет, купленный, видимо, в комиссионном магазине, потому что он похож был на терем, возвышающийся почти до потолка. На стене тут висел писанный маслом натюрморт с арбузом, сиреневый абажур над столом и светильники на стенах в виде старинных подсвечников, которые, как мне помнится, зажигались в самых торжественных случаях, в часы званого какого-нибудь ужина.

Словом, комната была обставлена в типично немецком, бюргерском духе, и хоть и малы ее объемы, а все-таки Мария умудрилась раздвинуть стены всевозможными ухищрениями, и надо было, конечно, побывать в этой комнате и провести там вечерок, чтобы до конца оценить удобство и иллюзорную ее многоплановость, которая умиляла меня и расслабляла, ввергая в состояние полного блаженства. Чувствовал я себя в этом жилище так, как если бы приходил к любимой женщине, чтобы остаться у нее навсегда.

Кухня, ванная комната и бело-розовая спальня ничем особенно не отличались, если не считать многочисленных зеркал, в которых многократно отражались белые египетские кровати или кафель.

Кабы не Мария, разве я запомнил бы обстановку этой разукрашенной квартиры, разве мог бы с умилением уходить взором в фотографические дали леса, сидя в глубоком кресле за чашкой чая, который подавала Мария на журнальный стол. Плиточный шоколад, наломанный в вазочку ее пальцами, был необыкновенно вкусным и источал такой аромат, какой исходит, может быть, только от горячего шоколада.

Что говорить, влюблен я был безумно! Музыкальный ее голосок, так сказать, *santabile*... Стоило мне только услышать... Что со мной делалось! Смущался и глупел, становился ослом — ничего не понимал в первые минуты, а только созерцал самого себя, то есть, я хочу сказать, созерцал ее в самом себе. Видел и слышал ее в своем сердце, а потому и чудилось мне, будто я открыт всем взорам и всем ушам. Всяк, кому ни лень, мог заглянуть в глубину моей души и все там прочесть до последней буковки. Вот говорят про влюб-



ленных: он с нее глаз не сводит. Чепуха! Я посмотреть на нее боялся, как все равно в глаза смерти заставлял себя взглянуть — приговора ждал. А она это понимала: ей нравилось, что я боюсь ее. Смотрит на меня и словно бы шалает от нежности. Нос у нее, прямо скажем, немножечко смешной, как приклеенный к лицу, но неправильно, вкривь. Узенький во всей своей продолговатости, он на кончике округлялся картофелинкой, придавая некоторую глуповатость лицу. Но в то же время удивительную приманчивость, какой порой не обладают даже писанные красавицы. Смотрит на меня рыжей дурочкой, глаза нежно-грустные, умные — все понимала.

Вот сидим мы как-то раз... Гостей собралось у Наварзиных человек пять или шесть.

— Я, например,— говорит один,— верю в неизведанные силы человека. Себя, например, считаю приемником. Мне люди почему-то любят исповедоваться, доверяют самые сокровенные тайны, мысли всякие, какие другому, даже близкому человеку, не доверяют никогда. Если я приемник, то другой, например, передатчик. Он передает на расстоянии, может внушить, например...

— Все правильно,— перебивает его невозмутимый Наварзин.— Вы приемник, а перед вами вот — чайник.— И показывает глазами на меня.

Такая уж у него была манера шутить. Сидит, молчит, переводит взгляд с одного говорящего на другого, глаза равнодушные, без единой живой искорки. Был он хорошо натренирован, вся его физиологическая система работала в отлаженном ритме, он мог подолгу сидеть неподвижно, находиться рядом и в то же время как бы отсутствовать, если ему совсем неинтересно слушать наш разговор. И вдруг словно бы выглядывал из своего далека, губы его кривились в усмешке, и он делал шуточные или язвительные замечания, нападая из своей засады на зазевавшегося.

Что тут поделаешь? Смеюсь вместе со всеми над тем, что я чайник, а сам чувствую, что краснею, и не могу справиться с глазами, которые меня выдают с ног до головы. Кажется мне, что неспроста Наварзин назвал меня чайником.

— А что это вы смеетесь? — спрашивает вдруг Наварзин и холодно смотрит на меня.— Почему вам смешно?

— Потому, вероятно, что,— отвечаю ему, а сам не знаю почему,— потому, что я чайник. У чайника крышка есть и ручка, за которую держат его.— Говорю, а у самого взгляд плывет, ничего не могу поделать с собой.— Ведь если я вас как-нибудь назову, вы мне не поверите, конечно, если я вас кофейником, например, назову... Вы ведь не кофейник. Зачем же всерьез принимать это?

— А может быть, я вас оскорбить таким образом хочу? — говорит Наварзин и не сводит с меня испытующего взгляда.

— То есть вы хотите сказать...

— Да, именно... хочу...

Тут уж все за столом примолкли и потупились, не понимая, что все это значит.

— Вы хотите сказать...— говорю, а сам чувствую, как дрожит во мне душа, холодеет от одной мысли, что сейчас придется встать и навсегда покинуть этот дом.— Вы хотите оскорбить? Это очень странный способ: пригласить к себе, чтобы оскорбить... И что значит оскорбить? Повергнуть меня в скорбь... Я действительно буду скорбеть, если вы не шутите. Я привык к вашим шуткам и привык не придавать им значения... Однако!

— О боже мой! — сказал Наварзин.— До чего ж все это плоско. Конечно, я пошутил. Сидите, пожалуйста. У меня сегодня слишком хорошее настроение.

В разговор наш вмешивается Мария и взволнованно говорит, обращаясь ко мне на «вы», как всегда на людях, такая уж у нас игра, я ее тоже на людях величаю на «вы».

— Вы не обижайтесь... У него с утра сегодня хорошее настроение. Он меня, знаете, как сегодня назвал? Сказать? — спрашивает она у мужа.

— Нет, — отвечает он без всякого выражения на лице.

— Вот видите, он не разрешает, а то бы вам всем тоже было смешно. Он сегодня в очень хорошем настроении! Господа, — обращается она к нам с улыбкой, — что же никто не притронулся к этому блюду! Это же тресковая печень с луком! Нет, господа, вам придется ее съесть.

Она, кстати, сделала своей привычкой обращаться к гостям с этим устаревшим «господа!», желая, видимо, подчеркнуть свое особое уважение к ним, и у нее это получалось, надо сказать, очень естественно, как если бы иного обращения она и не знала.

Так же бывает, когда смотришь на человека, как он орудует ножом и вилкой. — видишь сразу, что этот с детства приучен, а другой хоть и справляется, а все равно заметно, что науку эту освоил недавно, что ножом пользуется только в гостях или на официальных каких-нибудь обедах, а дома забывает про нож и одной вилкой, одной правой ест и мясо и картошку какую-нибудь, уткнувшись носом в тарелку; так и хочется сказать: да уж ешь, хватай прямо зубами, зачем вилкой-то, брось и вилку.

А я между тем смотрю на Наварзина и не могу понять, о каком таком хорошем его настроении говорит Мария, в чем оно выражается и как мне его разглядеть. Сидит истуканом, сонливо приспустив веки, сжав бесцветные губы. Но вот что странно! Чувствую, что у него и в самом деле хорошее настроение. Но и сомнение гложет: может быть, они оба смеются надо мной, называя мрак светом, велят мне поверить в это и для чего-то вводят в заблуждение.

Впрочем, вся моя жизнь в те годы была сплошным заблуждением. Это я теперь понимаю, но все равно сердцем тянусь к тем счастливым денечкам и рад бы опять заблуждаться, пусть даже Наварзин опять упражняется в странном своем остроумии. Сидит, например, в мертвенном оцепенении, а потом ни с того ни с сего скажет:

— Когда русский человек роняет честь на моих глазах, я этого человека вычеркиваю из сознания, для меня он с этого мгновения труп.

А я опять мучаюсь, опять думаю: «Это по мою душу», — хотя и стараюсь уверить себя, что у него и в самом деле очень хорошее настроение.

Мария тоже любила ставить меня в тупик. Говорит однажды:

— Надо стать развратной, чтобы почувствовать себя святой. Да, Васенька? Все человечество на этом держится. Сколько уже тысячелетий считает себя святым, потому что не отказывает себе в разврате. Ты, наверно, скажешь, это гибельный путь? Но зато какой прекрасный! Да ведь и другого не дано. Или он есть, другой путь? Может быть, есть, но только я не знаю. По-моему, все так думают, как я, что путь, мол, этот есть, но его за всю жизнь не отыскать. Верно, Васенька?

Что я мог ответить ей? Мне, конечно, надо было бы сказать: «А почему бы не попробовать быть святой, чтобы не быть развратной?» Что-нибудь в этом роде, коль уж она затронула такие категории. Но как ей скажешь? Сидит, упершись подбородком в колени, и смотрит на тебя с надеждой, что ты понимаешь ее лучше, чем все люди на свете. Длинные руки ее обхватили голени, скрестились возле щиколоток, а кисти с набухшими венами заперли в страдальческом бессилии. На плечах рассыпаны веснушки...

Наварзин, кажется, не понимал, каким сокровищем одарила его судьба. Мне же было приятно думать, что он этого не понимал, потому что он как бы развязывал мне руки, то есть я словно бы получал право на Марию, совесть моя оставалась чистой перед ее мужем, с которым, по странной прихоти Марии, приходилось встречаться.

— Ты не представляешь, какой он талантливый физик,— говорила о нем Мария.— Тебе трудно понять, ты гуманитарий и ничего не смыслишь в физике. А я понимаю и говорю тебе— это гений. Я тебе рассказывала? Нет?! Господи! Ну так слушай, Васенька. Он изобрел принципиально новый лазер... Ты хоть знаешь, что такое лазер? Слышал?. Ну и то ладно. Дело не в этом. Меня обидя за него измучила совсем! Он ведь этот лазер собрал из подручного материала, администрация института не пошла навстречу. Просил, умолял: «Дайте мне хоть корпус сделать приличный». А они: «Ничего, и так сойдет!» Лазер решили на выставке экспонировать. А на выставке один американец захотел купить этот лазер. Понимаешь, что получилось? Лазер, конечно, сразу засекретили... Теперь мужу приходится выписывать специальный пропуск, чтоб подойти к своему собственному лазеру. Можешь себе представить, Васенька?! Абсурд! А сколько, ты думаешь, он за свое изобретение получил? Двести рублей! И все... Руки опускаются. Он такой талантливый, а его никто не ценит. Нагрузки такие дают, что работать некогда. Там лекцию прочти, там с людьми поговори, там, глядишь, в обществе «Знание» надо выступить. И все это на него одного нагружают. Это уж у нас такое правило, сам знаешь. Тянет, давай еще один мешок на телегу, еще один, пока не упадет.

Говорит, а у самой чуть ли не слезы на глазах от обиды за мужа: так ей жалко его. Я молчу в полном недоумении, не зная, что и подумать, как себя вести в этой ситуации. Тем более что не верю ни одному ее слову: насколько мне известно, Наварзин никогда не занимался лазерами. Но думаю: раз уж ей так хочется, зачем ругать ее иллюзии. Да и неловко напоминать, что совсем недавно она же говорила мне про Наварзина, будто тот работает с машиной, с ЭВМ... Я-то ведь помню, как она говорила, захлебываясь от восторга:

— Они там заняты своими машинами, ничего не видят и не слышат вокруг, смотрят только на свои машины! Ах-ах! Что-то она молчит?! Почему ничего не выдает? А! Наконец-то! Пошла! Защелкала! Время летит— ужас! Не успевают оглянуться, а уже конец рабочего дня. Кто был рядом, зачем? У них асексуальный институт! Только одни машины. Математическая модель кровеносной системы. И ничего больше. Я у него спрашиваю: а душа есть? Нет, говорит. Во всяком случае, наука об этом ничего не знает. Если завтра душу откроют, тогда я скажу, что душа есть. А пока нет. Пока открыли только гормоны удовольствия в мозге. Ты можешь себе представить, Васенька? Гормоны удовольствия! А зачем их надо было открывать, если каждый и без науки знал, что они есть. Правильно? А души, говорит, нет пока. Есть сердце, кожаный мешок, а души нигде нет. Я говорю: а почему же тогда этот кожаный мешок рвется, зачем бы не рваться, например, желудку или другой какой-нибудь емкости? Рвется-то ведь от горя почему-то сердце! Если это просто кожаный мешок, простой насос, как он говорит, с чего бы ему рваться!

Мария дышит, как после бега,— так она волнуется, рассказывая про мужа, споря с ним, восхищаясь его педантизмом. Неосознанное возмущение рвется из груди, но она словно бы на лету окрашивает его восторженной улыбкой, пытаюсь скрепить узами противоборствующие чувства, распирающие ее.

Она меня совсем запутала, и я даже не пытался уточнять, чем занимается в жизни Наварзин. В конце концов, какое мне до этого

дело? Хотя с каждым ее рассказом о нем он вырастал в моих глазах, образ его укрупнялся, а тот флер таинственности, которым был окутан Наварзин, придавал каждому его слову многозначительную силу.

Однажды погода испортилась, навалилась вдруг такая буря с грозой, что слышно было сквозь грохот, как вскрикивали сломанные елки в лесу на опушке: «Крах! Крах!» А у меня в душе тоже этот крах, как будто тоже что-то ломается, рушится и грозит катастрофой. Твердил, помнится, себе в тот смутный, ветреный день осени, когда о грозе уже забывают люди, что главное в жизни — идти к одной цели, выбранной раз и навсегда, единственной и неизменной. Продолжал спор с Наварзиным, которого я не сумел убедить в открытом диалоге. Я ему, в общем-то, сказал, вызывая посостязаться в софистике:

— Убеждения можно менять, а цель никогда, — зная, что с этим не согласится Наварзин, и не ошибся.

— Вы путаете два несовместимых понятия. Цель в жизни — одно, а убеждения — другое.

— Нет, это вы не хотите понять меня, — возразил я ему. — С помощью убеждений я выбираю себе цель и стремлюсь к ней. Я убеждаю себя, что именно тем или иным путем я всего надежнее дойду до цели, то есть сделаю свою жизнь осмысленной и сумею чего-то достичь. Если же обстоятельства заставляют поменять убеждения, если вдруг оказывается, что путь выбран неверно и ведет в болото, то почему бы не остановиться и не пойти другим путем? Убеждения, что путь и цель выбраны правильно, оказались ложными. Зачем же мне верить слепо и лезть в болото? Я постараюсь переубедить себя и пойти к цели другим путем.

— То есть вы пойдете против своих убеждений. А это последнее дело.

— Почему же против, почему последнее дело? Мне до цели идти надо! А если даже против своих убеждений, так что же? Я ведь не изменяю цели. Я убежден, что цель прекрасна и достигнуть ее надо во что бы то ни стало. Но чтобы дойти до нее, нужно уметь менять убеждения... Что-то я не знаю таких счастливицков, которым сразу бы удалось по ковровой дорожке добраться до цели. Каждый путь надо пройти до предельной возможности, только тогда победишь. Угадать же короткий и единственный — это все из области фантастики.

— Нельзя идти против собственных убеждений, — сказал Наварзин и прищурился.

— А если они ложны? Убеждения всего лишь стимул к поиску кратчайшего пути к цели. Не более того!

— Это называется цель любыми средствами, — говорил Наварзин, не слушая меня. — В понятие «любые средства» входят и недозволенные, а значит, ваша цель, как бы прекрасна она ни была, не стоит того, чтобы к ней идти.

Мы с ним зашли так далеко в этом беспредметном споре, что у нас и дети уже появились окровавленные, через которых якобы шагал я, поменяв убеждения. И даже янтари!

— Янтари, — говорил я горячась, — в грязи попадают! Волны поднимают грязь, гниль всякую, а в ней янтари... Другие волны прозрачны — несут только песочек и камушки, а янтарей нет. В таком море хорошо купаться, но янтарей чайти невозможно.

— Я на море езжу не за янтарями, — отвечал мне Наварзин. — Купаться.

— У каждого своя цель.

— Вот именно. У нас с вами сейчас никакой, — сказал он и безобразно зевнул, разинув розовую пасть с белыми мощными зубами.

Я его ненавидел в эти минуты, и мне с трудом удалось прекратить спор. Я собрался уходить и очень удивился, когда он, пожимая мне руку, сказал:

— Мы хорошо поговорили. Мне было приятно. Спасибо. Но люди несовершенны, каждый в одиночку не может ставить перед собой какой-либо цели. Да и что такое цель? Не могу ж я поставить перед собой цель стать Рафаэлем. А вы имеете в виду нечто в этом роде. Какие ошибочные пути могут быть у человека, если он поставил перед собой цель стать токарем или инженером? А вот убеждения менять, увы, нельзя. Иначе это уже не убеждения.

Мария вторила, успокаивая меня как маленького:

— Сейчас все проще. Сейчас все не так,— ласково напевала она.— Все проще стало.

Я уходил от них в тот вечер совершенно разбитым и одураченным. Так, наверное, бывает с человеком, который несказанно поражен поэтическим видением, какое нахлынет вдруг на него на вечерней заре над текущей среди ивняка золотой рекой, и покажется ему, будто он никем не признанный поэт, какого еще не знало человечество. Вся поэзия мира покажется ему в эти минуты детским лепетом. Так высоко верит, так пронзительно ощущает он небывалое величие зрелища, которое потрясло его душу, что всякое напоминание о том, кто он есть на самом деле, звучит для него в эти мгновения страшнейшим оскорблением. И он взрывается. И ничего нет на свете — ни заката, ни реки, ни поэзии. «Пойдите вы все от меня! — кричит он в пустоту вокруг.— Уйдите, я ненавижу вас всех!» Кого и за что он ненавидит, он и сам не знает, но смотрит зверем, потому что понял, что никогда не быть ему поэтом.

Что-то в этом роде испытывал и я, чувствуя спазмы в горле. А тут еще буря с грозой в неурочный час, треск деревьев, трагические их вскрики, бьющие по нервам.

Я только теперь понимаю абсурдность своего положения и горько смеюсь над собой, лишь вспомню, как ненавидел я человека, перед которым был виноват. Вина моя была непростительная, мне бы на глаза ему не попадаться, бога молить о прощении, а я, поди ж ты, ненавидел Наварзина за его же доброту ко мне.

Впрочем, и то надо сказать, что не все было так просто, как я теперь рассуждаю. И не оправдания ищу я теперь, а лишь причину моей лютой ненависти к этому холодному человеку. Передо мной была думающая система, лишенная всяких эмоций и нравственных принципов.

В числе других я был приглашен однажды весной, в мае, кажется, месяце, на празднование пятилетия со дня наварзинской свадьбы. Мария лично вручила мне праздничную открытку, на обложке которой была изображена тисненная гроздь цветущей сирени. «Мы имеем честь пригласить Вас...» — и так далее и тому подобное, что обычно пишут в таких случаях.

— Мне-то прилично ли появляться в этот день? — спросил я у Марии.— Не будет ли это слишком? Вряд ли я сумею...

— А в чем дело, Васенька? — удивленно откликнулась она.

И я увидел, что она не понимает и не разделяет моих сомнений.

— Мы тебя любим, и ты будешь желанным гостем.

— Да, но ведь... я должен буду вас поздравить... И его тоже... А с чем?

— Только ради бога никаких подарков! — воскликнула Мария, совершенно не понимая меня.— Все эти подарки — предрассудки. Купи цветов! Сейчас время цветов, это тебе не будет дорого стоить.

— Я не о подарке. Прости, но... При чем тут цветы?

— Ах, ты имеешь в виду... Да? — наконец-то догадалась Мария.— Жизнь, Васенька! Не делай себя лучше, чем ты есть... Не делай этого, пожалуйста...

Она посмотрела на меня глазами, полными слез, которыми мгновенно посеребрились серые радужки, и страдальческим шепотом спросила, едва владея дрожащей губой:

— А ты обо мне подумал?

Я долго вымаливал у нее прощения, она плакала, обвиняла меня в эгоизме, а я ей клялся, что никогда она больше не услышит от меня ничего подобного, говорил ей, что я негодяй, и в конце концов сам убедил себя в этом. Но вот что странно! Я негодяем себя чувствовал лишь потому, что усомнился — нужно ли мне идти к ним на годовщину, а вовсе не потому, что согласился пойти и обещал купить огромный букет цветов.

Да, конечно, это была середина мая, и я невольно подумал тогда, что раньше в мае свадьбы не игрались: маяться всю жизнь. А цветов на рынке было очень много: продавцы протягивали их мне, когда я шел между цветочными рядами. Я готов был купить все цветы, какие тут были, и все их бросить к ногам Марии. Истратил почти все деньги, букет у меня получился огромный, он шуршал прозрачной пленкой, разваливался в руках на букетики, пока я не освободил цветы от синтетической упаковки. Тут были и алые розы, и гладиолусы, и тюльпаны, и сирень — все, что мне нравилось, и я, никогда ранее не державший такой букет, боялся его измять, изломать, чувствовал себя очень смущенным на улице, потому что все люди смотрели на меня и, наверное, догадывались, что раньше я не носил цветов: я нес их, как несут ребенка.

Для всех моих цветов в доме Наварзиных не нашлось достаточно места, я своим подарком вызвал переполох — сирень пришлось пока оставить в ванне. Ветви ее с тяжелыми гроздьями невесомо плавали в зеленоватой воде и казались мне самыми красивыми ветвями сирени, какие я когда-либо видел прежде, хотя в моей деревне, куда я не успел съездить, она цвела не хуже.

Мария совсем сошла с ума! Когда мы остались в ванной комнате одни, она обняла меня и поцеловала в губы. С этого момента от меня пахло французскими ее духами, запах этот мучил меня, как будто я был клеймен неистребимым ароматом и каждый мог теперь догадаться о происхождении тончайшего благоухания, исходившего от моей одежды.

В доме собрались, как я понимал, главным образом друзья Марии или, во всяком случае, люди, которые знали Марию лучше, чем ее мужа. Наварзин внимательно приглядывался к каждому из них, вежливо отвечал или спрашивал, и по всему было видно, что с некоторыми из них он познакомился только сегодня. Хотя понять этого человека мне так и не удалось до конца: вполне возможно, что я и ошибался и все его гости были давними друзьями, любили его и, зная манеру поведения своего друга, уважали эту особенность Наварзина. Всем им было лет по двадцать пять, и выглядели они молодцами: я откровенно любовался ими, словно бы своими младшими братьями.

В сумерках, когда в комнате включили все светильники и по квартире поплыл запах кофе, гости возбужденно разговорились, и я с завистью вслушивался в неведомые мне радости незнакомцев, двое из которых, как я понимал, с жаром обсуждали своего бывшего, видимо, руководителя.

— Помнишь? — азартно спрашивал белокурый красавец с полупрозрачными серебристыми усами и такой же бородкой. — Если электронный блок собран и сразу работает, значит, он неправильно рассчитан и неправильно собран. Во логика!

Засмеялись оба, с полуслова понимая друг друга и еще что-то такое, что для меня навсегда останется тайной. Другой умиротворенно говорил, поглядывая выпученной синева глаз на своего друга:

— А ему больших знаний и не требовалось. Ну что он там по образованию... телефонщик. А когда уходил, я плакал. Слезы лил.

Буквально. Как он хорошо знал людей и понимал их работу! Вот я, например, разработчик. Он что? Он понимал: подгонять меня нельзя. Понимал, что можно, например, сказать: ты медленно копаешь, пята мало... А как, например, скажешь: ты медленно думаешь? Он это хорошо понимал.

— Человек был! Я тоже очень жалею.

— Такие люди все и двигают. И вот смотри: ушел, а за собой никого не потянул. А то ведь как: предприятие работает, коллектив сложился, все хорошо. Уходит руководитель, у него, конечно, вакансии на новом месте, он и тянет туда своих, и наплевать ему на старый коллектив — рушится, и черт с ним. А этот нет. Ушел один. Красиво!

— Умница человек. Его все у нас любили. А теперь отчетов — марафон!

Я слушал их, завидовал, как можно завидовать счастливым людям, и не уставал любоваться красотой одного и некрасивой породистостью другого, понимая себя сиволапым рядом с этими аристократами, интеллект которых протянулся своими щупальцами в какую-то такую сторону человеческой деятельности, какая мне вовсе неизвестна и даже не снится.

Струющаяся женщина с вычурной прической, которая черным крылом закрывала один глаз, отчего смотрело это создание на мир как бы боком, как бы через монокль, села на подлокотник кресла рядом с белокурым, попросила «хорошенькую сигарету» и, откинувшись, заложила ногу за ногу.

— У тебя есть, я знаю,— сказала она, протягивая ломкие пальцы худой руки.

— Ты разве куришь? Что-то не замечал.

— А что? Длинная нога, длинная рука, длинная сигарета...

На меня они, увы, не обращали никакого внимания, а мне хотелось, чтобы эти самонадеянные люди узнали, как нравятся мне они и как мне хочется быть с ними. Одна лишь Мария одаривала меня иногда долгими, нежными взглядами, подбадривая и выводя из душевного оцепенения, в каком я невольно пребывал, чувствуя себя в этот праздничный день Наварзиных чуть ли не лазутчиком в стане врагов: только и делал что притворялся.

Но именно в этот день я и о Марии задумался, не понимая ее роли во всей той праздничной суете, какая царила в доме. Ни музыки, ни танцев, ни пения — ничего этого, конечно, не было у Наварзиных, но все равно, однако, чувствовалась та самая суета, которая кружит людям головы, томит душу неисполненными желаниями, спирает сердце радостным ожиданием чуда, как это бывает только в юные годы.

Гости — а их было человек десять — говорили о делах, а я, ничего почти не понимая, любовался неясным, но явным их аристократизмом, заметным даже и в том, как и с каким выражением, с какой интонацией эти люди говорили о делах, бравирова своими знаниями. На моих глазах происходил словесный турнир современных рыцарей, оружие которых — блистательный ум, профессиональная выучка и обостренное внимание друг к другу. Удары их были направлены в ту область общественного нашего устройства, которая своим бюрократическим цинизмом тормозила науку и прогресс вообще, грозила бедой. И удары эти были беспощадны, ибо наносили их остроумные, насмешливые, знающие люди.

Я был радостно возбужден вместе с ними, как будто тоже участвовал в разоблачении косности бюрократов, прикрывающихся расхожей фразеологией общих мест и общих слов... И казалось нам всем, что мы ворвались в блиндажи этих крепко и прочно засевших на перекрестках науки и культуры демагогов и в рукопашной схватке



уже одержали верх над ними, освободили пути от нагромождений, очистили завалы и теперь все вместе празднуем свою победу. Все мы очень остро чувствовали свой верх, свою справедливую силу над силами мрака, пока нас не отрезвил ледяной голос Наварзина.

Он прозвучал в нестройном хоре голосов как удар грома, заставив всех разом замолчать.

— Курица запела петухом,— говорил он механическим голосом.— Первый и последний раз.

Он стоял в дверях, скрестив руки на груди, которые безукоризненно белели на пурпурно-красной рубашке, сшитой, видимо, на заказ, потому что я, например, нигде не видел таких в продаже. Лицо его, более бледное, чем обычно, оставалось бесстрастным, и только глаза приобрели вдруг сизый, дикий цвет.

Никто не мог понять, к кому именно обращался этот большой и очень сильный человек, хотя каждый невольно подумал о себе, потому что слова его прозвучали так, будто он хотел выразить свое презрение к нашей радостной болтовне, будто он со своих высот презирал нас за то, что мы столь страстно ведем бой с ничтожествами, тратя порох не по делу.

— Ей рубят голову,— хрипло добавил он и медленно повел головой, точно его мучила нестерпимая боль и он боялся резких движений, приносящих страдания.

У меня все похолодело внутри от предчувствия страшной беды: мне почудилось, что взгляд его, гасящий радость, затмил вдруг и во мне весь свет, смутил мой разум и лишил воли. Я сидел без движения, точно парализованный, и с ужасом ждал своей участи.

Мария поднялась и рыжей тенью прошла через всю комнату, тебля пальцами жемчужное ожерелье, которое она, помнится, называла маргаритовым. Опустив голову, она вышла... Я заметил испуг в ее глазах и ненависть маленького зверька, покорившегося силе. Не помня себя, я гаркнул вдруг с необычайной злобой, захлестнувшей меня:

— На что вы намекаете?! Вы... как вас там по батюшке?

Наварзин с неожиданным удивлением взглянул на меня, пожал плечами и спокойно ответил, поражая своим хладнокровием и назидательным тоном, с каким он обратился ко мне:

— Я никогда ни на что не намекаю. Намек — удел интригана. Я не пользуюсь этим. А зовут меня Святославом Александровичем.

Я смешался, мой запал бесследно исчез, как если бы мне щелкнули по носу и уличили в непристойности.

— За что вы ее так? — сказал я с досадой тем жалким голосом, каким обычно обезоруженные ищут примирения с сильными.

— Что с вами? — строго спросил Наварзин.— О чем это вы?

Я огляделся, ища поддержки у гостей, но увидел, что каждый из них, глядя на меня с укоризной, угрюмо возмущен моим поведением — люди хмурились, а некоторые даже покачивали головой в знак осуждения.

Наварзин уселся уже в кресло. Лиловые листья, ниспадающие из кашпо, отбрасывали сиреневую тень на его щеку. Пурпур его рубашки, на которую падал луч светильника, горел ярким огнем, окрашивая отблеском поблескивающую поверхность фотообоев — тень на лесном пейзаже, на корявом стволе дуба тоже была красной. Резкие, темные тени лежали на его лице, контрастируя с освещенной поверхностью лба. Что-то неестественное было во всей этой картине, словно Наварзин превратился в принадлежность фотообоев, был, так сказать, передним планом, был задуман художником именно в этой позе и в такой яркой одежде, с такими глубокими и мрачными тенями на лице.

Я и тогда отчетливо сознавал, что мне оставалось только одно: встать и постараться с достоинством уйти. Но страшная обида при-

гвоздила меня к стулу: я не мог найти в себе сил подняться. Жажда мести затмила мой рассудок, и я остался.

Мария вошла в комнату и, лучезарно улыбаясь, словно душа ее ликовала, развела руками и с детской наивностью, с милой застенчивостью сказала:

— Что же вы, господа, приуныли? Сейчас будет готов свежий чай! В этом нет, конечно, ничего особенно интересного,— продолжала она, одарив и меня своей улыбкой,— но вряд ли кто-нибудь из вас знает, откуда произошло Кунцево. А я знаю.

— Откуда же? — спросил Наварзин с тайной иронией.

В тот миг я понял, что он считает Марию очень глупой женщиной. «Негодяй!» — подумал я с отвращением.

Она вся повернулась к нему, будто встав на цыпочки, и с полупоклоном ответила:

— Раньше было село, а в селе жили птицеловы... Синицу раньше называли кунцей... Кунца! — сказала она взволнованно и, глядя на меня, засмеялась. Смех ее превратился в весеннюю трель синицы, или кунцы. Все во мне ожило, я видел только Марию, слышал только ее голос, переливы ее удивительного, чистого голоса.— Отсюда и Кунцево! — услышал я, не сводя с нее глаз, как будто ища спасения в ней.— Вот видите, как интересно! А вы этого не знали...— Она опять взглянула на Наварзина и с ласковым подобострастием тихо сказала ему: — Ты тоже.

На ней в тот вечер была легкая и просторная белая блузка из шелковой ткани — белый мешок с широким, от плеча до плеча, вырезом для шеи и с двумя проймами для рук. На ногах такие же шелковые шаровары, стянутые на щиколотках. Одежда не украшала ее, она в ней казалась бесформенной куклой. Это, видимо, понимали все, и в том числе Наварзин.

Один только я, наверное, понимая это, с еще большей нежностью наслаждался смешной неуклюжестью поглупевшей как будто Марии, наряд которой никогда не имел для меня никакого значения. Более того — чем хуже она выглядела, чем измученнее было ее лицо, тем сильнее она нравилась мне, словно бы в лучшие свои минуты, когда ее красотой мог любоваться всякий, она отдалялась от меня, между нами возникала стена отчуждения. Я как бы чувствовал себя недостойным обладать такой красотой, предназначенной для молодых красавцев, и ждал ее болезненной усталости, ее плохого настроения и отчаяния, чтобы вернуть ее к жизни в своих объятиях.

Особенно остро я понял это свое чувство в тот вечер или, вернее, в тот миг, когда она прошла через всю комнату, теребя маргаритовое ожерелье. Меня поразил ее испуг! Ее беззащитность! Подобострастный тон ее голоса, когда она сказала Наварзину: «Ты тоже», — на что он только хмыкнул презрительно и даже не взглянул на нее.

Ослиное упрямство, которое покинуло меня вместе с юностью, вновь поселилось во мне. С неожиданной уверенностью я вдруг понял, что имею право и обязан оставаться в доме у Наварзиных, чтобы отомстить всем, кто находился в нем, то есть самому Наварзину и его гостям, посмевающим осудить меня и выразить неудовольствие, когда я одернул нахала. Мое возмущение казалось мне благородным, а реакция гостей — презренным и низким равнодушием, льстивым компромиссом, каким отличаются люди, младенческие годы которых прошли в детских садах, а не под надзором добрых и внимательных бабушек; меня бесила их всеядность.

Честь моя была поставлена на карту: я не имел права уходить из дома неотомщенным — это я твердо знал и решил действовать. А тот испуг и смятение в глазах Марии, которые я с болью увидел, когда она проходила мимо, подогревали во мне, кипятили жажду мести. Бог знает, какие грехи валил я на головы ничего не подозреваю-

щих гостей! Все они казались мне бездушными машинами, в памяти которых зачем-то хранится множество знаний, практически ненужных человеку в повседневной жизни. Я, например, не сомневался, что сам Наварзин или его гости с уверенностью ответили бы на мой вопрос, какую дань брал хан Батый с Древней Руси, назвав такие подробности, о которых не помнят профессиональные историки; или без запинки назвали бы всех знаменитых исполнителей рок-музыки, спроси я у них об этом. Я не сомневался, что знания их не имеют границ, что тренированный мозг, этот хорошо отлаженный инструмент добычи, способен вместить еще уйму новых знаний, не потеснив при этом старых, записать их со скрупулезностью машины на таинственную пленку, которую в любой момент каждый из этих ученых людей может прокрутить в своем сознании, чтобы выудить из нее и обработать в мгновение ока ту информацию, которая им потребуется. Способности эти казались мне в тот вечер преступными, и я, невежда, искал в возмущенном своем разуме пример, который мог бы неоспоримо доказать преступность накопления знаний, уже приведших человечество на грань ядерной, химической или биологической катастрофы. Мне хотелось крикнуть всем им в лицо, что народы не хотят, не могут кормить своих ученых и свою науку кровью будущих поколений, не могут без конца вить веревку, в петле которой гибнет будущий народ, хватит!

И вдруг мне показалось, что я нашел, придумал изощренную месть. Сердце мое заколотилось с перебоями, мне стало жарко от волнения, я почувствовал себя охотником в засаде, на которого шел черный на белом снегу грозный и свирепый вепрь. Жизнь этого вепря была теперь в моих руках — я не должен был промахнуться. Я выждал, когда кабан повернулся ко мне левым боком, прицелился под лопатку и затаив дыхание...

Сказал дрожащим от волнения голосом, когда поймал на себе равнодушный взгляд Наварзина:

— Слушаю вас и поражаюсь... Что происходит? Вы, конечно, помните Метерлинка?

Мне почудилось вдруг, что в глазах Наварзина, которые он уставил на меня, засуетились непонятные мне, захлестывающие друг друга красные, раскаленные нити цифр, выражавших как бы крайнее удивление. Может быть, он очень устал от гостей и не чаял, когда мы все поднимемся и уйдем, и оттого глаза его казались красными, но только в тот миг мне виделись проклятые эти цифры, сменяющие с беспорядочной скоростью одна другую и что-то непонятное говорящие мне.

— А что же происходит? — спросил Наварзин, обращая на меня внимание гостей. — При чем тут Метерлинк?

— У него в сочинениях есть одно очень странное эссе, — отвечал я, подкрадываясь к главному. — Ничего подобного я не рассчитывал найти у автора «Синей птицы». Он был одним из первых автолюбителей в мире и очень хорошо изучил мотор и полюбил его. Я это узнал потом, когда уже прочел эссе... или оду двигателю внутреннего сгорания. Но вот что я подумал сейчас! Это было странное признание в любви к мотору. Он так любил его, что не мог не очеловечивать. Карбюратор сравнивал с сердцем. Я уж не помню всего, но у мотора он обнаружил все органы человеческого тела. Он очеловечил машину! Он был не только писателем, он был ученым, его работы о пчелах или о цветах... Помните? «Разум цветов». Теперь происходит все наоборот. Мы все сошли с ума! Мы стали омашинивать человека! Это преступно. Мы преступники.

Наварзин не сводил с меня немигающих усталых глаз, в которых, убей меня бог, я видел в те мгновения торопливо бегущие цифры, без всякой последовательности сменяющие друг дружку.

— Мы все преступники,— повторил я с заемным пафосом.— Будущий народ не простит нам этого. Ум человеку дан для созерцательной деятельности, а мы его используем... вот именно— используем!.. как инструмент добычи, как изощренный механизм для добычи все новой пользы и только пользы. А польза эта оборачивается во вред. Зачем все это? Мы нарушили гармонию добычи и отдачи. Мозг— это инструмент добычи, а душа— отдачи. Мы преступили этот закон! Нам ничего не остается как только омашинивать человека. Ну да, конечно! Математическая модель человека, его кровеносной системы... А что дальше? Мы все превратились в метеопатов, потому что слушаем прогнозы синоптиков, а они говорят нам: во второй половине дня давление будет резко падать... Зачем мне это знать? Я жду этого резкого падения, и даже если синоптик ошибся, сосуды мои, вся моя нервная или там кровеносная система поднимут мне давление, потому что я его ждал, мне предсказали его ученые! На кой черт?! Я превращаюсь в машину, хочу я того или нет. Она срабатывает помимо моей воли. Именно во второй половине дня она реагирует на резкое падение атмосферного давления, то есть даже в том случае, если давление атмосферы остается в норме. Нет, дорогие мои! Наука зашла слишком далеко. Нельзя омашинивать человека! Сердце— кожаный мешок, меха, качающие кровь, насос... И не смотрите на меня уничтожающе. Вас много! Но попробуйте оспорить мою правду. Вас много, вы как мелкие суденышки в гавани, а я как лайнер, прижатый к пирсу,— говорил я, увлекаясь настолько, что уже терял ощущение реальности.— Вы, конечно, маневреннее меня в тесной гавани! Можете продырявить меня— я в ваших руках... Но это в гавани! А я теперь вышел в открытое море— вы мелюзга, на которую я не обращаю даже внимания, и не попадайтесь на моем пути— раздавлю в щепки.

Я был так возбужден, душа моя так ликовала, торжествуя победоу, что нервный, дробный смех вырвался из моей груди, и я, захлебываясь им, жалел уже по доброте душевной обескураженных своих противников, которые явно не ожидали от меня такого спича. Все они удивленно переглядывались и, как мне показалось, чувствовали себя и в самом деле мелкими, тихоходными суденышками, скорлупками рядом с высоченными бортами океанского лайнера, который, набрав ход, резал носом могучую волну. Мне даже стыдно было перед всеми этими умными людьми, которых я засунул за пояс с легкостью необыкновенной; мне даже хотелось в смущении добавить что-нибудь такое, что в какой-то мере ослабило бы сокрушительный мой удар, сказать хотелось нечто приятное, подбодрить их, чтобы они не очень-то уж огорчались и не смотрели на свою деятельность с этого момента как на сплошное вредительство.

Теперь мне и вспомнить стыдно дурацкое свое торжество, а тогда я хотел, как самый мелкий себялюбец, гордо подняться и, поклонившись, выйти одиноким океанским лайнером в открытое море, то есть хлопнуть дверью.

По натуре своей я не игрок и никогда не стремился к победе над человеком— зачем она мне? Оттого только и не ушел, что хотел как-то умалить свое превосходство, ослабить впечатление от невольной победы, которую я так легко одержал над Наварзиним. Мне даже жалко его стало. Зачем уж так-то жестоко?! Я сделал серьезное лицо и, откашливаясь, добродушно сказал примирительным тоном:

— Это очень серьезно все... Наука, конечно...

— Вы успокоились?— прервал меня Наварзин с бесцеремонностью хладнокровного наблюдателя.

Мария, на которую я взглянул, сидела потупившись, и я заметил розовые уши, вернее одно ярко-розовое ухо, торчавшее из-под палевых волос. Она не смотрела на меня и, кажется, была очень смущена. Как, впрочем, и гости, едва сдерживавшие улыбки и как бы ду-

рачившиеся в странных, ни на что не похожих ужимках. Они, я заметил, смущенно переглядывались и были явно обескуражены происшедшим.

Наварзин опять спросил меня, на этот раз грубо и резко:

— Вы успокоились, господин лайнер? Вернулись на землю? Пришвартовались?

Я подумал, что чертовщина эта чудится мне: голос Наварзина, ужимки насмешливых, смущенных гостей, — вся эта нереальная, фантастическая картина встала передо мною так неожиданно, что затуманенный мой мозг, празднующий победу, нескоро сумел оценить обстановку. «Каков!» — думал я и ошеломленно глядел на своего противника, который, кажется, собирался напасть на меня. Или я промахнулся? И тридцать граммов свинца, пущенные под левую лопатку, только цапнули по коже? Невозможно! Но что же он делает, налец? Откуда такой тон?

— Не понял, — сказал я, усугубив и без того смешное свое положение.

Наварзин, откинувшись на спинку кресла, презрительно смотрел на меня, алея рубашкой, полыхавшей в свете голубоватого от сигаретного дыма, шевелящегося луча. Глаза его казались мне полуприкрытыми, сонными, лишенными какого-либо признака интеллекта. «Доколе же я буду с вами, ничтожные человеки?» — как бы спрашивал он, со скукой разглядывая меня и не находя во мне ничего достойного внимания.

— Вы человек правополушарный, — сказал он, заставляя всех прислушаться. — Балуете себя сердечным лепетом, наслаждаетесь им. Это вы, наверное, сказали... Впрочем, вам все равно не понять. Не дано. Что вы там про Метерлинка? Какой еще Метерлинк?! Ученый... Сейчас с воровством надо кончать, а вы — Метерлинк! С казнокрадством. Люди привыкли, сжились с пороком. Попробуй перевоспитай... Слово-то какое нескладное. Пере... Как будто он воспитан был, а его теперь надо перевоспитывать. Смешно! Переделать надо, а он еще не сделан. Переделать несделанное... Да. Зарылись в глупостях. Человек, человек! Ставят сейчас на заправочных станциях автоматы, и правильно делают: автомат не приучен воровать. Автоматы при общественном распределении ценностей незаменимы! Коррупция, по старому — казнокрадство, будет изжита полностью, если человек доверится автоматич. умной машине. А что такое сердце, в самом деле? Кожаный мешок, да! Машина. А знаете ли вы, уважаемый поэт...

— Какой же я поэт?! — воскликнул я с негодованием. Но он не слушал меня. — Вы хотите обидеть!

— Знаете ли вы, дорогой мой стихотворец, что такое рибосома? Крохотная машина. Не подвергалась за миллионы лет какой бы то ни было эволюции. Она сделана! Кто ее сделал? Не знаю. Но сделал! Нужно было абстрагироваться, подумать и сделать эту машинку. Сначала рассчитать, а потом сделать и запустить в массовое производство. Сине-зеленые водоросли в каменных отложениях, то есть окаменевшие эти водоросли древнейшей геологической эпохи, состоят, увы, дорогой мой поэт, точно из таких же рибосом, что и мы с вами. Или вот эта ветка зелени. — кивнул он на лиловые листики растения. — тоже состоит из таких же точно рибосом, что и вы со всеми своими нелепостями. Тончайшая, мудрейшая машина, а вы хотите, чтобы я ее очеловечил... А возьмите клетку! Да, конечно, интимные превращения происходят в этом черном пока еще ящике, человек не в силах еще до конца разгадать все ее процессы... Тоже машина! Высочайшего класса! Как я ее очеловечу? С ума сошли не мы, а вы, дорогой мой. Вы смотрите на мир через окна, на рамках которых натянуты бычьи пузыри. Вы еще на стадии дикости... Человек с его ничтожными эмоциями, со всеми его гиперболами, аллегориями — такой человек погубит мир, а спасти может только машина. Об этом

надо думать сейчас, а не болтать плоскости, от которых болит живот. Ваше невежество бесит! — говорил Наварзин, распаляясь, и, как сказал бы старый мой сосед, выкладывал такие ватрушки, что у меня все переворачивалось от возмущения. — Сейчас каждый третьеклассник умнее и дальновиднее вас. А именно этим ребятам, хотите вы того или нет, принадлежит будущее, именно они будущий народ, они биологически перспективны, а не вы... Ваши ностальгические чувства и все эти рассуждения об очеловечивании машины — бред, песок в буксах, мракобесие и черт знает какой грех перед будущим народом. Он свят, наш будущий народ, во имя его можно и голову положить... Да, я омашинаиваю человека, если вы уж так хотите выразиться. И делаю это с сознанием долга и ответственности за завтрашний день. Ваш Метерлинк...

— Такой же ваш, как и мой! — вскричал я.

— Ваш Метерлинк слыхом не слыхивал о такой массе народа на планете! Ум его не в силах был представить пятнадцатимиллионный город! Ему неизбежно надо было... Надо! Слышите? Надо было очеловечить машину. Он умнее в тысячу раз, чем вы думаете! Конечно! Он хотел, вольно или невольно, приучить человека к ощущению машины как еще одного рецептора нашего мозга. Он чувствовал неизбежность этого. А вы говорите очеловечивал! Он вынужден был прибегнуть к такой форме пропаганды машины. Люди в массе своей думали и думают до сих пор, что машина — развлечение, как птичка в клетке, поющая вам песенку. Вы о птичке тоже вынуждены думать, что она счастлива в клетке. Верно? Иначе вы изверг, если будете знать истинное ее положение. Так и машину в ту пору держали в клетке, как развлечение, старались думать о ней, как о покоренном великане, которому приятно быть помощником человека. Люди и подумать не могли, что наступит время, когда сам человек придет к машине на поклон. Время это наступило! Вот истинное-то положение! Мы теперь просим машину ответить на вопросы, решать которые сами уже не в силах. Теперь мы с вами птички в клетке, да! Без машины, которая кормит нас знаниями, мы уже и шага сделать не можем! Вот истинное положение дел! Пожалуйста, очеловечивайте машину, но учтите: она накопит эмоции, станет капризной и неуправляемой, как человек, и время на земле остановится, все мы погибнем. А я не хочу этого. Я лучше возвышусь до уровня машины. В философском, конечно, значении. Но никогда не унижусь до очеловечивания ее, до превращения себя в придаток машины. Кстати, поменьше эмоций! Это вредно в наш век. Машина, какая она есть теперь, в руках эмоционального человека может тоже стать убийцей. Массовый психоз — это эмоции, овладевшие толпой. Страшнее нет явления на земле. А вот машина этому не подвержена. Каждая машина в некотором смысле личность, не зависящая от себе подобной машины. Они мирно уживаются друг с другом и совершают одно великое дело освобождения человека. Машины свободны, а мы учимся у них этой свободе и независимости. Разве плохо? Разве мир наш не истрадался от неволи? Разве человек не устал, не истрепал себе нервы от многоступенчатой зависимости? Разве плохо, если у каждого человека, по сути ребенка, будет дядька, свой мудрый слуга, который предостережет его от необдуманного поступка? А вы заметили, кстати?..

— Тоска по каннибализму! Вот что такое, в философском тоже смысле, ваша машина! Сам не ем человеческое мясо, пусть ест машина. Сколько гибнет в мире от машины! Вам мало? Войны не уносили раньше столько людей. А сколько еще погибнет?!

— Чепуха! А заметили вы... Кстати, а что это вы про каннибализм? Кровопускание имеете в виду? Пока человек подвержен своим эмоциям, будет литься кровь. Это неизбежность. С этим приходится считаться. Гибнут беспомощные люди, у которых не мозг в голове, а манная каша. Они доверяют сердцу, а не разуму. Перебегу, не пе-

ребегу; успею, не успею — успею! Тормоза, если вы имеете в виду автомобиль, не для того созданы, чтобы перед бегущим человеком останавливать машину. Не в этом их главное назначение. Они нужны, чтобы остановить машину перед светофором или перекрестком. Идет естественный отбор наиболее приспособленных к современному темпу людей. Ни больше ни меньше. В этом отборе участвует машина. Самая пока примитивная, с двигателем внутреннего сгорания, которая сжигает много кислорода и отравляет воздух вредными химическими элементами. Знаете, сколько сжигает машина кислорода за тысячу километров пробега? Ровно столько, сколько надо для целой жизни одного человека. Но ведь я не об этих машинах говорю! Дни ее сочтены. Нас ждет термоядерный синтез. Что же прикажете делать с дураками, которые, увы, и за рулем пока сидят и по мостовым бегают? Они самоуничтожаются, оставляют жизненное пространство для более приспособленных. Страшного в этом ничего нет. Каннибализм? Нет. Это вы зовете к каннибализму, очеловечивая машину. Кое-кто из ученых тоже мечтает создать машину, обладающую человеческими эмоциями. Это гибельный путь. Машина должна быть кристально чистой, объективно справедливой и, если хотите, должна любить и уважать человека, своего создателя, то есть не причинять ему никакого зла. Я за такую машину. Главная ее задача — ни в чем не походить на ленивого, субъективного в своих оценках, лицемерного и циничного человека. Для машины нет понятий: добро и зло. И это очень хорошо! Именно в этом спасение человечества, если оно будет стремиться брать пример с такой машины. Машина не умеет и никогда не научится улыбаться одному и хмуриться другому. Но при этом она должна в неприкосновенности оберегать все человеческие, духовные ценности, чтобы мерзавец или какой-нибудь мизантроп не смог воспользоваться ее силой во вред человечеству. Современная машина, а особенно машина будущего, — это обширнейший и глубочайший ум, оставляющий, а вернее освобождающий, человеку место в этом мире для реализации, материализации своего нравственного «хочу». Мечта всех мудрецов прийти к материализации этого самого «хочу»! Пока что мы с вами живем на уровне понятия «надо». Субъективизм этого «надо» порой ведет к гибели. «Хочу», наполненное сознательной нравственностью, откроет перед человеком небывалые возможности реализации своих способностей. И только моя машина, та, о которой я говорю, способна дать эту возможность человеку. А давайте-ка отвлечемся с вами. Перетрясем все мифы! Кто, по-вашему, если обратиться к христианству, кто, по-вашему, был Христос? Человек, который никогда не улыбался. Во всяком случае нигде не засвидетельствована его улыбка. Это был не кто иной, как машинизированный, омашиненный, если хотите, человек, отрицавший все слабости человеческого рода. Я думал об этом! Он действительно никогда не улыбался, ему не свойственна была эта слабость, потому что он попал в мир слабых существ, гибнущих от собственных эмоций. Робот, реализованный на биологических материалах, он не мог испытывать, например, сыновнего или братского чувства. Для него не существовало — мать или братья; только идея. Он их даже не подпускал к себе... Единоутробие — пустой для него звук! Фикция! Заблуждение человечества. Эти понятия — брат или мать — он перенесил на своих сподвижников, то есть на тех, кто шел за ним в попытке разрушить эмоциональную паутину, в которой застряло человечество и обессилело в тщетных попытках вырваться на свободу. Может быть, это вообще была высочайшего уровня машина, которая способна была биотоками, пока неизвестными науке, выгнать, например, бесов из человека, то есть излечить его от умственного мрака, от того же каннибализма, когда человек пожирал себя самого. Эта машина, призывавшая к любви, в общем-то, ненавидела род человеческий, видела в людях только зло, заключенное в них неразумной Природой. Себя

эта машина в образе человека ставила выше всех, и правильно делала, черт побери! Даже ближайших своих учеников уличала в человеческих слабостях, в подлости, в предательстве. Помните про петуха? «Трижды отречешься, пока не пропоет петух». Отрекся любимый ученик от своего учителя! Потому что был несовершенно человеком и не мог, разумеется, состязаться с машиной! Понтий Пилат спрашивает: «Что есть истина?» Это он у машины! Чудак! А в ответ — молчание. Почему бы вы думали? А потому, что он не истине пришел учить людей. Истина — понятие субъективное, лишенное научных основ. Люди бились над разрешением этой задачи: что есть истина. А истина только лишь разъединяла их, уводила от любви друг к другу, ибо истина — это то, что есть, простая наличность. В любом образе — истина. Истина даже в том, что у меня, например, очень мало денег. Вот и промолчала машина. Человек бы ответил, а машина — нет. Она даже не поняла, наверное, о чем ее спрашивал Пилат, этот трижды человек, обремененный властью, то есть осуществленной мечтой всякого человека. Власть — удел человека. И вообще животного. Миф о Христе — это воспоминание о машине, созданной, может быть, что вряд ли, вселенской цивилизацией на биологической основе. Мы еще только подходим к эпохе великих биологических открытий, к веку биологии, мы переживаем век физики. Нильс Бор говорил в своих лекциях, что он видит будущий век веком биологии и что физические законы уступят место законам, еще неизвестным человечеству, о которых люди еще только догадываются, только нащупывают пути к ним. А та цивилизация, которая способна была запустить к нам физиологическую машину в образе человека, была в расцвете своих сил. Жизнеобеспечение этой машины было дублировано. Может быть, оно было многократное. Отсюда идея воскрешения, то есть восстановления или, вернее, самовосстановления в случае аварии или поломки. Но скорее всего ничего этого не было никогда... Никакой машины! Люди, измученные, уставшие от распрей, уходили от самих себя в своей фантазии, от своих необузданных страстей, которые грозили гибелью, и вот создали идеал для поклонения. Идеал же этот — машина. Высокой организации машина, вознесенная над смертными, недостойными сидеть по правую или по левую сторону от совершенной этой мечты, которая в самом деле способна спасти мир, если ей поклоняться...

Я забыл о своей неприязни к Наварзину и внимательно слушал его. Говорил он гудящим голосом, так, как говорят в телефонную трубку, не видя собеседника, — взгляд его был направлен в пустоту и ничего не выражал в эти напряженные минуты, кроме умственного усилия, которое проявлялось живыми складками на коже лба: поблескивающая в луче кожа то морщилась над переносицей, то разглаживалась, придавая лбу младенческую непорочность и чистоту. Он продолжал после короткой паузы:

— Только прошу не думать, что, говоря о машине, я имею в виду автомобиль или самолет. Я говорю о принципах подхода к жизни человечества, вкладываю определенную идею в понятие «машина», как и в понятие «человек». История подошла к обрыву. Человек своим интеллектом установил время, открыл, можно сказать, время, которого до человеческой цивилизации не было, не могло быть — все было бессрочно. Пришел человек, а вместе с ним появилось время. Он как бы с самого начала своего существования задумался: надолго ли он на земле? Словно бы предчувствовал или знал о начале и конце. Установил сроки жизни на земле и тем самым привязал себя к кресту, который несет до сих пор на лобное место. Человек теперь на краю гибели. Надежды на воскрешение нет ни у кого. Во имя чего гибнуть? Жизнеобеспечение равняется нулю. Во имя же чего гибнуть? Что может спасти человечество? Кто? Машина! Неудавшиеся актеры, поэты, художники, придя к власти, становятся дьявольски



опасными, они загоняют машину в угол, руководствуются эмоциями, которые у них гипертрофированы, как у всякой художественной личности. Пока не было термояда, человечество не находилось в такой опасности, как теперь. Теперь это страшно! Я потому и говорю о спасительной миссии машины, или, как вы говорите, о машинивании человечества и человека в частности,— это может еще спасти мир. Я думал об этом. Любой политик должен в первую очередь обладать качествами машины, чтобы остановить процесс гибели цивилизации.

— А что это такое, по-вашему,— цивилизация? — вставлял я свои вопросы, но он не слушал их, занятый собой и своими мыслями.

— Эмоции насаждают в нациях шовинизм: если я лучше, значит, он хуже; если я велик, значит, он ничтожен и мне ничего не стоит наступить на него и растереть подошвой. Машине чужды эти понятия: велик — ничтожен. Для нее человек вообще велик, она не знает национальности, цвета кожи; она признает только человеческий интеллект, общается только с ним, именно с тем, кто способен задавать ей вопросы и расшифровывать ответы. Разве это не любовь? Невежда для нее пустое место. Своим молчанием и холодом она презирает его, к какой бы национальности или расе, к какому бы социальному слою тот ни принадлежал. Вот что такое машина, дорогой мой поэт! Я мог бы бесконечно прославлять ее... Но только не для вас,— сказал Наварзин, и взгляд его вперился в меня с уничижительной бесцеремонностью. Мне даже почудилось, что серые его, померкшие глаза запахли едким дымом, как тлеющая обмотка проводов: с такой ненавистью смотрел на меня Наварзин.— Не для вас! — повторил он и даже выставил вперед ладонь, как бы отталкивая меня от себя.— А я, между прочим,— обратился он к затаившимся гостям,— читал недавно книгу, которая называется «Искусство программирования». В первом томе, а их, как вы понимаете, несколько, в первом, об основных алгоритмах, эпиграф: «С нежностью посвящается машине,— я запомнил это наизусть,— посвящается машине I BM 650, некогда установленной в Кейсовском технологическом институте, в обществе которой я провел много приятных вечеров». Это ли не поэзия?! Книга посвящается любимой... Что там Лаура? Машина! Вот предмет обожания. А мне говорят — машина! Знали бы хоть, что такое машина, черт бы их всех побрал! И вот что опасно! Таких миллионы, ничего не смыслящих невежд. Страшные люди!

Я остался на месте, не взбесился от гнева, я ждал, когда он умолкнет, чтобы одним махом, одним уколом разделаться наконец-то с Наварзиным. У меня был в запасе маленький аргументик в свою защиту или, точнее, в защиту Человека, как я тогда понимал, и я ждал момента, чтобы наверняка, резко и четко реализовать этот шанс. Момент почти наступил, когда Наварзин умолк, явно довольный собой. Не в силах скрыть своего возбуждения, он на сей раз вглядывался в лица гостей, ища поддержки, и, кажется, находил ее в избытке: гости сидели или стояли, подавленные его загадочной речью в защиту машины, которой все они отдали часть своей жизни. Сам я, впрочем, тоже отдавал должное Наварзину, его фантазии, основанной вроде бы на научных данных, и его хладнокровию. Я с серьезным вниманием вслушивался в многозначительную монотонность гудящего его голоса, похожего на тревожный сигнал, которым оповещают людей об опасности. Сигнал этот был в меру продолжительным, чтобы заморозить слушающих его. И вот он умолк. Я выждал некоторое время, чтобы сила воздействия Наварзина на слушателей ослабла или, во всяком случае, чтобы сознание их переключилось... А потом с улыбкой побежденного и признавшего свое поражение сказал:

— Вы интересно рассуждали о мифологии. Фантазия ваша так глубока и оригинальна, что вам можно только позавидовать. Куда там поэты! Они черепахи, земноводные, пресмыкающиеся по сравнению с вами. Но вот про сердце... Вы говорите, кожаный мешок.

Я слышал и более прозаические определения: мотор, например. Или гиря, которая опустилась до пола...

— Какая гиря? — резко спросил он.

— Часы остановились. Гиря опустилась, и часы остановились.

— Ходики, что ли?

Я посмотрел на него с сожалением и тихо сказал:

— Ходики, ходики. Они самые. Называете сердце кожаным мешком... Ну что ж! Можно и так. Только почему в минуты страшного горя, или отчаяния, или чрезмерного нервного напряжения мешок этот рвется? Вот вопрос! Да, конечно, души нет, наука не открыла ее — пока! Но все-таки почему же рвется именно кожаный мешок, а не другая емкость, не желудок, например, или известный вам пузырь? Почему?

— Какая плоская шутка, — брезгливо сказал Наварзин. — Нет, это невозможно! Вы себе представляете кровеносную систему человека? Давление крови в этой системе? Что это такое? Представляете себе? Если не знаете, не говорите плоскости! Зайдите в свою поликлинику — там вам все объяснят. Вам надо начинать с азав.

Гости, собравшиеся уходить, засмеялись. И смех их был очень жесток: они смеялись деликатно, с сочувствием, как бы щадя во мне живое существо, которое они не хотели рвать на куски, понимая себя людьми, а не голодными, одичавшими собаками. Живи, как бы говорили они мне, но не суйся со своей глупостью, если не дорос до серьезного спора. Я был старше всех, и насмешливость их особенной обидой рвала мне грудь. Я едва сдерживался, провожая их взглядом и раскланиваясь с подчеркнутой независимостью, когда они прощались со мной.

Одна лишь Мария, измученная бесплодным спором, страдальчески взглядывала на меня, несчастная и сочувствующая, будто я был на глазах у нее разодран в клочья. И слышал я в ее взгляде упрек: зачем ты ввязался в этот безумный спор?!

Глаза ее провалились и потемнели, как лед на московском дворе в дни апреля, спина сторбилась, хрупкие ключицы под белым шелком смертным перекрестием сошлись на груди... Она была некрасива, как только может быть некрасива женщина, оскорбленная за любимого человека, то есть униженная вместе с ним, растоптанная чванливой чернью. «Ну что ты наделал?! — спрашивала она всякий раз, когда взгляды наши соединялись, и мы понимали друг друга без слов. — Зачем тебе это нужно?»

Я из последних сил улыбался, стараясь подбодрить ее, и, пока не ушли все гости, делал вид, что победа осталась за мной.

Настал и мой черед. Наварзин, возвышаясь надо мной, хмурился. И вдруг протянул большую свою руку ладонью вверх, словно прося подаяния. (Розовые складки на белой коже, не тронутой физическим трудом, четко прочерчивали размашистую букву «м».) Протянул руку, в которую я охотно вложил свою, ощутив крепкое пожатие, и сказал неожиданно ласковым голосом:

— Надеюсь, вы понимаете мое доброе расположение к вам.

Взгляд его был затянут серой паутиной, в центре которой поблескивало нечто похожее на брюшко зеленой мухи. Он опутал меня этой паутиной и, продолжая сжимать руку, говорил:

— Резкий мой тон не принимайте близко к сердцу. Если хотите, к кожаному мешку. Я отстаивал свои убеждения. Я их не меняю. Цель моя вам теперь тоже известна. Для пользы дела я употребил некоторую резкость, чтобы вам яснее была моя цель. Когда человек разозлится, он лучше соображает, мозг его возмущается и начинает работать. Важно только не пересолить. Я рассчитываю на ваше благоразумие. Мой самый приятный оппонент — это вы. Приходите к нам почаще и не сердитесь на меня. Мара, — сказал он Марии, которая, кажется, была счастлива видеть нас опять вместе, —

может быть, проводишь гостя? Смотри, какая ночь за окном! Погуляешь, подышишь свежим воздухом — тебе это полезно. Вы не против? — спросил он у меня с едва заметной усмешкой. — Я вас перевозбудил, вам тоже полезно. А мне еще надо поработать сегодня. Завтра читаю. Мара, погуляй с гостем. Я тут все приберу, перемою посуду и сяду за работу. Я люблю, — сказал Наварзин, не выпуская моей испуганной, ослабевшей руки, — мыть тарелки, чашки, вилки, ножи... Реальное дело! Видишь результаты труда. А это очень полезно — видеть тут же, сию минуту результат. В науке удается немногим. Почти никому. Вы заметили, кстати: гении часто умирают непризнанными? За что такое наказание?

Мы расстались друзьями. Мне даже показалось вдруг, что предложение прогуляться с Марией вовсе не случайно: этот жест доброй воли должен был показать широту его натуры и в то же время подчеркнуть полную объективность по отношению ко мне, чтобы я и подумать не смел, будто бы в наших разногласиях играет роль женщина. Благородство кольнуло меня, приглушило мою радость, но мне ничего не оставалось как только отшутиться, что я и сделал с блеском тайно торжествующего любовника, хотя Наварзин не заметил игривых моих слов.

— В эту майскую ночь я постараюсь стать машиной... без эмоций.

Слова мои повисли, как дым, в воздушной тишине, и, когда я снова прокрутил их в своем сознании, мне стало стыдно за них, потому что они, вылетев на веселеньких крылышках, вернулись ко мне бесформенным комом грязи: пришлось убедиться, что слово и в самом деле не воробей.

Эта короткая ночь, легкая, как вздох, была подарена мне судьбой. Я запомнил ее в мельчайших подробностях и мог бы и теперь по карте прочертить извилистый путь, который мы проделали с Марией, встретив рассвет на Крымском мосту. Я был почти дома, когда наши гулкие шаги утихли и мы остановились, увидев утреннюю зарю. Ничего подобного не испытывал я в юные годы, хотя бывали, навверное, такие же кроваво-мрачные зори, как в ту незабываемую ночь. Мясисто-бурые облака возникли на красном небосклоне. Река отразила тревожный цвет и, явившись из серого небытия, зашевелилась в своем течении, как будто вода густой раскаленной лавой потекла с небес в безлюдный город, дома которого казались испепеленными руинами.

Мы были настолько одни и так далеко от спящих миллионов, что не чувствовали какой-либо связи с людьми, которые незримо толпами окружали нас, стоящих на мосту. Перед нами было лишь красное небо и такая же красная река. Лицо Марии было тоже окрашено багрянцем. Глаза ее блестели, словно в них отражался пылающий костер.

Я не понимал, что происходит со мной. Душа моя обмирала от восторга, как если бы опять родители мои показывали мне, маленькому мальчику, переводную картинку, и я, зачарованный, видел, как из-под сырой, мутной бумаги проявляется яркая лужайка, заросшая цветами и залитая солнцем, — лаковая картинка, крохотное это чудо, заставлявшее меня затаив дыхание смотреть на колдовское рождение небывалой, неземной красоты. Так и Москва все ярче и цветистее раскрывалась перед очарованным взором, теснила мою грудь восторгом, словно я видел ее впервые или счастливая случайность сделала меня свидетелем ее чудесного появления на берегах огненной реки, льющейся с красных небес.

Никогда в жизни я не любил этот город так, как на зыбкой грани той тьмы и углисто-красного света, разгорающегося на востоке. Мне чудилось, будто любовь моя вознесла меня над великим городом, башни и шпили которого были уже озарены не видимым еще солн-

цем. Сердце мое наполнилось леденящей душу гордостью, что волею судеб я рожден был в каменном его чреве и что я один из тех его сыновей, отцы и деда которых строили по кирпичику могучую его твердь.

Много городов и весей разбросано по великой России! Есть изумительной красоты маленькие старинные города, есть деревни, милые сердцу каждого русского, не утратившего чувства прекрасного. Счастье — родиться в любом из этих поселений. Может быть, даже большее, чем быть коренным москвитянином, ибо только маленький городок по крупицам собирает славу своих сыновей, терпеливо и истово разыскивая ученых, художников, поэтов и полководцев, ставит памятники землякам, которые короткой строчкой промелькнули в истории русской культуры, блеснули звездочкой на ее небосклоне. С родительской заботой добрые люди городов этих пестуют память о своих сынах, преувеличивая порой значение в российской истории какого-нибудь поэта или живописца, творят легенды вокруг имени, собирают в музеях все, что связано с ним, и на всю страну в серебряные трубы возглашают славу творца или храброго воина, родившегося и выросшего в глухом городке России.

Как не поклониться добрым людям, собирающим золотые крупицы, из которых мудро выращивают они самородки в назидание живущим ныне и еще не родившимся народам.

Одна лишь Москва, гордясь великим своим предназначением в мире, мало тяготеет к собственным талантам; каменной поступью мнет золотые песчинки, обращая внимание лишь на сияющие самородки или драгоценные алмазы, которые нет-нет да и встретятся ей в ее дальнем и нелегком пути. Имя, которое признала мудрая Москва, знает весь мир, все цивилизованные народы, пускай не всегда произносящие это имя с любовью и тем уважением, какое воздает своему сыну Москва. Да ведь и то правда, что не всем гостям приходится по сердцу и сама знаменитая Москва, добывавшая свою славу не только пером или скрипкой, но и клинком, разящим бесчисленных врагов вечного города, не раз возрождавшегося из пепла военных пожаров.

Леденящая гордость охватила меня, когда я с тревожным восторгом вглядывался в багровые облака над рассветной Москвой, и испытывал я в эти мгновения чувства, которые принято называть священными, хотя к ним примешивались и тихое любованье и ласка, с какой я разглядывал сиреневые дали теснящихся домов, представляя себе спящих своих земляков, ничего не знающих о нас с Марией и не ведающих, что какой-то чудак, гуляя с чужой женой, остановился на мосту и зябнет от пронизывающей гордости за великий город, приютивший когда-то его далеких предков.

Слезы до сих пор застыли от меня свет, который дробится и сверкает в глазах, лишь только я вспомню священный свой трепет перед каменным тираном, взявшим всю мою жизнь без остатка и вселившим в меня любовь к себе взамен этой пропавшей в его холодных камнях жизни. Я любил этого тирана, преклонялся перед ним, и не было большего оскорбления для меня, если кто-нибудь нападал на него, в жалкой гордыне грозя ему проклятием; я готов был целовать каждый камень, хранивший память о древней его жизни, я искренне надеялся быть полезным ему и не рассуждая исполнить любое его желание.

Но он не заметил меня, и вот я плачу. Не от обиды лью свои слезы, которые стали с годами тяжелыми, как постоянная усталость тела,— вовсе нет! Я с еще большим восторгом созерцаю бессердечного этого тирана, подмявшего меня каменной своей поступью, и, понимая его величие, равного которому нет на свете, умиляюсь своей малости и своей безмерной преданности, которую он походя принял от меня, шествуя в будущие века, и не заметив расплющил, как букашку.

Иногда я думаю, что, может быть, я и рожден был на свет для той единственной ночи, которая распахнула передо мною рассветную Москву и вселила в мою грудь раболепную любовь и преклонение, переполнявшие с той поры мое сердце. Не знаю! Но только именно в те минуты, когда разгорался рассвет над Москвой, я не помня себя бросился на колени перед Марией и, целуя ее руки, в безумстве умолял ее стать моей женой. Я просил ее, кляничка, не стыдясь своих слез и своего положения, словно пустыня окружала нас. А она, растерявшись, тянула меня вверх, просила подняться и успокоиться, руки ее бессильно скользили по моим плечам, и я сам ощущал свинцовую тяжесть своего тела, поднять которое не могла никакая сила, кроме живой силы единственного ее слова согласия. Боже мой, как я был глуп!

— Васенька, что с тобой? — говорила она испуганно. — Перестань, пожалуйста! Не пугай меня... Мне странно слушать тебя. Что ты говоришь? Разве можно? Подумать страшно, что ты говоришь, — шептала она, стараясь изо всех сил справиться со мной и поднять с колен. — В конце концов, это смешно. Встань, пожалуйста, я тебя прошу. Васенька, милый, встань!

Как я поднял себя — не помню. Я только помню, что, поднявшись на ноги, с пугающим вожделением смотрел в сиреневые тени, в спокойную и мягкую розовость осветившейся реки, манящей меня, усталого ребенка, в свою прохладную колыбель.

— Ну что с тобой, что? — слышал я пустые вопросы, которые Мария с волнением задавала мне, будто и в самом деле никак не могла ничего понять. — Что это с нами, Васенька? — говорила она, судорожно поглаживая мое лицо, откидывая волосы со лба и приглаживая их, целуя мои руки и грудь в том месте, где билось сердце. — Разве так можно? Опомнись! Ты сегодня очень возбужден. Я понимаю причину, но ты все забыл... Все забыл, Васенька!

— Что я забыл? — чуть ли не со стоном спросил я.

— Все забыл... Кто я, кто ты... Разве тебе плохо? Или я не люблю тебя? Что ж ты, Васенька?.. Разве нам плохо с тобой? Эх ты, дурачок!

Проехал хлебный фургон, и зудящая дрожь сотрясла подвесной мост, перейдя словно бы и в меня своей зыбью: мне стало холодно, и меня забил озноб.

— Успокойся, пожалуйста, — ласково пела Мария. — Все хорошо... Успокойся.

— А чего хорошего? — останавливал я ее ласки. — Ничего хорошего. Я больше не могу без тебя. Я устал таиться. Ты не понимаешь, как тяжело. Не хочешь понять. Грех мучает меня.

— Ну вот видишь, ты тоже... Ты не прав... Сейчас все проще, Васенька, все не так. Все гораздо проще... Ты не обвиняй меня... Подумай сам, как же я могу оставить мужа, если я люблю его?! Это жестоко с твоей стороны, в такой день... Ты все забыл... Ты вспомни, какой сегодня день!

Речь ее была искренна, а взгляд, устремленный в мои глаза, так страдальчески растерян, столько недоумения было в этом ищущем моего сочувствия взгляде, что я, казалось мне, понял наконец-то эту странную женщину и с не меньшим недоумением смирился с самим собой, оставив все надежды и заглушив боль.

Май в моей деревне нежил меня солнцем и блеском холодной и сочной травы; стрижи щебетали под коньком моего дома, вылепливая новое гнездо; кусты сирени мешали открыть оконные рамы — ветви упруго сопротивлялись и с живым шелестом бросали к моим рукам тяжелые и душистые багряно-лиловые цветы, прохладным запахом которых наполнен был дом.

Мне бы забыть в этом земном раю все свои горькие страсти, а я, несчастный, только и думал о том, под каким бы предлогом увидеть

Марию, как ее соблазнить цветущей сиренью и стрижами под коньком. Я звонил ей по телефону, но она, ссылаясь на занятость и усталость, отказывалась от всех моих предложений увидиться.

И лишь однажды она почти закричала в трубку:

— Васенька, наконец-то! Я ждала, ждала, а ты целую неделю не звонил мне! Ты мне нужен! Срочно. Я пропадаю, Васенька... Спаси меня! Жду тебя. Я без тебя пропаду! Срочно приезжай. Все брось!

Мы условились о встрече, и я примчался. Я пришел раньше назначенного времени, но Мария уже нетерпеливо ждала меня, прохаживаясь возле табачного киоска, и, когда увидела меня, пошла на встречу, в отчаянии воскликнув:

— Что же ты опаздываешь? Я жду, жду... Ну как не стыдно?!

— Прости,— сказал я, видя ее состояние и не узнавая ее.

Прошел уже месяц после нашей встречи, лето было в разгаре, клонящийся к вечеру день пропитался выхлопными газами. Тополинный пух мешал дышать, создавая ощущение огромной, полупрозрачной сети, накинутой на город. Люди барахтались в ней, как белые рыбы, и не находили выхода.

Тревога, которую вселила в меня Мария, усугубляла ощущение безысходности. Я повел ее прочь от шумной площади, помня о скамейке во дворе городской больницы, на которой когда-то сиживал с Марией в полуночный час, как юный любовник, целуя и обнимая ее на виду у скорбных корпусов старой больницы.

— Ты помнишь мое ожерелье? — грустно спрашивала она, поспешая за мной.— Маргаритовое... Это был жемчуг... Ты помнишь?

— Да, конечно,— отвечал я, зная, что не это заставило ее вызвать меня.— А почему ты спрашиваешь?

— Тогда на мосту... Помнишь? Наверное, на мосту... Нитка оборвалась, и жемчуг рассыпался. Я и не заметила. Ты тоже? Я не хотела тебя огорчать... Бог с ним! Это было бабушкино ожерелье,— говорила она жалостливым голосочком, задыхаясь от волнения.— Я его надевала как амулет, верила в силу его. Такая вот блажь. Потеряла, а теперь и сама пропадаю! — воскликнула она в отчаянии.— А все это ты виноват, Васенька! Кому нужен этот театр? Какой ты странный все-таки человек! Несовременный...

— Прости,— сказал я и тут же забыл об ожерелье, не чувствуя ни малейшего движения совести, как если бы она уснула.— Прости,— повторил я машинально.— Но что случилось? Расскажи.

— Я, Васенька, пропала! — откликнулась она.— Я должна тебе все рассказать. Все, все! Ничего не скрывая. Ты единственный поймешь меня. И скажешь, что делать! Куда же мы так спешим? Почему не к тебе? Поехали к тебе, Васенька! Очень прошу, поехали. Я должна рассказать! Я в ужасном положении и не знаю, чем все это кончится... Ты себе представить не можешь, как я несчастна!

Вырванный из деревни, где я проводил свой отпуск, и брошенный в душную Москву, я задыхался в тополиных сетях, и, кажется, впервые Мария раздрала меня.

На витрине рыбного магазина я однажды увидел на эмалированном подносе лобастые задумчивые профили плоских морских существ, которых по ошибке называли рыбами. Крутые их лбы, нависая над задумчивым взглядом умерших глаз, решали как будто сложнейший вопрос вселенского бытия. Лица этих морских обитателей вспомнил я на горячем тротуаре, остановленный просьбой Марии, которую впервые мне не хотелось исполнять. Я догадывался, какое «несчастье» случилось с ней, и не знал, как мне поступить. Тяжелый и горестный вздох вырвался у меня из груди, и я с сожалением спросил:

— Мужчина?

— Да! — плаксиво откликнулась она.— Но ты ничего не знаешь! Я вижу, ты не хочешь меня выслушать. Васенька! Это жестоко!

Умоляю... Поехали! Я тебе все расскажу. Ты ужаснешься! Я, Васенька, гибну! Я чувствую, мне недолго осталось жить. Ты должен меня выслушать!

Пишу эти строчки, а сам плачу, вспоминая растерянность на измученном лице: вижу тусклые клочья рыжих волос с пушинками тополя, страдальческие глаза, глубоко запавшие в смертельную тоске. И не могу поверить, что в те минуты мной овладели сомнения. Если бы та встреча могла повториться! Я бы на руках понес ее и был бы счастлив лишь оттого, что исполнил волю моей повелительницы. Не могу примириться с тем своим равнодушием, какое испытывал я в летний жаркий день, хотя и знаю, конечно, что ничем все равно не мог бы помочь Марии. И все-таки клянусь себя, посмеявшегося в тяжелый час усугубить горе любимой, суть которого любой здравомыслящий человек окрестил бы, наверное, другим словом и, может быть, даже плюнул в гнев или ударил страдающую женщину, проклял бы ее, как бессовестную распутницу. Что-то в этом роде чувствовал и я, раздраженный ее видом и летящим пухом, который мешал мне дышать, словно я был пойман, как задумчивая рыба, в невидимую сеть и не мог найти выхода на волю.

Увы, случилось непоправимое. Ничего теперь не вернешь, осталось только мучиться, как если бы в несчастье, в беде этой я играл одну из главных преступных ролей и, избежав наказания, сам себя навеки наказал угрызениями совести.

В тот душный день на мои знаки остановился помятый «Москвич» медицинской службы, в нем пахло валериановым корнем пополам с бензином. Через полчаса мы были в перегретой моей квартире, в которой под вечер хозяйничало солнце.

— У меня беспорядок,— бросил я дежурную фразу, когда поднимались на лифте,— не обращай внимания.

Но это мягко было сказано — квартира представляла собой вопиющее безобразие. Неубранная, скомканная постель; старые носки посреди комнаты; банка с квасом, в шафрановой мути которого плавали бледно-зеленые лепешки плесени, похожие на миниатюрные листья или цветы тропических болот; журнал, валяющийся на полу возле кровати; чашка со следами высохшего чая. Черт знает что! И так-то я никогда не отличался аккуратностью, но то, что я увидел в тот день глазами Марии, заставило меня содрогнуться от жгучего стыда.

Мои оправдания, впрочем, никак не подействовали на гостью, будто она ничего не увидела, занятая только собой. Села возле открытого мною окна, из которого вместо свежего воздуха плавно и таинственно вплыли в комнату тополиные пушинки.

Она давно перестала стыдиться меня, и, когда я поцеловал ее в плечо, рыже-крапчатая кожа которого была солоноватой на вкус, она вздрогнула и, словно бы придя в себя, сказала с мольбой в голосе:

— Ты лучше не подходи ко мне. Я плохая, Васенька! Нет ли у тебя холодной воды?

Я достал лед, который всегда держал в холодильнике, налил в стакан воды из-под крана и бросил туда два кусочка.

— Все, что есть,— сказал, подавая ей стакан с прозрачными ледышками.— Погоди немножко, пусть охладится.

Но она не послушала и выпила воду, а лед разгрызла и съела.

— Дай еще кусочек,— попросила она.

— Горло застудишь... Нельзя в такую жару. Заболеешь.

Она посмотрела на меня с жалобой во взгляде и вдруг зарыдала. Мне и самому с трудом удалось сдержать слезы, но Марию я успокаивать не стал, дожидаясь, когда она выплачется. В голову лезли всякие страхи, и я боялся, что опасения мои подтвердятся, как только Мария расскажет о своей беде.

Лед я ей все-таки принес, и она стала его грызть, делая это с безумоватой отрешенностью, как будто нутро ее горело огнем; зубы у нее были прочные — лед хрустел на них, как сахар, а из глаз лились и лились слезы. Я смотрел на нее, и улыбка появилась у меня на лице, потому что и в самом деле смешно было видеть ее плачущей и грызущей лед. Мария и сама вскоре улыбнулась сквозь слезы, утерла распухший нос, свою картофелинку, порозовевшую от плача.

— Ну так что же случилось с тобой? — спросил я. — Расскажи, пожалуйста. Кстати, в прошлый раз я забыл спросить... Помнишь, ты встала и вышла, когда он сказал про курицу, которая запела петухом... Какая кошка пробежала?

— А! — отмахнулась она. — Мелочи жизни!

— И все-таки?

— Язык мой, господи! Услышал, как я рассказывала про его лазер, рассердился... Он не велел никому рассказывать, как будто я могу открыть какую-нибудь тайну... Все это мелочи, Васенька. Я, конечно, слишком болтлива, он терпеть не может эту черту во мне. Но ведь имею же я право гордиться мужем? Господи! — жалобно воскликнула она, хлопнув носом. — Теперь все кончено! Теперь я ни на что не имею права. Я гибну, Васенька! Ты один только можешь пожалеть меня.

— Почему же именно жалеть? Я не вижу причины жалеть тебя. Ты плачешь, мне тебя жалко. Но ты ничего не хочешь сказать. Только вздыхаешь, жалуешься, а ничего толком не говоришь. Что за беда с тобой приключилась? Скажи.

Она вздохнула, грудь ее поднялась и опустилась в глубоком этом вздохе, руки упали на колени, глаза, вперившись в меня, осветились неживым ртутным блеском.

— Думаешь, это так легко — сказать? — спросила она чуть ли не с упреком и злостью.

Меня всегда поражала ее непосредственность, граничащая порой с полной неспособностью отдавать отчет в своих поступках, но я прощал ее, и мне даже нравилась в ней эта бесшабашность. Но в тот день неприятно было слышать в ее голосочке злой упрек, будто пытался выведать ее тайну я, а не сама она хотела облегчить страдания исповедью. Она и раньше испытывала страстную потребность в исповеди, доверяя мне любовные свои увлечения, то есть мучая меня такими подробностями, что невольно приходила мысль, будто я имею дело с отчаянной эротоманкой, наслаждающейся нравственным падением, рассказ о котором доставляет ей не меньшее удовольствие, чем сами поступки.

— Как хочешь, — сказал я, пожимая плечами. — Если так трудно... Мне твой рассказ... Сама пойми, зачем мне?

— Ну хорошо, хорошо! Не сердись! — раздраженно сказала Мария, будто в конце концов я уломал ее; я даже усмехнулся, покачал головой в знак удивления, но она не обратила на это никакого внимания, потому что опять была далеко от меня. — Представь себе, Васенька, — со вздохом сказала она, — чудесный майский вечер... У меня, между прочим, разболелись зубы от твоего льда. Хорош кавалер! Ледышками накормил. — Она смотрела на меня, и я понял, что Мария уже переменяла свой взгляд на беду, только что мучавшую ее; улыбалась под солнышком и ласково поблескивала бегучей водицей привычная серость, которая в палево-рыжем окружении казалась голубой, как небо в желтых листьях клена. Вся она опять светилась и была так красива, так естественна и приманчива, что я простил ей все былые и будущие прегрешения, кинулся к ней и стал целовать. А она как будто только и ждала этого...

— Нет, ты все-таки представить себе не можешь, какой это дикий дурак! — говорила она, восхищенно глядя на меня, но не видя



ничего перед собой, кроме воображаемого «дурака», о котором не успела рассказать мне.

— Черт с ним... Не хочу я ничего слышать.

— Нет, Васенька, ты послушай! Красив, как бог! Стою на тротуаре, на краешке, жду, когда можно перебежать улицу. Машины — одна за другой! И вдруг черная «Волга». «Садись», — говорит. Я говорю: «Мне никуда не нужно». А он: «Садись, садись». А я: ну и что, подумаешь! Села, а он меня спрашивает: «Не узнала?» Сразу, как старой знакомой. Я посмотрела. Ну просто красавец! Губы как у Давида, кудри, а взгляд — нет, Васенька, все-таки взгляд дурака это взгляд дурака, в нем все как на ладошке. Скрыть ничего невозможно. Я говорю: «А откуда вы меня знаете?» «Я живу, — говорит, — в одном с вами подъезде». «Неужели? И давно вы там живете?» Я, Васенька, почему-то очень испугалась, я подумала, что это провокация. А он засмеялся, говорит: «Ровно столько же, сколько и ты. И каждый день наблюдаю, как ты выходишь из подъезда и идешь на работу». Я говорю: «Вы шутите, конечно». «Нисколько! Тебе сейчас домой? Ну так вот поехали, я только, — говорит, — заеду в магазин, заказ возьму шефу. Надоело все, но приходится». И такое мне порассказал о своем шефе, которого он возит, такие пакости, такие пакости, что просто страшно. Он о своем шефе знает столько, что я на месте этого шефа боялась бы своего шофера... Мы подъехали к магазину, он мне велел сидеть, а сам ушел и вернулся с сумкой. Из сумки колбаса копченая, курьи ноги, хвост рыбий. «Во, — говорит, — на сорок с лишним дублонов... Икорка, балычок для моего мухомора». До чего ж он, Васенька, развратен! Ужас!

— Кто? — спросил я. — Мухомор?

— Нет, Саша этот. Его Сашей зовут. Молодой, а развращен до невозможности. Циник! Прислуживает, а сам издевается над хозяином, как лакей. Противно. Все его разговоры только о заказе, о шефе, о всяких фокусах... Все знает! Видит изнанку, грязное белье и плюет на это, но все равно работает, потому что и ему тоже перепадает. Квартину построил. Пригласил меня пиво чешское пить. А я подумала и согласилась. Если б ты видел, как он красив! Я не виновата, Васенька! Он такой искренний, взгляд телячий, ума никакого... Но, Васенька... что ж мне теперь делать? Он совсем меня свел с ума! Это добродушное животное. Он теперь заезжает за мной, катает на «Волге»... Я боюсь его и не могу отказать. Он такой самоуверенный, с ним невозможно спорить. Ты должен с ним поговорить. Ты не представляешь себе, как я несчастна! Я боюсь теперь собственного дома, я все время чувствую присутствие Саши, измучилась от страха, что все это рано или поздно откроется... А Станислав, ты знаешь, он не простит. Он современный человек, но он не простит, что я связалась с дураком. Он физически не может терпеть дураков. Ты, наверное, заметил. Мне он никогда не простит. А дурак этот такой наглый стал! Звонит чуть ли не каждый день. Если бы ты, Васенька, поговорил с ним! Я его очень боюсь. Он меня и не слушает. Я попала в жуткую историю, ты мне должен помочь. Я только на тебя теперь могу надеяться, кроме тебя, у меня нет друзей... Ты понимаешь, Васенька? Нет никого. А ты можешь, я знаю, ты можешь на него повлиять... Он тебя послушается, — говорила она, и в голосе ее я слышал капризные нотки, как будто он, невинную, несчастную жертву, шантажировал негодяй, а я этого не понимал.

— Ты просто чудо у меня из чудес! — сказал я в сердцах. — Ты хоть подумала о последствиях разговора с этим Сашей?

— А что? Какие последствия? Зачем ты меня пугаешь? — воскликнула она с новой тревогой, охватившей ее.

— Я не пугаю.

— А что же? Ты разве боишься? Я не понимаю! Почему ты не хочешь выручить меня? — спрашивала она с удивлением.

— Ну хорошо! Ты не понимаешь... Какую же роль определила ты мне в этой миссии? Я кто — твой дядя? Не отца же мне разыгрывать перед ним! Да и будет ли он вообще слушать меня?! Я что же — неживой совсем? Машина, что ли? Или рыба?

В тот душный день я и в самом деле чувствовал себя пойманной рыбой. Бессмысленность всего происходящего раздражала меня. Я никогда не считал себя трусливым человеком, но теперь мне трудно было доказать это Марии, которая отказ мой расценила бы только как трусость. Простодушие ее, коим всегда любовался я, распростерло свои щупальца слишком далеко, стало агрессивным; Мария пугала меня своей вопиющей наивностью, отсутствием всяких сдерживающих начал или хотя бы некоторой щепетильности, некоторого уважения ко мне. Она не чувствовала никакой вины и лишь боялась наказания, которое ей представлялось несправедливым и нелепым. Она вела себя так, будто некто незаслуженно обидел ее, а я, ее лучший друг, отказываю в защите и покровительстве. Я изнемогал от безумной сумятицы, какую она внесла в мою голову, и сам себе уже казался осторожным и трусливым ничтожеством. Хотя здравый смысл подсказывал, что это совсем не так и что просьба Марии безрассудна, как и все, что она натворила в маниакальной своей погоне за развлечениями.

— Ах Васенька! — со слезами пропела она. — Вот не ожидала! Я думала, я всегда считала, что ты не такой, как все. А ты... ты тоже только о себе. А я-то... Ну прости, прости, дорогой...

Немало сил пришлось затратить на то, чтобы разубедить Марию и вернуть доброе ее расположение: она плакала, я успокаивал ее, обещал сделать все, что она только захочет, клялся в преданности.

Расстались мы с ней друзьями — она даже квартиру принялась убирать, но разбила чашку, собрала осколки, сказала:

— Все из рук валится. — И ушла, поцеловав меня на прощанье.

Это был сумасшедший день в моей жизни. Поручение, которое я вопреки логике принял от Марии, нависло надо мной и ни на минуту не давало освобождения, словно я был приговорен к дуэли с неведомым противником. То оружие, какое вложила в мои руки Мария, было так непривычно и настолько чуждо мне, что я заранее знал о своем поражении и бесславном конце.

Но делать было нечего: согласие я дал, час назначен, и мне ничего не осталось как только попытаться у судьбы счастья. Жизнь, которая голубеньким лоскутком трепетала за пределами отпущенного мне времени, казалась мне бесконечно прекрасной. Я думал о ней, как думает обреченный человек о несбывшихся мечтах. Не надеясь на помилование, я оплакивал свою судьбину, в водоворот которой был так глупо вовлечен ненасытной своей страстью, чрезмерным поклонением рыжему идолу, не ведавшему ни жалости, ни истинной любви. В момент отчаяния я готов был столкнуть с пьедестала золотую эту бабу, но слабость доставляла мне еще больше мучений, я отметал ее с презрением и опять оставался один на один с бесцеремонным и грубым противником, который, конечно же, не пощадит меня.

Вспоминая теперь то прошлое противоборство с самим собой, я с грустью улыбаюсь: ничтожными кажутся мне все мои страдания, но гложут душу мольбы Марии о помощи. Знаю теперь, что не о помощи она взывала, а молила о пощаде, предчувствуя близкую кончину, которую так рано уготовил ей рок. Да только кто же мог подумать тогда, глядя на беззаботную пожирательницу жизни, что первый снег станет последним ее снегом, белым ее саваном, окрашенным мученической кровью.

А я не спал, я обдумывал каждое слово, каждый жест, я готовил себя для предстоящего поединка, понимая себя жертвой, принесенной на алтарь великой любви, хотя дело-то это не стоило выеденного яйца.

Как часто мы жалеем себя, свои нервишки, спасаем душу во имя высших порывов, которые якобы ждут нас впереди, мелочно спасаем сомнительный комфорт и покой, приобретенный праведными трудами; как оскорбленно мучаемся, если этот комфорт нарушается страждущим, просящим о помощи; как трудно отвлекаемся от высокой цели, куда направлены все наши помыслы, чтобы сделать всего лишь шаг навстречу погибающему! Сколько сомнений, сколько «за» и «против» будоражат нашу совесть, пока мы сделаем этот шаг, быть может, единственный верный в жизни шаг, который делает нас человеком и спасает от забвения!

Печально думать об этом, когда ничего уже нельзя поправить. День, на который вышла встреча, выдался, на мое счастье, дождливым и приятно прохладным. Воздух пропах мокрыми тополями, черный асфальт блестел, я шел ничего не видя и не слыша вокруг, и только прохлада бодрила меня.

В условленном месте остановился — это был задний двор гастронома, в котором я тоже когда-то что-то покупал. Асфальтированная площадка; внутренние, обшитые оцинкованной жстью двери магазина; женщина в белом халате, разговаривающая с шофером продуктовой машины; две «Волги», несколько «Жигулей» стояли тут и там. Я огляделся, но ни в одной из машин не увидел Марии, хотя время было мое. Она должна была именно в этот час окликнуть меня. Сердце бешено колотилось в груди, я понимал, что слова, которые я готовил для Саши, прозвучат не очень-то веско и убедительно, я скорей всего накричу на него, находясь в таком возбужденном состоянии, и, стараясь успокоиться, подумал, что обстановка заднего двора, мирный разговор шофера с женщиной, улыбки, играющие на их лицах, никак не располагали меня к агрессивности. Признаться, мне и самому не хотелось с кем бы то ни было ругаться в этот приятный свежий день, когда с неба невесомо летели крохотные капли дождя, едва заметно касаясь кожи лица; когда старые домики горбатого переулка туманились в отдалении, желтые и кирпично-красные их стены, покатые крыши акварельно таяли, размытые дождевой далью, и словно бы отдыхали, нежились во влажном воздухе, напоенном чуть ли не весенним запахом отсыревших тополей. Светофор на перекрестке ритмично мигал огнем, делая это с задумчивостью и сонливой забывчивостью старого человека, занятого праздным подсчетом пешеходов.

Я совсем уже было собрался сбежать со своего поста, прождав бесполезно около четверти часа, как вдруг с перекрестка, взвизгнув резиной, резко свернула направо и метнулась ко мне темно-вишневая «Волга», внутри которой я никак не ожидал увидеть Марию, ибо ждал машину черного цвета.

Но, к удивлению и отчаянию своему, увидел: она была весела, смеялась и, высунув руку из дверного оконца, шевелила пальчиками, приветствуя меня. Улыбался и шофер, глядя на меня через ветровое стекло. Он резко затормозил в полуметре, так что я даже почувал волну горячего воздуха, обдавшего меня запахом разогретого масла, услышал торопливый перестук клапанов под капотом, забрызганным грязью.

Оба они — и Мария и шофер — вышли из машины. Парень был толстоватый для красавца, курчавая голова на жирной шее, ярко-голубые улыбчивые глаза, женственные губы. Тьфу ты господи — Давид!

— Вот и мы! — озвучилась сияющая Мария. — Познакомься, это Саша, — сказала она как ни в чем не бывало. — Гнал сейчас!.. Думала, за нами погоня. Долго ждешь? Ты без зонтика! У тебя что же, зонтика нет? Ты промок? Что ж ты стоишь под дождем?!

Я ничего не понимал, и вид у меня, наверное, был глуповатый, потому что даже Саша, брэнча ключиками от машины, с ухмылкой оглядел меня с головы до ног, окропив васильковой синевой.

— Сухой твой Васенька, сухой,— сказал он сочным баритоном.— Не смущай человека.

Снисходительный тон и словечко это, прозвучавшее как гром среди ясного неба, привели меня в чувство, мне показалось вдруг, что я наконец-то все понял и что более дурацкого положения, чем то, в какое попал, не бывает: Мария за что-то жестоко посмеялась надо мною.

— Вот именно,— сказал я, ворочая шершавым языком,— не смущай.— Полость рта пересохла, как у диабетика, слова застревали и, корявые, были невняты и хриплы, мозг отказывался что-либо путное подсказать мне. Я прохрипел сквозь кашель: — Стою тут считаю пешеходов. Восемьдесят четыре за пятнадцать минут. Не много. Теперь вот вы, значит, восемьдесят шесть. Интересное занятие. Выйду на пенсию — займусь. А вы, я вижу,— сказал я, гневно взглянув на Марию,— весело проводите время?!

И вспомнил вдруг, как говорила когда-то Мария, что люди в давние времена учитывали ум лисицы; мысль эта обожгла сознание скрытым смыслом, словно я сделал открытие, значение которого еще не понял до конца. Лисица улыбнулась черными губами, выказала зубы в лукавой ухмылке, прищурила прозрачные злобные глаза. И сказала человеческим голосом:

— Ты все забыл, Васенька... Где твоя голова? О чем ты?

Саша нетерпеливо брякнул ключами, сунул их в карман облезлой кожаной куртки коричневого цвета. Такие коротенькие по пояс курточки носят, кажется, офицеры военно-воздушных сил. Такая курточка осталась несбывшейся мечтой моей юности. Вытертая до беледости на складках, она как будто бы тоже усмехнулась вместе со своим хозяином.

— Ты тут разберись,— сказала курточка,— где его голова, а я пока сбегаю за товаром.

Круглые ягодицы, обтянутые лоснящейся тканью, торопливо запрыгали мячиками. Походка у «Давида» была напористая, не знающая преград и препятствий: встретится — он перепрыгнет, юркнет в сторону лисицей и дойдет до цели, чего бы ни стоило это. Все его тело, налитое удачливой силой, было создано для стремительных бросков в случае надобности и ленивой полудремы в долгие часы безделья, когда темно-вишневая «Волга» с остывшим мотором мокла под дождем или грелась под солнцем, белела под снегом в ожидании хозяина — мухомора, как называл его синеглазый живчик.

— Поздравляю,— сказал я Марии и подумал, что оба они в чем-то похожи друг на друга, как дети одного сада.— Такая вот простокваша. Кажется, делать тут нечего мне.

— Но это нечестно, Васенька! — воскликнула она.— Ты обещал! Ты теперь видишь, какой это человек? Разве он послушает меня? Я очень боюсь... Ты пойми, пожалуйста, и не осуждай. Знаешь, что! Ты сделай так... Ты подружись. Постарайся, пожалуйста! А Стасику я скажу, что это твой друг. Он рвется в мой дом. Ему мало! Он хочет, господи! хочет, чтобы я открыла ему дверь. Он так это говорит, будто имеет право. Я боюсь разозлить, он способен на все. Ты понимаешь?!

— Понимаю. Спасибо за друга.

— Но что же мне делать, Васенька?! Ты хочешь моей гибели? Нет же? Скажи мне...

Рука ее легла мне на грудь, я увидел острый казанок за запястьем, белую косточку, бугорком выступающую под кожей. Косточка эта, делавшая руку Марии похожей на угловатую руку незрелой девочки, расслабила меня, словно бы именно в ней я увидел всю хрупкую непрочность рыжей женщины, и крепко прижал эту руку к своей груди.

— Что же я могу для тебя сделать? — спросил я с состраданием, которое вновь охватило меня при одном лишь прикосновении ее тепла к моему сердцу.

Я чувствовал ее тепло с необыкновенным удивлением, точно не рука, а что-то гораздо более значительное и действенное, как если бы это был солнечный лучик, согревало пульсирующую глубину грудной клетки. Мне было очень приятно ощущать этот живой огонь, растекающийся по телу.

— Что-нибудь! — слышал я стонущие звуки ее голоса. — Придумай, Васенька! Придумай хотя бы, что тебе нужна вобла, пообещай ему что-нибудь... Он угощал этой воблой, говорил, что может... Попроси! Пообещай редкую книгу... Детектив какой-нибудь. А потом, когда подружисься, объясни ему, пожалуйста, что так нельзя, что я не какая-нибудь... Он ничего не понимает! Ему все равно. Преследует! Разговаривает со мной так, как будто я обязана ему подчиняться. Я ненавижу его и боюсь. Мне иногда кричать от страха хочется. Проснусь среди ночи, вспомню, что он где-то спит неподалеку, и схожу с ума. Страшно сказать, но я даже смерти ему желаю... Думаю: вот хорошо, если бы разбилась, врезалась в какой-нибудь самосвал... Ты понимаешь, до чего дошло! Мне обязательно надо помочь, я одна не справлюсь. Слышишь, Васенька?!

Гулко хлопнула оцинкованная дверь, Мария вздрогнула, рука ее скользнула вниз. Саша с двумя пакетами в руках резво прыгнул через лужу и напористо, по-хозяйски зашагал к машине. Он заметно косолапил, точно в ногах у него катился послушный футбольный мяч. Радость и задор были в каждом его движении; здоровое тело играло на ходу всеми мускулами; глаза, когда он поднял их, ослепляли нас заоблачной синевой, засияли в солнечной улыбке самого хорошего человека на свете. Тугие губы пиявками плавали в змеящейся улыбке.

Передо мной был человек, готовый любого, кто только изъявит желание, заразить своим душистым, как черный хлеб, грубым здоровьем, своим простым, как жизнь, ощущением счастья пребывания на земле среди себе подобных. Но почему-то желания этого не возникло во мне, как если бы жизнь, не имеющая никакого смысла, только отталкивала от себя, будила в темных подвалах сознания пещерные страхи вперемешку со звериной, рычащей воблой.

Я поставил себя на место бедной Марии и ужаснулся: быть в объятиях этой жизнерадостной биомассы — что еще отвратительнее может предложить самое изощренное воображение?! Во мне, конечно, говорила страшная ревность, какую я никогда и не подозревал в себе, но все-таки разве это возможно, чтобы моя загадочная, туманно-золотистая Мария, из-за которой я претерпел в своей жизни столько страданий, познал столько блаженных минут, была покорна и безропотна, была распластанно-нежна в руках этого сгустка диковатой энергии, безумно направленной чьей-то злой волей к единственной цели: взять от жизни все, что только можно, все без остатка, захватить в бездонный свой живот...

— Ну как? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить. — Все в порядке? — В голосе своем я уловил веселые нотки.

— Еще бы! — ответил Саша. — А как же? У нас всегда порядок.

— Неужели всегда? — веселясь, спросил я, почему-то сразу поверив, что он именно так и думает.

— А как же?!

— Ну вот как хорошо! Позавидовать можно.

— Еще бы!

Я услышал заискивающий смех Марии; она во все глаза смотрела на Сашу, помогая ему размещать пакеты на заднем сиденье, подчиняясь с готовностью прислуги, боящейся хозяйского гнева.

— Не сюда,— говорил он строго.— Сюда сядет твой Васенька. Сколько еще пешеходов насчитал? — спросил он у меня и громко засмеялся.— Считал?

— Что? — переспросил я, не веря своим ушам.

— Считал пешеходов? Сколько еще протопало?

Нет, он не хотел обидеть меня: ему просто было очень весело, и он целиком отдавался этому веселью, питая свою массу необходимыми современному человеку положительными эмоциями, а масса эта наверняка вырабатывала в эти мгновения необходимые ей витамины, запускала их в дело, чтобы не оскудели силы.

— Считал, Сашенька, считал,— ответил я, пораженный,— но вот таких веселых, как ты, что-то не заметил.

— Еще бы! — воскликнул он с особой залихватостью в голосе, словно ему очень нравилось это многозначительное, многосмысленное сочетание простых словечек, похожее на междометие.

Веселье его объяснилось несколько позже, когда мы уже куда-то поехали: мухомор с семьей укатил отдыхать на море, заказы поручил еженедельно брать Саше, снабдив его деньгами, но для себя велел оставлять только икру в фирменных баночках, остальное приказал съесть Саше.

— Он у меня, знаешь, какой! Так посмотришь — хмырь хмырем. А душа есть. Провожал на вокзал,— рассказывал Саша, разогнав машину до ста километров,— провожал на вокзал... Приказ, говорит: жри все, что получишь, а теперь, говорит, просьба — пришлю телеграмму, не опоздай к поезду... Все наоборот! Там он приказать должен, а здесь попросить... А он наоборот! Ох мухомор... Поцеловал и говорит: «Иди». Жена его: «Сашенька, Сашенька...» Знала бы она!

Попутно он поругивал частников, мешавших ему маневрировать. Вел машину рискованно, но дело свое знал: ограничение скорости до шестидесяти в час словно бы не касалось его — видимо, надеялся на особые номерные знаки, наверняка известные инспекторам ГАИ.

— Везу, например, к бабам,— продолжал он с неизменной улыбкой.— А их у него три, кроме жены, конечно. Нет, вру! Две теперь только. Одна в Сокольниках, а другая недавно переехала в Теплый Стан. Хоть бы жили поблизости, а то в разных концах! Смешно. На совещание, говорит, в Теплый Стан. Ты, говорит, Сашок... Да что ж ты делаешь, гад! — выкрикивал он, бросая ногу на тормоз.— Видал, что делает?! — Но тут же успокаивался и опять улыбался.— Ты, говорит, Сашок, доверие вызываешь, жена тебе верит, ты ей почаше говори, сколько у нас заседаний всяких и совещаний. Вот тебе, говорит, четвертной. Что ж он гормоза-то так отрегулировал! — опять злился Саша.— Чужая машина! Я сейчас в отпуске. Взял в гараже... Старуха! Моя в капремонт. Ну вот... Еще бы! — говорю.— Я ей при всяком удобном случае. А она доверчивая, как курица. «Сашенька, Сашенька, вот тебе пирожок с мясом, сама пекла». Ох мухомор! Старый, а ходок тот еще! Два часа совещание, а то и три... А я тем временем еще четвертной.

Мария сидела с зацепневшей улыбкой, боясь оглянуться на меня.

— Туда, сюда, глядишь и шуршат... А как же! — весело рассказывал Саша.— Люди горопятся, такси нет, а я пожалуйста... Кому любовь, а кому это самое, кислород. Верно? Хоть бы собрать всех вместе, жен и этих баб! Посмотрел бы на мухомора!

За веселеньким этим разговором я и не заметил, как мы подкатили к дому Наварзиных.

— Ко мне, ко мне! — с неучывающим весельем приказывал Саша.— Пиво будем пить. «Золотой фазан». Из холодильника! Вобла есть... Э-э, Васенька! Ты брось... Я приглашаю... Отказов не терплю. Тут же в зубы и к стоматологу!

Кого-то он мне очень напоминал, разудалый этот Сашок, не зна-

ющий, куда девать свою молодую необузданную энергию. Опять он покати́л свой мяч-невидимку, а мы с Марией покорно, с измятыми, смущенными лицами поплелись за ним, мямля, как в том анекдоте: «Может быть, все-таки в реанимацию?» «В морг, в морг»... Неимоверным усилием воли я остановился и как можно решительнее сказал:

— Нет, Сашенька, я все-таки не пойду. У меня и времени нет на это... Да и пиво я не люблю... Золотое оно или серебряное... Не пойду.

Но услышал стонущий голос Марии, увидел побледневшее ее, осунувшееся лицо:

— Ну как же так?! Вместе так вместе. Я одна тоже... Нет, Васенька, я умоляю. пошли... Ты опять все забыл!

— А что пиво?! — чуть ли не вскричал наш весельчак. — Не любишь, не надо! У меня вон закуски сколько! Думаешь, жидкостей мало? Чего хочешь, то и пей. Отказов не принимаю. Все! Верно, Маш? Слушай... Твой дома? Может быть, пригласить? А? Чего ты боишься? — спросил он у побледневшей, обесцветившейся вдруг Марии, одичавший взгляд которой заострился и судорожно ударил блеснувшим наконечником в синие до невероятности глаза бесшабашного соседа.

— Нет! — шепотом крикнула Мария. — Отстань, я никуда не пойду! Если будешь еще...

Я ненавидел себя, присутствующего при этой позорной сцене, смотрел со стороны и презирал хилую свою улыбку, потупленный взгляд робкого свидетеля; словно обмерли, затаились в норках, как трусливые грызуны, все мои прежние представления о чести, совести, о мужском достоинстве, которое было раздавлено жизнерадостной, но тупой силой веселящегося человека. Я чувствовал панический страх, прокрававшийся в душу, как если бы непредсказуемая эта сила вытравила во мне волю к сопротивлению.

Что-то похожее на сон испытывал я, входя вместе с Марией в голубую кабину лифта, которая и прежде возносила меня на известный этаж, где собирались под сенью золотого леса завязтые интеллигенты. И эта же кабина, с таким же гудением мотора, с тем же беспрекословным усердием подняла меня на другой этаж и любезно предложила выйти, раздвинув голубые дверцы.

И я вышел. Поморщился, отдав должное обстоятельствам, втянувшим меня в неприглядную историю. А когда отворилась обитая искусственной кожей дверь квартиры, похожей на мою, я со вздохом обреченного шагнул в полутемную прихожую и услышал за собой клацающий звук такого же, как у меня, шестирублевого замка.

Впрочем, я успел подумать и о том еще, что поступком своим, который казался мне, конечно, жертвенным, выручаю из беды несчастную женщину, спасаю ее от хама, то есть иду, несмотря ни на что, к намеченной цели, изменив убеждениям, а это соответствует моим принципам, — все вроде бы складывается у меня не так уж и плохо. Размышляя так, я впитывал в себя кондитерский запах чужой квартиры. Даже пошутил, как полагается гостю:

— У тебя, Саша, конфетами пахнет. Любитель?

— Это нет! Не конфеты. Новый ковер! Что ты! Какие конфеты? А вообще — есть. Если хочешь... Ты алкоголик, что ли? Это алкоголик — хоп, конфеткой. А нам зачем? Верно, Маш?

— О боже мой! — простонала Мария.

— Два на три на пол кинул, а другой полтора на два на стену. А ты конфеты любишь? Есть. Сейчас разберемся. — говорил он уже на кухне, сваливая тяжелые пакеты и суетясь, как обычно суетятся хозяева в гаких неординарных случаях жизни. — Сейчас, — слышал я его голос. — все будет. Все! А как же?!

— Васенька, — шепнула мне полуживая Мария, — не оставляй меня. Под любым предлогом, ладно?! Ты слышишь?

Я кивнул ей и приложил палец к губам.

Скучно вспоминать о пустом временипрепровождении в гостях у Саши, еще скучнее рассказывать о том, как ступили мы на ковер «два на три», посмотрели на тот, что «полтора на два», отпробовали всяких яств и, собравшись с духом, поднялись из-за стола. Тут произошло некоторое замешательство: Саша явно хотел выпроводить меня и оставить Марию.

Я наконец взбесился. Со мной это бывает: рву пелену, застилающую душу, и, словно бы задыхаясь, хватаю ртом свежий воздух, который возвращает меня к жизни.

— Стоп,— сказал я, когда он силой стал удерживать Марию.— Ты, Сашок, большой кретин! Я достаточно понаблюдал за тобой и сделал выводы. Дела твои плохи, Сашок! Ты кретин,— говорил я так спокойно, что еле дышал.— Ты не учел малости. Твоего шефа я хорошо знаю... И если ты еще одним пальцем дотронешься, слышишь? дотронешься до этой женщины, если ты еще раз попробуешь шантажировать ее, твой шеф, или, как ты говоришь, мухомор, а заодно и его жена будут знать о тебе все.

Брезгливо-испуганная улыбка дрожала на лице обескураженного парня, пивяки змеились, вытянувшись поперек бледнеющего лица, глаза щурились и темнели. Я протянул руку и резко, неожиданно для самого себя, ударил его пальцами по щеке. Он не пошевелился, сморгнув, как слезу, эту пощечину. А мне уже было все равно. Я понес его со всем безрассудством, на какое был способен в эти отчаянные минуты.

— Ты сволочь и негодяй! — говорил я, задыхаясь.— Лакейская душонка! Я тебя убью, как комара, если ты еще раз...

— Ошибаешься, дядя,— сказал вдруг опомнившийся Сашка.— За оскорбление, знаешь... Это ведь как поглядеть... Освободи помещение! — закричал он благим матом и побежал зачем-то на кухню, загремел там чем-то железным.

Мы были уже возле двери, когда он, взбешенный, вылетел и со звериной злобой замахнулся на меня трехкилограммовой гантелью. Он, конечно, убил бы меня, если бы хватило мужества и решительности и если бы Мария не кинулась между нами, завизжав так громко, что визг ее услышан был в доме. Я тоже, увы, вел себя не лучшим образом и, вместо того чтобы выбежать из квартиры и рвануть на себя обезумевшую Марию, отпихнул ее и сделал шаг навстречу одичавшему Сашке.

— Не подходи! — услышал я сопящий его голос и — не знаю, животным, наверное, чувством — понял в это мгновение, что он боится больше, чем боюсь я... Боится не меня как такового, а тех последствий, какие ждут его в случае исполнения угрозы.— Убью! Не подходи!

— Ты все понял? — спросил я у него, не отдавая отчета, зачем мне это нужно.— Хорек! — сказал, как выплюнул в лицо, со всем презрением, на какое был способен. Все, что накопело, вложил я в это обидное слово: и ненависть к самому себе, и злость на Марию, втянувшую меня в эту историю, и презрение к торжествующей биомассе, трящейся передо мной с занесенной чугунной чушкой в руке.

Скучно и обидно все это вспоминать, потому что не так хотелось закончить дело, не криком и угрозами, а изящным укором, от которого поумнел бы, может быть, простодушный и наглый дурак, и не злобу затаил на меня, а проникся ко мне почтительным уважением. Но чего не было, того не было: все окончилось самым пошлым образом — хорошо еще бескровно, а то вспоминал бы сейчас всю эту свару, кабы остался в живых, с мучениями, равные которым трудно себе представить.



Когда Мария меня спросила, придя в себя, почему я сказал, что хорошо знаю его шефа, я усмехнулся, пожал плечами, ответил не задумываясь:

— Кто-то говорил про ум лисицы. Не помнишь?

— А-а-а! — протянула она с благодарностью. — Видишь! Ты мой рыцарь! Я всю жизнь буду гордиться. Неужели тебе не было страшно? — спрашивала она, как восторженная девочка, с ужасом в приглушенном голосочке. — Я себя укусила за палец, когда ты... Ты, наверно, не видел его лица?

А я и в самом деле не видел, будто передо мной тряслось нечто неопределенное, безликое, а потому и не очень страшное, ибо нет для меня ничего страшнее умного человеческого лица, охваченного благородным гневом.

— Забудем про это, — говорил я с наигранным хладнокровием и беспечностью, как будто мне ничего не стоило подойти к Сашке еще раз, когда он был в бешенстве, и назвать хорьком. — Забудь. И ничего не бойся. Дыши полной грудью! — У самого еще нервная дрожь не прошла, а уже играл приятную роль героя, забыв минуты постыдного малодушия и растерянности.

Слаб человек! Удалось одержать победу — подавай славу. Хоть маленькую, хоть какую-нибудь! Вынь да положь. А зачем и для чего? Особенно если, как в моем случае, победа эта одержана лишь над самим собой, а побежденный впустил в себя кроважидного хорька и еще больше озлобился. Победа — это когда стронешь в душе человека лед равнодушия, растопишь его добрым теплом и увидишь над полкой водой первую чайку. Запугать, унижить, ударить человека — это умели делать и полудикие наши пращурь. Не в славе бы купаться, а в слезах. Не гордиться собой, а оплакивать человека, погубленного злобой и ненавистью.

Одно лишь утешало меня, что не видел я человека в облике этого Сашки и не против разума шел, а поднялся на драку с чудовищной материей, растерявшей в своем развитии отличительные свойства человека.

Но вот что мучает меня до сих пор!.. Скрывал от себя, прятал на доньшко душевных подвалов, не выпускал на свет, как безобразного уродца, ехидный вопросец с подковырочкой, который упрямым ростком в солнечные мои дни пробивал чудодейственной силой асфальт захламленной памяти, ломая камень пушистой своей вершинкой, и сквозь трещины высовывался на свет зеленой загогулиной, напоминающей знак вопроса: скажи-ка, старче, чем это ты особенно отличался от той презренной биомассы, как ты обозвал синеглазого парня, пребывая в состоянии высокомерной гордыни? Чем это ты лучше его? Какие такие заслуги перед обществом давали тебе право возвышаться своим духом над ним? Не оба ли вы с ним хитрые лисицы, у которых рыльца в пуху?

Терпеть не могу этот вечный свой вопросец! И нет у меня ответа на него, да и не будет, наверное, никогда. Чем я лучше? Почему лучше? Кто сказал? По какому праву?

Попроси я наварзинских друзей, здравствующих и поныне, рас судить меня с этим Сашкой, вряд ли кто-нибудь из них отдал бы мне предпочтение. Вряд ли! Хмыкнули бы презрительно, начни я оправдываться и перечислять свои достоинства. Они не любили меня никогда, а за что — не знаю. Да и не хочу, откровенно говоря, знать! Пропади он пропадом, этот гнусный вопрос! Что за чушь лезет в голову! Сашка ли? Я ли? При чем тут мы, когда нет ни Марии, ни Станислава, которые одни только и вправе были бы осудить меня. Если бы я захотел суда! Вот именно — если бы захотел. А я не хочу. Идите к черту, не хочу о нем слышать и знать! К черту, к черту, к черту! Я сам себе судья!

Вредный сорняк, пробивающий асфальт, боится солнечных лучей, которые жгут его. Пусть он погибнет и не раздражает душу колючим своим упорством. Пусть его сожрут улитки и гусеницы, если он сладок для них. Пусть истопчут дети, не знающие душевных мучений.

Нет ответа! В путанице жизненных случаев, как в путанице трав, тянущихся к солнцу и дождю, нет такого, о котором можно было бы сказать, что это именно он причина следствия или что именно этой траве надо дать преимущественное право для роста, а та пусть гибнет... Все сплетено в жизни в тугой узел, который можно разрубить, а не распутать. Жизнь как белый цвет, белая дуга, вобравшая в себя радужное разноцветье. Все в ней едино и все многозначно.

В тот прохладный, дождливый денек, когда я вырвал Марию из рук негодая, ничто, однако, не омрачило мою душу — я торжествовал победу. Я был доволен собой, хотя и скрывал как мог от Марии свое самодовольство. Но мне льстило ее восхищение моей храбростью.

Впрочем, почувствовал я себя в безопасности только тогда, когда, еще не отдышавшись, очутился вместе с Марией за надежной дверью ее квартиры. Она не позволила мне уйти, боясь нашествия разозленного и опасного зверя, каким представлялся ей в воображении недавний «Давид», красавец и дурак, превратившийся в злобного, трусливого хама. Я же готов был сражаться до конца. Тем более что теперь со мной был сам Наварзин.

Он вышел навстречу в шелковом красном халате, вертикальные складки которого, подпоясанные тесемкой на талии, пылая, ниспадали до пола, до легких сандалий на босу ногу, — величественный и неожиданно смешной, как декоративный кесарь римской старины. Меня он никак не рассчитывал увидеть и смешался, нахмурился, хотел уйти, но передумал и выставил свою руку ладонью вверх.

— Алый цвет, — сказал он, — не дает лениться мозгу. Не ждал, но рад, — добавил, кладя руку на мою спину и легонько подталкивая в комнату. — Кофе? — спросил Наварзин.

— Кофе, — ответил я. — Если не составит труда. Извините, ради бога.

— Сейчас будет кофе..

Мария прижалась на мгновение к лоснящемуся шелку на его груди, он мимолетным движением руки коснулся палевых ее волос и удалился на кухню, погасив алую зарю в комнате, прошелестевшую ветреным шепотом шелка. В померкшей комнате впору было включать электричество — летние сумерки прокрались в ее углы.

Я в блаженстве опустил в глубокое кресло и, укрощая дыхание, глубоко вздохнул, закрыл глаза и улыбнулся. Как же я любил в эти мгновения празднично-яркого, сдержанного в своих эмоциях, спокойного человека, которого впервые увидел в безумно алом халате! Как я завидовал ему, не знающему страха и, по всей вероятности, не испытывавшего неуважительного, панибратского к себе отношения. Почему я совсем не похож на него? Мне бы хоть капельку его выдержки, его комфортного, притягательного благородства. Как просто он сказал: «Алый цвет не дает лениться мозгу». Халат и он — несовместимы! Но почему-то именно в триумфаторской этой алости Наварзин явился мне человеком со всеми своими слабостями и причудами, понятный и чуточку смешной, близкий...

Я готов был признаться в дружеском расположении, в любви к нему и, как Мария, прикоснуться щекой к шелковой его груди.

Но как же я жалел его в блаженные эти минуты — ничего не видящего и не слышащего, обманутого мудреца, доверчивого в пингвиньей своей отрешенности от житейских склок громадного общезжития, замкнутого в себе и занятого ему только одному понятной идеей поклонения машине. Я расслабленно думал о своем ничтожестве и наслаждался, казня себя и каясь, вымаливая прощения у На-

варзина, который, наверно, считал меня искренним другом Марии, а стало быть, и своим. Мне казалось, что я наконец-то понял его и что все мои прежние домыслы о нем как о человеке, отрицавшем устоявшиеся привычки людей, в том числе и привычку семейной верности, все эти мои плюгавые мыслишки обернулись позором и жгли мне совесть, и я в ожидании крепкого кофе, который варил для меня сам Наварзин, клял свои низменные страсти, купался в этом самобичевании, хотя и знал наперед, предчувствуя особенную нежность Марии, таинственную ее улыбку, ее любовь, предназначенную только мне, рышарю и сообщнику в ее заговоре против всех негодяев в мире.

А она, бедняжка, натерпевшись таких унижительных страхов, явилась вдруг ко мне, в мои мечтательные сумерки, бесшумно села напротив, утонув в объятиях кресла, и с молчаливой улыбкой не мигая смотрела на меня в ласковой задумчивости, как смотрят на добрую и послушную собаку, не мешающую жить. Ни ей, ни мне не нужны были слова — мы все понимали без них, и, кажется, нам обоим нравилась такая запретная, беспокойная жизнь. Мария была бесконечно счастлива и любовалась мною, а я позволял ей это, как если бы и в самом деле был собакой, шерсть которой гладила своей душистой рукой хозяйка.

Кофе в доме Наварзиных варился по-турецки, но подавался в больших чашках; комната пропитывалась кофейным ароматом, звонком серебряных ложечек и приятным благополучием. Это было как раз то, чего мне так не хватало в течение последних дней.

Лампы по просьбе Марии не стали зажигать. Небо за окном, затянутое сиреневым июньским ненастьем, светилось на закате лиловым перламутром. Полированная поверхность журнального столика отражала этот призрачный свет. Глаза Марии блестели на потемневшем, лоснящемся в сумерках лице, как глаза черноокой смуглой цыганки. Я не сводил с нее своих глаз, которые тоже, наверно, возбужденно блестели отраженным светом вечернего неба. Шелковые складки халата отливали густым багрянцем, Наварзин неподвижно сидел в углу, задумчиво держа чашку возле подбородка, и изредка прикасался губами к ее краешку, словно молитвенно целуя крепкий и вкусный напиток.

Кто-то должен был нарушить затянувшееся молчание и ту московскую тишину влажного вечера, в которую вплеталось множество роящихся звуков, создающих стройный гул из шума моторов и человеческих голосов, похожих на крики птиц.

И как ни странно, это сделал Наварзин.

— Я живу под впечатлением сна... А может быть, и не сна,— сказал он с обычным своим гудящим безразличием в голосе.— Много работы, мозг устал, выдал причудливую картину, но вот что любопытно...

Я внимательно прислушался, потому что ни разу не видел Наварзина, рассказывающего сон, но услышал его глубокий, почти бесшумный вздох, словно он усомнился вдруг, надо ли рассказывать.

— Но вот что любопытно,— повторил он из потемок.— Я не давал мозгу никакой программы. Гиацинт, любимец Аполлона... Я ничего не могу понять. Гипербола? А что такое гипербола? Это прямая линия от пересечения конуса по оси плоскости... Или риторическая фигура? Да... Все это любопытно. Мальчик Гиацинт... Я помню, его звали Гиацинтом.

Глаза Марии выпуклыми, полированными камушками вперились в багряно-черные очертания мужа.

— Ну и что? — взволнованным шепотом спросила она, тоже, как и я, удивленная открытиями Наварзина.

— Ну и что,— повторил он задумчиво.— Аполлон разгневался, убил Гиацинта и превратил в цветок. Но, может быть я видел Аполлона до гнева, пока он еще любил Гиацинта? Это я про легенду

Мальчик был живой. Или подросток, светлый и очень... Он весь как на пружинках. Очень избалованный. Я это знал, когда видел его. Но кто отец? Все-таки не Аполлон, потому что, во-первых, Аполлон не отец Гиацинта, а во-вторых, он был в годах, у него была курчавая, в кольцах борода, на нем была тога и сандалии. А мальчик строен и гибок, как юный тореадор. Каменный сад... Стена из неотесанного, дикого камня... Дворец... И всюду каменный плющ, всюду камни, руины античных изваяний и даже деревья и другие растения каменные. Пространство замкнутое, но и бесконечное, обозримое, но и распостертое во времени. Все это я знал как данность. Свет, например, не солнечный, но и не искусственный. Типичная ситуация сновидения. И вдруг, как на дисплее, передо мной притчевая сцена. Господин, то есть отец, посылает раба, а он появляется среди камней, огромный и полуобнаженный, покорный, как собака,— отец посылает раба за сыном, который играет на лужайке среди освещенных каменных растений. В руке у мальчика тросточка или что-то в этом роде. «Тебя зовет отец»,— говорит раб. Но в ответ увлеченный игрой мальчик, то есть Гиацинт, с гневом набрасывается на раба и что-то грубое говорит о нем, о своем отце. Тогда раб бьет его по щеке и говорит: «Это от имени вашего отца». «Ах, ты так!»— кричит мальчик и замахивается тростью. Но раб изловчился, схватил трость и сломал ее. «Это я от имени вашего отца делаю». Мальчик взбешен и бежит, прыгая через камни, к дому, грозя убить раба. «Я тебя убью!»— кричит он, а раб понимает, что он побегал за оружием, спешит к своему господину, который стоит возле ступеней дворца торжественный, как римская скульптура. «Хозяин!— кричит раб.— Сын дурно говорил о вас, и я дал ему за это пощечину от вашего имени». «Ты предан мне»,— властно говорит патриций. А раб сгибается в поклоне: «Ваш покорный слуга,— и продолжает:— Он поднял на меня трость, но я сломал от вашего имени и трость». Патриций торжественно кивает головой, довольный поведением раба. И — поощрительно: «Ты предан мне безмерно»,— и даже руку поднял, как будто благословлял раба, который опять: «Ваш покорный слуга. Но, господин, ваш сын побегал за оружием и хочет меня убить». Тогда патриций кладет ему руку на голову и веющим голосом произносит: «Ты предан мне! Умри».

Наварзин умолк и в тишине, наступившей в полутемной комнате, прикоснулся губами к остывшему кофе; я понял, что у него дрожат руки — раздался чуть слышный щелчок зуба, ударившегося о фарфор.

— Это чудо,— прошептала Мария.— Это не сон, нет...

Я сидел бездыханно и благодарил провидение, что электричество в комнате не включено,— чувствовал я себя расплющенным, почему-то приняв на себя загадочный смысл притчи.

— Да,— выдавил я,— это что-то очень интересное. Типичная притча с троекратным усилением.

— Вот именно,— бесстрастно проговорил Наварзин.— Именно притча, и притом классическая.— И он повторил ее, сделав как бы выжимку:

«Сын дерзко говорил о вас, я ему дал пощечину от вашего имени».

«Ты предан мне».

«Он поднял трость, я от вашего имени сломал и трость».

«Ты предан мне безмерно».

«Но он побегал за оружием и хочет меня убить».

«Ты предан мне. Умри».

Мария опять шепотом сказала:

— По-моему, это чудо. Или ты слышал или читал что-нибудь подобное? Я не могу поверить! Что это?

— Да,— мрачно сказал Наварзин.— Меня странно мучает эта информация, ее железная логика: «Ты предан мне. Ты предан мне без-

мерно. Ты предан мне. Умри». Не могу понять значения! Практического смысла притчи. Не могу найти, расшифровать. Ну хорошо: отец, раб, сын...

— Ну как же! — воскликнула Мария. — Все понятно. Ты предан мне, ты все правильно сделал, но дойди до края, умри во имя меня. Оскорбил моего сына моим именем. Ой, как это интересно! Да! Конечно! Я почти все понимаю... Почти все! Нельзя оскорблять сына именем отца! Это так понятно!

— Надо понять все до конца. Почти — я тоже понимаю. Мне не хватает особой точки зрения, чтобы заглянуть в глубину и редуцировать, низвести до полного понимания. Впрочем, все это, наверное, игра усталого мозга. Он развлекался. В пересказе, кстати, все не так интересно, как наяву.

— Ты спал или не спал? — тихо спросила Мария. — Это очень важно. Что значит наяву?

— Спал и не спал, — ответил Наварзин. — В пересказе мешают эмоции, на дисплее — там математическая формула.

Мне очень хотелось перевести все в шутку, я начинал понимать, что Наварзин вовсе не имел в виду меня, рассказывая свой сон не сон, и, успокоившись, хотел что-нибудь смешное придумать — сидел и улыбался. Хотя и мне тоже показалась интересной эта логически строгая притча, я тоже, как ни напрягался, не мог заглянуть в темную глубину намертво сцепленного, связанного в узел иноказания. Наварзины же были так серьезны! Мария ахала и восхищалась, а муж ее, придавленный неразрешенной задачей, пребывал в полном изнеможении, измучившись в напрасных догадках, — только это и оттаивало меня от шутки: я не мог разрушить таинственный мир, царивший в их душах, и лишь улыбался, любясь Наварзинскими, которым было уже не до меня.

Я раскланялся, попросил не провожать и через час был в лесу на пути к своей деревне, шагал по глинистой, скользкой дороге, в колеях которой покоились во тьме лужи, отражавшие светлое небо короткой, душистой и очень простой, немудреной июньской ночи.

Мог ли я подумать тогда, что таинственная притча или, как я полагал, бредовая заумь перетрудившегося Наварзина не раз еще ляжет холодным камнем на сердце!

Мятущаяся душа Марии приводила меня в отчаяние. Я перестал искать с ней встреч, но она находила меня сама, и когда врывается ко мне с радостным недоумением на лице, я старался все сделать для того, чтобы ей было хорошо у меня. Я угощал ее чаем, который она всегда хвалила, считая, что я великий специалист по заварке; терпеливо выслушивал жалобы на жизнь, наблюдая с необычной для себя трезвостью за ее манерой рассказывать, и частенько ловил себя на мысли, что мне не нравится вычурная ее манера с изысканными, заученными приемами лицедейства, которыми она оснащала всякую свою речь, касалось ли это чая, магазинов, науки, людской неблагодарности, человеческих страстей или пресловутых проблем молодежи, коими занимались во все времена все народы, не продвинув их ни на йоту за многовековую историю цивилизации. Я, к счастью, хорошо понимал бесполезность всевозможных нравоучений и выслушивал Марию со спокойствием любомудрого исповедника, задавая ей лишь уточняющие или наводящие вопросы. Не скажу, что все мне было интересно, но кое-что волновало и меня, потому что Мария касалась иногда очень острых ситуаций, беря на себя порой непосильный умственный труд.

С улыбкой вспоминаю я, например, как она с неизменным своим жеманством серьезно говорила мне о манной каше, которая, как я успел заметить, обозначала в доме Наварзинских все надоевшее, изжившее себя и вызывающее одно лишь отвращение.

— Люди с детства видят и слышат по телеку... Ты, Васенька, знаешь их... Что-нибудь разоблачительное, какой-нибудь безобразный образ жизни в Америке или где-нибудь на Западе... Сколько лет подряд с детства до усов одно и то же: это плохо, это еще хуже, это никуда не годится, а уж это и вовсе из ряда вон. То хиппи, то наркоманы, то воры, то бог знает что... Пишут об этом в газетах, говорят по радио... Все плохо, плохо, ужасно! И ничего хорошего. Нигде. Все хорошо только у нас. Уговаривают, уговаривают. А вот если бы мне с детства говорили — родители, бабушки, тетки всякие,— что манная каша очень плохая, что ее нельзя есть, что от манной каши человек становится неуправляемым, что она разъедает душу и все на свете губит, я еще не знаю, как бы я к этому отнеслась! О сигаретах говорили бы, что они очень полезные, что человек от них становится умнее и живет до ста лет. Ну допустим! Не улыбайся, я вполне серьезно... Я, может быть, и курила бы, но без всякого удовольствия, а манную кашу мне хотелось бы попробовать. Я бы тайком ела манную кашу.

Мария не выдерживала серьезного тона и раздражалась смехом, который, как это ни странно, был всегда у нее неестественным, напоминающим визгливый вопль. Соседи за стенкой, если до них доносился ее смех, вполне могли подумать, что у меня в квартире происходит что-то ужасное. Мария, кстати, и сама, вероятно, знала об этом своем недостатке и смеялась только в минуты нервного перевозбуждения, когда уже не в силах была владеть собой.

— Ну перестань,— мягко и очень вежливо просил я ее, боясь обидеть,— ну что тут смешного? Я тебя с интересом слушаю. Ну перестань, пожалуйста!

Она успокаивалась и, покрасневшись, просила сигарету.

— Ты разлюбил меня, Васенька, да? — спрашивала она, щурясь от дыма.— Ответь мне, пожалуйста, разлюбил? Тебе со мной плохо?

— А тебе хочется меня помучить? — вопросом отвечал я на вопрос и с наигранной грустью добавлял: — Безнадежная любовь! Я с тобой превратился в отшельника. Стал бояться женщин. Соблазна. Холостой мужчина моих лет... Но я все отвергаю! Ради тебя. Ты меня когда-то, помнишь, спросила: разве тебе этого мало? Вот и я тебя спрашиваю.

Она внимательно смотрела мне в глаза и, все понимая по-своему, вскидывала вдруг с голубиной опаской головку, словно в вышине неба тень ястреба затмевала солнце, и быстро говорила мне с внезапными слезами в улыбающихся глазах:

— Ты не умеешь врать, Васенька. За это я тебя очень люблю. Я почему-то очень люблю дурачков.

Шуточки ее, надо сказать, тоже бывали не первого сорта, особенно если она перевозбуждалась.

— А что ты там про манную кашу хотела сказать? Ела бы тайком, да? Манную кашу на молоке с ванилью... Я не совсем тебя понимаю. Манная каша — это...

— Не понимаешь и не надо. Я ведь не про манную кашу! Ты не видишь молодежь, не знаешь, а я знаю и пока еще, надеюсь, очень хорошо ее чувствую. Мне хочется кому-нибудь подсказать, что надо делать... Но даже ты, Васенька, даже ты смеешься. Думаешь, что я злопахательница и говорю глупости. Я же вижу тебя насквозь!

— Ты напрасно так думаешь,— возражал я ей.— Я очень серьезно отношусь к твоим словам и никогда не смеюсь. У тебя сегодня, наверно, трудный день, ты нервничаешь. Успокойся. Я тебя слушаю.

— Я не про манную кашу, Васенька! — говорила она дрожащим голосом.— Пойми ты наконец!

— Конечно! Но что же, по-твоему, надо делать, что ты можешь подсказать? Это интересно!

— А то,— отвечала она с полудетской капризной ужимкой на плачущем лице,— а то, что надо показывать не только отрицательные стороны! Что ж, по-твоему, в Америке нет симпатичных и умных ребят? Надо показать, как они живут, о чем думают, чтобы наши мальчики тоже знали: хорошие люди есть везде. Ругают, ругают: джаз на уме, диски.— как будто в этом дело! Если Борька какой-нибудь у нас Боб, то тоже ругают. А почему он Боб? Или Дик. например... Вот ты улыбнешься опять, а я тебе все равно опять скажу: люди когда-то учитывали ум лисицы... А мы разучились совсем. Совсем разучились! Сам подумай: если он Боб и ему это нравится, значит, он, у него... Нет, Васенька, ты прав... У меня сегодня трудный день. Я ничего не сумею объяснить. Но что-то надо делать! Так больше жить нельзя... Если этот Боб хочет подражать американцам, пусть подражает, но дайте ему хороший пример, а не плохой. А мы только усугубляем... Развращаем наших мальчиков. Они же глупые еще! А пускай задумаются. Надо показывать, понимаешь меня? Если уж они хотят... Показывать, как работают американцы... Хотя бы! Что ж они, плохо работают? Хорошо. Пусть наши поучатся. А то показывают, будто они все там бездельники. Дураки наши и думают, что так и надо... Разве я не права?

Я вздыхал с многозначительной и всезнающей улыбкой, как будто вдоль и поперек изездил всю Америку, посмотрелся на заморские чудеса, а теперь удивлялся наивности некоторых наших поклонников заокеанской жизни и не хотел даже вступать в бесполезный спор с ними, жалел время.

— Конечно, ты во многом права, но надо учесть,— начал я снисходительно,— что и они тоже... Разве они показывают наши положительные стороны? Наоборот! Это же факт. Они вообще создали стереотип русского...

Мария со страдальческой жалостью посмотрела на меня и как ребенку сказала:

— Бог с ними, Васенька! Бог с ними! Зачем же нам соревноваться в злом умысле? Мы не должны этого делать! Если мы лучше их — тем более. Зачем же нам брать с них пример?! Пусть им будет стыдно,— говорила она, вытянув шею и приблизив ко мне свои губы, говорящие это, свои глаза, просветленные страдальческой улыбкой. Руки ее прикасались кончиками пальцев к моей груди, словно она выпрашивала у меня согласия или хотя бы понимания того, что она мне внушала.— Неужели так трудно быть лучше их? Мы должны быть великодушнее, чем они... Как же ты не понимаешь этого? Даже ты, Васенька! Зачем тогда жить? Ты говоришь, трудный день... А у кого он легкий? Разве у тебя легкие дни? Никогда не поверю. Но мужчины никак не могут понять: нельзя соревноваться в злом умысле. И женщины тоже. Но мужчины особенно... Пусть их говорят о нас все, что им хочется, пусть мешают с грязью. Нам за ними все равно не угнаться в этом зле. Мы ведь совсем другие!

Лицо ее было так близко, я так явственно чувствовал душноватое тепло воздушных порывистых толчков, исходящих изо рта, что не мог уже ни говорить, ни думать об Америке, которая далась же ей в этот день, на мое горе!

— Согласен,— зашептал я ей,— согласен. Мы совсем, совсем другие... Совсем...

Каждет, в тот день, если я не ошибаюсь, был сильный дождь, он рушился из темных небес, и с улицы не доносилось ни одного постороннего звука, кроме гудящего однозвучия ливня. А может быть, я ошибаюсь. И в памяти остался шум и плеск горячих водяных нитей, под которыми стояла Мария, окутанная паром, и звенящей в счастливом и стремительном падении воды, сквозь которую кожа ее казалась эмалированной и не такой уж белой на фоне запотевшего белого кафеля.

Я всегда удивлялся, как она могла терпеть огненно горячую воду, а она отвечала, что горячий душ снимает усталость и успокаивает нервы. Наверное, так оно и было, потому что она словно бы возрождалась всякий раз для новой жизни. Разгуливала в больших моих тапочках нагишом по квартире, шаркала ими по полу и, розово-умиротворяющая, задобренная и усталая, посматривала на меня с кокетливой укоризной, любуясь собой в моем очарованном взгляде. А потом долго и старательно расчесывала короткие свои волосы перед мутным от пара зеркалом, забыв наконец-то про всяких американцев.

Странная она была женщина. Даже сам Наварзин и тот как-то рассказывал, веселя гостей, хотя и говорил обычным своим бесцветным баритоном, что Мария, с которой они любили отдыхать в Прибалтике, не могла дважды пройти по одной и той же тропинке или дороге в лесу. «Мы уже ходили по этой, пошли по той», — говорила она. И ей не важно было, куда вела новая тропинка. Она избирала приблизительное направление и шла не сворачивая, хотя тропинка могла вести совсем не в ту сторону, куда нужно было прийти. Но это ее никогда не смущало. «Смотри, куда мы вышли! — говорила она. — Какая тут красота!» Из-за этой ее прихоти они часто опаздывали к обеду или к ужину, но это ее тоже не смущало. Наварзин всегда подчинялся ей, даже если они с трудом потом находили дорогу к своему временному жилью.

Я хорошо представлял себе эту пару в однообразных сосновых лесах Литвы или Эстонии, среди мягких мшистых увалов, когда вокруг одни только дымчато-желтые, залишаенные стволы, а иглистые ветви закрывают, как паутиной, небо, и всегда с улыбкой думал: легко ли было Наварзину уживаться с такой беспокойной женщиной?

Болезненные спазмы стискивают мою грудь, когда я вспоминаю о них, и всякий раз мучаюсь от запоздалого раскаяния, вытирая далеко не скупые, как говорится, а ставшие привычными жалкие, жиденькие слезы, тепло которых я даже не чувствую теперь кожей щек. Капнет одна на стол, капнет другая, заболит душа, в глазах зарябит, заискрится свет — значит, плачу. Вот и все.

Иногда спрашиваю себя в недоумении: неужели бывали в такие дни, когда я избегал встреч с Марией? Неужели она искала меня, а я... Нет, думаю, что-то я здесь путаю. Что-то забыл... Глупел, что ли, я по временам, если мог допустить такое? Не иначе глупел, делался дураком. Другой причины просто не вижу. Да и как еще можно объяснить эту тьму души?

Все понимаю. Признаю все свои странные прегрешения, приемлю самую злую хулу, ибо несправедно жил, а теперь, чуя близкую кончину, особенно остро чувствую это и даже прощения ни у кого не прошу, потому что не может мне быть прощения от людей. Знаю это и не боюсь умереть непрощенным. В бога я никогда не верил, в загробный мир тоже, но смерти все равно не боюсь. Чувствую, что заслужил ее — такую неприглядную, нечистую, не освященную слезами остающихся на земле. Положат меня в землю или сожгут — мне ровным счетом все равно. Я и не думаю об этом. Исчезну, как исчезали до меня сонмища безвестных жителей земли — людей, птиц, рыб, насекомых, растений.

Об одном только жалею, а оттого и плачу, что память о Марии уже выветрилась из сознания знавших ее. А если кто и вспомнит все, улыбнется, скажет: «Как же не помню!» А на лице при этом такое нарисуеться сальное выражение, что и слов никаких не надо — все без них понятно. Да и сам-то я лучше ли?

Горько до слез! И за нее обидно. Ушла из жизни, приняв напоследок горькие муки, бедняжка, а ничего не заслужила как только вот такое воспоминание о себе: распутница.



Нашли ее раздетую, со смертельными ножевыми ранами в подмосковном лесу на лыжне среди елочек и старых берез. Труп запошен был снегом.

Никаких следов не оставил дьявол, надругавшийся над моей Марией. Будь он проклят, проклят!

Я потерял дар речи, когда обезумевший, пепельный от горя Наварзин кое-как рассказал мне, сбиваясь и торопясь, про ее кончину. Он вцепился в мое плечо, и пальцы его окаменели... Я едва разжал мертвую эту хватку.

— Да, да, я тороплюсь,— говорил он, глядя мимо меня, как слепой.— Я... сеанс... сегодня... вчера тоже... Я не верю, нет... Наложение рук... Но — эмоции, эмоции! Меня мучают. Помните? «Ты предан мне. Умри...» Нужна ли была эта информация? Я тоже не знаю. Никто не знает! Этот господин... У меня нет никакой веры... Причем он уверяет, что мое биополе совпадает с его собственным... Не могу понять! Но он предлагает работать с ним вместе. Какая самоуверенность. Скажите на милость! Биополе ему понадобилось!

Он был крайне возбужден. А через четыре дня после нашего разговора, который происходил в опустевшей его квартире, Наварзин выбросился из окна.

Об этом узнал я тоже с опозданием и уж не помню теперь точный текст записки, которую оставил Наварзин. Кажется, так: «Он взял мое биополе. Жить не могу. Нет сил». Кто взял? Какое биополе?

Так никто и не узнал тайны.

Делались всякие предположения, и лишь одно из них показалось всем заслуживающим внимания. Я сказал, что, вероятнее всего, он ходил к экстрасенсу и тот ему что-то внушил, а Наварзин был в таком состоянии, что на него это очень подействовало, он воспринял все не так, как надо...

Сказать-то я сказал, но у меня из головы не выходила роковая фраза, которую он вспомнил в полубредовом своем рассказе: «Ты предан мне. Умри». Я не стал об этом никому говорить, потому что не сумел бы ничего толком объяснить, а только запутал бы людей, меня тоже сочли бы за сумасшедшего. О Наварзине так и думали, что он не перенес горя и сошел с ума, всем это было ясно как день. Мое предположение всколыхнуло умы наиболее впечатлительных, пошли разговоры, как круги по воде от камня, но вскоре поверхность жизни разгладилась, и об этом перестали вспоминать.

Все прошло. Я с грехом пополам доживаю свой век, забытый всеми навсегда. У меня оборвались как будто все связи с людьми, и только мой сосед, древний старик, всю жизнь проживший в деревне, заходит ко мне иногда... Сядет и сидит.

Спрашиваю:

— Как здоровье, Степаныч?

А он не расслышит с первого раза. Ответит, шамкая и глуповато улыбаясь:

— Какое здоровье в мои года... Земля пока держит, а потом лягу в землю. Куда денешься?

Пошевелит губами, помолчит, а потом добавит с кроткой усталой улыбкой:

— Так во всем мире устроено... Не только у нас. Везде так...

И жалко мне его до слез и смех берет... Ах, как плаксив и слаб я стал! Тут недавно расплакался, разрыдался и никак не могу успокоиться... Мелодию услышал. Грустную и очень красивую. И мужской голос пел... Так пел, что я... Слова такие трогательные и так они душу всколыхнули! Плачу и плачу...

«Увял и поблек мой цветочек...»

Конец.

Была еще тьма за окном, когда я закончил чтение печальной повести. Дождь, кажется, утих. В темном углу шуршала мышь. Собака дергала лапами: ей грезилось, что она кого-то догоняет, потому что брыли ее тоже вздрагивали и из глотки рвался чуть слышный стонущий писк.

В бока мне упирались пружинные бугры, но усталость взяла свое, я еще раз взглянул на собаку, зябко поежился, улыбнулся и уснул. Похоже, что снился мне приятный и легкий сон, очертания и звуки которого бесследно испарились, оставив лишь радость на сердце и неясную надежду.

В окошко светили косые лучи солнца. Они ложились на мои ноги под одеялом и согревали их. Возле моей головы настороженно и пристально вглядывались в меня соломенные, как у совы, пронизанные до дынышка светом глаза собаки. Наян терпеливо ждал моего пробуждения и, когда мы встретились взглядом, завилял хвостом, потянулся в нервной зевоте и полез ко мне, норовя лизнуть в лицо.

В доме царил ясный свет, воздух излучал праздничное сияние, как если бы не только солнце, но и еще один неведомый источник включился в торжественное освещение убогого жилища.

Я услышал чмокание и перестук капель с крыши, увидел посверкивающее их падение и понял, что ночью похолодало, вместо дождя полетел снег, который и укрыл землю. Бесчисленные ледяные звездочки, каждая из которых, преломляя солнечный свет и поблескивая желтым, алым, зеленым, синим лучиком, наполняла воздух этим радужным сиянием, и родили у всех живущих на земле ощущение великого события, происшедшего в мире.

Осенний этот снег, от которого, конечно же, не останется и следа, заразил и меня радостью. Это было не совсем понятно мне, потому что, казалось бы, печальная история, прочитанная ночью и закончившаяся на такой безысходной ноте, должна была повергнуть меня в уныние и заставить задуматься над бренностью жизни и всего сущего на земле. Казалось бы, ночуя в доме, в котором жил автор этой повести, чувствуя на себе пристальный взгляд собаки, которая с такой же преданностью недавно смотрела на бывшего своего хозяина, я должен был бы испытывать естественное в таких случаях смущение и даже некоторую робость, а то и вовсе мистический страх.

Но случилось нечто неожиданное. Тело мое налилось свежими силами; я был исполнен благодарности автору за правдивую исповедь, словно он своей искренностью вселил в меня веру в возможные перемены в моей жизни к лучшему; я любил его собаку и словно бы видел в глазах ее запечатленный образ незнакомого мне человека, одаренного любовью к женщине, созданной не для материнства и семейного благополучия, а истратившей себя в вечной погоне за ускользающими идеалами, смутные призраки которых мерещились ей там, где их не было. Я с нежной благодарностью думал об этом человеке, словно он излечил меня от опасной болезни, вернув к новой жизни, и очень жалел, что не могу пожать ему руку и высказать свое сочувствие. Почему-то я не сомневался, что повесть эта не вымышленная и в ней нет ни слова неправды.

Литературное сочинение вообще загадочная вещь. Порой самое печальное, самое, казалось бы, тоскующее слово несет людям таинственную радость, и они не устают из поколения в поколение любоваться страданиями человека, который жизнью своей и, может быть, даже гибелью отстоял в беспорядочном хаосе людского общежития высокое свое достоинство или свою любовь. В то время как самое жизнерадостное и счастливое слово, зовущее человека к свершениям и победам, оставляет людей равнодушными и даже раздражает их.

В чем тут секрет — не знаю. Но только повесть, которую я прочитал ночью, утолила мою жажду и укрепила дух.

Возможно, кто-нибудь и не согласится со мной, и даже наверняка отыщутся люди, которым эта повесть покажется не заслуживающей внимания. И это вовсе не будет означать, что недовольные повестью люди не обладают в достаточной степени эстетическим чувством или черствы и не отзывчивы по характеру, не способны к сопереживанию или сочувствию. Нет, конечно!

Но это не будет и означать, что повесть так плоха, что ее даже не стоило печатать.

Найдется немало благородных умов, которые смогут увидеть ее достоинства и заметить недостатки, от которых не избавлены даже профессиональные, известные, читаемые публикой писатели. Россия не оскудела умными сынами -- в этом я абсолютно уверен, а потому и предлагаю повесть для прочтения, ибо сам автор или не успел или не решился это сделать.



---

---

## ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ

★

### В ПУТИ

#### Комсомольская площадь

На одну только площадь — целых три великана-вокзала!  
Ярославский, Казанский да еще Ленинградский вокзал...  
Видно, всю свою ширь ты, Россия, теперь осознала,  
если каждый твой житель по странствиям затосковал!  
Мужики и старухи, крестьянки, девчата, солдаты...  
Как увижу их вместе — и сердце от боли замрет!  
И невольно воскликнешь: «Россия, родная, куда ты?..»  
И услышишь в ответ: «А вперед, голубочек, вперед!..»

\*.\*.\*

На уральскую землю однажды ступи,  
посмотри, как врываются в город бураны,  
как стучатся метели в оконные рамы,—  
и тогда ты поймешь, что живем мы в степи.  
Не найдешь ты просторов таких никогда —  
в них нетрудно пропасть, утонуть, затеряться!..  
Я люблю в этот край, в эту степь возвращаться,  
я люблю этот путь бесконечный сюда!..  
Лень свою просвещенную сбрось, пристыди,  
посмотри, сколько летом за городом неба,  
сколько здесь караваяв грядущего хлеба,—  
и тогда ты поймешь, что живем мы в степи.  
На ладони полынь разотри и вдохни,  
в горечь давних времен погружаясь все глубже,  
видишь, ветер гоняет колючку верблюжью,—  
сколько долгих веков в этой гонке они!..  
На Европу и Азию нас не дели...  
Здесь все дышит ковыльной спокойною Русью,  
сделал шаг — и уже с азиатскою грустью  
видишь те же кругом ковыли, ковыли...  
...И когда ты опять заскучаешь со мной:  
слишком долго молчу и люблю я угрюмо,  
слишком я сторонюсь многолюдного шума,—  
вот когда ты поймешь: человек я — степной!..

\*.\*.\*

...И вышел я в ночь, но спасенья  
от грусти себе не нашел,  
за городом ветер осенний  
сухим шелестит камышом.  
Далеко мой шаг отдается,  
разбитым ледком прозвенев,  
и светятся тускло болотца,  
от ужаса остекленев!



этой жизни могли мы учиться,  
были книги, но вьюгами в них  
изорвало, смешало страницы!..  
Ну а то, что наскоком, бегом  
в душу все же однажды запало,  
как уже выяснялось потом,  
с жизнью редко, увы, совпадало...  
В сердце прочно однажды легли  
вьюг уральских ночные рыдания,  
песни грустные русской земли...  
Это были надежные знанья!  
Нас, как будто волною взрывной,  
зацепила война запоздало —  
вместе с послевоенной страной  
наше бедное детство вставало.  
Строгий критик, нас верно

пойми:

как о том вспоминать  
не заплакав —  
навсегда мы остались детьми  
невеселых рабочих бараков...  
Все светлей и дороже теперь  
горечь та, что копилась годами:  
надышались мы пылью степей,  
заводскими густыми дымами.  
На прошедшее — нежно глядим,  
и вздыхаем, и слез не скрываем,  
как он сладок, отечества дым,  
мы-то знаем с тобою, мы знаем!..



---

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

★

## ВИТУШОК

Рассказ

**П**оследний раз Витушок пустил в ход топор, когда в дом к ним пришла Настасья, сестра Розы,— пришла попросить пять рублей до полочки. Витушок только что клянчил у жены деньги. Та не дала: нету. Витушок лежал на веранде на промасленных фуфайках, горел злобой и мезтью. Вдруг слышит — жена дает Настасье пятерку.

«А-а, мне не нашлось, а этой заразе — нате?!»

Только Настасья с крыльца, Витушок за ней с топором:

— Отдай пятерку!

Настасья не на шутку испугалась, за ворота — и бежать.

— А, мать твою размазь! — Витушок выскочил за ней и погнался по улице с топором. — Отдай пятерку!

Сначала нагонял, потом чувствует — уходит: Настасья баба здоровая, где там угнаться... И ударило в голову затмение — пустил за ней следом топор. Несколько раз топор кувыркнулся, и как раз, когда Настасья в обморочном страхе оглянулась, топор чиркнул ей острием по виску. Он именно чиркнул, а иначе бы — верная смерть. Настасья мазнула по голове ладонью, увидела кровь и закричала истошным криком. Закричала и упала в обморок. Витушок будто споткнулся, вытаращил глаза и остановился в отдалении, боясь подходить к Настасье ближе. Из дома выбежали соседи, окружили Настасью. Витушок покрылся липким потом — рубаха приклеилась к спине. И такой его тут прошиб страх, что, потеряв всякое соображение, пустился Витушок наутек. Прибежал домой, заперся в дровянике, заложив дверь ломом.

А Настасья полежала минуточку-другую, кто-то на нее водой брызнул — открыла глаза. Соседи вздохнули: жива...

Для жизни Витушка этот случай имел решающее последствие. Сколько он ни прятался в дровянике, пришлось в конце концов выйти оттуда, и вот когда он вышел, черный опухший, с фосфоресцирующими от страха глазами, тут-то его и взяла в оборот родня. Ультиматум был такой: если и на этот раз не согласишься лечиться, Настасья подает в суд. И припаяют тебе, голубчику, по меньшей мере, пять лет.

Смолоду ухаживал Витушок не за Розой, а за Настасьей. Старше Розы на два года, Настасья была дородна, высока, смешлива, от всей ее фигуры, от краснощекого тугого лица, от брызжущих весельем глаз, от размашистой и быстрой походки — от всего этого не то что парней, а мужиков прошибало ознобом. Витушок в те годы девок портит немало; с осанкой гордеца и забубенного хама, при рыжих, подкрученных на концах усах, в яловых сапогах, в которые с напус-

ком заправлял шевиотовые в полоску брюки, Витушок не мог уломать только одну девку — Настасью. Испробовав все, он привел к ней в дом сватов.

А та одно: нет.

Нет, нет и нет!

Витушок усмехнулся:

— Да я не к тебе свататься пришел. К Розе.

— Ну да?! — весело в лицо рассмеялась Настасья.

Вот так Витушок, забубенный парень и гуляка, не моргнув глазом стал мужем Розы.

Настасья вышла замуж чуть позже за Петра Кудейникова, двоюродного брата Витушка. Петр погиб во время войны — сгорел в танке на Курской дуге; осталась Настасья вдовой да так и прожила во вдовстве долгие годы...

В Челябинск повезла Витушка Роза. В те годы там только-только начали применять новый метод, после которого либо навсегда вылечивались, либо уходили туда, откуда нет возврата.

— Вы понимаете? — спросил врач.

Роза кивнула.

— А вы?

Витушок испугался, но кивнул согласно. А что делать? Пять лет сидеть не лучше. И вот кивнул. Хотя, как только услышал слова врача, покрылся испариной, а между лопаток потек тонкий, извилисто-горячий ручеек пота.

— Тогда распишитесь вот здесь. — Врач протянул бумагу Розе.

Она со страхом, и растерянностью, и болью сердечной поставила подпись.

— Теперь вы. — Врач протянул ручку Витушку.

Руки Витушка мелко дрожали: подпись получилась чужой, последние буквы фамилии «Уклеikin» уползли далеко вверх.

Витушок не любил вспоминать курс лечения. Когда там сделали это, то предупредили: выпьешь — ударит паралич. Или язык отнимется. Или слепота возьмет. В общем, какой-нибудь сюрприз в этом роде. Человек смел, когда пьет, а когда не пьет — он умный. К тому же Витушок понимал: если что — виноватых нет. Сам бумагу подписывал. Сам и виноват.

Тридцать с лишним лет Витушок пил. На пятьдесят третьем году началась у него новая жизнь.

Каждый день, приходя с работы, Витушок мрачно садился напротив телевизора и смотрел все передачи подряд. В иные моменты накатывала такая тоска, что из груди невольно вырывался стон. Витушок закрывал глаза, скрежетал зубами, лоб его покрывался липкой испариной. Сразу за этим наваливалась непреодолимая слабость. Витушок опрокидывался на кровать, которая стояла тут же рядом, отворачивался к стене, поджимал под себя ноги, как, наверное, делал только в детстве, и подолгу лежал так, с испугом, даже страхом ощущая, как сердце укатывается под горло, слабо вздрагивает там и готово вот-вот затихнуть навеки. Смерть витала рядом, над изголовьем, в то время как в телевизоре громко и властно продолжалась жизнь: шум, голоса, крики, стрельба, споры, музыка, любовь, смех. Он ненавидел эту жизнь. Он думал: сейчас бы немного, всего сто граммов, и все войдет в свою колею, мир заиграет, а душа оживет, но знал и другое, твердо знал, до смертного страха, что тогда конец точный... Стон ненависти, отчаяния и слабости вырывался из него, Витушок скрипел зубами, матерился шепотом, проклинал все на свете...

Раньше в этой комнате, где стоял телевизор, по вечерам сидела теща, бабка Матрена, она смотрела почти все передачи, в том были ее жизнь и отдых, а теперь Витушок вытеснил бабку. Она всегда-то



побаивалась его, хотя и презирала одновременно; пьяного побаивалась, а трезвого — боялась, трезвым Витушок был бешеный, мог укунить — так у него оскаливались зубы, когда он разговаривал с тещей. И вот теперь место у телевизора надолго забронировал Витушок. Бабка Матрена покорно сидела в малухе, в самой маленькой комнате в доме, где, собственно, и жила и где до сих пор висела люлька, в которой вынянчилась когда-то Марютка. Люльку эту бабка Матрена суеверно не снимала: когда-нибудь, верила она, в этой люльке будут пускать пузыри Марюткины голопузы.

Роза, жена Витушка, телевизор смотрела редко — хозяйство время забирало, — разве что художественные фильмы, где можно издаleка, будто с высоты какой-то или из неведомой глубины, взглянуть на чужую судьбу, посмотреть да послушать, какая она есть у других людей, а иной раз и всплакнуть над ней. Марюта, дочь, по вечерам редко бывала, так что телевизор смотрела тоже мало. И вот вышло так, что бабка Матрена отступилась, а Витушок прирос к экрану, потому что сам не знал, куда по вечерам девать себя от безделья, тоски и душевной смуты.

Что он там видел, что воспринимал — он и сам не знал. То смотрел, а то вдруг опять заваливался на кровать, стонал, скрипел зубами, ощущал над собой дыхание смерти, ненавидя смерть и боясь ее больше всего на свете. Когда пил — о смерти не думал, а трезвого в такое удушье и страх бросает, что поделаться с собой ничего не может, стонет, матерится, желваками играет...

Три месяца изо дня в день, из вечера в вечер сидел Витушок перед телевизором — сентябрь, октябрь и ноябрь. В декабре, незадолго до Нового года, показалось ему: еще немного — и сойдет с ума. Он встал, нахлобучил на себя шапку, накинул фуфайку и вышел во двор.

Снегу навалило по самые макушки изгороди, Витушок как будто не замечал этого прежде. Он постоял на крыльце, щурясь от яркого зимнего солнца, вдыхая полной грудью морозный свежий воздух, оглядывая вокруг дома и огороды соседей, оглядывая как бы с прикидкой, с потаенной мыслью. На самом деле ничего этого не было, кроме странного удивления: надо же, а снегу-то навалило, елки-палки...

Витушок сошел с крыльца, заметил рядом с дровяником широкую ухватистую лопату, и, чего давно не было, заныла у него внутри какая-то жилка по горячей добротной работе. Вразвалку, не спеша подошел он к лопате, поплевал на ладони, ухватился за черенок и, не скидывая фуфайки, начал споро, азартно раскидывать снег по сторонам. Поначалу открылась узкая полоса двора, затем она стала шириться. Витушок скинул фуфайку, забросил ее на перильца крыльца и взялся за дело еще горячей, азартней, чувствуя, как из-под шапки повалил парок, а по лбу покатались мелкие капли пота...

Из дома на крыльце выскочила Роза, удивленно — но только ли удивленно? — скосила глаза на мужа: последние долгие годы, какая бы работа ни была по хозяйству, Витушок знать ничего не хотел. Кое-как отработал день на стройке, потом пьянка — вот все, на что его хватало. Да и какая там работа на стройке — горе одно, сколько раз выгоняли, сколько раз она позже упрашивала: возьмите, ради Христа, обратно, ведь как-то жить надо, семья, хозяйство...

— Чего вылупилась? — грубо прикрикнул Витушок на жену, с досадой отбросил лопату в сторону и накинул на распаренные плечи фуфайку.

— Курам пшена вот подсыпаться...

— Курам пшена... — Он зло взглянул на нее, поднялся на крыльцо и, проходя мимо, пробурчал невнятно: — Носят тут... мать вашу размазать...

Мрачный, потухший, он разделся в сенцах и ползел к телевизору. У экрана сидела теща, как только увидала Витушка, так будто

ветром ее сдуло. Витушок зло, самодовольно усмехнулся. Он сел на край кровати, уставился в телевизор, после опять повалился на постель и вновь скрипел зубами от черной тоски...

Сережа Полигорбов приходил теперь в дом безбоязненно. Витушок не замечал будущего зятя. Может, даже не узнавал его. Пьяный, он видел всех; остро, цепко осматривал каждого злыми, настороженными глазами, словно искал, к чему бы такому придраться, и находил, и придирался, и топором не раз размахивал, и гостей из дому выставлял, и жену с тещей зимой на снег, на мороз выгонял. Одна только Марюта не пасовала перед ним: навесит ему пощечин справа налево, бутылку за окно, водку из стакана в помой да еще опалит ненавистью горящими глазами:

— Уклейкин, смотри у меня! Счас на пятнадцать суток загремишь!

Витушок пятнадцати суток не боялся. Не боялся, строго говоря, и Марютки, но пасовать перед дочерью у него была своя причина. В детстве, когда Марютке исполнилось три года, он, размахивая топором и гоняясь за женой по дому, так напугал дочь, что она потеряла дар речи, не говорила до шести лет, и вот это — то ли чувство вины, то ли страх перед дочерью, что она никогда не сможет простить его, — заставляло Витушка пасовать перед Марюткой, терпеть от нее любые притеснения и выходки.

Когда Сережа Полигорбов приходил к ним и Марюты не оказывалось дома, Витушок, казалось, вообще не мог понять, кто это такой появился. А когда Марюта была дома, Витушок уходил куда-нибудь во двор, принимался за первое попавшееся поделье. Сережа с Марютой работали на трубном заводе (после школы пробовали поступить в политехнический институт, не прошли по конкурсу), Сережа — слесарем, Марютка — контролером ОТК, и, кажется, не было теперь дня, чтобы они не встречались. Дело, конечно, шло к свадьбе... А Витушку было совершенно все равно. Он не обращал внимания на будущего зятя да и вряд ли вообще хотел знать его.

Весной, с первой оттепелью, Витушок отправился в лес. Сроду его за последние годы никуда не заманишь, а тут сам в лес навестился. Ходил он за Малаховую гору, в сосновый борок, где была у них когда-то делянка. Лес там в округе стоял хороший, не на дрова, нет, а настоящий строевой, истекающий крепкой запашистой смолой...

Походил в бору Витушок, похлопал сосны руками, покачал некоторые из них, с любовным затаенным чувством поглядывая на стройные шумящие вершинки. Посидел на пеньке, покурил, поуспомехался чему-то своему.

Тихо было в лесу, сыро, пахло талой землей и прелой густой хвоей.

Дом, в котором они жили сейчас, строился в нелегкие послевоенные годы. До этого ютились в крохотном, в одну комнату тещином доме: сама Матрена, дочери Настасья и Роза, Витушок, а впоследствии и рожившаяся Марютка. Когда-то в том доме командовал муж Матрены — Семен Иванович Гаврюшин, после войны он помер, за мужика-хозяина остался вроде Витушок. Да какой из него хозяин! Было время, приходил он в этот дом гоголем, разнаряженный, с браво подкрученными усами, в шевиотовом костюме, в начищенных сапогах; сватался к Настасье, а заполучил Розу — тоже было. А как Семен Иванович умер, Витушок не хозяином стал, а горем и исчадием дома. Пристыдить да приструнить его было некому — Семен Иванович, старик суровый, лежал в земле, а больше кто был указ для Витушка?

А жить надо было, от жизни никуда не денешься, и решила Роза,

как ни маялась с мужиком, строить собственный дом. В ту пору он представлялся хоромами — три-то комнаты, да кухня, да русская печь, да веранда, да подворье с сарайками и конюшней... Только, конечно, не рассчитала свои силы. Думала: так ли, этак ли, а муж одумается, втянет его стройка, образумит немного. Куда там! Плевать Витушок хотел и на дом будущий и на все затеянное строительство. Три раза бросала Роза стройку и три раза начинала вновь — спасибо сестра да мать помогли, не дали пасть духом, поддержали в трудные дни. Все вместе, втроем, копали траншеи под фундамент; годовалая Марютка тут же, рядом в песке возилась, строила песчаный город. А Витушок где был? Витушка по неделям дома не сыщешь, забубенный, гулевой уродился человек... Еще с того времени начала ворчать теща: «Плюнь, плюнь на окаянного! Прохвост, гуляка бесстыжий, тьфу!»

Да и в глаза это Витушку не раз говорила. Знала бы, что позже жить вместе придется, может, и не решилась бы. А так — говорила, да смело, хлестко. Только и Витушок не пасовал, в пьяном угаре он востер на язык был. «Жена — полчеловека, теща — не человек, кто это?» — загадывал загадку. Они молчали. А он отвечал: «Вы, вы это, дуры! Вот кто!»

Фундамент, правда, позже легче было выкладывать — Настасья, как и Витушок, на стройке работала, поначалу каменщицей, позже в бригадиры выбилась, а там и до мастера дошла. Это уж перед самой пенсией.

А как выложили фундамент, тут первая заминка получилась. Года на два, пожалуй. Без мужика бревенчатый дом никак не скатаешь, нет. А где мужика взять? Витушок не в счет. И вот тут, к счастью, у Настасьи ухажер появился, Георгий Ефремов, мужик в возрасте, но с самыми серьезными намерениями. Прикинул он, видно, так: чем быстрее Розин дом скатают, тем быстрее он станет хозяином в Настасьином доме. Прикинул не из особой корысти, а так, по-житейски, по-мужицки. Он-то и взялся за дело горячо, споро. Три брата у него было — Иван, Степан и Ефим; так мужики эти в одно лето дом скатали во время своих отпусков. Работающие мужики, крепкие, непьющие, у каждого большое семейство: по три-четыре парня или девки. Георгий хоть и старший среди них, самый степенный, самый рассудительный, а вот жил бобылем, не везло в жизни. Может, с Настасьей теперь сладится?..

Первым, на кого бросился с топором пьяный Витушок, был как раз Георгий. До этого Витушок за топор никогда не брался. Руки распускал, кулаками дрался, матерился, посуду бил, хозяйство крушил — такое случалось, а чтобы с топором на человека — нет, не бывало.

«К Настасье подбираешься?» — в пьяном угаре кричал Витушок и, держа в правой руке топор на взмахе, как чумной, надвигался на Георгия. То ли Витушок Настасью не мог забыть, то ли просто пьяная горячка на него накатила, но кричал он именно это: «К Настасье подбираешься?» — и наступал на Георгия, всерьез замахнувшись топором. Георгий трусом не был, но топор есть топор; Георгий побледнел как полотно и медленно, шаг за шагом, отступал от Витушка, впившись в его пьяные, дикие глаза серьезным, оценивающим, как бы гипнотизирующим взглядом. Спасла их обыкновенная метла: Витушка — от тюрьмы, Георгия — от смерти. Стояла она, прислоненная к столбу, и, когда Георгий отступал, она как литая ненароком вошла черенком в его ладонь. Георгий, будто с пикой, сделал резкий выпад вперед и вышиб топор из рук Витушка. Случилось это так стремительно, что Витушок и опомниться не успел, а дальше ему и вовсе соображать было некогда. Рассвирепев не на шутку, Георгий загнал Витушка в сарай и там долго бил метлой куда попало — сначала палкой, а после березовыми хлесткими прутьями. Исцарапал лицо Витушку так, буд-

то ездили по нему стальной бороной,— кровь полосами сочилась на лице и шее, как он ни защищался руками. Так раны позже и заживали — долгими царапинами-шрамами.

Однако после того случая как назло фортуна повернулась к Георгию боком. Витушок нередко в пьяном угаре кричал позже: «Вот! Вот оно! Кто на меня с мечом пойдет, тот от меча и погибнет!»

Покатилось бревно с верхнего венца — стропила воздвигали — да и ударило Георгия в голову; три дня он мучился в больнице, Настасья сидела рядом. Георгий ни слова не говорил, держал Настасью за руку, и в глазах его, в самых уголках, у переносицы, скупно поблескивали озерца слез. Нестерпимо жаль ему было умирать в сорок лет, полному сил, добра, энергии, а главное — навеки терять Настасью, которую, казалось, только нашел, и нашел навсегда...

Похоронили Георгия, а потом дом забросили еще надольше, чем прежде,— года на три. Кому им было заниматься? Матрена стала хворать, у Настасьи из рук все валилось: второй раз счастье ее миновало, и жидя она, как прежде, одна, больше и не помышляя о перемене судьбы.

Кое-как, потихоньку, по крупице Роза сама довела дело до конца. Крышу крыть наняла шабашников, окна застеклила самолично, и вот так, с горем пополам, на девятый год строительства переехали в новый дом. Он, конечно, едва годился для жилья: без русской печи, без настиленного пола, без оштукатуренных стен, без пристроенного сарая, без туалета,— а все-таки жить можно было. Жить и по капле доводить, достраивать, доделывать без чего совсем трудно было — без пола, например, или печи.

Теща, бабка Матрена, переехала вместе с Розой. Расчет был один: Настасья-то в собственном доме быстрее счастье найдет, авось какой мужик и присохнет к ней.

Нет, не присох. Да и не хотела больше никого и ничего Настасья...

А Витушок все пил, гулял, веселился. Тридцать с лишним лет прожил, как один день,— в чаду и угаре. Пока наконец не запустил топором в Настасью.

Огород копать Витушок вышел раньше всех; казалось бы, и земля еще не просохла, а он взял лопату и отправился в дальний угол огорода. Земли у них было немало — тринадцать соток, вся шла в основном под картошку, ну там, конечно, и свеклу сажали, и морковь, и лук, и огурцы, и помидоры, и редиску с редькой, и горох, и турнепс. Вдоль забора, естественно, тянулась малина, ближе к подворью — кусты смородины и крыжовника, несколько яблонь, черемуха, но всему голова — картошка. Без нее зиму не проживешь, скотину не прокормишь...

Роза удивленно поглядывала в окно, бабка Матрена, не веря Витушку ни пьяному, ни трезвому, ворчала на кухне:

— Ишь выставился... Сколько лет пальцем не шевелил, а тут чирьем поднялся.

— Ладно, мам. Все тебе не так... Человек делом занялся.

— Поглядим, посмотрим еще...

Витушок тем временем, начав с дальнего угла, копал и копал землю. Она и в самом деле еще не просохла, но здесь, с угла, сбежал вниз пригорок, так что земля была посуше, чем у дома, у подворья, к примеру. Витушок часто отдыхал, ныло сердце, присаживался на перевернутое вверх дном ведро, щурился на солнце, широко раскинув ноги в кирзовых сапогах. Не курил, нет. Просто сидел, отходил сердцем. Тоска, которая душила его осенью у телевизора, да и зимой иной раз захлестывала с головой, тоска эта словно рассасывалась, истаявала, когда он принимался за какое-нибудь дело.

Иногда, когда взгляд его падал на кухонное окно, он замечал, как металась там тени. Глухое раздражение поднималось в груди. Когда за ним наблюдали, он чувствовал себя подопытным кроликом. Ну как же, заставили лечиться, теперь наблюдают, как он и что...

Однажды летом, теплым чистым вечером, Витушок вышел со двора на улицу, поманил Розу заскорузлым пальцем. Та сидела на скамейке с соседкой Марьей Лукиничной.

— Ну чего? — не сразу подхватила Роза.

Витушок нахмурился, сдвинул недовольно брови, повернулся и звякнул калиткой.

— Ишь какой стал, — усмехнулась и удивленно и уважительно Марья Лукинична.

Роза неторопливо нагнала Витушка.

— Ну чего тебе? — спросила грубовато, но без вызова.

— Дай мне пятьдесят три рубля сорок копеек.

— Чего-чего? — Роза не столько удивилась, сколько испугалась, услышав такую сумму.

— Даешь или не даешь?! — нетерпеливо и грубо, покрываясь гневным румянцем, в упор спросил Витушок. Глаза его полыхали угрозой.

Роза попятилась от мужа. Так, пятясь, и взошла на крыльцо. А там и в дом. Сердце ее, когда она начала рыться в комод, натянулось так, будто висело на нитке, которая вот-вот должна лопнуть. С тех пор как бросил пить, Витушок все деньги до копейки приносил жене. Раньше никогда в доме не водилось лишней копейки, наоборот, всегда в долгах как в шелках, а теперь появились даже кое-какие сбережения. Прятала деньги Роза в комод. И, доставая их сейчас, она с ужасом и некоторой оторопью думала: если на водку, то зачем так много? Да и сумма странная — пятьдесят три рубля сорок копеек.

Дрожащими руками отсчитала деньги. Мелочи не было и рублей не было — пришлось вынести Витушку пятьдесят пять рублей.

Витушок поплевал на пальцы и медленно, с достоинством, но как бы и с презрением по отношению к жене пересчитал деньги.

— Пятьдесят пять рублей? — для точности спросил Розу.

— Ага, — кивнула она и все заглядывала в глаза мужу: Виталий, мол, не запить ли вздумал? Так смотри помни: один стакан, да что стакан — одна рюмка, и ты готов, отправишься туда, откуда не возвращаются...

Витушок хмыкнул, сунул деньги в карман и выпел на улицу. Когда он выходил, за ним в окно с испугом наблюдала теща.

Через полчаса, а может и того меньше, Витушок появился на их зеленой тихой улице верхом на велосипеде. Ехал важно, уверенно, педали крутил как бы со значением: вот смотрите все, вот он какой, Витушок, а вы думали...

— Господи, — всплеснула руками Роза, — велосипед купил!

Из дома выползла бабка Матрена, выскочила и Марюта, из двух-трех соседних домов выбежали ребятишки, окружили Витушка. Витушок слез с велосипеда, раскатал штанину, а затем встал рядом с велосипедом, крепко держась за руль и глядя куда-то вдаль, словно ожидая: вот сейчас появится фотограф и увековечит этот исторический момент.

— Дядя Виталий, дядя Виталий, прокатите! — шумели ребятишки, окружив велосипед.

— Цыц! — прикрикнул на них Витушок.

— А что? Молодец! — сказала Марюта. — Молодец, Уклеikin, — похвалила она еще раз. — Дай прокатиться, а?

Вместо ответа Витушок, все так же крепко держась за руль, вкатил велосипед во двор, открыл дровяник, поставил велосипед в

самом дальнем углу, закрыл дверь на замок, а ключ положил в карман своих широких, как всегда в полоску, брюк.

Марютка рассмеялась:

— О, Уклейки, какой хозяин стал!

Витушок подошел к жене, достал из бокового кармана пиджака сдачу — один рубль шестьдесят копеек, подал Розе.

— Сходи-ка в магазин, купи лимонаду! — И все это приказным тоном.

— Чего-чего? — в который раз удивилась Роза. Удивили ее и тон и то, что именно лимонаду.

— Обмыть надо, — хмыкнув, сказал Витушок и, небрежно отстранив тещу, которая загородила проход на крыльцо, прошел в дом.

Именно с тех пор, с того памятного дня пристрастился Витушок к сладкой газированной воде. Это во-первых. Во-вторых, на работу теперь, на свою стройку, зимой ли, летом, осенью ли, весной — всегда он отправлялся только на велосипеде.

На стройке Витушок работал каменщиком. Когда он пил, это был не работник, а божье наказание. Теперь он ходил в передовиках. Не обделяли его ни в зарплате, ни в премиях. Портрет повесили на Доску почета...

Раньше что надо, что не надо Витушок тащил со стройки и пропивал. Бригадир от злобы рвал на нем пуговицы. Теперь, когда Витушок не пил, даже если он мешок цемента грузил на свой знаменитый велосипед, никто ему не говорил ни слова. Вези что хочешь, бери, не жалко, только не пей, выходи на работу, выполняй план и слушайся начальство.

Витушок недаром по оттепели в лес ходил, за Малаховую гору. Присматривался к строевому лесу. И велосипед не случайно купил. Заискрилась у него в голове одна задумка. Для задумки этой он и возил домой цемент, песок, щебенку, кирпич. Сегодня одно, завтра другое, понемножку, помаленьку. А чего жадничать? Жадничать ни в каком деле не нужно.

Летом, как раз когда работа Витушка была в самом разгаре, Марюта с Сережей сыграли свадьбу.

Витушок эту свадьбу как-то не очень заметил. То есть, конечно, невозможно не заметить свадьбу собственной дочери. Заметил, да. Не заметил в том смысле, что не придавал ей особенного значения.

Он сидел во главе стола рядом с дочерью: по одну сторону — жених, по другую сторону — он, Витушок. Роза надела на него новый, как всегда в полоску, костюм из чистой шерсти, купленный всего месяц назад. Как в молодости, Витушок отпустил усы — только они теперь не закручивались на концах, а воинственно торчали в стороны. Ярко-рыжие усы, казалось, горели огнем, в то время как глаза выглядели потухшими. Витушку было скучно на свадьбе. Наелся он досыта, напился газированной воды вдосталь, и скучно, и грустно, и даже зло ему было смотреть, как люди вокруг, гости, родные, знакомые, постепенно пьянели, стекленели глазами, пускались то в пляс, то в визг, то в хохот, а то вдруг ударялись в тосты, в слова, в пустозвонство, — черт знает что такое... Уж на что Настасья, казалось бы, трезвенница, а тоже сегодня как дурная, подседа к Витушку, щеки, как в молодости, горят жарким пламенем, глаза блестят, улыбка плавает в губах призывно и бесовато, говорит-похохатывает:

— Что, Витушок, невеселый такой? Жалко небось дочь отдавать?

— Баба с возу — кобыле легче...

— А и повезло тебе, ох повезло! — смеется Настасья. — Такого парня в дом приняли. И лицом вышел, и статью, и руки золотые, а уж Марютку любит — кто еще любить ее так будет?! Ну, чокнемся, зятек! Поздравляю, от души поздравляю!

Чокнулись, конечно, у Настасьи в бокале — белое вино, у Витушка — минеральная вода.

— Сердишься на меня? — смеется Настасья. — Вот, мол, дура, из-за нее чуть в тюрьму не попал, пить бросил, жизнь загубил, а она выпьем да выпьем. Так, что ли, Витушок?! — И как в молодости блестят, зовут ее глаза, плывет в них туманная дымка, губы растаянно играют улыбкой...

«Сдурела баба-то», — думает Витушок, а вслух говорит:

— Пить бросил — как заново родился. Спасибо топорнику. — И усмехнулся.

— Чего-чего?! — хохочет Настасья. — Ой уморил, зятюшка, ох уморил, сердечный! — И с ног, кажется, валится, так ей смешно или, может, так вино бьет по обмякшему сердцу. — Ну-ка давай поцелуемся! Давай-ка, зять дорогой! — И не дожидаясь согласия Витушка, обнимает его, троекратно целует, а один раз крепко, горячо, прямо в губы, в рыжие воинственные усы.

Роза рядом. Роза улыбается. И все, кто есть на свадьбе, смеются или улыбаются. А Витушок морщится. Черт бы побрал этих баб, всегда от них какая-то дьявольщина.

Утром Витушок еле растолкал Сережу. Тот так сладко спал, так крепко обнял Марютку, что пришлось Витушку взять молодого мужа за нос и дернуть хорошенько вниз.

— А, чего? — всполошился Сережа.

— Пойдем-ка, — позвал Витушок.

— Э-э, чего там? — Сережа помотал головой. — Не пойму.

— Поможешь балку положить, — как ни в чем не бывало сказал Витушок и вышел из комнаты.

Если б он не вышел, Сережа бы еще посопровтивлялся — жених все-таки, молодой муж, а так — как не послушаешься? Обидится тесть.

С трудом натянул Сережа брюки, накинул куртку и, пошатываясь, вышел во двор. Плохо ему было от бессонной ночи да и от выпитого вчера тоже мутило.

— Берись! — скомандовал Витушок и показал на обтесанное бревно.

— Да стой, погоди ты, — отмахнулся Сережа. Как зять, он со вчерашнего вечера стал называть тестя на «ты». Витушок не возражал, так-то оно легче будет жить, по-свойски.

Сережа вначале сходил в туалет, потом сел на крыльцо, закурил. Витушок посматривал на него с легким презрением, как, бывает, старики поглядывают на беспутную молодежь.

— Ну давай, давай! — подогнал он Сережу: ждать ему было некогда.

Сережа усмехнулся, помотал в удивлении головой, потушил сигарету; пепел от легкого ветерка полетел по двору.

— Осторожней, ты! — недовольно проворчал Витушок. — Дом запалишь.

Подняли в четыре руки струганое бревно, понесли с подворья в огород. Здесь, чуть в стороне от дровяника, строил Витушок баню. Давно был вырыт котлован, заделан фундамент (вот для чего понадобились ему и кирпичи, и песок, и цемент, и глина); привез Витушок и строевого леса, отменной смолистой сосны, которую высмотрел еще по весне рядом с бывшей своей делянкой; собственно, не только фундамент был готов, но и скатаны все стены, осталось уложить балки, подвести стропила да настелить кровлю. Потому и разбудил Витушок Сережу: не терпелось продолжить работу.

Вынесли с подворья четыре балки, взгромоздили наверх, на последние венцы; дальше Витушок мог и в одиночку работать — пришивать да приколачивать балки.

— Иди досыпай,— сказал Витушок Сереже, как бы разрешил, что ли. Зять отмахнулся.

Разгоряченный работой, окончательно пришедший в себя, Сережа сидел наверху, на венцах, хмельно и счастливо щурясь на утренние, такие ласковые лучи солнца, сидел и болтал ногами как маленький. И улыбка на его губах играла тоже как у маленького: простодушная, безгрешная.

— Да, заживем теперь,— говорил он.— Ох заживем!

В огород со двора выбежала Роза, растерянная, испуганная, увидела Сережу наверху.

— Ох окаянный! — напустилась она на Витушка.— Куда ты его затащил? В доме с ног сбились, жених пропал, Марютка волосы на себе рвет (это она приврала, не такой у Марютки характер, чтоб волосы, пышные да красивые, портить), а он зятя с утра пораньше в ярмо впряг!

— Тихо, не кудахчь,— оборвал Витушок жену.— Бери, корми его с ложечки.— Он подтолкнул Сережу в спину, и тот легко, пружинисто приземлился рядом с тещей.

— Ох, убьешь ведь его! — запричитала теща.

Витушок отвернулся от них, как от надоевших мух, устроился поудобней на венце, взял молоток, гвозди-двухсотку и закипел в работе, будто никого и ничего не было вокруг.

Из дома, помятые да опухшие, потянулись во двор гости; стол решили накрыть во дворе, на вольном воздухе, под бирюзовым умытым небом, под ласковым утренним солнцем.

И вот Витушок работал, а рядом гуляли гости, все веселей, все раскованней лились голоса, все свободней и шире разливалась вокруг гульба, да и кто не любит второй день свадьбы? Кто не любит после тяжелого, густого вчерашнего хмеля вдруг воспрянуть духом, расправить плечи и затащить какую-нибудь вольную разудалую песню, от которой светлеет на душе и бегут по спине мурашки?!

А Витушок работал. Потный, горячий, он поначалу злился на разгулявшуюся свадьбу, после перестал обращать внимание и даже не слышал, как кто-нибудь внизу кричал иногда:

— Эй, хозяин, ты чего, белены объелся — в праздник работаешь, в будни гуляешь?!

Но и в будни Витушок не гулял — работал.

Семенку он начал брать с собой с трех лет. Протопит баню изрядно, выдержит, плеснет на камни кружку кваса — хлебный дух так и захлестнет баньку. Или медку добавит в воду, тогда такой аромат плывет вокруг, будто ты на пасеке где-нибудь, дышишь и надышаться не можешь...

Семенку он держит недолго — пяток минут, и довольно. Подыщит парнишка хлебом да медом, Витушок окатит его ласковой водичей, закутает в полотенце — и домой. Розе на руки Скольцо ругалась с Витушком жена сколько слез пролила: «Ужаришь парнишку, загубишь мальчика. ирод ты окаянный!» — Витушок не слушал, только рукой махал. Отдаст пацана — и скорей в баню, где в широком тазу давно ждет его дожилается распаренный, духовитый березовый веник. Поддаст Витушок парку, заберется на полок, лежит, исходит обильным густым потом. Только затем берется за веник. Поначалу легко, ласково оглаживает себя горячим тугим воздухом, помахивая веником, как веером; и только по второму заходу, когда окатится ледяной водой и вновь наложится на полке до горячей истомы, берется за веник всерьез, быстро, с оттяжкой охлестывая ноги, живот, грудь, руки, плечи и спину, все сильнее и сильнее, пока кожа не становится нежно-розовой, а затем ярко-малиновой, красной, бордовой...



— Отдашь богу душу. Помяни мое слово,— ворчала Роза.— Виданное ли дело — каждый день баню топят. Совсем сдурел.

Ну, не каждый день (а бывало, и каждый), но через день обязательно дымилась банька у Витушка. Как ни придет с работы, первым делом баня. Уж и чистый-расчистый, мытый-перемытый, Витушок все равно за свое: баня. И так месяц, и два, и год, и три года... У Марютки с Сережей Семенка родился, потом Наташка, и вот Витушок за внука взялся, водил с собой в баню.

— Из парня мужика надо рóстить. Цыц ты! — прикрикивал он на жену, когда та горой вступалась за внука.

За последние годы Витушок не то что поздоровел и распрямился телом, а будто помолодел на пять, а то и на десять лет. Когда-то весь черный, в морщинах, с желтыми подглазьями, с трясущимися руками, с кожей на пальцах, которая слезила с него, как с ошпанного гуся перья (нервное истощение и авитаминоз), Витушок теперь выглядел молодцом: гугие щеки, всегда будто подкрашенные румянами, посветлевшие, скорей даже поголубевшие глаза, чистые бархатистые волосы (что это были за волосы раньше! — тусклые, свалывшиеся, всегда в перхоти), окрепшие руки, распрямившаяся грудь. С детства за Витушком водилась одна странность — левое плечо было ниже правого, и Витушок ходил всегда как бы боком, одним плечом вперед, отчего его частенько заносило, особенно в пьяном виде. И когда он падал в грязь, например, то всегда правым боком, правой щекой; вот так однажды рассек он правую бровь, с тех пор она кустилась у него неровно, двумя островками, отчего в хмуром или злом состоянии Витушок выглядел грозно, как горный орел. Теперь Витушок словно распрямился и в росте, левое плечо поднялось вверх — такое чудо,— походка стала прямая, воинственная, и поглядывал Витушок вокруг горделиво, а то и с презрением.

Да и давно в доме никто ему не перечил. Бабка Матрена, теща, совсем не выглядывала из своей малухи — и то сказать, вначале Семенку вынянчила в люльке, потом Наташку, чего ей было нос высывать из своей норы. Роза, жена, слова сказать боялась против мужа: а ну как запьет снова — лучше будет?! Зять Сережа, к тому времени отец двоих детей, про себя как будто посмеивался над Витушком, точно не принимая его всерьез — опять же про себя, — однако слова своего сказать не мог: что ни говори, Витушок хозяин, а ты кто? Примак, нахлебник... Одна Марюта по-прежнему не церемонилась с отцом, но придраться к Витушку было не в чем: главное, не пьет ведь, совсем не пьет, и сколько лет... Так что столкновений между отцом и дочерью стало совсем мало, не то что раньше.

После бани, накинув на плечи широкое махровое полотенце, истекая благодатным потом, аккуратно расчесанный, с еще более посветлевшими глазами, Витушок шел на кухню, где его всякий раз поджидал давно кипящий самовар. Чай он обычно пил в одиночку, пил не торопясь, по несколько стаканов, без сахара. Соль и сахар, вычитал Витушок (он теперь читал и газеты и книги), — первые враги человека. Иногда Витушок подзывал к себе Семенку:

— Ну, мужик, чай будешь с дедом пить?

— Будешь, — отвечал Семенка, садился рядом с дедом на табуретку (на колени — никогда: Витушок не баловал мальчика) и, как дед, вытягивая губы, пил из расписанного ромашками блюдца горячий, душистый, настоенный на мяте чай.

В обычное время, не послебанное. Витушок пил лимонад; не дай бог, чтоб Роза когда-нибудь забыла пополнить запас: лимонад должен быть в доме всегда.

Кроме того, между делом или просто так, Витушок полюбил есть шоколадные конфеты. И тоже, как лимонад, они должны быть в доме днем и ночью.

— Шоколад-то не сахар, что ли?! — возмущалась Марюта.

— Шоколад — калории! — Витушок многозначительно поднимал палец вверх. — А сахар — белый враг человечества. Белогвардеец! — И смеялся собственной шутке. Смеялся, как обычно, в одиночестве. Иногда, правда, подхихикивал ему Семенка.

По субботам и воскресеньям выезжали всей семьей в лес. В доме оставались только бабка Матрена с Наташкой — старая да малая.

Новенький «Урал» с коляской, гордость Витушка, вмещал всех: Семенка — впереди Витушка, на бензобаке, Сережа — на заднем сиденье, а Роза с Марьютой — в коляске. Забирались в лес куда-нибудь подальше, по Кунгурской дороге, например, или в сторону Глубоченского пруда. Иногда доезжали до Иткуля, до татарского озера, до которого, пожалуй, все сорок километров будет.

Чем дальше в лес — тем больше ягод, грибов.

А и знал же места Витушок!. Завозил в такую глушь, что сами они ни за что бы не выбрались обратно; но уж если попадался здесь черничник — то такой густой, плотный, что, казалось, опустись на колени, подставь ведро и гребь чернику рукой, как лопатой: враз ведро полнехонько наберется. Или в таких заброшенных вырубках оказывались, что скажи им кто раньше, что такое бывает, ни за что бы не поверили: огромными гроздьями, гирляндами, связками рассыпались опята по пенькам и корневищам, а иной раз прямо по стволам сваленных или вырванных с мясом берез... Бывало, опят набирали мешками, еле до дому довозили, а там сушили, мариновали — всю зиму потом держался в доме стойкий грибной дурман. Рыжики, грузди, бячки — солили; белые, обабки, маслята — мариновали; а случались и такие годы, что маслята девать некуда было: жарили огромные сковороды, заливали маслом и закатывали в банках.

Варенье водилось теперь в доме самое разносортное: земляничное, костяничное, брусничное, черничное, ежевичное. А если вспомнить еще сад, то и клубничное, малиновое, яблочное, сливовое, крыжовенное.

В саду, как и в лесу, как и в огороде, тоже командовал отныне Витушок.

Там, в саду, а особенно в огороде, Витушок пропадал все свободное после работы время. В последние годы замучил колорадский жук. Расцветало лето, и начинался жук, которого Витушок воспринимал как личного врага. А потому не задумываясь шел на него рукопашную. Вставал в истоке какой-нибудь гряды и, внимательно осматривая каждый куст, медленно продвигался вдоль рядка. Шутка ли сказать — потомство размножалось в геометрической прогрессии, поэтому жука нужно было уничтожать безжалостно. И все же он оставался, уходил в глухую оборону, вызывая в Витушке ненависть, а порой и ярость. Завидев жука на ботве, Витушок снимал его заскорузлыми пальцами и четким, верным движением, с хрустом отрывал голову от туловища, и с удовлетворенным чувством мести отбрасывал голову в одну сторону, туловище — в другую. Так он проходил ряд за рядом, бороздку за бороздкой, и позади него валялись полчища поверженных врагов.

Да, когда они только-только появлялись, Витушок расправлялся с ними сам, но скоро нарождались новые поколения, и никаких рук не могло хватить. Тут приходилось братья за хлорофос, чего, конечно, Витушок недолюбливал. Так или иначе, а это химия, а химия не может пройти даром для картошки. Витушок закачивал раствор в баллон, ловким движением, как аквалангист, забрасывал баллон за плечи — на двух ремнях — и, шествуя по бороздкам, направо и налево опрыскивал из распылителя картофельную ботву. Тут нужны были и глазомер и интуиция: мало опрыснешь — колорад выживет, много — сожжешь ботву. Но зато как радовался Витушок, когда минут

через двадцать — тридцать осматривал гряды и повсюду видел поверженного врага.

За лето Витушок проделывал эту операцию два-три раза. Два-три раза делал и распашку на коне — окучивал. Потому что шутка ли — тридцать пять соток одной картошки. Раньше соток тринадцать сажали, не больше; но то раньше, а теперь Витушок прихватил и соседние заброшенные земли. И не только распашку делал, но и сажал теперь картошку Витушок только под плуг. Чего, конечно, на Урале сроду не водилось. Вспашет Витушок землю, потом по кругу еще раз идет с плугом, а в борозды Роза, бабка Матрена, Марюта, Сережа (тут и Семенка под ногами вертится) знай успевают картошку бросать вверх ростками. Следующим запахом Витушом картошку заваливает, после опять ведет борозду; и опять домашние сломя голову торопятся успеть побросать картошку в борозду.

— Совсем сдурил на старости лет, — ругалась Марютка. — Куда тебе столько картошки?

— А скотину чем кормить? — обозлялся Витушок. — Корова, три борова, коза, куры, гуси — шутка тебе?

— Зачем нахапал столько?

— А семья чья растет — твоя или моя?

— Много нам надо...

— Любишь кататься — люби и саночки возить. На мотоцикле нравится кататься? То-то. А денежки откуда? А там, глядишь, и машину купим...

— Кому она нужна, машина твоя? Куда на ней ездить в нашей глуши?

— Найдем, найдем, куда ездить... Погоди, сама еще будешь просить: поехали в город, поехали туда, поехали сюда...

— Как бы не так!

Три осени собирали с огорода по сто пятьдесят — сто восемьдесят пудов картошки.

Витушок взваливал мешки на мотоцикл — и на базар. Было у него там свое место в дальнем углу, с глубоким и широким ларем под прилавком.

— Подходи, кто хочет осеннюю, рассыпчатую, на языке тает, в желудке поет! — весело кричал Витушок. — Подходи, кому жизнь дорога, здоровье жалко, денег не жалко! Осенняя, рассыпчатая, солнцем облитая, дождем умытая, подходи!

И капусту продавал, и яблоки, и морковь, и лук, и укроп, и чеснок. Мало ли какой овощ и фрукт не водился у Витушка в огороде!

В шесть лет Семенка казался маленьким мужичком: лобастый, с угрюмым, как бы всегда нахмуренным лицом, упрямый, непадкий на слезы. Ростом меньше своих однолеток, Семенка любого из них мог согнуть в бараний рог — так он был дюж и крепок, при этом руки его были несоразмерно длинны, оттого и сильны и хватки.

И вот просил и просил сейчас деда: возьми да возьми с собой, покажи...

— А нить не будешь? — строго спросил Витушок.

Семенка решительно помотал головой: нет.

— Тогда пошли, — сказал Витушок.

Он достал из кладовки длинный, слегка искривленный нож, поплевал на палец, провел по лезвию.

— Дай-ка точило. Вон там, в углу, — показал Витушок внуку.

Когда зашли в конюшню, в свинарнике раздалось радостное похрюкиванье. Витушок нахмурился.

— Держи веревку, — сказал он внуку.

Один конец Витушок привязал к балке, второй — свободный — сделал в виде петли.

Открыл дверцу свинарника.

Борька, самый откормленный, пудов на девять, чавкая и хрюкая, бросился из свинарника к корыту. Витушок ловко накиннул ему на заднюю ногу петлю, боров заверещал, сердце Семенки окатилось ледяной волной. Витушок, не медля ни секунды, левой рукой рванул борова за переднюю ногу, тот как подкошенный рухнул наземь, однако задней ногой, прихваченной петлей, завис в воздухе. И тут Витушок коротко, резко взмахнул ножом и всадил борова в самое сердце.

Семенка, крепко вцепившись в рукав Витушка, отвернулся к пленнице; его замутило, а потом вытошнило.

— Тащи паяльную лампу! — подтолкнул его Витушок к свежему воздуху.

Когда Семенка принес лампу, боров уже висел над чаном, крепко привязанный за обе задние ноги к балке, кровь не бежала, а медленно, по капле стекала вниз.

Витушок зажег лампу, запахло паленым. Запах этот, подхваченный легким ветерком, закружил по соседним подворьям, теперь в округе все знали, что Витушок на ноябрьские праздники режет борова, а то и двух.

Опалив и разделав борова, Витушок в первую очередь отдал Розе печенку и сердце:

— Изжарь-ка!

Роза вынесла жарено прямо во двор — на большой чугунной сковороде, в середине которой возвышалась гора богато покрошенного репчатого лука.

Витушок сел по одну сторону сковороды, Семенка — по другую.

— Ну ешь, мужик, — сказал Витушок.

Семенка покорно взялся за вилку. И надо же, ел: недавно тошнило, а сейчас ел. И вкусно было — облизывал вилку и ел, улыбался.

Приходили хозяйки, Витушок поднимался из-за самодельного стола-чурбака, брал нож, подходил к туше:

— Сколько?

Пожалуй, полборова продал своим. А назавтра, в субботу, повез остатки на базар, прихватив с собой, конечно, Семенку.

Базар у них считался небогатым: два ряда прилавков да покатая крыша над ними. Говядины совсем мало, так что никакой конкуренции; считай, за полдня Витушок распродал мясо.

Семенка в белом фартуке стоял рядом. Витушок разделявал тушу, звешивал сочные куски, а деньги от хозяек принимал Семенка. — Ишь помощник какой, — улыбались женщины.

Семенка хмурился на их слова, отворачивался. Не любил он заигрыванья чужих теток.

— А вот этот подешевле не отдашь? — Показывала какая-нибудь женщина на мосластый кусок.

Витушок хмурился, как и Семенка. Он понимал: к внуку женщины подъезжают, чтоб умаслить его, деда, а он нет, он всегда начеку. Он говорит:

— Подешевле, тетка, на дешевом базаре. А у нас тут цена твердая.

Покупали и за эту цену.

Часам к пяти вечера мясо было распродано. Витушок завел мотоцикл, посадил Семенку в коляску, и тут посыпал первый в этом году пушистый и легкий снежок.

Витушок потрогал деньги в кармане, прищурил левый глаз.

— Что, Семенка, глядишь, к весне машину купим?

— А прокатишь меня?

Витушок в ответ только усмехнулся, поддал газку, и «Урал» помчался вперед. Но не домой они поехали, нет, а на Малаховую гору. Отсюда, с вершины, поселок Северный раскинулся перед ними как на ладони. Сыпал снежок, а вдаль от поселка черной асфальтовой

лентой вилась дорога в город. В большой город, в Свердловск, где Семенка еще ни разу не был.

- Вот купим машину,— сказал Витушок,— свожу тебя в город.
- Не обманешь?
- Ну уж,— только и ухмыльнулся Витушок.

Всю зиму Витушок строил гараж — лета ждать не стал. «Урал» он держал просто под навесом, в сарае, а теперь решил выстроить настоящий, теплый, с глубокой ямой гараж, где можно поместить и машину и мотоцикл с коляской. Баню он вымахал деревянную, из крепкой смолистой сосны, гараж же строил из силикатного кирпича.

Зима выдалась ярая, морозная. Раствор часто каменел; Сережа, помогавший Витушку, чертыхался, Витушок не обращал внимания. В доме он ни с кем не считался, кроме Марюты, да и с ней последнее время не особо церемонился — обрывать не обрывал, как остальных, но и не так чтобы слушал. «Бабы лают — ветер носит», — переделал Витушок народное присловье.

К вечеру, как всегда, Витушок шел в баню. Уставший, промерзший, он по-хозяйски разваливался на полке, подолгу лежал, прокаля кости и телеса. Сережа ходил с ним не каждый раз — у него барахлило сердце, — а когда ходил, Витушок посмеивался над ним: «Так париться — лучше вовсе не гужеваться».

Сережа посидит внизу минут пять с открытым, как задыхающаяся рыба, ртом, похватает обморочно воздух, окатится водой — и бежать. Семенка и тот дольше выдерживал; Семенкой Витушок гордился, считал его своей кровью, уклейкинской.

Седьмого марта Витушка провожали на пенсию.

— Заглядывай, Виталий Иванович, не забывай,— сказал Витушку бригадир, который когда-то рвал на нем пуговицы.

Витушок важно кивнул: заглянем, мол, непременно, о чем разговор.

— А чтоб в самом деле не забыл, прими от бригады часы. «По-лет» называются. Посмотришь на них — к нам полетишь,— пошутил бригадир.

— Да, да,— кивал головой Витушок.

Женщины — маляры, штукатуры — вручили Витушку букет мимоз.

— С намеком, Виташа, с намеком! — смеялись они.

Витушок их не понял, нахмурился.

— Да женщин не забывай, женщин! — продолжали они смеяться. — А то решишь: раз на пенсии, то и в этом деле на пенсии. Смотри!

Главное событие произошло в конце торжественных проводов. Поднялся из-за стола представитель треста, тучный бордовощекий мужик по фамилии Кульков. Подождал минуту-другую, когда стихнет шум.

— Что нам показывает пример Уклейкина Виталия Ивановича? — спросил он. — Пример каменщика Уклейкина показывает, что человеку никогда не поздно взять себя в руки. И мы заслуженно провожаем его на отдых. Отдыхай, дорогой Виталий Иванович! Набирайся сил и энергии. А чтоб тебе не скучно было и чтоб вечно оставался молодым, руководство треста вручает тебе талон на внеочередное приобретение автомобиля «Москвич-408». Покупай машину и будь счастливым!

Витушок натужно покраснел. Он ждал этого момента, знал, что получит талон, а все же прозвучало как-то неожиданно. Перед уходом на пенсию товарищи поинтересовались у Витушка: «Что бы вы хотели приобрести, Виталий Иванович, только положи руку на сердце?» «Талон на „Москвич“». — Слава богу, Витушок не смалодушничал, и вот мечта сбылась.

Витушок хотел поблагодарить начальство, но слова застряли в горле, чуть слеза не выкатилась, и он махнул рукой.

Хлопали Витушку в этот момент громко, от всей души. Хотя кое-кто, конечно, и завидовал.

Дома Витушок поставил талон так, чтобы он красовался на видном месте, — в углу, рядом с иконой бабки Матрены. Даже не рядом, он прислонил талон к иконе, к персту божьей матери, отчего бабка обмерла сердцем, перекрестилась, спряталась в своей малухе и зашептала там горячо: «Богохульник! всю жизнь богохульник! Сердцем окаянный, душой поганный, червь оттоманский!..»

На другой день, конечно, праздновали не Восьмое марта, а уход Витушка на пенсию. Гульба и пустословие быстро надоели Витушку, он помрачнел. Он давно почувствовал себя рядом с истиной, с правдой, и пьяный гомон, шутки, смех — все раздражало Витушка. Опять как когда-то на свадьбе Сережи с Марютой, подседа к нему Настасья.

— Ох и помолодел ты, зятек! — улыбалась она хмельной дурашливой улыбкой. — Что так, откуда силы взялись? Рассказал бы, поделился секретом...

Сама Настасья, правда что, за последние годы сильно сдала: такая была всегда сильная, подвижная, широкая в кости, краснощекая, а тут усохла, щеки опали, уголки губ иссеклись морщинами, глаза потухли. Вот разве что выпьет чарку-другую — тут глаза вновь вспыхивают, играют прежней бесовской силой, манят куда-то, испытывают, да Витушку это все понапрасну, смотрит равнодушно, а то и с осуждением.

— Что, зятек, совсем перестала нравиться? — смеялась Настасья; и смех ее был как бы слезный, горловой, надрывный.

Витушок махнул рукой и вышел во двор.

Таял снег: весна началась ранняя, дружная. Солнце так прогрело ступеньки крыльца, что сидеть горячо. Витушок сидел, жмурился, как кот, на солнце, бубнил привязавшуюся мелодию: «А я еду, а я еду за туманом...» Тут как назло выплыла на крыльцо и Настасья.

— Ох, посижу-ка рядом с зягтюшком, посижу с сердечным...

Витушок отвернулся от нее.

— Слышь-ка, зять, — толкнула его в бок Настасья, — талон-то твой с иконы исчез. — И глаза округлила.

Витушка как на пружинах подбросило, так что в коленке что-то резко хрустнуло (и после долгие годы болело).

Влетел в дом — талон на месте, к иконе прислонился.

— Зараза, — прошептал Витушок тихо, сквозь зубы.

Подошел к иконе, забрал талон и сунул в нагрудный карман пиджака. Повернулся — рядом Настасья, нагло смеется в глаза.

«И чего надо, дуре...»

Витушок вышел в кладовку, взял ведро с краской, кисти и отправился в гараж. Дверцы он навесил тяжелые, металлические, с двумя замками: один висячий, другой внутренний. Открыл замки, распахнул ворота — свежий, отдающий талым снегом воздух лизнул лицо; Витушок глубоко, удовлетворенно вздохнул. Макнул кисть в краску и принялся за работу. Зеленая маслянистая краска ложилась на металл густо, ярко, блестя на солнце, как изумруд.

— Дай мне тоже. — услышал Витушок.

Обернулся: рядом стоит Семенка. Витушок улыбнулся, протянул ему вторую кисть. Витушок красил одну половину ворот, Семенка — другую; работал внук аккуратно, как и дед, — ни одной капли не пало на цементный пол.

Подбежала к ним Наташка, постояла, посмотрела, сунула палец в ворота — ишь какая краска цветистая, блестит, переливается!

Семенка с досадой поморщился, ударил сестру по руке:

— Что ворота портишь? Пошла отсюда!

Наташка хотела расплакаться, потом передумала и отошла внутрь гаража. Ей тоже хотелось красить, но она боялась Семенки, а еще больше деда.

Осенью Наташке исполнится четыре года, а Семенка пойдет в школу.

Витушок продолжал весело бубнить под нос: «А я еду, а я еду за туманом...»

Через месяц, ближе к майским праздникам, в гараже Витушка засверкал эмалью новенький бордовый «Москвич».

Витушок вставал рано: раньше бабки Матрены, но не раньше Семенки — тот поднимался самый первый, нередко будил Витушка, и они вдвоем отправлялись в гараж.

Бабка Матрена страдала ревматизмом, боли ее терзали особенно к ночи, иной раз охала и стонала до рассвета и только потом, измученная изнуренная, засыпала и крепче всего спала как раз утром, за что ее презирал Витушок. «Старая ведь, на ладан дышит, — ворчал он, — а спит как безгрешная. Бездельное отродье!» Витушок не хотел вспоминать, что в свое время бабка Матрена вынянчила Марютку, за Марюткой — Семенку, за Семенкой — Наташку; а уж как они встали на ноги да пошли — тут она не помощница, ноги еле-еле ходят, где там угнаться за скорыми да молодыми... И вот спала теперь по утрам крепко. обморочно: отдыхала за век.

Каждый день, без всякого исключения, Витушок с Семенкой начинали с мытья машины. Казалось бы, и так новехонькая, блестит, переливается, а они за свое — мыть, да протирать, да лоск наводить.

— Механизм — он, Семенка, чистоту любит, как человек — кислород, — объяснял Витушок.

— Точно, — соглашался Семенка. Большой лоб его, серьезные глаза, несоразмерно длинные руки делали Семенку похожим на настоящего мужичка, хотя и неудавшегося пока ростом.

Витушок мыл и протирал там, где было удобней взрослому, а Семенка — где сподручней мальцу. Внизу, например, под машиной — тут всецело отвечал Семенка. И он не только мыл, но и подтягивал где нужно болты и гайки, командовал деду из-под машины:

— Поддай-ка ключ на тринадцать!

Витушок покорно протягивал ключ.

Или Семенка неожиданно подавал голос из ямы:

— Тяги, случаем, не ослабли?

Проверяли тяги. Нет, как будто все в норме.

Семенка забирался в кабину, озабоченно крутил руль:

— Люфт не большой ли, дед?

И хоть люфт был в самый раз, все раньше проверили, — подтягивали, регулировали.

Наконец однажды, как обещал, Витушок повез внука в Свердловск. Ехал Витушок медленно, осторожно; так он ездил на мотоцикле, не менял своих привычек и теперь. «Торопливых на том свете ждут», — обычно заключал Витушок. Марютка часто грызла его: «Чем так ездить, лучше пешком ходить!» «А походи, походи, — невозмутимо соглашался Витушок, — вот хоть сейчас начинай!» Прижимал мотоцикл к бровке, глушил мотор. Марютка только хмыкала недовольно. Располневшая, обабившаяся за последние годы, она стала походить на тетку Настасью, какая та была в молодости; пожалуй, и характерами напоминали одна другую, так что Витушку нужно было быть всегда начеку: не дашь отпора — бабы сожрут тебя, как миленького сожрут...

Впрочем, с бабами он в пререкания особо не вступал. На Розу только взглянет сурово — та тише воды, ниже травы. На бабу Матрену и смотреть не надо — та сама от него прячется, как от чумы. Витушок не сказал бы, что ему это не по душе. По душе. Немало он натерпелся от тещи подковырок да озлобленья в прежние, в веселые годы. Сколько лет подначивала бабка Розу: «Брось ты его, окаянного! Чем пьяницу такого терпеть, лучше по миру пойти — слаще выйдет!» У-у, змея подколодная... Теперь сиди, сопи в своем углу и не вздумай рыпаться!

С Марюткой — с той бывали стычки и сейчас. Но раньше у него вина перед ней была — пьяным особенно остро чувствовал это, — потому и тушевался часто. А теперь он смотрел на дочь как на отрезанный ломоть. Вышла замуж — живи как знаешь, а отца не тронь. Мужа Марютки, Сережу Полигорбова, Витушок вовсе в расчет не брал. Это еще кто такой?..

А вот с кем душу отводил Витушок, это с Семенкой. На Наташку, внучку, смотрел как на пустое место. Так же смотрел на тещу. На жену. Входил в дом — все женщины ниц. Рано там или поздно обедать, Роза Витушку сразу на стол накрывает. Ест один, долго, тщателью. И чтоб пожирней все было, поострей. И чтоб на столе всегда сладкая газированная вода стояла. И чтоб шоколадные конфеты горой в вазочке насыпаны.

«Ишь хан какой, хан...» — бормотала в своем углу, в малухе, бабка Матрена. Но так бормотала, чтоб, не дай бог, Витушок не слышал.

А если из бани Витушок выходил, так чтоб на столе всегда самовар пыхтел.

А если...

Да что перечислять все «если»! Порядок и закон в доме один: Витушок — глава положения, все остальные — потом.

Только Семенка мог нарушить это равновесие. Однако Семенка мужичок дельный — не злоупотреблял расположением деда.

По дороге в Свердловск Витушок остановился в деревне Курганово. Мост через Чусовую выстроили временный, тут нужно быть осторожным. Подошли с Семенкой к рабочим, Витушок спросил про дамбу:

— Скоро Чусовую-то перекроют?

— К будущей весне. — ответили.

— И ладно, — сказал Витушок.

Он повел Семенку левым берегом реки, показал рукой:

— Вот тут море скоро будет, Семенка.

— Настоящее?

— Настоящее не настоящее, а море. Пруд. Половим здесь рыбки, ох половим!..

Семенка смотрел на узкую, извилистую речку, сплошь заросшую камышом да тростником, и никак не мог представить, что здесь будет море.

— Бочки надо покупать. Да, бочки, — как бы сам с собой продолжал разговор Витушок. — Леща наловим, язя, чебака хорошего да в бочку их, выдержим в тузлуке, перчику бросим, лаврового листа, укса ливнем — такая рыбка вызреет, пальчики оближешь!

— Зачем бочки-то? — не понял Семенка.

— Эх, глупая голова, — пренебрежительно покосился на внука Витушок — В Свердловск на рынок поедем — там каждая рыбина по червонцу пойдет. Соображать надо.

Дальше, когда подъезжали к Горному Щиту, Витушок спросил внука:

— Ролом-то я. знаешь, откуда?

— Ну?

— Видишь, вон котлован заброшенный? Там дом стоял отцов-



ский. Точней, дедов. Деда убили, мать с отцом в Сибирь подались. А я тут остался.

— На бабушке женился?

— Было дело. Женился. Одну сватал, другая запрягла.

Семенка не совсем понял, спросил что полегче:

— А чего деда убили?

— Подрастешь — узнаешь, — только и сказал Витушок.

Мимо этой деревни, Горного Щита, промчались, как мимо чумы. Витушок и скорость превысил, чего с ним никогда не бывало.

В Свердловске первым делом заехали на базар. Семенка голову потерял — никогда столько народу не видел; кипит людское море, а рядом, на широких улицах, звенят дугами трамвай, троллейбусы шинами шуршат, автобусы мчатся на бешеной скорости, и машин разных видимо-невидимо кругом... Семенка крепко вцепился в руку деда.

По базару ходили долго, основательно. Витушок ко всему приглядывался, но ничего не покупал. Даже петушка-леденца у цыганки не взял. «Знаем вас, из чего лепите!» — пробурчал только, досадливо отмахиваясь рукой. Но Семенка и не канючил, не просил ничего, покорно ходил за дедом, тараща глаза на все, что видел вокруг.

Только у выхода с базара Витушок встал в конец длинной очереди. Толстая развеселая баба продавала пирожки с ливером. Витушок купил два пирожка, один протянул внуку, другой взял себе. Перекусили.

Дальше поехали в центр, на площадь 1905 года, в Пассаж. Семенка уморился, но не скисал. Витушок таскал его по всем этажам, ко всему примеривался, приценивался, трогал материал руками. Молоденькие продавщицы нещадно ругались с Витушком. «Ладно, ладно», — отмахивался от них презрительно Витушок. На первом этаже, в галантерее, Витушок купил десять черных пуговиц, для фуфайки. «Добрый товар», — похвалил Витушок, засунув пуговицы подальше во внутренний карман.

На улице рядом с их «Москвичом» стоял милиционер, старшина. Важно козырнул Витушку.

— Ваш автомобиль?

— Мой, — с гордецей, но и несколько обеспокоенно ответил Витушок.

— Знак видите «стоянка запрещена»?

— Где? Ох не заметил, товарищ начальник, — нарочно залебезил Витушок. — В первый раз у вас тут... не заметил, ей-богу! Гром меня разрази среди ясного неба.

— Зачем же на гром уповать, — таинственно проговорил милиционер. Проверил документы. Подумал. Семенка смотрел на него во все глаза, серьезно и как бы осуждающе, что ли. — Внук? — поинтересовался милиционер.

— А внук, внук, да, — торопливо согласился Витушок.

— Ладно, езжайте. На первый раз прощаю. — Он потербил Семенку по голове. Тот недовольно нахмурился. — Суровый мужик, — улыбнулся милиционер уважительно.

— Без отца с матерью растет, — соврал Витушок.

— А, тогда понятно. Ну, — козырнул милиционер, — счастливого пути!

Хотел было Витушок сразу домой ехать, да пересилил себя: повез Семенку железнодорожный вокзал показать — тоже обещал когда-то. Свернули из центра, поехали маленькой, узкой одной улочкой. Витушок сказал:

— Вот здесь дом раньше стоял. Царя Николашку в нем держали. Вишь как...

Семенка молчал.

Витушок покосился — внук спит.

«Ишь ты...» — усмехнулся Витушок и задумался на минуту. А чего думать — на ближайшем перекрестке развернулся, выбрался за коулками на загородное шоссе и не торопясь поехал домой, в поселок.

Так Семенка и не увидел вокзала.

В июле, в разгар лета, Марюта затеяла разговор с Витушком. Долго думала, решалась, да жизнь заставляла — ничего не поделаешь. Пересилила себя.

Витушок, когда она повела разговор, сидел на чурбаке, тачал прохуdivшиеся сапоги. Марюта пристроилась поблизости, посадила на колени Наташку.

Казалось, Витушок не обращал на них внимания, хотя они сидели рядом долго, молчали.

— Ну чего надо? — наконец недовольно пробурчал Витушок.

— Надумали мы строиться, — выложила разом Марюта.

— Вон чего, — обронил Витушок.

— Трудно самим-то начинать, — добавила Марюта.

— Самим все нелегко делать. А ты как думала? — Витушок покосился на дочь недовольным глазом.

— Жить всем вместе тесно стало, — сказала Марюта.

— Уж не мы ли с матерью вам мешаем? — усмехнулся Витушок.

— Я разве об этом? У меня у самой семья большая теперь. Четверо, все в одной комнате. А Семену в этом году в школу идти.

Дом и правда давно стал тесен. Три комнаты, одна другой меньше. В малухе бабка Матрена век доживает. В десятиметровке Марюта с мужем да двумя ребятишками. В третьей комнате, в тринадцати метрах, Витушок с Розой. Где тут развернешься да повернешься...

— Семенка в школу пойдет — это точно, — поддержал Витушок. — Пускай идет. Грамотность — она нужна мужику.

— Строиться начнем — поможешь, нет? — напрямую спросила Марюта.

— Как это? — будто не понимая, прикинулся Витушок пеньком.

— Не знаешь, как помогают? — В голосе Марюты прорвалось раздражение. — Хотя бы деньгами попервости.

— Денег нет, — твердо произнес Витушок.

— Всего три тысячи, — сказала Марюта. — Мы тебе после вернем.

— Говорю, нет денег, — жестко отрезал Витушок.

— Жалко, Уклеикин? — усмехнулась дочь.

Витушок как ужаленный подскочил с чурбака.

— Где они у меня, тыщи ваши? Забыла: а мотоцикл, а гараж, а баня, а машину купил? Мало денег на вас ухлопал?!

— Это ты для себя старался, — невозмутимо произнесла Марюта и, ссадив дочь с коленей, подтолкнула ее: — Иди поиграй на улице...

Наташке два раза повторять не надо — тут же вылетела со двора.

— Ну хоть две тысячи, ладно, нам лишь бы начать, — повторила дочь.

— Нет денег, нет! — повысил голос Витушок.

Марюта поднялась со своего места, оглядела отца с ног до головы.

— Ох, Уклеикин, Уклеикин... Не хотела, а придется... Нет другого выхода-то.

— Чего-чего? — не понял Витушок.

— А того... Видать, подадимся мы на Север всей семьей. А вы тут хоть тресните на своем богатстве...

— Богатство им мое снится... Эх, бесстыжие!

— Навсегда уедем-то. Попомни. Не увидишь больше ни внука, ни внучки.

— А вот с внуком шалишь... Семенку не отдам вам.

— Стану я тебя спрашивать! — усмехнулась Марюта.  
— Испортите пацана, дура! А я из него мужика выращу.  
— Еще одного Уклейкина? Ну да, обрадовал! Увезу Семенку, попомни!  
— Пугаешь?  
— А чего пугать? Поживем-поживем да и подадимся на Север. Там хоть жильё свое будет... Так-то, Уклеикин.  
И, со злостью хлопнув калиткой, Марютка вышла на улицу.  
Витушок нахмурился, отложил сапоги в сторону. И долго сидел так, без дела: морщил лоб, хмурился, вздыхал... Задумался Витушок.

В январе, в крещенские морозы, умерла бабка Матрена. Похоронили ее, и как будто не было Матрены Саввичны никогда. Изредка только всплакнет Роза, не показывая своих слез Витушку.

Малуху Семенка стал использовать под мастерскую. Выпиливал там лобзиком, выжигал рисунки, клеил, строгал. В сентябре Семенка пошел в школу в первый класс и учился хорошо, основательно, как и все делал в своей маленькой жизни.

После бани Роза подавала Витушку самовар. Следила, чтобы в погребке всегда стояла наготове сладкая газированная вода. Желательно лимонад. И конфет шоколадных, желательнее с темной начинкой, должна высидеться целая гора в вазочке, не меньше.

Одно время хотела было Роза на работу вернуться — на пенсии шесть лет просидела, а ведь работала когда-то в прокатке на горячем стане сортировщицей, — Витушок запретил: «А кто дом вести будет?»

Вспомнил про дом. Иной раз так тошно становилось Розе, что хоть руки на себя накладывай. Бабы-то, подружки-соседки, сколько раз косточки ей мыли: «Ой, Роза, завела себе барина и чего терпишь его?!»

А ей лишь бы что, лишь бы не пил, лишь бы не прежняя скотская жизнь, хотя и от нынешней жизни тошнехонько бывало.

Да чего говорить: жизнь прожить — не поле перейти.

А к весне что-то подолгу стал задумываться Витушок. Сядет у окна, смотрит в сад на оголенные кусты акации или на скамейке у дома пристроится, сидит, щурится на солнце, вдруг усмехнется чему-то, а то улыбаться начнет как бы загадочно, что ли. Во всяком случае, чему-то своему улыбается, затаенному, глубокому.

Роза посматривала на Витушка с недоумением: уж не заболел ли? Чего это с ним?

К майским праздникам, когда земля, где густо, а где пореже, зазеленела шелковистой травой, Витушок нередко присаживался на корточки, рвал травинку, подолгу рассматривал ее, будто дивился чему-то. Ухмылялся потаенно, брал травинку в рот, пожевывал ее, качал головой: «Надо же, а? Ишь ты...»

Как раз когда гремели репродукторы музыкой — на годовщину победы, — Витушок открыл гараж и долго смотрел на машину, на мотоцикл, а потом, будто недовольный чем-то, махнул рукой. Подошел в угол, к верстаку, где сбоку пристроился пригорюнившийся велосипед. Цепь изрядно поржавела, колеса спущены, кое-где спицы погнуты, да и руль, будто рогами, набычился вверх ручками.

— Подзабыли тебя, да-а... — погладил Витушок велосипед.

Весь день он возился с ним, заменил камеры, ниппеля, выпрямил спицы и руль, подкрасил кое-где раму эмалью, а цепь каждое звено, любовно смазал солидолом. Шла она теперь по «звездочкам», эта цепь, как нож по упругому маслу, — мягко и густо-легко, шоколадно отливая смазкой. К вечеру Витушок выставил велосипед во двор, прислонил к забору.

Вернулся из школы после демонстрации Семенка. Удивился:

— Ты чего, дед? Машину мыть надо, а ты...

— А вот пойдем, пойдем-ка в дом,— серьезно, как бы даже недовольно проговорил Витушок.

Зятя, Сережи Полигорбова, дома не было. Марюта, дочь, шила что-то Наташе— та вертелась около матери, ласково приглаживая на боках сарафан. Обе пригасили улыбки, когда в дом вошли Витушок с Семенкой.

Витушок хмыкнул, снял галоши, прошел на кухню.

— Дай-ка ключ от комода,— строго сказал он жене.

Роза, ни слова не говоря, покорно подала связку ключей, которая висела на гвозде за припечкой.

— Не эти,— поморщился Витушок.— От нижнего ящика.

— От нижнего?! — испуганно произнесла Роза.

— Ну кому говорю! — прикрикнул на нее Витушок.

Роза быстрехонько распахнула ворот халата, сняла с шеи, как образок, ключ, который висел у нее на веревочке.

— Пошли-ка,— сказал Витушок Семенке и повел его к комоду. Замок сразу не поддавался, ключ то прокручивался, то, наоборот, его заедало, но наконец нижний ящик открылся.

Из глубины, из правого угла, Витушок вытащил большой, туго обхваченный резинкой сверток.

Сзади, полупрячась за кухонным косяком, недоуменно следила за ними Роза.

Хлопнула входная дверь: вернулся после демонстрации и муж Марютки, Сережа Полигорбов.

— Ага, вовремя, зятек,— усмехнулся Витушок.— Ну-ка пойдете все в большую комнату,— приказал он семье.

Сел во главе стола, оглядел всех строго.

— Марютка, ты строиться думала... Так, нет?

— Да хотели.— Дочь переглянулась с мужем.

— Чего зря огород городить,— сказал Витушок.— Отныне решение: мы с матерью в малуху перебираемся, вы теперь в доме хозяева. Ясно, что ль?

Марютка в недоумении смотрела на отца.

— Это вот наши накопления,— протянул он сверток. Положил уважительно на середину стола.— Сколько есть, столько есть. Все ваше. Так, мать?

Роза и кивнуть-то не могла, только в изумлении губу закусила.

— И «Москвич» ваш. Езди, зять. А «Урал» Семенке. Подрстет,— он потрепал его по голове,— сгодится мальцу в хозяйстве. Так?

Но и Семенка ничего не понимал, смотрел на деда недоверчиво нахмуренным взглядом.

Сказал все это Витушок, посидел секунду-вторую за столом, так ничего и не услышав в ответ— ни слов благодарности, ни слов протеста,— да и вышел во двор. Вывел велосипед на улицу, испробовал звонок: хриловато-заливисто, громко подал тот свой голос.

В окна за Витушком следила вся семья.

А Витушок, молодецки закинув ногу, уселся на велосипед и покатил сначала по травянистой дорожке, а затем въехал на деревянный тротуар и направился в сторону Малаховой горы.

Не было Витушка до позднего вечера. А когда он вернулся, то не стал ни с кем разговаривать, даже с Семенкой, медленно, с достоинством разделся и лег спать. И спал в эту ночь мертвецким сном.

С того дня Витушок каждый день садился на велосипед и уезжал мало кто знал куда. А ездил он чаще всего на Малаховую гору, подолгу сидел там на каменной вершинке и осматривал дали. Где-то открывались лесные чащобы, где-то— припрудные поля и пашни, на юге лежал бирюзовый пруд, а из северной окраины поселка вырывалась лента дороги, текущая серой рекой в уральскую столицу— город Свердловск. Но не тянуло Витушка в Свердловск, как прежде, а

хотелось, наоборот, побольше тишины, покоя, и красоты вот этой, и простора, и воли, и воздуха. Иногда Витушок брал с собой Семенку. Сначала Семенка не понимал деда, крутил головой, хмурился, а потом как бы смирился, а еще потом, совсем неожиданно, сказал Витушку:

— А знаешь, дедушка, кем охота побыть?

— Ну-ка, кем? — улыбнулся Витушок, словно подбадривая внука.

— А вои рыбой. Нырнул в пруд и пошел себе... Плыви куда хочешь!

Витушок ничего не сказал, выслушал, улыбнулся еще веселей.

Ни хозяйство, ни дом Витушок не забросил, конечно. Но как бы задумался с той весны о чем-то. И все ездит и ездит на велосипеде по уральской широкой стороншке, будто открывает для себя белый свет.



---

---

## ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ



### ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

#### Армянский туф

По дымным склонам смерть бродила,  
Сжигая все огнем дотла.  
Неуправляемая сила,  
О как страшны твои дела!  
Ты погубила все живое —  
Леса, и живность, и цветы.  
И небо, от беды седое,  
Достать хотела б лапой ты.

Всесожигающая лава!  
Спеша волнами под уклон,  
Ты думаешь, что в силе — право,  
Она — единственный закон.  
И в тишине многострадальной  
Передо мною до сих пор  
Зарубки памяти печальной —  
Уступы ереванских гор.

Не зря, исполнены печали,  
При свете меркнущего дня  
Глаза библейские встречали  
На узких улочках меня.

Однако, лава, ты ошиблась!  
Есть нечто посильней тебя.  
С тобою сила жизни сшиблась,  
В рога победные трубя.

Воскресли палые пустыни,  
И солнце новое взошло,  
И то, что смерть несло, отныне  
Путь созидания нашло.

Подобно хлебу, ноздреватый,  
Прочней, чем брат его — гранит,  
Туф, словно угро, розоватый  
Дыханье теплое хранит.

#### На берегу

Где влага с небом братались,  
Соседством своим горды,  
Лаванда и дигиталис  
Росли у самой воды.

Одно для духов, другое  
Для сердца — так говорят.  
Растенья полны покоя,  
Кольшугся ветру в лад.

Порыв проходит волнами,  
 Как все проходит, увя.  
 Шагает время коврами  
 Всему покорной травы.

...Ты спросишь: а что вначале?  
 Начала нет у времен.  
 Здесь римляне осушали  
 Болотистый Балатон.

Прошли без оглядки гунны  
 Дорогами всей страны.  
 Замки на дворцах чугунны,  
 И храмы отворены.

Гудят по асфальту шины.  
 Везет паром среди зыбей  
 Автобусы и машины  
 И реже — пеших людей.

Полоска земли ужалась  
 На самом крутом юру.  
 Лаванда и дигиталис  
 Качаются на ветру.

Стою я рядом с подругой,  
 Глядим вдвоем на траву,  
 И гонит ветер упругий  
 Минуты, словно листву.

### Больница

Больница, где лежал Ван Гог,  
 В благословенном богом Арле.  
 Здесь запах бедности и марли,  
 Истерт страдальцами порог.

Кровать убогая, окно —  
 Как Роны сумрачное дно.  
 Ворот недремлющий запор,  
 Булыжником мощный двор.

Не изменились небеса,  
 Все те же листья и роса,  
 И та же осень за окном  
 Горит чахоточным огнем.  
 Художник только бронзой стал,  
 Остался во дворе больницы,  
 Шагнув легко на пьедестал.



---

---

АКСЕЛЕУ СЕЙДИМБЕКОВ

★

## ПРОВОДЫ НЕВЕСТЫ

Рассказ

**Е**сли перевалить через крутую вершину сопки Кара-Тюбе и повернуть на восток, сразу же бросается в глаза круглая зеленая лужайка, в центре которой гордо несет свою крону стройный тенистый тополь. Хоть и мала лужайка, не больше наперстка, не заметить ее среди бурых однообразных долин невозможно.

Этот внезапно открывающийся пейзаж буквально потрясает каждого путника, удрученного бескрайностью казахской степи. Можно представить, как тот цокает языком и восклицает: «Апырай<sup>1</sup>, кто посадил здесь такой стройный тополь?»

Местность эта, согревающая душу человека и возбуждающая в нем разные фантазии, называется Кыз-Узаткан, что означает проводы невесты. Откуда пошло такое название? Чья заботливая рука посадила здесь, в глуши, единственное дерево? Долгое время для всех это оставалось загадкой.

Недавно мне довелось побывать в тех местах, и я смог узнать тайну одинокого тополя...

Как правило, после осенней стрижки овец чабаны перекочевывают на свои зимовки, чтобы во всеоружии встретить затяжные, вперемежку с мокрым снегом дожди: надо заранее залатать щели в жилье, заготовить на зиму топливо. Важно также определить других покушающихся на зимние пастбища овцеводов. По этой причине однажды осенью, в самом ее начале, и поспешил перекочевать к источнику Тасбулак, расположенному у подножия горы Кабантау, чабан по имени Нуркей.

Следует сказать, что в тех краях это же имя носили три человека. Чтобы хоть как-то различать их, люди в соответствии с характером каждого придумали им клички: Мягкотелый Нуркей, Ветреный Нуркей и Что-Где Нуркей. И действительно, Мягкотелый Нуркей никогда никому не переходил дорогу, был предельно вежлив, своими сладкими речами мог смягчить даже камень, а Ветреный Нуркей не отдавал отчета своим словам, сию минуту забывал обещания, на другой день весело болтал с кем поругался вчера, напропалую врал с пеной у рта. Что касается Что-Где Нуркея, то тот слыл отчаянным забиякой, никому не доверял, без причины лез в драку: короче говоря, был человеком, о котором в народе говорят: «Скажешь ему: сбрей волосы — он снимет голову».

Так вот, к Тасбулаку перекочевал один из тех Нуркеев, кого люди прозвали Мягкотелым. После того как он обосновался там, мы вместе с зоотехником Сериком в один из бархатных дней бабьего лета навестили его. Нам было уже известно, что у этого аксакала есть

<sup>1</sup> А п ы р а й — возглас удивления.



добрая жена по имени Айша, которая свыклась с характером мужа и всю власть в семье взяла в свои руки, и единственный сын Аман, во всем помогающий родителям по хозяйству.

Дело близилось к ночи. Отара уже угомонилась, стреноженные кони мирно паслись неподалеку от юрты. Айша быстро приготовила ужин. Поговорив немного о делах, мы поели и поспешили лечь спать, чтобы завтра встать пораньше. Устав от долгого пути, уснули сразу же, как провалились.

Разбудил нас остервенелый лай собак, переполошивший всю кошару. Потом мы услышали лошадиный топот и гневный крик возле самой юрты.

— А ну подойди сюда, балбес! Ближе, ближе!— словно хлестал плеткой незнакомец, а затем раздался свист и самой плети.

— Ойбай, ойбай, что я вам сделал?!— истошным голосом завопил сын Нуркея Аман.

— Уай, ты еще спрашиваешь, негодник?!— продолжал кричать всадник, размахивая плеткой.

Сквозь шум послышались стук упавшего ведра и торопливое шарканье калош тетушки Айши.

— Оу, зачем так шуметь, когда люди еще спят?— раздался ее встревоженный голос, ничуть не унявший разбушевавшегося всадника.

Я быстро выбежал из юрты и в разгневанном человеке узнал чабана Мустафу, тоже недавно перебравшегося на свое осеннее пастбище. Он, наседая конем на Амана, продолжал яростно хлестать того плетью. Каждый удар сопровождался словами:

— Бесчувственный чурбан! И как только у тебя рука поднялась на такое! Вот тебе, вот тебе! Получай!

Но больше всего меня поразила Нуркей, который сидел, прислонившись к юрте чинил подпругу и с видимым безразличием созерцал эту сцену. Как будто не его единственного сына беспощадно секли сейчас у него на глазах. На его смуглом обветренном лице не было и тени волнения или неудовольствия. Наоборот, в узких глазах, окруженных сеткой морщин, таилась едва уловимая усмешка. Но тут уже не выдержала Айша, бесстрашно схватила за уздцы коня и крикнула Мустафе:

— Мусеке, Мусеке, хватит уже, не позорьте себя!

— Прочь, чертовка, а то и тебя огрею как следует, пусть даже небо свалится мне на голову! Тоже хороша!— пуще прежнего разошелся аксакал, сверля свирепым взглядом растерявшуюся женщину. И та притихла, застыла на месте.

А Нуркей все улыбался да поплеывал на пальцы, миролюбиво приговаривая:

— Успокойся, Айша. Пусть человек разомнется немного. Ведь его сын ровесник нашему. А если смотреть в корень, то и Аман его сын. Разве жеребенку больно, когда его лягает мать? Ведь не убьет же! Так что не вмешивайся, не твоего ума это дело. Иди сюда, говорю!

Стоическое спокойствие Нуркея и его слова отрезвляюще подействовали на разбушевавшегося чабана. До него наконец дошло, что случившегося не поправить никакой плетью, и он, тяжело дыша, буквально кубарем скатился с коня.

— Уа, Мусеке, идите сюда, утолите жажду. Объясните, что произошло и оправданно ли ваше возмущение?— медоточивым голосом тянул Нуркей.

Обессиленный и мрачный Мустафа даже не стал привязывать коня, а, подойдя к Нуркею, мешком плюхнулся на землю. Отдышавшись, он обреченно произнес:

— Что тут уже объяснить, хоть до вечера хлещи твоего сына, а что толку? Потерянного не вернешь!..

Мы все затаили дыхание, ожидая услышать самое худшее. Нуркей тоже боялся открыть рот: хорошо знал своего сверстника Муста-

фу, который без причины не стал бы так убиваться. А тот, глубоко вздохнув, ткнул плетью в сторону рыдающего Амана и глухим голосом начал:

— Вот этот ваш тихоня вчера хвастался, что уже заготовил дрова на всю зиму. А знаете, как это ему удалось? Ведь он срубил единственный тополь в Кыз-Узаткане! Щенок, и как только додумался до такого! Вон сколько арчи валяется под ногами, стоит только нагнуться. А, да что говорить, когда дело сделано! Ты вот, Нуркей, сидишь и думаешь: и чего это Мустафа раскипятился из-за какого-то дерева? Но ведь это дерево непростое! Оно было завещанием, оставленным старшим поколением в назидание всем влюбленным сердцам. С ним связана горькая судьба двух молодых людей, которые с плачем прошли по жизни... До сих пор эти горемыки стоят у меня перед глазами. Как сейчас помню...— Голос Мустафы задрожал, он весь как-то сник, ушел в себя.

Нам оставалось только ждать продолжения его рассказа. Из юрты с деревянной раскрашенной чашей, наполненной кумысом, шаркая калошами, вышла Айша.

— Ойбай,— сказала она, протягивая чашу Мустафе,— мне показалось, что нашего Мусеке рассердил какой-то пустяк, а тут, вижу, дело серьезное. Попейте кумыса — он успокаивает.

Мустафа молча принял чашу и, окунув в кумыс пышные усы, одним духом осушил ее. Затем выпрямился, легким движением разгладил нависшие над глазами седые брови и уже твердым голосом заговорил.

— В случившемся есть и наша вина...— откашлявшись, начал Мусеке, величаво повернувшись к Нуркею своим грузным телом и не отрывая от него глаз. (Опытные рассказчики всегда выбирают себе главного слушателя и, обращаясь как бы к нему одному, проверяют его реакцию.)— Да, наша вина... Если бы мы чаще рассказывали молодым то, что в старину происходило на нашей священной земле, прививали бы им уважение к добрым традициям, больше думали об их душах, я уверен: такого не произошло бы.

Недавно мне рассказали, что некие ретивые хозяйственники пытались разобрать белоснежные каменные надгробия рода Таракты, расположенные вдоль Шажагая. А для чего, думаете? Чтобы соорудить из них подсобные помещения и загоны для молодняка. Хорошо эту глупую затею пресекали старики, поведав невеждам, что в могилах, протянувшихся до самых далеких гор, лежат достойные представители рода Таракты, который в свое время считался старшим братом других племен Среднего жуза. Это один пример. А что происходит на месте захоронения знаменитого батыра Агыбая из рода Шубуртпалы в Тайаткан-Шунаке? Его величественный мавзолей разрушается, могильными плитами стали устилать дорогу! Сейчас уже мало кто знает, что Агыбай всю жизнь боролся за свободу казахского народа, за лучшую для него долю. Как говорится, стлал под себя леги и укрылся снегом.

Э-е-ей! Разве можно такое забывать? Вот и Кыз-Узаткан... В свое время никто не проходил это место, не прослезившись при виде одинокого тополя. А теперь об этой истории стали забывать.

Посмотрите, Нуркей, вокруг, на эти одряхлевшие возвышенности: Кара-Тюбе, Кызытас-Сангырау, Бельтерек, скалы Мыржика... В седой древности они служили укрытием для скота и именно здесь располагались зимовки рода Аралбай, в народе его звали Арал-ата. Этот могучий род происходил из племени алтай. С наступлением лета множество аулов аралбайцев размещалось по эту сторону рек Атасу и Аксу. А по ту сторону рек, вплоть до Шажагая и Шолакसेпе, проводили лето тарактинцы. У них тоже были свои достоинства. Особенно славились их джигиты, среди которых много было певцов и музыкантов, гордых на всякие выдумки. Они были верны дружбе и уважали со-

седей, готовы были отрезать себе руки и отдать тем, кто приходил к ним за помощью.

Отношения между Арал-ата и Таракты сложились добрые. Правда, в старину, говорят, когда еще был жив Кутжан-хаджи, у них произошло несколько столкновений из-за пастбищ в долине Шажагай, но уже ближе к нашему времени они окончательно сдружились, засылали друг к другу сватов, переженились. Короче говоря, жили как одна семья.

Так вот, в роду Арал-ата, то есть Аралбая, был некий бай по имени Боздак. Богатствами он владел несметными. Одних лошадей имел около четырех тысяч, причем исключительно одной масти — какого-то удивительного голубого отлива. Такие лошади были только у Кутжан-хаджи. Поэтому, когда ушел из жизни этот властелин, в народе стали говорить, что все лошади с голубыми шеями перешли к баю Боздаку. У этого бая была железная хватка и длинные руки, он умея свое одно превращать в два. Пыль стояла столбом, когда Боздак гнал на ярмарки в Акмолинск и Куянды отары своих овец.

Само собой разумеется, пересчитать всех овец бая Боздака было невозможно. А вот верблюдов, никто не знает почему, держал мало, ровно столько, чтобы их хватало перевозить вещи и юрты во время перекочевок. В раннем детстве, проезжая по этой местности, мне довелось увидеть его верблюдов. Одни горбы у них были величиной с копну!

Итак, нынешний Кыз-Узаткан, стоящий на середине Сары-Адыра, в то время назывался Кумис-Булак — серебряный ключ. Воды в нем было столько, что, когда около сотни байских верблюдов вставали в ряд и начинали пить, она не убавлялась в нем ни на палец. Он оставался таким же сверкающим, подобно серебряному блюдцу.

У источника постоянно жил одинокий пастух верблюдов, старый Санжар. Другие кочевники все лето то и дело меняли места своих кочевков, а Санжеке сидел себе не шелохнувшись да приговаривал: «Хвала аллаху, вокруг моей юрты всегда зеленая и густая трава! Кому ее топтать? У меня нет дворца, набитого домочадцами, нет табунов лошадей, нет отар овец... Одна лишь дойная верблюдица да старый бура<sup>2</sup>...»

Так и сидел Санжеке у своей юрты до первых снегов ноября. А жизнь проносилась, играя и переливаясь, как мираж.

Это был весьма почтенный старец, о которых говорят, что они и стареют-то по-человечески. Он приходился нам дальним родственником. В то время я был босоногим папаном. Иногда мне и другим ребятам хотелось напиться шубата<sup>3</sup> и поиграть с верблюжонком. Тогда мы, недолго думая, убежали на Кумис-Булак.

У Санжара был племянник Абзал, которому в то время исполнилось двадцать восемь лет. Пай-пай-пай, вот это был джигит! Он так и стоит перед моими глазами, словно только вчера расстался с ним. Высокий, плечистый, густые брови, прямой нос, лицо цвета поджаренной пшеницы, стройный стан... Его ум не уступал его силе. Во всем он был на голову выше остальных сверстников. А каким был весельчаком! Песни, казалось, так и лились из его души. Не случайно Абзал был желанным гостем на любом празднике.

Помните, к нам как-то приезжали артисты? Без шапок, без платков, все в штанах, девушки острижены под мальчишек, у парней, наоборот, волосы до плеч. Такой адский грохот подняли, что все лошади разбежались, собаки выть начали. Послушал я их, послушал тогда да и вспомнил Абзала, сказал про себя: «Всю бы вашу музыку променял на одну его песню!» Говорили, что эти артисты несколько лет учи-

<sup>2</sup> Бура — одногорбый верблюд, дромадер.

<sup>3</sup> Шубат — верблюжье молоко.

лись петь и играть, а Абзал нигде не учился, талант ему был дан от природы.

Кроме Санжара, у джигита Абзала не было родных. Его родители всю жизнь пасли овец бая Боздака, готовили ему пищу. Они умерли один за другим в течение года, когда мальчику исполнилось одиннадцать лет. Круглого сироту отправили пасти байских ягнят. Об этом узнал Санжар и сказал: «Лучше не жить мне на этом свете, чем каждый день видеть слезы единственного племянника, у которого даже не окрепли кости». Он уговорил бая отдать ему мальчонку.

Старый Санжар боготворил своего племянника, не чаял в нем души, каждому приезжему расхваливал его способности, ничего не жалел для него. Жил он в бедности, но из последних сил старался сделать так, чтобы его племянник не испытывал недостатка ни в пище, ни в одежде. «Все, что есть у меня, — твое!» — говорил он и сажал Абзала на доброго коня, одевал в красивую одежду, знакомил с почитаемыми людьми. Как сейчас вижу Абзала в соболиной шапке, в высоких синих сапогах, подпоясанного тонким ремешком, отделанным серебряными украшениями. Нам, мальчишкам, хотелось во всем подражать ему, быть такими же джигитами, как Абзал-ага.

То было время, когда баи купались в богатстве и славе, а бедняки держали свои рты на замке. А наш Абзал не стыдился своего бедного происхождения, смело высказывал свое мнение в родовых спорах, давал мудрые советы, достойно вел себя во всех ситуациях, чем заслужил уважение всего рода.

Даже бай Боздак тепло относился к Абзалу и всякий раз старался подчеркнуть его добрый нрав, волю и характер, не забывая, правда, добавить при этом: «Юноша с детства рос и воспитывался в нашем доме, так почему же ему быть плохим человеком?» Говорилось это, конечно, в отсутствие Абзала.

Боздак доверял Абзалу выбирать места для перекочевков, брал с собой на охоту и возил в гости, сажая за столом справа от себя. Первым советчиком бая в торговых делах и в решении спорных вопросов с другими родами тоже был Абзал.

В то время баи гоняли свой скот в сторону Чу, а с наступлением весны по тальм водам опять перегоняли его в Сары-Арку. Переходы эти проходили в сложных условиях, в постоянной борьбе с неукротимыми силами природы. Для того чтобы сохранить скот, джигитам требовались мужество, выносливость и выдержка. Возвращаясь домой, вконец изможденные, они не переставали восхищаться находчивостью и отвагой своего предводителя Абзала.

Как-то после одного такого перехода Абзал приехал к баю, чтобы справиться о его здоровье и выразить свое почтение. Боздак принял его как самого уважаемого человека: зарезал барашка и подарил одну из своих знаменитых синешеих лошадей. Сказал при этом: «Твои родители, Абзал, верно служили мне, превращая одну мою скотину в две, говорили обо мне только добрые слова, были близки мне, а теперь ты стал для меня самым близким человеком, как сын. Мне для тебя ничего не жалко. Не могу слышать, как завистливые люди сравнивают твою клячу с верблюдом. Бери моего коня, красуйся на крылатом тулпаре!»

Хитрый был этот Боздак. О таких людях говорят, что они слышат шипение змеи за тридевять земель. Вот и тут, говоря такие слова, он был себе на уме. Но об этом потом.

— В старину люди говорили... — продолжал свой рассказ старый Мустафа.

К этому времени проснулся зоотехник Серик и присоединился к нам. Незаметно подошел и уселся позади Мусеке получивший взбучку Аман. Все мы замерли, стали похожи на отлитую скульптуру и приготовились слушать дальше.

— В старину люди говорили: «Если жена твоя дурная — гость покинет твой дом. Если сын у тебя дурной — достаток покинет твой дом. Если дочь твоя дурная — вздрогнет седьмое колено предков».

Так вот, несмотря на несметные богатства, все эти три беды приютились в доме Боздака. Его байбише<sup>4</sup> по имени Жамал напоминала сонную муху, ходила так, будто только что встала с постели после долгого сна. Родственники Боздака в шутку прозвали ее Майжамбас, что означает курдюк, полный сала, и она, как ни странно, откликнулась на это прозвище, словно оно было дано ей самим богом. Об этом знали все в округе и тихо посмеивались. Тем не менее она подарила мужу сына и дочь.

Кроме Жамал у Боздака было еще две жены. Одна из них скончалась от родов, а вторая, хорошо воспитанная и милая женщина, за которую Боздак заплатил порядочный калым, к сожалению, так и не смогла родить ему ребенка. А баю хотелось иметь много детей.

Сын бая Сахи был ровесником Абзала. Мы не раз его видели. Он отличался чванливостью и тупостью, постоянно хвастался богатством отца, треножил своего коня шелковыми путами и подтирался шелком. Над ним потешались, когда он мешком сидел на коне и падал с него под общий смех. Девушки подхватывали его под руки, и начиналось шумное веселье. Словом, им играли, как живой куклой.

Ох жизнь, жизнь... У каждого времени свои заботы и свои забавы. Как вспомню этого Сахи, даже сейчас начинаю смеяться. Да, он еще курил папиросы, одну за другой. Это тоже не делало ему чести.

Но у кого не болит сердце о своем чаде, каким бы оно ни было. Вот и Боздак, когда Сахи был еще ребенком, решил породниться с одним из влиятельных людей соседнего рода Таракты Алтыбаем, у которого была прелестная дочь Акбилек. Договорились, что, достигнув совершеннолетия, их дети поженятся.

Все же этот наш обычай довольно легкомыслен: никто не хочет думать, какими станут дети, когда вырастут. Хорошо, если они полюбят друг друга и познают радости жизни, а если нет? Тогда их совместная жизнь превратится в сущий ад. А здесь случилось так, что Сахи вырос придурковатым увальнем, а Акбилек расцвела, как горный цветок.

Да, ведь я не случайно упомянул о пристрастии Сахи к куреву. Однажды он, надев самые дорогие наряды, заехал в дом к Акбилек, чем нарушил наш неписанный закон, запрещающий бывать в доме невесты до свадьбы. Нужно сказать, что парень вообще не считался ни с какими обычаями и правилами. Как только Сахи вошел в юрту к девушке, на улице бешено залаяли собаки, закричали дети, поднялся сплошной шум и гам. Люди выбежали из юрт и увидели, как ухоженный синешей конь Сахи, словно обезумев, дико ржет и скачет вокруг аула. Оказалось, что загорелся притороченный к седлу корджун<sup>5</sup>, сплетенный из верблюжьей шерсти. Это Сахи, возбужденный предстоящей встречей с Акбилек, швырнул не глядя горящий окурочок и попал в корджун. А как известно, верблюжья шерсть воспламеняется от одной искры, недаром ее использовали как фитиль для огнива. Почувствовав ожог, конь испуганно заржал, заметался и, оборвав поводья, понесся вскачь по аулу. И что самое главное, увидев все это, надменный и глупый Сахи даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти своего коня. Только и сделал что крикнул: «Уай, мой синегривый, если у тебя хватит ума, то скачи к воде!»

От всего этого несчастная Акбилек окончательно возненавидела своего нареченного, ставшего посмешищем для всех. Она и так пролила немало слез, думая о предстоящем замужестве. А теперь в отчаянии воскликнула: «О боже, чего же я совершила непотребного, что

<sup>4</sup> Б а й б и ш е — старшая жена.

<sup>5</sup> К о р д ж у н — переметная сума.

меня осудили быть рядом с таким полоумным!» Эти ее слова и вест» о гибели синешеиго коня мгновенно долетели до рода Арал-ата.

Вот таким был сын Боздака, но дочь его Балым еще была хлеще. Когда аульские женщины распекали своих дочерей, то часто вспоминали Балым, говоря примерно так: «Ойбай, не уподобляйся дочери Боздака!» А парни многозначительно ухмылялись при упоминании о Балым, утверждая: «Стоит только захотеть — и Балым будет твоя!» И в самом деле, не желая никого обидеть отказом, она легко поднимала подола своего платья. Так, живя в своем доме, возле отца, без стыда и совести подарила ему ребеночка. Мальчик не успел еще открыть глаза, как Боздак во избежание позора спровадил его к дальней родственнице. Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Все это стало известно сватам Боздака. Да, я забыл сказать, что дочь бая была просватана за одного джигита из рода Тама, обитавшего вокруг Кызыл-Жара.

Разгневанные таминцы, недолго думая, в одну ночь угнали всех своих лошадей, которых отдавали Боздаку десятками в течение нескольких лет в счет калыма. Угоняя лошадей, они сказали байскому табунщику: «Передай своему хозяину, что мы сватались к невинной девушке, а не к бабе с довеском. Пусть он теперь клянет бога, а не нас!»

Боздак не послал погони за угонщиками, а табунщику, сообщившему дурную вест, сумел заткнуть глотку, чтобы скрыть и этот позор. Долго сидел мрачный и вконец обессиленный.

Второй сват — тарактинец — ничего плохого не говорил Боздаку, но после дурацкой выходки Сахи стал приезжать к баю все реже и реже, отношения их испортились, стали прохладными. А тут еще тарактинцы, наезжавшие в аул Боздака, подливали масло в огонь, как бы невзначай сообщая, что их Акбилек считает себя выше Сахи и просто презирает его.

Точно загнанный в угол волк, Боздак весь подобрался и ощерился. Но вида, что потерпел поражение, не показывал, продолжал жить как ни в чем не бывало: во всем проявлял свой твердый характер и грозный нрав. Бай не терял надежды выдать замуж опозорившуюся дочь, да еще за джигита, который был бы во сто крат лучше прежнего жениха. Таким виделся ему Абзал. Пусть тот не знатен и беден, но зато из одного с ним рода и всегда будет под боком. Разве сыщешь лучшего стража своему богатству!

Беседа с близкими, Боздак не раз намекал о своем выборе. Ему говорили, что Абзал не в состоянии заплатить калым, поэтому, мол, он и не может до сих пор обзавестись семьей. На что бай отвечал: «Какая разница, кого женишь, сына или дочь, ведь они оба рождены мной, и я готов отдать в приданое Балым половину своего богатства, нажитого по щепотке». Или: «Любой бай был бы счастлив занять такого зятя, как Абзал, не требуя калыма, а наоборот, еще прибавил бы к дочери огромное состояние».

Все эти разговоры, конечно, достигали ушей Абзала и его друзей, которые подшучивали над сверстником: «Эй, Абзал, до каких пор ты будешь нести хомут бедности? Рискнул бы, женился на Балым! Ведь она вся из сала, и ей стоит только кувырнуться в постели, как назавтра выкинет пацана!»

Абзал добродушно посмеивался, а у самого на сердце кошки скребли. Поделился как-то с дядей Санжаром, сказал ему: «Чем разжиреть от поганого, лучше быть худым, но чистым. Не так ли, дядя?»

Мустафа прервал рассказ и, обращаясь к хозяйке, сказал:

— Айша, в горле пересохло. Дай чем-нибудь промочить его! А это хорошо, что вы держите дойных коров. Вон сколько кругом травы — скот может выбирать и горькую и сладкую!

Тихо воскликнув: «Что же это я про гостей забыла!» — Айша подняла свое брненное тело и, волоча по земле калоши, ушла в юрту. А мы сидели молча, унесенные мыслями в прошлое, в одну из обычных степных историй. Хотелось скорее узнать, что же было дальше.

— Оу, Мусеке, неужели этот Сахи женился-таки на Акбилек? — спросила Айша, подавая кумыс аксакалу.

На этот раз Мустафа пил кумыс не спеша, с остановками, оценивая его вкус. Возвращая пустую чашу, посмотрел на Айшу и сказал:

— Говоришь, женился ли? Погоди, не торопись, теперь уж все доскажу до конца.

Повернувшись к Нуркею, он снова продолжил рассказ.

— Если не забыл, к тому времени я достиг первого мушеля, то есть мне исполнилось тринадцать лет. В этом возрасте мы уже кое-что понимали... Помню, дело было ранней весной. Чабаны перекочевали на джайляу, разбросали свои аулы по обе стороны Аксу. Эх, какая была степь вокруг! Она цвела всеми цветами радуги, сверкала на солнце, словно дорогой ковер. Уже без присмотра пасся молодежь. Встряхнулись и повеселели люди, забыв тесноту и чад зимовок. По вечерам устраивались игрища, звучали песни.

В один из таких вечеров к нам неожиданно примчался сын Алтыбая Муса. Нас это не удивило, поскольку в такое время года два соседних рода всегда приглашали друг друга в гости, чтобы отведать специально хранившиеся для этого случая лучшие куски оставленного с зимы мяса. Но на этот раз слишком взволнованным и озабоченным выглядел Муса. Оказалось, на это была причина.

Исконными владениями тарактинцев считалась степь, тянувшаяся вдоль Шажагая, Сарыкульжа, Байбише, Алтын-Сандыка и Агадара. Дальше — у Акштау, Бугулу-Тагины, Каркаралы и Кента — обитал род Каракесек. В Среднем жузе каракесековцы выделялись своей нахрапистостью, красноречием и ловкостью. Их джигиты сидели в седлах как влитые, отлично знали местность, слыли отчаянными и бесстрашными. В округе не было такого рода, землю которого не топтали бы конь каракесековца. Больше других по причине соседства страдали от набегов каракесековцев тарактинцы. Вот и на этот раз те дерзко ворвались в табун Алтыбая и на глазах у его табунщиков угнали около полусотни лошадей.

Гордец Алтыбай не смог перенести такой наглости, он был из тех людей, которые на того, кто поднимал палку, бросались с дубиной. Он решил объединить свои силы с тарактинцами и так проучить грабителей, чтобы те навсегда забыли к нему дорогу. Послав сына к свату, Алтыбай дал ему наказ: «Передай Боздаку, что каракесековцы уподобились степным волкам и слишком рано оседлали в этом году своих коней. Если мы не будем действовать плечом к плечу, их соил<sup>6</sup>, сегодня достигший меня, завтра опустится на его голову. Алтыбай и сам смог бы вернуть своих лошадей, но он хочет, чтобы враг знал: соединив свои головы в постели, а скот в степи, оба наших рода действуют сообща — у них одна честь. Пусть подождут свой хвост!»

Боздак смекнул, что это хороший повод укрепить пошатнувшуюся дружбу со сватом, и не стал важничать, быстро посадил на резвых коней десяток джигитов во главе с Абзалом. Задумался, посылать ли вместе с ними Сахи, опасался, что недотепа попадет в руки врага и еще раз опозорит его. Но в таком случае Алтыбай, не поняв свата, вновь обиделся бы. Это обстоятельство взяло верх в сознании Боздака, и он в последний момент снарядил в путь сына.

Тарактинцы — тридцать крепких джигитов, готовых снять голову вместе с волосами, — уже поджидали соседей. Обговорив с прибыв-

<sup>6</sup> Соил — боевая жердь.

шими детали набега, они сообща напали на каракесековцев и угнали из их табуна пятьдесят нетельных кобылиц. Враг понес заслуженную месть, но не примирился с этим и бросился в погоню. Джигиты с обеих сторон дрались жестоко, несколько раз сшибались в бою. Когда силы каракесековцев иссякли, они, потеряв всякую надежду отбить кобылиц, решили захватить в плен хотя бы одного противника. И тут, как говорится, и без дождя всегда ходивший мокрым Сахи будто назло падает с коня. Враги набросились на него, как муравьи на гусеницу. Но подоспевший Абзал, который дрался как лев, словно камень разбрасывает каракесековцев, хватая на скаку Сахи и выносит его с поля боя, кинув перед собой на коня.

Джигиты Боздака потом будут с восторгом описывать этот эпизод: «Наш герой Абзал дрался с врагами, прижав Сахи шенкелями!», «Смельчак Абзал схватил и унес Сахи, как шелудивого пса!» и тому подобное.

Алтыбай ликовал по поводу победы над своими заклятыми врагами, особо отмечая заслуги джигитов свата Боздака. Он не сразу отпустил их домой, зарезал стригунка, поставил отдельную юрту и четыре дня стался перед ними, превознося их достоинству.

О жизнь, жизнь! Когда победители вернулись домой, все заметили, что Абзала словно подменили. Всегда веселый и общительный, он теперь ходил мрачный и нелюдимый. А причиной тому была красавица Акбилек, которую он повстречал в доме Алтыбая и с которой поговорил по душам.

Верным другом и опорой в жизни для Абзала был его старый дядя Санжар, который воспитывал племянника с малых лет и не чаял в нем души. Проницательный человек, он сразу же, как только Абзал соскочил с коня, заметил перемену в его настроении. «Апырау, апырау,— сказал он юноше,— поехав защищать честь тарактинцев, как бы ты не попал в их шелковые сети, племянник!»

Оказывается, однажды Санжар в поисках верблюдицы, убежавшей рожать в уединении, заехал к тарактинцам и в доме Алтыбая увидел его дочь Акбилек, пленившую старика своей вежливостью, обходительностью и редкой красотой. И теперь, говоря о шелковых сетях, имел в виду именно ее.

Абзал, как ребенок, склонил голову на грудь старику, с которым всегда был откровенен, и со слезами заговорил: «Ах дядя, дядя! Что бы я делал, не будь тебя у меня, ведь ты вместо матери учишь меня уму-разуму, вместо отца защищаешь от недругов, все видишь, что творится у меня на душе!»

Долго советовались в тот раз племянник и дядя, ища и не находя выхода из создавшегося положения. «Эх мальчик,— говорил Санжеке Абзалу,— руки у нас коротки, не на кого надеяться, не у кого искать поддержку. Ты же знаешь, что Боздак и Алтыбай в жестокости не уступают друг другу. А девушка, как бы ни была она к тебе расположена, опутана со всех сторон калымом... Я даже готов вместо этого проклятого калыма бросить под ноги Алтыбаю свою голову, только зачем она ему. С одной стороны Алтыбай, а с другой — Боздак... Они скрутят тебя в бараний рог, и весь Аралбай — Таракты будет на их стороне. Это яснее ясного. Смотри, как бы ты не превратил свою голову в мяч и зря не заставил Акбилек плакать кровавыми слезами... Подумай об этом, мой светоч!»

Абзал и сам понимал все. Пропуская слова дяди через сито своих мыслей, он долгое время ходил как в полусне, не зная, на что решиться. А любовь разгоралась, и, как говорится в древних поэмах-хиссах, с каждым вздохом из груди Абзала вырывалось пламя. Наконец он не выдержал и поскакал к тарактинцам.

Встретиться с любимой Абзалу помогла ее сноха, добрая и все понимающая женщина. Когда аул уснул, она привела свою золовку



в условленное место и предупредила молодых, что ночи сейчас коротки и с первой трелью соловья она вернется за Акбилек.

Оставшись наедине с Абзалом, Акбилек без всяких условностей и ложного стыда сказала ему: «Не знаю, что случилось, но я не находила себе места, так хотела видеть вас! Мне кажется, что я могу войти в ад, держась за вашу руку...» Что мог ответить на это искреннее признание наш Абзал? Отбросив все сомнения, он твердо решил соединить свою судьбу с судьбой Акбилек. Лишь бы только она не отступилась от сказанного, не испугалась тяжелых лишений, на которые он обречет ее.

Как быстро посерело небо на востоке и запели первые соловьи! Абзал с болью в сердце расстался с Акбилек, твердо намереваясь добиваться ее руки. Об этом он, вернувшись домой, сказал дяде, и тот со слезами на глазах благословил племянника на этот подвиг во имя любви. «Пусть сияние озарит твой путь, мой светоч,— сказал он Абзалу,— а что касается меня, то я все выдержу ради тебя и твоего счастья! Мне не жаль этой собачьей жизни...»

Едва Мустафа произнес эти слова, как необычайное волнение охватило тетушку Айшу, она прослезилась и дрожащим голосом вымолвила:

— О боже, хоть бы счастье улыбнулось Абзалу и Акбилек, хоть бы беда миновала их!

— Гляньте-ка на нее!— воскликнул Нуркей, кивнув в сторону жены.— Да она просто сомлела.

— Сомлеешь тут,— ответила Айша, вытирая глаза кончиком платка,— жалко ведь молодых!

Все мы боялись раскрыть рот, чтобы не отвлекь рассказчика, а он продолжал:

— Время летело как на крыльях... Наступила весна, земля покрылась весенним одеянием, скот встал на ноги. Роды Аралбай и Таракты зачастили друг к другу в гости, проложив в степи бесчисленные тропки. По обычаю люди приглашали в гости соседей на мусульманские праздники, такие, как байга, кокпар и другие, или чтобы отметить рождение ребенка или совершение обряда обрезания — ерулик. У аулов сооружались качели, и молодежь всюю предавалась веселью.

Впервые я увидел Акбилек на одном из таких празднеств. До сих пор помню, как задушевно она сказала мне, узнав, кто я такой: «А-а, так это, значит, ты маленький доверенный Абзал-аги, он часто упоминал твое имя...» — и погладила меня по чубчику. Услышав ее мягкий голос и увидев неопишуемой красоты лицо, я испытал сильное смущение. Движения ее были плавными и сдержанными, а глаза... Глаза были полны тоски и печали, напоминали глаза верблюжонка.

О красоте тарактинских девушек ходили легенды. А мудрый акын Туяк сказал однажды, что тарактинцы все свои драгоценные и благородные качества отдают дочерям. И от тарактинских женщин родилось немало знаменитых людей, прославивших казахский народ.

Частое хождение в гости еще больше сблизило Абзала и Акбилек. Праздники были поводом для их откровенных встреч, но они, разумеется, встречались и тайком. Словом, как говорится, не могли и дня прожить друг без друга...

Мне думается, что в молодости любовь имеет свои особенности и свои трудности. Вообще любовь — необыкновенное чувство, способное властвовать над духом человека. Примером тому могут служить чувства, возникшие у Абзала и Акбилек. Преодолев вековые традиции и обычаи, все многочисленные преграды, они поклялись в верности друг другу. В то время это можно считать героическим поступком. Вы, наверное, слышали скорбную песню «Ахау,

айдай», которую поет беркутник Муса из Кара-Тюбе. Так вот, эту песню сочинил Абзал и посвятил ее Акбилек. До сих пор ее звали песней Абзала, а вот сейчас переименовали — «Ахау, айдай». Эх жизнь, жизнь... Раз умер, так забыт.

А я помню, как родилась эта песня. Как-то утром мы, аульские мальчишки, вертелись подле юрты дядюшки Санжара, когда туда приехал Абзал. Мне сразу же представилось, как он встречался с Акбилек, я рисовал в своем воображении сцену их свидания. Интересно было фантазировать. Эх детство, детство...

Войдя в юрту, Абзал первым делом взял в руки свою домбру, прижал ее к груди и застыл. На лице его было отражено радостное возбуждение, а глаза были полны печали. Он долго сидел молча, предаваясь своим мыслям, перебирал струны домбры, что-то напевал вполголоса. Постепенно его голос окреп, и неповторимый напев вылился из юрты и растекся в свежем воздухе Кумис-Булака. А каким чудесным был его голос! Казалось, он пронизывал тебя всего насквозь, страшно было пошевелиться.

Абзал пел о жестокой несправедливости судьбы, о своей бедности и безысходности, жаловался на свою долю. Говорят, что у хорошей песни крепкие крылья. Вскоре песня Абзала облетела все аулы Аралбай — Таракты. Особенно любила петь ее молодежь, находя в словах песни созвучные ей настроения. Сейчас так не поют. А если у кого и прорежется голос, то кричат так, что и слов не разберешь. Будто заяк поет. Что ни говори, а то, что не идет от сердца, другого сердца не затронет...

Между тем события продолжали разворачиваться, приобретая драматический характер. Верно говорится, что у народа сто ушей. Вскоре отношения между Абзалом и Акбилек стали предметом разговоров во всех аулах. Стоило только сойтись двум или трем, как тут же начиналось обсуждение этой новости, причем каждый добавлял от себя разные подробности. Так, словно огонь, пущенный в сухой камыш, распространился слух о том, что Абзал прелюбодействует с Акбилек.

Каково было выносить все это Боздаку! Еще не был забыт позор, когда сват из рода Тама угнал у него калым, ранее отданный за распутную дочь. А теперь не оберешься позора из-за Сахи... Да, видно, бай достиг такого возраста, когда все беды начинают преследовать человека.

Хитрый Алтыбай делал вид, что ничего не знает, однако за дочерью установил слежку и запретил ей появляться на праздничных играх. Что же касается Сахи, то он вдруг проявил невиданную предприимчивость — посадил на лошадей своих товарищей и заставил их наблюдать за домом Санжара, за каждым шагом Абзала. На что Абзал, посмеиваясь, говорил: «Вот и появились у меня личные телохранители, пусть не спят по ночам...»

Страсть Абзала и Акбилек разгоралась все сильнее, а виделись они только издали, прячась от враждебных глаз. И Абзал решил действовать. Не дремал и бай Боздак. Побывав вместе со своей байбише Майжамбас у свата Алтыбая и подарив ему множество добра, он убедил того как можно скорее сыграть свадьбу.

Аульские подростки, поймав стригунов, любили ватагой скакать по ближайшим окрестностям. Этим решил воспользоваться Абзал и передал мне письмо для Акбилек, которое я, как истинный заговорщик, спрятал под рубашку. Когда мы с визгом и гиканьем прискакали в аул Алтыбая, мне удалось незаметно передать письмо снохе Акбилек. Та пригласила нас на кумыс и устроила мне встречу с девушкой. Акбилек была бледна, взволнована, измучена долгим ожиданием, она сказала только: «Передай своему Абзал-аге, пусть цветы устелят ему путь, пусть духи предков поддержат его...»

Вскоре после этого, взбудоражив народ Аралбай — Таракты, раскинувший свои юрты по обе стороны Аксу, Абзал выкрал свою любимую и скрылся.

На этом месте рассказа морщинистое лицо матушки Айши просияло, и она по-молодому распрямила плечи.

— Ну слава богу! — радостно воскликнула она. — Да исполнятся их желания, да будут они счастливы...

Мы тоже вздохнули с облегчением, в душе одобряя поступок Абзала. Лишь Аман сидел мрачный, с опаской поглядывая на старого Мустафу. Затем не выдержал и виновато спросил:

— А дерево?.. Дерево, которое я срубил в Кыз-Узаткане?

Мустафа резко повернул к юноше строгое лицо и холодно сказал:

— Не спеши, все узнаешь... И не думай, что все это я сочиняю для тебя.

Аман втянул голову в плечи, и по всему было видно, что он глубоко раскаивается в содеянном.

После недолгого молчания Мусеке продолжил свое повествование.

— Итак, Абзал умыкнул Акбилек, оставив посрамленными два рода — Аралбай и Таракты. Рассвирепевший Алтыбай сурово наказал приставленных следить за влюбленными, но это, разумеется, ничему не помогло. Тогда он посадил на коней десяток джигитов и тайком отправил их на поиски дочери. А по ту сторону реки бушевал бай Боздак, словно строптивый конь, под брюхом которого оказалось седло. Очевидцы рассказывали, что когда бай узнал об исчезновении Акбилек, он сначала окаменел, будто его поразила молния, а потом зарыдал и стал кататься по ковру, ударяясь головой о порог. В ярости он побил Сахи, крича при этом, что если бы его сын не был таким придурком, то не позволил бы измываться над собой босоногому бедняку.

После такой взбучки Сахи призвал своих дружков-головорезов и вместе с ними напал на одинокую юрту Санжара на Кумис-Булаке. Не обнаружив там беглецов, они стали рвать за бороду и бить несчастного старика, взвалившего на свои плечи всю тяжесть случившегося, требовали от него указать место, где прячутся Абзал и Акбилек. Но не добились ни слова: старик молчал.

Рыская по горам и ущельям и никого не находя, шайка Сахи снова и снова возвращалась на хутор и продолжала истязать Санжара.

Абзал, когда принимал решение умыкнуть Акбилек, мечтал о том, чтобы побыстрее умчаться с любимой за тридевять земель, на степные просторы, где много добрых людей. Конечно, он и там не ждал спокойной жизни, знал, сколько трудностей его ждет впереди. Но что могло быть труднее, чем разлука с любимой? Однако дядя, от которого у него не было тайн, посоветовал ему не спешить, укрыться на время, переждать, пока утихнет злость и горячка первых дней. «Не впервые девушка убегает с любимым, растоптав благословение, купленное скотом, — сказал племяннику Санжар, — родные пошумят, пошумят, а потом успокоятся, пожалеют дочь, простят ей ее прегрешение. Так что уезжать далеко нет смысла. Да и я... Что я буду делать без вас, ведь в вас вся моя надежда и весь смысл жизни!»

Следуя его совету, молодые спрятались в окрестностях Кызыл-Таса в пещере близ Аю-Шате. День и ночь лежали там, не подавая признаков жизни. Только один Санжар знал это место и навещал их, когда ему удавалось улизнуть от стаи волков Боздака.

Первые дни после побега Абзала и Акбилек бай Боздак не позволял сходить с коней своим джигитам, заставлял их по нескольку раз обшаривать всю округу и даже заглядывать в другие роды. Пай-пай-

пай, он тоже всласть поиздевался над Санжеке. То вызывал его к себе, то сам являлся к нему подобно ангелу смерти Азраилу, орал, неистовствовал, допрашивая старика. И каждый такой допрос заканчивался жестоким избиением, после чего того волокли по земле, как труп. Но не родился еще человек, который мог бы по силе духа и выдержке сравниться с Санжеке. Он смело смотрел в глаза баю и говорил: «Уай, Боздак, в восемь лет у меня впервые выпали зубы, а в восемьдесят бог свел с тобой. Как ни растягивай мою старую шкуру, все равно ничего не добьешься. Уймись, один позор ждет тебя».

Однажды Санжар, усыпив бдительность боздакских прихвостней, пробрался в аул к Алтыбаю. Тот принял его лежа на ковре и повернувшись к старику спиной. «Эй, Алтыбай, ума тебе не занимать. Что случилось, то случилось. Пожалей молодых, хватит им мыкаться. Ведь предки говорили: «Нашел ровню — отдай даром». Приюти их — и бог исполнит все твои желания, а я принесу тебе на закланье свою оставшуюся жизнь». Но Алтыбай даже головы не повернул, прорычал только: «Уйди, проклятый! Не потеплеет мое сердце, нет! Чтобы дочь растоптала святое отцовское благословение... Да для меня она после этого — протухшее яйцо! Больше я ничего не скажу. Уходи, не бреди душу!»

Санжар возвратился домой совсем поникший. До этого он еще надеялся на разум Алтыбая и что сердце его не каменное, можно растопить. Но, как видите, надежды старика не сбылись: байская спесь и гордыня оказались сильнее.

И по-прежнему гонцы обих родов ломали себе головы и стирали подошвы, прочесывая все ближние и дальние горы в поисках следов Абзала и Акбилек. Поползли слухи, что молодые умчались за тридевять земель — то ли в сторону Акмолинска, то ли в сторону Кара-Откеля — и теперь их не найти.

Первым якобы сдался бай Боздак. Он вернул всех своих джигитов и объявил, что бесполезно искать иголку в сене, нужно примириться с тем, что произошло. Но разве можно было верить Боздаку, который верблюда проглотит, а никто и не догадается? И на сей раз этот пройдоха только прикинулся, что покорился судьбе, а сам готовил ловушку для бедных влюбленных.

Время летело стремительно. Приближалась осень, и аулы уже по два-три раза сменили места кочевков. Бай Боздак вел себя как ни в чем не бывало, будто и не произошло позорной для него истории. А когда заходила о ней речь, отшучивался: «Это все Сахи виноват, не мог с девкою справиться... Да теперь что уж говорить. Теперь, сколько ни преследуй, а дела не поправишь. Видно, на роду так написано. А если на то пошло, так и Абзал мне не чужой...» Эти слова приходились по душе людям, все говорили о мудрости и широте бая Боздака, о его искреннем желании сохранить добрые отношения с тарактинцами, которые испокон веку жили в мире и дружбе с аралбайцами, сделать все, чтобы холодок вражды не пробежал между ними. «Вот это человек!» — восхищался народ, превознося Боздака.

Но не так просто было провести Абзала и Акбилек. Они не доверяли Боздаку и по-прежнему прятались в пещере в том же Аю-Шате. Абзал по ночам пробирался в юрту дяди Санжара, забирал необходимое: пищу, одежду, мыло, соль.

Не успели моргнуть глазом, как пролетело лето. Наступила осень. Она заявила о себе холодными ночами и тоскливым увяданием природы. Все напоминало о приближающейся зиме. В такую безрадостную пору, как всегда поздним вечером, в одинокую юрту на Кумис-Булаке пришел Абзал. Заросшие щетиной щеки ввалились, веки покраснели, и вообще весь его вид говорил о том, что он держится из последних сил. После традиционного обмена приветствиями Абзал признался, что жизнь диких степных зверей в течение пяти месяцев

им стала невеста, что Акбилек потеряла покой, всего боится, часто плачет. А потом, виновато глядя на дядю, доверительно сообщил, что Акбилек скоро станет матерью. Как обрадовался этой вести старый Санжар! Он ожил, засуетился, то и дело повторяя со слезами на глазах: «Хвала аллаху, хвала аллаху!» Казалось, что убогая юрта слишком тесна для его радости.

Санжеке уверил Абзала, что теперь баю Боздаку и Алтыбаю ничего не остается как примириться со случившимся. Ну побушуют еще немного для порядка... Такое видели не раз.

Старик сам съездил за молодыми и привез их к себе. Ойбай, этого только и ждал Боздак, притаившийся, как ядовитая змея, которая подстерегает свою жертву. Он немедленно потребовал к себе Сахи, а когда тот явился, закричал: «Эй ты, безмозглый пес, если у тебя еще осталась хоть капля мужского достоинства, пора действовать! Отомсти этому голодранцу, привези свою нареченную!»

Сахи мигом бросился собирать дружков...

Примчавшись в Кумис-Булак, они принялись громить все, что подворачивалось под руку. Вмиг была повалена ветхая юрта. Абзал не успел вскочить на коня, и ему пришлось отбиваться от наседавших врагов в худшем положении. Тем не менее он решил дорого заплатить за свою жизнь. Тут же с плачем металась беззащитная Акбилек и Санжар. Но разве мог один джигит, пусть даже такой ловкий и сильный, как Абзал, устоять против стаи жаждущих мести волков? Они окружили его и наносили удар за ударом. А в это время несколько всадников вместе с Сахи схватили Акбилек, готовясь ускакать с ней, — Сахи волок девушку, наматывая на руку ее косы. Но тут Абзал, собрав последние силы, выдернул из-за пояса кинжал, раскидал в разные стороны нападающих и бросился на выручку к Акбилек. С криком «О, лучше не ходить мне по земле, чем пережить такой позор!» он вонзил кинжал в грудь Сахи. Почти одновременно тяжелая дубина метнувшегося за Абзалом джигита с хрустом опустилась на затылок юноши. Удар был настолько сильным, что Абзал, даже не успев охнуть, опрокинулся навзничь, черная кровь хлынула изо рта.

При виде случившегося только что храбрившиеся джигиты струсили и с громкими воплями поскакали в аул. За ними, положив на двух лошадей мертвое тело Сахи, тронулись остальные.

Возле Кумис-Булака, обнимая бездыханное тело Абзала, рыдали в безутешном горе Акбилек и Санжар...

Акбилек осталась жить у старого Санжара. Алтыбай даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь дочери. Так и ушел из жизни ожесточенный и непримиримый. Не подумал о судьбе своей бывшей невестки и бай Боздак, за которую отдал немалый калым. Справив сорок дней после смерти Сахи, он без всякого шума поехал к Алтыбаю и вернулся, пригнав обратно три косяка кобылиц, отданных ранее в счет калыма.

Акбилек же в середине зимы благополучно родила сына, удивительно похожего на Абзала. Особенно радовался этому событию бедный Санжеке, все приговаривал: «Мертвое воскресло, потухшее загорелось!»

В первую весну после гибели Абзала, когда наступила пора перекочевок, Санжар стал собираться к своему Кумис-Булаку. Правда, предварительно он спросил у Акбилек: «Тебе, милая, не будет тяжело увидеть могилу Абзала? Чего-чего, а родников у нас вокруг много, расположимся у другого...» «Нет-нет, — решительно отвергла эту мысль Акбилек, — только туда, к моему Абзалу...»

Мы, ребята, сопровождали их к роднику, и я даже сейчас без волнения не могу вспоминать момент их встречи. Как только мы подъехали к Кумис-Булаку, Акбилек спешилась и, рыдая, бросилась на могилу Абзала. Она причитала, обнимая холмик земли, и голос

ее был подобен голосу лебедя, потерявшего друга жизни. Даже мы, дети, не выдержали и расплакались.

Прошло некоторое время, пока Акбилек пришла в себя и прижилась в Кумис-Булаке. После чего она как бы невзначай сказала Санжеке, что хотела бы побывать на Аю-Шате, в том месте, где они прятались с Абзалом. Санжеке свою любовь к племяннику перенес на Акбилек и ее сына. Он охотно согласился проводить ее в горы. У входа в их пещеру рос молодой тополь. Они выкопали его и, перевезя в Кумис-Булак, посадили у родника. Когда я однажды спросил у Акбилек, что это за тополь, она со слезами на глазах сказала: «Я не раз сушила на его ветвях рубашку моего Абзала...»

Акбилек прожила у старого Санжара целых пять лет, после чего вышла замуж за одного образованного джигита из рода Тама. На прощание Санжеке зарезал двух баранов, позвал в гости всех старых и молодых аульчан, проводил Акбилек, как родную дочь. После того и прозвали Кумис-Булак Кыз-Узатканом, а стройный тополь у родника — Тополем, посаженным девой.

Вот какой тополь пал под топором Амана! Тополь, оставленный двумя несчастными влюбленными в назидание потомкам! Теперь, надеюсь, вам понятны мой гнев и моя печаль.

В тот же день мы с зоотехником Сериком отправились дальше, чтобы посмотреть, как пасутся другие отары. Когда через неделю мы возвращались назад, захотелось завернуть в Кыз-Узаткан, хотя эта местность лежала в стороне от нашего пути. Мы напрямик проехали по бугристой, как коровье небо, долине и подъехали к роднику. В глаза сразу бросился искромсанный пенёк срубленного тополя. А рядом с ним — о чудо! — росло свежесаженное деревце. Сразу возник вопрос: кто его посадил? Ясно было только, что кто-то один из двух — старый Мустафа или Аман.

И еще мы подумали о нашей доброй родной степи, о том, как нужно беречь в ней каждый кустик.

*Перевел с казахского ИГОРЬ ЗАХОРОШКО.*



---

---

## ЛУЧЕЗАР ЕЛЕНКОВ



### Пятеро поэтов в Москве

Красная площадь — точно бессмертное сердце сейчас,  
и Кремль — как солнечный источник света.  
Свои стихи в прекрасном городе для нас  
читают пролетарские поэты.

У них не схожи голоса и имена:  
Мигель, Назым, Никола, Иржи, Пабло<sup>1</sup> —  
пожива зла, вечно живые семена  
смоковницы, и яблони, и пальмы.

Стоят поэты в ожидании, пока  
куранты не начнут часов отсчета,  
чтоб с амплитудой мощного маховика  
пришел в движенье караул почетный.

От точных слов их пробуждается гранит,  
и подпеваает ветер им украдкой.  
И взгляд у каждого к венцу Москвы летит,  
взмывая над тяжелою брусчаткой.

Настал для них непреходящий день и час —  
поэт смотреть на мир, как звезды, призван.  
И входит человек в грядущее, лучась  
их верою в победу коммунизма.

### Слово о буквах

От снежности сугробов,  
    будто впавших в забытье  
на кряжистом высокогорье,  
от шумной молодой листвы,  
струящейся рекой зеленой по ветвям,  
и от гортаней всех холмов,  
озвученных потоками  
    в рассветной чистоте,  
от дома каждого —  
    в довольстве иль в руинах —  
гнезда для памяти и счастья,  
от молота с серпом  
    в дыхании труда,  
от жита теплого  
    и от сердцебиенья домны,

---

<sup>1</sup>Имеются в виду выдающиеся поэты современности  
Хикмет, Никола Вапцаров, Иржи Тауфер, Пабло Неруда.

от неподвижных глаз достойных сыновей —  
 с душой простреленной,  
     к свободе гордо вознесенных,  
 от колыбели,  
     радостной улыбки  
 и от бессонницы,  
     тревожащей поэта,  
 от прошлого — в сегодняшнее время  
     и в грядущее  
 родной болгарской речи: звон,  
 прекрасен и неповторим,  
     волнообразно происходит.  
 Касаюсь пальцем буквы, от которой  
 построена шеренга  
 из тридцати бессмертных рядовых.  
 И зов мой,  
     точно мелодичный колокольчик,  
 как робкий голос первоклашки из горного селения,—  
 священное пристрастие  
     к ученью, к знаниям  
 меня пронизывает с детства.

Клинком — любая буква,  
 с которой слово либо имя  
 врезается надолго в память.

Я лампу погашу —  
     вспоминанья в ярком свете;  
 и там, под придунайской невеселою луной,  
 один учитель бородатый,  
     почти ровесник мой,  
 но дедушкою прозванный, приводит  
 машину типографскую в движение,  
 и оживают на листах  
     свинцовых знаков отпечатки.

Его мировоззрению моя душа,  
     навстречу истине открытая,  
 безмерно доверяет.  
 И в отблесках пожаров буквам вечным быть  
 в одном строю со мною — на красном знамени —  
     и на стенах в листовках из подполья  
 перед зарей освобожденья  
 светиться в пламенных воззваньях.

Тогда же,  
     в изначалии моей дороги дальней  
 мои вихры,  
     от солнца выгоревшие,  
 на парте школьной,  
     полированной локтями,  
 как русский одуванчик, отражались...  
 Вот тонкое перо  
     на верной деревянной ручке  
 чернильный след уводит за собою:  
     Кирилл с Мефодием,  
 воскресшие прапраучителя мои,  
 от ореола над портретом,  
     лучащимся над черною доскою,



в меня и — дальше, глубже, глубже  
 в простор  
     с раскрывшей крылья в синих перьях крышей,  
 в державу,  
     нареченную Болгарией,  
 на веки вечные переселяются.

### Добрый человек

Да, жизнь сложна, сложна безмерно...  
 Совсем не думаешь о личном.  
 Работаешь на честь и совесть.  
 И открываешь человека в человеке.  
 (Последнее особо важно!)  
 Потемки зависти изводишь,  
 Исполнен жертвенного света.  
 И уголками губ, лишь только  
 едва-едва приметной, нежной, легкой  
 и очень теплой тронутых улыбкой,  
 изогнутых, как лодка в море,  
 касаешься любви и звезды зажигаешь.  
 Встречаешь с ними и закат и утро.  
 Ты добрый, ты настолько добрый,  
 что нет в твоей душе, пожалуй,  
 глухого к состраданию места.  
 Таков — ничуть не странно это —  
 твой мир: быть добрым в полной мере!  
 Ты понят далеко не всеми,  
 Но верю я, но твердо верю я,  
 что в будущем, там, в окрыленном,  
 до святости прекрасном далеке  
 твоя судьба, твой век предстанут очертаньем  
 горевшего по чувству долга человека!

### В упор

*Янко Димову.*

Новизны дыханье — вдохновение!  
 Вдохновение для нас — всегда сражение!  
 Сколько жертв борьбы на памяти народа!  
 Сколько тяжких мук перенесла свобода!

С разумом порой несоразмерна власть!  
 Мера есть всему: журавль-подранок  
 так самоотвержен невозбранно!

Знамя — будто кровь рассвета в нас влилась —  
 вечно будет расцветать огнем сердец героев,  
 спящих там, в земле родной, под молодой травой!

### Опыт истивы

И чем покорней человек идет  
 с наветом, с подлостью на мировую,  
 тем больше сон напоминает  
 та первая его, былая воля:  
 открытым взором встречный взгляд смирять,  
 десницей — силу придавать рукам,  
 от слова излучать другое слово  
 и с верой — разжигать мировоззренье.

## Окно

Тот мой товарищ,  
 кто теперь все реже мне звонит по телефону...  
 Тот мой товарищ,  
 кто все чаще в сны мои вторгается с беседой...  
 Тот мой товарищ,  
 кто день ото дня все молчаливее при людях...  
 Тот мой товарищ,  
 кто все ярче чувствует  
     присутствие гармонии в душе...  
 Тот мой товарищ,  
 кто все непосредственной общается  
     с пичугами в саду...  
 Тот мой товарищ,  
 кто все дольше у окна застаивается в раздумье...  
 Тот мой товарищ,  
 кто все талантливее в нас  
     преображает времена природы...  
 Сегодня ночью он пришел ко мне.  
     В дверь постучал.  
     Переступил порог  
 и прошептал устало,  
     как бы в забытьи:  
     — Грядущее поэту в помощь!..

## Утро

*Славу Хр. Караславоу.*

Окно стремительно светлея, рушит  
 мой сон, как тихого дупла уют.  
 И я, распятый, в облачной рубахе  
 часам холодным противостою.

Заводят песню крыши, как хористы,  
 встав подо мной волнистой чередой.  
 И лето раннее веселым дуновеньем  
 меня зовет, звуча по-за стеной.

И день меня к кому-то приглашает  
 в распахнутый рассветный этот час.  
 И вот уж я срезаю с напряженьем  
 так накрепко ко мне прилипший пласт

из громких слов, потраченных впустую,  
 и шуток, брошенных в табачный дым.  
 Но входит утро в пору трудовую,  
 и я ему опять необходим.

Вновь все быстрее круговертью плавной  
 оно влечет меня за мигом миг.  
 В нем растворяюсь.. Не за легкой славой —  
 за вестью восхожу на горный пик.

*Авторизованный перевод с болгарского СЕРГЕЯ БОБКОВА.*

---

---

ТИМУР ГАЙДАР

★

## ГОЛИКОВ АРКАДИЙ ИЗ АРЗАМАСА

Когда в октябре 1941 года Аркадий Гайдар погиб в партизанском отряде, его сыну Тимуру было 14 лет. С тех пор он прошел немалый жизненный путь: слесарь авиационного завода, офицер-подводник, военный журналист, контр-адмирал, писатель. За освещение боев на Пляя-Хирон награжден почетным оружием, за Афганистан боевым орденом.

В 1967 году «Новый мир» опубликовал его первую документальную повесть «Из Гаваны по телефону». Предлагаем читателям в сокращенном варианте книгу Тимура Гайдара об Аркадии Гайдаре.

**Т**рофейная самоходная баржа отвалила от пристани Киева вечером. Часть пассажиров заняла места в носовом трюме, остальные разместились на палубе. Постепенно все стихло. Лишь тарыхтел дизель, и шлепала по черному стальному борту волна. Переступая через спящих и их поклажу, я бродил от носа к корме и обратно.

— Эй, старшина! — окликнули с мостика. — Давай сюда.

В рубке было тепло и накурено.

— В отпуск? — спросил капитан.

— Хоронить отца.

— В Черкассы?

— Нет, в Канев.

— Тогда к утру будем Опаздываешь?

Может, он прибавил обороты или стоянки оказались короче, но каменные быки взорванного моста проглянули еще до рассвета.

«Прямой и узкий, как лезвие штыка...» — писал о нем Аркадий Гайдар... Теперь, лишенные железной сбури рельсов и ферм, опоры моста брели через Днепр нестройно, как стадо. Когда баржа пересекала их створ, я попытался прикинуть, где в августе 1941 года окопался батальон пехоты, где стояла зенитная батарея.

«Луга — пехота — молчат и напряженно наблюдают за боем.

Но гора — зенитчики — в гневе, гора защищает мост всей мощью и силой огневого шквала».

Попрощавшись с капитаном, я пошел к той горе, к розоватым на рассвете мазанкам Канева.

Было 17 сентября 1947 года, и я не сказал капитану, что опоздал на шесть лет.

...Мне кажется, что отец не входил в мою жизнь постепенно, а появился разом, запомнился ясно и отчетливо от сапог до папахи и остался в ней таким навсегда Высокий, сильный, добрый, улыбочивый, справедливый, смелый.

Помню — это было в Москве, наверное, в 1931 году — мы едем на извозчике, бежит лошадь, цокают копыта, покачивается коляска... И вдруг она резко кренится, и в следующее мгновение я уже у отца на руках, он выпрыгнул, падает и все же держит меня над головой, и подпрыгивают на булыжниках красные спицы рассыпавшегося колеса.

В Аркадии Гайдаре была какая-то пружина. Он всегда был готов к действию.

«Где бы вы его ни встречали, вам неизменно казалось, что за воротами его ждет, нетерпеливо топая копытом, боевой конь», — сказал о нем С. Я. Маршак.

Приступая к этим записям, я должен был преодолеть некоторое внутреннее сопротивление. Оно начало накапливаться давно, с тех пор, когда меня, уже не мальчика, впервые представили: «Познакомьтесь, сын Аркадия Гайдара». До сих пор, если так скажут, ощущаю неловкость. Ожидаешь, что человек резонно спросит: «Ну а чем изволите заниматься помимо этого?»

И словно чувствуешь на себе взгляд отца, удивленный и ошарашенный. С годами, однако, стал к подобным случаям относиться спокойнее. Все-таки пройдены свои дороги, все мы дети своих отцов, и у каждого перед отцом — сыновний долг. Есть он и у меня.

Про Аркадия Гайдара написаны книги. Хорошие и мне самому что-то объясняют, заставляют взглянуть на него по-новому. Другие рождают желание оградить образ Аркадия Гайдара от упрощения, лакировки, неловких домыслов, даже если авторы книг руководствовались добрыми намерениями.

После тридцатилетнего перерыва я снова сидел в читальном зале Центрального архива литературы и искусства. Аккуратные одинаковые синие папки... В папке — толстая тетрадь, или коротенькая записка, или телеграмма. Дневники, воспоминания, старые документы...

\* \* \*

Данила Голиков, крепостной князей Голицыных, двадцати лет был отдан в рекруты, в сорок пять стал вольным человеком, получил надел, начал крестьянствовать. Как ни тяжела была служба, вспоминал и хорошее: друзей, походы, удачные стрельбы, костры на бивуаках... Слова «солдат» и «солдатское» произносились в семье с уважением.

Сын Данилы Исидор научился столярничать. Женившись, перебрался в ближний от родного села городок Щигры. Мастер был отменный, но особенно, говорят, удавались ему прялки. Готовил он их к ярмарке великое множество.

Насколько известно, первым из рода пошел в школу, а затем решил учить-ся дальше сын Исидора Даниловича и Наталии Осиповны Голиковых Петр.

Сохранился документ: «Дано настоящее свидетельство от нас, родителей... сыну нашему Петру, что препятствий со стороны нашей на поступление в учительскую семинарию никаких нет» Ниже выведено: «За неграмотных... иеромонахах Лаврентий».

В 1899 году, закончив семинарию, Петр Голиков приезжает в город Львов в начальное училище при сахарном заводе. Вместе с ним — жена Наталья Аркадьевна, в девичестве Салькова.

Сальковы не были ни знатны, ни богаты. Но род старый, служивый. Первым в древних документах значится Захарий Сальков — в 1613 году воевода в городе Парфентьеве. Затем упоминаются многие Сальковы, главным образом офицеры невысоких чинов в армии и на флоте.

Корни этого рода — в северных областях России, неподалеку от Галича. Там Сальковы и породнились с Лермонтовыми, после того как Георг Лермонг перешел в 1610 году с отрядом рейтаров на русскую службу. Прапрапрадед Михаила Юрьевича Лермонтова был родным братом прапрапрадеда поручика Аркадия Салькова.

Согласия на брак своей дочери Натальи с «простолудином» Петром Голиковым поручик Аркадий Геннадиевич Сальков не дал. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Наталья Аркадьевна венчалась без родительского благословения.

Правда, четыре года спустя попытку помириться с отцом она сделала. Когда 22 (9) января 1904 года у супругов Голиковых родился первенец, его в честь деда нарекли Аркадием. Но отец, к тому времени штабс-капитан, свою непослушную дочь не простил, на внука взглянуть не пожелал.

Знай Аркадий Геннадиевич, что родился будущий писатель Аркадий Гайдар, может, он поступил бы иначе.

\* \* \*

Одноэтажный деревянный домик с двумя крыльечками, в котором размещались классные комнаты и квартира учителя, стоял рядом с красным кирпичным корпусом львовского сахарного завода. До самого Львова километров восемь:

сначала по деревянному мосту через Сейм, потом к дальнему холму, на котором поблескивают церковные купола маленького древнего городка Льгова, когда-то — Ольгова.

В поселке сахарного завода Голиковы прожили восемь лет. Здесь у Аркадия появились сестры, в 1905-м — Наташа, три года спустя — Ольга. В семье это время вспоминалось счастливой порой.

Жили небогато, но в любви и дружбе. Много работали, много читали. Книг в доме всегда было в достатке. Характер у Петра Исидоровича был ровный, спокойный, любил шутку, умел сочинить к случаю веселые стишки. Наталья Аркадьевна вела хозяйство, помогала мужу изучать французский язык, который знала с детства. Если Петр Исидорович отправлялся в окрестные деревни — в Орловку, в Красовку, в Нижние Груни, — то Наталья Аркадьевна заменяла его в классах Вечерами частенько, вспоминая отцовское ремесло, Петр Исидорович становился за верстак.

Когда позднее мы с братом старались восстановить в памяти что-нибудь из льговской жизни, рассказывала впоследствии Наталья Петровна, то Аркадий ясно помнил этот верстак, домик с пчелами и еще отчетливо помнил небольшие, двигавшиеся под потолком огромного здания вагончики, и как каждый вагончик, дойдя до определенного места, опрокидывался, а внизу в этом месте росла огромная куча жома — выжатой сахарной свеклы.

12 октября 1905 года вагончики остановились.

Нет, не все было таким уж ясным и безоблачным в заводском поселке. Как, впрочем, и по всей России.

Обратимся в курский архив к фонду канцелярии губернатора.

«На станции Льгов и на сахарном заводе мастера и рабочие предъявили требование об увеличении платы» — телеграмма уездного исправника от 13 октября 1905 года.

«Брожение среди крестьян все более увеличивается: в лесах кн. И. В. Бяратинского... чуть не ежедневно происходят митинги, рождаются прокламации, начинающиеся словами «Крестьяне, за вами очередь!».— издание Курского комитета РСДРП», — докладывает он в июне 1906 года губернатору.

А вот что написано в воспоминаниях Е. И. Тихоновой, члена РСДРП с 1903 года: «Я встретилась с Петром Исидоровичем, когда выполняла задание Курского комитета РСДРП. Надо было съездить в Киев за нелегальной литературой. Часть ее было решено спрятать у Голиковых...»

В РСДРП Голиковы тогда не состояли. Членами партии они стали позже, Петр Исидорович в 1917-м на фронте, Наталья Аркадьевна в 1920-м в Арзамасе. Но нелегальная литература хранилась у них часто, и двери их квартирки в заводской школе всегда были раскрыты для подпольщиков.

В 1908 году, когда усилились репрессии, в уезд прибыли казаки, начались аресты, супруги Голиковы с Аркадием, Наташей и совсем еще крошечной Ольгой покинули обжитый дом и уехали далеко — на Волгу в Вариху, поселок при нефтеперегонном заводе.

25 октября 1908 года «не имеющий чина» П. И. Голиков зачислен на службу в ведомство Нижегородского акцизного управления.

В Варихе семья задержалась недолго. Уже в следующем году Голиковы поселились в Нижнем Новгороде. Родилась младшая дочка Катя. И хотя Петр Исидорович был теперь уже старшим контролером управления, сводить концы с концами стало нелегко. Наталья Аркадьевна поступила учиться на частные медицинские курсы доктора Миклашевского.

Диплом фельдшера-акушерки она получила в Казанском университете, место для работы предложили в больнице Арзамаса, Петр Исидорович попросил на службе перевод, и в апреле 1912 года Голиковы обосновались в этом городке, который и стал для Аркадия страной его детства.

Аркадий считал Арзамас своей второй родиной.

Дом, друзья, улица, сады с вишнями-скороспелками, пруды, где шли «морские сражения», опоясавшая городок речка Теша — все это навсегда вошло в его сердце и воплотилось в его книгах.

Хорошо было в доме. Тесно, дом маленький, всего на три окошка на улицу, но — хорошо! Отец на службе. Мама занята хозяйством. На стене — карта ми-

ра, на полках, на столе, даже на полу — книги. Можно среди них разыскать и такие, в которых написано про дальние страны.

Можно сдвинуть все стулья, все табуретки, это разрешается, получится поезд или корабль. Сестренки — пассажиры, и началось путешествие в «джунгли Амазонки», в «прерии Дикого Запада», а то и на «необитаемый остров».

Можно взять отцовские сапоги, сестренкину панаму, мамину шаль, раздобыть перо, оброненное соседским петухом, и превратиться на время в Кота в сапогах.

Правда, непременно условием было: кончилась игра, вся мебель, все вещи, кроме пера, конечно, должны вернуться на свои места.

Хорошо и на дворе, и на берегу Теши или на прудах. Мальчишкой Аркадий рос не по годам высоким, сильным, а главное, был выдумщик, и так уж получалось, что верховодил в играх.

Да и вечерами, когда Петр Исидорович возвращался с работы, младшие сестренки укладывались спать, и на столе загоралась керосиновая лампа под абажуром из зеленого стекла, тоже было хорошо. Каждый читал свою книгу, а бывало, что Наталья Аркадьевна читала вслух для всех вместе.

Иногда ночью раздавался стук в дверь. Захватив небольшой саквояж, Наталья Аркадьевна торопливо уходила по своим акушерским делам.

А утром в частной школе Хониной, где учились ребяташки, готовившиеся к поступлению в реальное училище, и куда родители сразу по приезде в Арзамас определили Аркадия, снова ждали его друзья-товарищи.

\* \* \*

Учеником АРУ — арзамасского реального училища Аркадий стал 1 сентября 1914 года. Уже грохотала первая мировая война. С маршевой ротой ушел на фронт рядовой Петр Исидорович Голиков. Аркадий тоскует об отце. Пытался убежать к нему на фронт. Через четыре дня найден на станции Кудьма возле Нижнего Новгорода и водворен домой. Когда в классе товарищи начали расспрашивать его об этом побеге — хотя и поймали, но ведь на фронт бежал, не куда-нибудь — отмалчивался. Уже выработывался характер: добр, открыт, но самолюбив и, если уж решил что-то, не перегнешь.

К Петру Исидоровичу в 11-й сибирский полк на рижский участок русско-германского фронта идут письма. В них много сыновней нежности, любви.

«Мне сейчас ужасно хочется куда-нибудь ехать далеко-далеко, чтобы поезд уносил меня подальше, туда, за тобой, по той же линии, где ехал ты, с того же вокзала, где я так горько плакал...»

Есть и немного наивная детская «литературность»:

«...А поезд уходил все дальше и дальше, мерно стучал он по рельсам, и отрывалось от души что-то и уносилось вдаль за поездом к нему, милому и дорогому». Закончив фразу, Аркадий добавляет: «Это один отрывок из дневника моей души Пиши, дорогой!»

Ушло это письмо из Арзамаса в 1917-м. Точной даты нет. Однако ясно, что написал его Аркадий весной:

«Цветет черемуха, так хорошо, весело. И мне невольно вспоминаются наши прогулки.. Помнишь, узенькая тропочка, и лес, и самовары? Передо мной букет черемухи, мне так жаль, что у тебя, должно быть, ее нет».

Детское милое письмо. Такое мог бы написать любимому отцу любой грамотный и душевный мальчик. Но вот следующее, отправленное три месяца спустя:

«Милый, дорогой папочка!

Пиши мне, пожалуйста, ответы на вопросы:

1. Что думают солдаты о войне? Правда ли, говорят они так, что будут наступать лишь в том случае, если сначала выставят на передний фронт гыло-вую буржуазию и когда им объяснят, за что они воюют?

2. Не подорвана ли у вас дисциплина?

3. Какое у вас, солдат, отношение к большевикам, к Ленину? Меня ужасно интересуют эти вопросы.

4. Что солдаты, не хотят ли они сепаратного мира?

5. Среди состава ваших офицеров какая партия преобладает? И как они вообще смотрят на текущие события? Неужели «война до победного конца», как кричат буржуи. или «мир без аннексий и контрибуций»?

Пиши мне на все ответы как взрослому, а не как малютке».

Аркадию по-прежнему тринадцать лет. Что же с ним произошло? Откуда вдруг такая не по возрасту серьезность и зрелость? Как объяснить, почему его жизнь набрала такой небывалый темп?

\* \* \*

Письма, которые Аркадий посылал отцу сначала из Арзамаса, потом с фронтов гражданской войны, Петр Исидорович бережно сохранил. Теперь они в ЦГАЛИ — Центральном государственном архиве литературы и искусства. Ответные письма утрачены. Мы знаем вопросы Аркадия, но не слышим ответов Петра Исидоровича. Впрочем, как он отвечал сыну, догадаться можно.

После февральской революции прапорщик П. И. Голиков — он получил это звание в 1917 году — избран солдатами 11-го Сибирского полка комиссаром, и исполком Совета солдатских депутатов армии утвердил это решение. Потом П. И. Голиков становится командиром полка. Затем — комиссаром штаба дивизии. Всю гражданскую войну Петр Исидорович тоже провел на фронтах.

Не забылись в семье и тревожные ночи в заводском поселке под Льговом, встречи с большевиками-подпольщиками, спрятанные в школе пачки прокламаций и то, как прошла мимо дома на рысях казачья сотня...

Взгляды отца, традиции семьи, безусловно, оказали немалое влияние на формирование мировоззрения Аркадия.

Кроме того, он был не по возрасту начитан. В 1917 году на вопрос анкеты «твое любимое занятие?» ответил коротко и исчерпывающе: «книга». В списке любимых писателей на первом месте его кумир — Гоголь. Но еще — Пушкин, Толстой, Гончаров, Писарев, Достоевский, Шекспир, Марк Твен. Упоминаются в школьном дневнике научные труды: Дарвин, «История цивилизации в Англии» Бокля. Но одно из самых почетных мест в этом списке Аркадий — не забывайте, ему тринадцать лет — отводит Жюль Верну.

Однако он вовсе не тихий, книжный мальчик. Он высокий, сильный, широкоплечий. Полон жажды деятельности, решителен, смел, привык к большей, чем многие из его сверстников, самостоятельности, пользуется авторитетом у товарищей, уважением лучших преподавателей.

В сентябре 1917 года на первых выборах классного комитета получает наибольшее — двадцать из тридцати четырех — число голосов.

«Нас теперь не оставляют без обеда, — с гордостью сообщает он отцу. — Постараемся провести в этом году, чтобы один представитель нашего четвертого класса присутствовал на родительском совете, хотя бы с правом совещательного голоса. Ведь об учениках же решают, как же ученикам не знать того, что о них решают?»

Сетует:

«У нас в училище все учителя — кадеты, ну и столкуйся с ними!»

С должной солидностью добавляет:

«Пишу тебе об этом, надеясь, что тебе интересно знать, каковы наши первые организации».

И вот наконец вырывается на страницу письма заветное:

«Ведь у вас полковые комитеты не диво там все взрослые, между тем как у нас все еще только ученики четвертого класса».

В другом письме:

«Я бы с удовольствием уехал отсюда».

Аркадию уже тесно там, где «все еще только ученики четвертого класса». Он рвется в большой, бурлящий мир. Он внутренне готов к этому. И время идет ему навстречу. Можно предположить, что слова, которые Аркадий Гайдар в повести «Школа» вложил в уста большевика и солдата, отца Бориса Голикова, он сам прочитал в одном из писем Петра Исидоровича. «Не горюй, брат. Время идет веселое».

Так они и встретились, веселое грозное время революции и широкоплечий голубоглазый четырнадцатилетний мальчишка, готовый кинуться без оглядки в водоворот надвигавшихся событий.

«А я был упрям. Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда меня уже не столкнешь».

Это тоже из «Школы». Про себя. Очень открыто и искренне.

Сообщая отцу: «все учителя — кадеты», Аркадий был не совсем прав. Наверное, он тогда еще не знал, что его любимый учитель, преподаватель словесности Николай Николаевич Соколов член РСДРП(б). Вместе с ним в мае 1917 года Аркадий Голиков впервые пришел в небольшой деревянный дом на Сальниковой улице, где размещался Арзамасский комитет большевиков

27 августа 1918 года Аркадий подает заявление: «В комитет партии коммунистов. Прошу принять меня в Арзамасскую организацию РКП. Ручаюсь за меня тов. Гиппиус, Вавилов». Решение Арзамасского комитета РКП(б) от 29 августа 1918 года: «Принять А. Голикова в партию с правом совещательно-го голоса по молодости и впредь до законченности партийного воспитания».

Аркадий выполняет поручения.

«Стал у нас вроде связного и разведчика, — вспоминает активная участница революционных событий в Арзамасе Н. И. Николаева. — Ходил по городу, узнавал, где какой митинг. Потом вызвался патрулировать улицы».

В школьном дневнике Аркадия появляется номер винтовки — 302939.

Интереснейший это дневник! «Был на эсеровском митинге», «Кадетская лекция не была», «Сегодня годовщина декабрьского восстания, в училище не был», «Сегодня учились, несмотря на 9 января», «Я играю гусара Глотова из комедии Гоголя «Игроки». Аресты кадетов», «Был Варнава. Большевики преданы анафеме», «В городе стрельба. 5 раненых с нашей стороны Мы с Безрезинным ходим патрулем, осадное положение», «Мы отрезаны от Муром, Нижнего, Ардатова, Лукоянова. Все вооружены. Чувьрин идет с отрядом», «Дежурил в Совете, ночью ходил на вокзал к начальнику интернациональной дружины Кану, ночевал на вокзале», «Засада около Всех Святых. Пулемет. 35—40 человек скрылись»...

Здесь мальчишеское: «Ночью мы стреляли в собор. Оба попали в окна». Серьезное: «Меня ранили ножом в грудь на перекрестке». Это — эхо проклятых легких летом 1918 года по России эсеровских мятежей.

В ноябре 1918 года Аркадий покидает реальное училище. Следующие пять лет ему предстоит получать образование в иной школе. Для него она навсегда останется главной. Аркадий уходит в Красную Армию.

\* \* \*

С января по март 1919 года Аркадий Голиков служит в штабе командующего обороной и охраной железной дороги республики. Сначала адъютантом, затем начальником команды связи. С апреля того же года он — курсант второй роты Шестых советских пехотных киевских курсов красных командиров.

Части Красной Армии, выбив петлюровцев, вступили в Киев за два месяца до этого. Главный фронт откатился к югу. Вокруг города действуют банды. Их много, есть крупные. У Гончара, например, пять тысяч штыков, восемь орудий, около двух десятков пулеметов. Банды образуют внутренние фронты.

По приказу командующего киевским боевым участком Павла Павлова курсантам приходится то и дело прерывать учебу и вступать в схватку с врагом «16-го сего мая боевой отряд особого назначения, выделенный из состава вверенных мне курсов, отбыл к месту назначения», — докладывает Павлову начальник курсов. В списке второй роты отряда под номером сто шестьдесят первым значится Голиков Аркадий. Полтора месяца отряд ведет бои против банд агаманов Григорьева под Крюковом, Кременчугом и Александринском. Затем возвращается продолжать учебу.

Но и в Киеве неспокойно. Бунтуют или готовы взбунтоваться некоторые из расквартированных в городе полков. Начальник гарнизона издает приказ:



«В момент наивысшего напряжения сил трудящихся в борьбе с поднимающей голову белогвардейщиной в г. Киеве и его окрестностях... введено осадное положение».

Секретарь комячейки курсов Аркадий Голиков сообщает в политотдел: настроение курсантов приподнятое, взаимоотношения между командным составом и курсантами удовлетворительные, дисциплина хорошая, случаев неисполнения приказов нет.

Обстановка под Киевом продолжает усложняться. Петлюровцы рвутся к городу.

23 августа. Просторное, трехэтажное, охватившее своими стенами плац здание бывшего кадетского корпуса. Оно известно многим по «Дням Турбинных» М. А. Булгакова. На плацу — строй курсантов. Играет духовой оркестр. Присутствует народный комиссар Украинской Советской Социалистической Республики Подвойский.

На Шестых курсах — досрочный выпуск. Аркадий Голиков получает аттестат красного командира № 4377.

Новых краскомов не распределяют по частям. Из них здесь же формируется ударная бригада, которая сразу выступает на оборону Киева. Командирами полурот и взводов назначены лучшие выпускники. Командирами рот и батальонов — преподаватели.

27 августа в бою под Бояркой взводный Аркадий Гайдар заменяет убитого полуротного Якова Оксюза... 31 августа части Красной Армии оставили Киев.

В короткой автобиографии, которую Аркадий Голиков заполнил 5 сентября 1922 года, когда после ликвидации банд Антонова на Тамбовщине получал новое назначение (она хранится в архиве), читаем:

«Прошел 300 верст в составе арьергарда, прикрывавшего... отступление наших войск, и вышел к Гомелю с ротой курсантов в семнадцать человек из ста восьмидесяти».

Как видим — начало крутое.

В 1919 году на польском фронте Аркадий Голиков командует взводом в 468-м стрелковом полку. После шрапнельного ранения в ногу, полученного в декабре, едет на побывку домой.

«В общем, я собой доволен,— пишет из дома отцу на восточный фронт.— Немножко устал, но это пустяки».

Все же устал он, видимо, крепко. В Арзамасе заболел — тиф. К счастью, в легкой форме. В марте 1920 года наголо остриженный, похуевший приезжает в Москву за новым назначением.

«...Вспомнить когда-нибудь дорогу на кавказский фронт — начиная с Курского вокзала», — записал Аркадий Гайдар в дневник 30 ноября 1940 года. Вряд ли удалось ему это сделать.

Что ж... Попробуем догадаться хотя бы приблизительно, что видел, о чем думал, о чем разговаривал со своими попутчиками шестнадцатилетний Аркадий Голиков в ту неделю, когда старенький паровозик тянул на юг вереницу платформ, теплушек и пассажирских вагонов.

В вагоне много красных командиров, направленных, как и Аркадий Голиков, в распоряжение штаба кавказского фронта. Там главные военные события. Наверняка обсуждается последняя перед отъездом из Москвы новость: освобождена станция Тихорецкая. В дороге настигает еще одна: взят Екатеринодар.

То и дело звучит в разговорах фамилия — Тухачевский. Теперь, после разгрома Колчака, он командует кавказским фронтом. Некоторые командиры, которые служили в 1-й Революционной и 5-й армиях, рассказывают о молодом командарме. Ну хотя бы о том, как при взятии Симбирска Тухачевский приказал форсировать Волгу прямо по занятому белыми мосту.

Что мог добавить Аркадий Голиков? Разве что видел разок Тухачевского, когда тот в августе 1918-го приезжал в Арзамас в штаб восточного фронта.

Поезд бежит мимо сожженных деревень, по местам, где прошлой осенью развернулись жестокие бои с деникинцами. Особенно отличились тогда червонные казаки Примакова, латышская дивизия и бригада пластунов под командованием Павла Павлова.

Вот о Павле Андреевиче Павлове мог Аркадий вставить в разговор и свое слово. Под его командованием он сражался у стен Киева, его любили и знали курсанты Шестых киевских курсов.

Сын генерал-лейтенанта царской армии. Большевик-подпольщик На германском фронте четыре раза ранен и награжден четырьмя орденами Арестованный в Киеве германской контрразведкой, бежал из Лукьяновской тюрьмы и до освобождения города воевал в красном партизанском отряде... В последний раз Аркадий Голиков мог видеть командующего киевским боевым участком Павла Павлова в бою у станции Боярка.

Но о чем бы ни говорили краскомы, пока поезд неспешно пробирался на юг, росло в вагонах нетерпение и беспокойство. Не опоздать бы!

25 марта двенадцать деникинских бронепоездов и артиллерия английских и французских кораблей пытались прикрыть огнем бегство Добровольческого корпуса деникинцев к Новороссийску. 27 марта 9-я армия Уборевича ворвалась в город.

...Может быть, те, кому довелось бывать на кавказском побережье Черного моря и ехать от Сочи на юг, помнят небольшую речку Псоу. Она пересекает шоссе за Адлером. У моста — стеклянная коробка поста ГАИ. По реке проходит граница между РСФСР и Грузией.

Весной и летом 1920 года здесь стояла четвертая рота 2-го батальона 303-го полка. Командовал ротой Аркадий Голиков. Сторожевая служба. Смена караулов, дозоров, занятия с красноармейцами. Изредка — учебные стрельбы. Патроны приказано беречь.

Из аттестации: «Хотя ко времени прибытия тов Голикова в наш полк фронт был уже ликвидирован и потому судить в чисто боевом отношении мне нельзя, но, судя по его сознательному отношению к делу, ясным толковым распоряжениям, благодаря которым у него создались правильные отношения с красноармейцами как товарища, так и командира, можно думать, что он при всякой обстановке сохранит за собой эти качества...

В моем же батальоне он является пока только одним удовлетворяющим требованиям командирования на высшие курсы»

Командир батальона подписал аттестацию 29 июля 1920 года. Вскоре весь 303-й полк, поднятый по тревоге, грузился на станции Дагомыс в теплушки. Пункт назначения — станица Белореченская. Снова пылала Кубань.

На западном фронте белополяки перешли в наступление. Воспользовавшись этим, оживилась контрреволюция на юге России. На Северном Кавказе спустилась с гор так называемая армия возрождения России генерала Фостикова. Высадились из Крыма десанты генералов Улагая, Черепова, Харламова.

«Живу по-волчьи, командую ротой, деремся с бандитами всюю», — написал в августе Аркадий Голиков в Арзамас своему товарищу Александру Плесью.

Сохранились журналы боевых действий 303-го и 302-го полков 34-й дивизии 9-й армии, в которых он тогда воевал. Мелькают названия станиц, хуторов, урочищ. Синим карандашом подчеркнуты цифры потерь, своих и противника.

«Полком заняты станицы Суходольская и Курджипская, последняя занималась противником численностью до 250 человек... Убито — 34, ранено — 3, трофеев нет».

«Противник, обложив станицы с трех сторон, обстреливает части полка ружейным и пулеметным огнем. ...»

«Боевой состав полка: комсостава — 65, бойцов — 818, едоков — 1092, пулеметов — 20, лошадей — 184».

От тех дней осталась песня Гайдара. Он запевал, я подхватывал: «Нам грозы грохотали. и ветер завывал когда мы занимали Тубинский перевал»...

И еще сбережена фотография. В детстве моя самая любимая. Она и сейчас передо мной. Из-под сдвинутой к затылку папахи строго смотрит с нее молодой командир с ремнями на широких, слегка покатых плечах и кавалерийской шашкой у пояса.

Вот таким в октябре 1920 года он предстал в Москве перед членами мандатной комиссии Высших стрелковых курсов «Выстрел». Еще нет семнадцати, но не мальчик: боевой опыт, три фронта, ранение, две контузии. Последняя —

в атаке, когда батальон занимал Тубинский перевал и на полном скаку упал под Аркадием Голиковым сбитый вражеской пулей конь.

Несмотря на это, у медкомиссии претензий нет. Жизненный путь выбран навсегда — кадровый командир Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Ну, а литература?

В четырнадцать лет в штабном вагоне командующего обороной и охраной железных дорог республики под стук колес им написано:

Угнетенные восстали!  
У тиранов мы отняли  
Нашу власть!  
И знаменам нашим красным  
Не дадим мы в час опасный  
Вновь упасть!

Таким же пафосом пронизаны письма с кавказского фронта. Они адресованы отцу, но многие фразы написаны будто для красноармейских газет. В порой не очень ловких строчках чувствуется тяга если не к литературе, то к журналистике:

«Растут события, все сильнее и сильнее проявляет себя мирное пролетарское творчество, зорко охраняемое классовой армией..»

Учится, судя по всему, хорошо. Принятый на младшее отделение командиров рот, он заканчивает «Выстрел» по старшему, тактическому отделению. Во время учебы проходит короткую стажировку в должностях комбата и комполка.

17 февраля 1921 года в Политическом управлении РККА ему вручено удостоверение № 10294: «Дано сие Голикову А. П. (комбату), окончившему «Выстрел», в том, что он командирован в распоряжение Центрального Комитета РКП».

Снова трудная для страны весна. Правда, уже разгромлен Врангель и подписан мирный договор с Польшей, но республика истощена войной, интервенцией, блокадой. В Поволжье голод. В Кронштадте — мятеж. На Тамбовщине — эсеровские банды.

Заведующий отделом ЦК РКП(б) А. К. Александров назначен командующим военным округом, в который входят Тамбовская, Орловская, Воронежская и Курская губернии. Выезжая в Воронеж, в штаб округа, он берет с собой шесть выпускников «Выстрела». «Размышляю над той работой, которая предстоит с завтрашнего дня мне — вступающему в командование 23-м запасным полком, насчитывающим около четырех тысяч штыков, — сообщает отцу Аркадий Голиков. — Работа большая и трудная, тем более что многие из высшего комсостава арестованы за связь с бандами, оперирующими в нашем районе. Во всяком случае при первой же возможности постараюсь взять немного ниже...» Из письма видно, что назначением он взволнован и озабочен.

Полк — организация особая. Роты, батальоны — его подразделения. Из нескольких полков создаются соединения — дивизии. Полк же именуется частью, он — основа. Задача запасного полка — обучение красноармейцев, подготовка пополнения для действующих частей.

Перелистаем подписанные Аркадием Голиковым приказы. Между четкими, с наклоном и нажимом писарскими строчками сразу бросаются в глаза слова и фразы, вставленные командиром полка. Они, как и всегда в рукописях Аркадия Гайдара, бегут по страницам отдельными буквами, разомкнуто, как солдаты в атаке.

«Добровольно изъявившего желание служить во вверенном мне полку гражданина Сухарева Сергея, рождения 1902 года, зачислить в списки полка и полковой школы...»

«Прибывших из Воронежского Укомдеза (комиссии по борьбе с дезертирством) бойцов зачислить в списки полка по переменному составу. Установить наблюдение...»

«Сформирован 17-го сего марта маршбат № 14, 1-я рота в 400 человек, 2-я в 400 человек, 3-я в 230 человек...»

Маршевые роты направляются из Воронежа в Петроград. Оттуда — к мятежному Кронштадту.

Вскоре у Аркадия Голикова появляется возможность «взять пониже». Его полк расформирован, и он вступает в командование батальоном, потом сводным отрядом, действовавшим против банд эсера Антонова. Пользуясь недовольством крестьян продразверсткой, прибегая то к обману, то к насильственным мобилизациям, Антонову и его «главному оперативному штабу» удалось сформировать в Тамбовской губернии две «армии» общей численностью до пятидесяти тысяч человек.

Партия принимала решительные меры, чтобы ликвидировать мятеж быстро и с наименьшими человеческими жертвами. В губернии раньше, чем в других районах страны, продразверстка заменена продналогом. Развернута широкая разъяснительная работа. Направлены подкрепления.

Через десять лет после тех событий Аркадий Гайдар записал в дневнике:

«Во сне видел Котовского. В 1921 году на антоновские банды, ночью — в Бенкендорф — Сосновку — он прискакал с бригадой. Я командовал тогда сводным отрядом... Помнится мне, что это было как раз в конце мая».

27 июня 1921 года в штаб М. Н. Тухачевского поступила телеграмма. Комвойсками пятого боевого участка просил прислать на должность командира 58-го полка «нового, желательно партийного, с боевым стажем». На телеграмме резолюция начальника штаба: «По согласованию с инспектором пехоты командировать из нашего резерва». Справка адмтдела: «Первый кандидат — Голиков».

Инспектор пехоты, бывший царский генерал, опытный военспец, честно служивший в Красной Армии почти с самого начала ее организации, ознакомился с личным делом кандидата. Свое мнение он изложил письменно: «Тов. Голиков не обладает широкими познаниями в военном деле, малоопытен, вряд ли сможет командовать полком при тех условиях, которые предъявляются в настоящее время».

Вечером документы легли на стол командующего. Постараемся догадаться, о чем думал М. Н. Тухачевский, рассматривая эти бумаги.

Прежде всего, наверное, подумал о пятом боеучастке: северо-восточная часть Тамбовщины, леса, озера, болота. Какие части дислоцированы там? Автобронеотряд, один батальон 58-го полка, артиллерийская батарея, военно-инженерный дивизион... Да, 58-й полк — основная сила участка. Инспектор прав. Такому полку нужен крепкий командир.

Раскрыл личное дело, поглядел послужной список Голикова. Но здесь вроде все в порядке. Петлюровщина, западный фронт, кавказский фронт, «Выстрел»... Командовал ротой, батальоном, полком... Правда, запасным и недолго... Сводный отряд... Сводный? Да, пехота, кавалерийский эскадрон, два орудия... Год рождения... Ах вот оно что!

Тухачевский улыбнулся, снова придвинул к себе заключение инспектора пехоты. Нет, не смог этот вежливый и воспитанный человек заставить себя попросту написать, что считает Голикова слишком молодым для занятия столь ответственной должности. Постеснялся доложить такое командующему, который сам в двадцать пять лет возглавил армию, а в двадцать семь — фронт. Тухачевский встал из-за стола. Привычным жестом, заложив два пальца под ремень, opravил гимнастерку.

Революция! Она действительно творит чудеса. Уборевич стал командармом в двадцать четыре года, Федько в двадцать один год. Оба сейчас здесь, на Тамбовщине. Павлову тоже еще нет тридцати...

Тухачевский позвонил адъютанту.

«Пригласите к прямому проводу комбоеучастка шесть!» — приказал он.

Если молодость для назначения не помеха, то уж во всяком случае и не основание.

Застучал старенький аппаратик «Бодо», поползла телеграфная лента. «У аппарата Павлов... У аппарата Тухачевский. Здравствуйте, Павел Андреевич. Голиков у вас воевал? Доложите ваше мнение!»

...Может быть, все происходило иначе. Как теперь узнаешь? Но осталась решительная, чуть наискосок резолюция Тухачевского: «Заготовить документы».

30 июня 1921 года Аркадий Голиков докладывал в штаб из Моршанска, что в командование 58-м полком вступил. В списках полка значатся 2879 человек.

Снова полистаем боевые приказы и донесения.

«Конная разведка 58-го полка в с. Байловка встретила с бандой Дегтева в числе 70 человек... Благодаря крутым, а местами болотистым берегам реки Кошмы догнать бандитов в конном строю было невозможно. Разведкой захвачена 21 лошадь с седлами. Преследование продолжается...»

«В районе Амелино столкновение с бандой Попова — Коробова в числе 100 сабель...»

Бои боями, но примечательна маленькая заметка, опубликованная на страницах газеты «Красноармеец». Газета издавалась в Тамбове.

«Задумался Шилов. Идти к красным — очень уж страшно! В лесу оставаться еще страшнее и надежды мало: крепка советская власть, одурачили, видимо, нашего брата. Решился. Приходит в штаб 58-го полка к командиру. Командир принял ласково, и чаю дал, и хлебом накормил. Ест Шилов и думает: «А ведь расстреляют, все равно расстреляют!» Но никто не расстрелял, а пустили Шилова домой... Вежит ночью в банду, рассказывает, как его приняли: «Эй, робя... Нечего тут валандаться. Вечор с командиром в штабе чай пил. Веди, говорит, в полк, ничего не будет...»

Выходили из лесов обманутые крестьяне, бежал и был убит Антонов, угасала антоновщина.

Из приказа № 74 по пятому боевому участку:

«В целях оказания помощи советским хозяйствам в своевременной уборке урожая приказываю: командиру 1-й роты 58-го полка и комвзвода 8-й роты того же полка оказывать полное содействие зав. совхозами № 3, 4... При выделении вооруженных команд командирам частей строго учитывать обстановку на вверенных им участках, отнюдь не ослабляя боеспособности в частях, дабы не было ущерба в выполнении возложенных на вас оперативных заданий...

ВРИО комвойсками 5-го участка Голиков».

\* \* \*

Константин Федин вспоминал:

«В 1925 году в редакцию ленинградского альманаха «Ковш» пришел высокий и очень складный молодой человек, светловолосый, светлоглазый.... Он положил на стол несколько исписанных тетрадок и сказал:

— Я Аркадий Голиков. Это мой роман. Я хочу, чтобы вы его напечатали...

На вопрос, писал ли Голиков что-нибудь прежде, он ответил:

— Нет. Это мой первый роман. Я решил стать писателем.

— А кем вы были раньше и кто вы теперь?

— Теперь я демобилизованный из Красной Армии по контузии. А был комполка».

Раньше комполка — понятно. Решил стать писателем — тоже понятно. Но кем же он был вот тогда, когда появился в редакции альманаха в гимнастерке и армейской фуражке, на выгоревшем околыше которой темнел след недавно снятой красной звездочки?

Отвечает на этот вопрос учетный листок № 12571 Московского горвоенкомата, составленный на Голикова А. П. в 1925 году. В графе «Состоите ли на службе и где?» две буквы — «б/р».

Значит, пока что официально безработный.

...Гражданская война кончилась. Но и после ликвидации антоновщины Аркадий Голиков воевал еще довольно долго. Сначала добивал белые банды в Тамьян-Катайском кантоне в Башкирии. Потом в Сибири в Хакасии на границе с Тувой, будучи начальником второго боерайона, гонялся со своим отрядом за крупной бандой Соловьева, которая грабила крестьян, совершала налеты на золотые прииски.

Дальнейший жизненный путь Аркадию Голикову был по-прежнему ясен. Собирался поступать в военную академию. Писал об этом отцу, делясь опасениями, что не выдержит вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам: «...ведь что и знал, то позабыл все».

Второй боевой район включал шесть нынешних районов юга Красноярского края: Ужурский, Шарыповский, Орджоникидзевский, Ширинский, Богородский и часть Усть-Абаканского. Выходила степь, горы, местами тайга. Соловьев из местных. Его поддерживают здешние богатеи, он знает все ходы и выходы.

Порой Аркадий Голиков и его бойцы сутками не оставляли седел. Операции против банды Соловьева развивались успешно. Кроме того, Аркадию Голикову удалось раздобыть книги, учебники. Хотя и урывками, главным образом по ночам, он начал готовиться к экзаменам. Рассказала мне об этом Аграфена Александровна Кожухова, в избе которой в селе Форпост (Форпос — называли его крестьяне) стоял на квартире Аркадий Голиков.

Честно говоря, поначалу ее воспоминаниям я не очень уж поверил. Аграфене Александровне, когда мы разговаривали, было уже около девяноста лет. Но вдруг она улыбнулась, отчего сразу ожили в сеточке морщинок ее глаза, и поведала, словно сама до сих пор удивляясь, как всерьез обиделся, даже было решил съехать с квартиры ее постоялец, большой командир, когда увидел, что принесенный им с реки улов — три пескаря — не зажарен, а отдан на обед кошке...

И еще рассказала Аграфена Александровна, как во время вечеринок — бывало такое! — ее квартирант не плясал со всеми, но, стоя в сторонке, притопывал в такт музыке. Тут уж сразу стало понятно, что Аркадия Голикова она действительно помнит и ни с кем другим его не путает.

«Когда песни, тут он — первый. И сам любил петь и с товарищами. Одна их любимая так у нас в Форпосе и осталась. Прижилась...»

Аграфена Александровна склонила на ладонь голову, ее слабый, прозрачный, как дымок, голос поплыл над железными койками абаканского дома престарелых:

Вскормили вы нас и вспоили,  
Отчизны родные поля.  
И мы беззаветно любили  
Тебя, мать — сырая земля...

Смоюла песня, а мы молчали. Будто вместе погрузились в глубину десятилетий, в прожитое и пережитое, и требовалось время, чтобы вернуться в сегодняшний день.

«Веселый был, — сказала Аграфена Александровна. — И ласковый. А потом что-то с ним сделалось. Случилось что-то...»

Случилась болезнь. В Сибири в селе Форпост догнало Аркадия Голикова эхо его прежних, еще на кавказском фронте и антоновщине, контузий.

«Тут я начал заболеть (не сразу, а рывками, периодами). — написал впоследствии об этом Аркадий Гайдар. — Все что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дергались».

...Осенним утром 1923 года в Москве в Лефортове из ворот старинной военной больницы вышел человек в длинной кавалерийской шинели. Листья в садике напротив госпиталя уже пожелтели, ветер срывал их с деревьев, бросал на трамвайные рельсы. Поправив на плече небольшой вещевой мешок, человек зашагал по улице вниз к Язуе.

В кармане его гимнастерки лежал аттестат № 10079.

«Дан сей 1-м Красноармейским Коммунистическим госпиталем б. комполка Голикову в том, что он при сем госпитале удовлетворен провиантским, приварочным, чайным, табачным, мыльным довольствием...»

Его долго лечили. В Красноярске, Томске, в Москве. Приступы травматического невроза накатывали теперь реже, были не так остры. Но заключение врачей перечеркивало мечту об академии. И не только эту мечту.

Цокали по булыжнику копыта извозчицких лошадей и тяжелых ломовых, запряженных в телеги. От Язуы на Красноказарменную улицу прошагали с песней новобранцы. Аркадий Голиков проводил строй взглядом и вскочил на подножку трамвая

В тот же день он получил в Генштабе копию приказа, разрешающего ему по состоянию здоровья шестимесячный отпуск, в гимнастерке уже лежали аттестат и удостоверение командира РККА, выданное 23 августа 1919 года в осажденном деникинцами и петлюровцами Киеве. По странной прихоти судьбы приказ был датирован тоже 23 августа, но -- 1923 года.

В сущности, это было начало прощания с Красной Армией.

Есть основания предполагать, что в тот день в вещевом мешке Аркадия Голикова вместе со сменой белья, мылом и табаком находилась толстая, в линей-

ку тетрадь. На синей ее обложке в правом верхнем углу нарисована красная звездочка. Ее лучи наискосок через страницу падают на слова: «В дни поражений и побед».

Пройдут немалые годы. До того октябрьского рассвета, который начал заниматься над будкой путевого обходчика на железнодорожной ветке Золотоноша — Канев и вдруг разом погас, осталось еще семнадцать лет.

За эти годы произойдет многое. Аркадий Голиков станет Аркадием Гайдаром, снова, как в гражданскую, исколесит страну, будет веселым и грустным, испытает поражения, одержит победы... И на каждой его рукописи, большой или маленькой, неизменно в правом верхнем углу первой страницы засветится красноармейская звездочка, освещая и согревая своими лучами его слова.

...Бережно и заботливо отнеслась Красная Армия к попавшему в беду командир полка Отпуск продлевали. Потом Аркадий Голиков был зачислен в резерв. И наконец появились в приказе слова: «...в бессрочный отпуск».

По последнему командирскому литеру осенью 1924 года Аркадий Голиков едет в Крым навестить свою большую мать.

Наталья Аркадьевна покинула Арзамас в 1920-м вскоре после того, как стала членом РКП(б). Она заведовала уездным отделом здравоохранения в Пржевальске, была членом уездно-городского ревкома. В Иссык-Кульской долине действовали басмачи. «Ее подпись — вместе с подписью предревкома — стоит под многими решениями и постановлениями того горячего и сурового времени», — пишет Борис Осыков, автор интересной книги об Аркадии Гайдаре, просматривавший архивы Киргизской ССР.

У меня на руках несколько ее писем, картонные прямоугольники мандатов. Они относятся к 1922—1924 годам, когда Наталья Аркадьевна заболела и переехала в Новороссийск, где заведовала облздравотделом. На красных мандатах тоже отблеск времени:

«Предъявитель сего тов. Голикова Н. А. является делегатом окружного съезда Советов рабочих, казачьих, красноармейских и флотских депутатов...»

Письма адресованы старшей дочери. Почерк неровный. Чувствуется, что Наталье Аркадьевне трудно держать карандаш. У нее последняя стадия туберкулеза «Милая Талочка! Все-таки умирать я подожду, пока твои экзамены не кончатся. Так что не беспокойся...»

Иногда прорывается боль:

«Ночами я не сплю и часто плачу оттого, что не увижу больше ни тебя, ни Аркадия...»

Но сын успел, приехал.

В гимнастерке с нашивками комполка на рукавах он сидит у постели матери, положив руку на ее плечо. На этой фотографии он выглядит даже старше Натальи Аркадьевны. Она коротко подстрижена, девичьим стало исхудавшее лицо, огромными глаза, в которых застыл недоуменный и по-детски беспомощный вопрос «почему?».

Есть среди бумаг Натальи Аркадьевны еще один листок. Самый последний. Стихи, обращенные к дочерям. Они написаны уже после отъезда сына. Буквы падают, строки скользят. Но почти все прочитать можно:

«Я стою у открытой могилы, но и это меня не страшит. Лишь о вас, мои девочки милые, мое сердце так сильно болит. И когда поддаюсь я тревоге, слезы слепят глаза, давит грудь. Мне пожить бы еще хоть немного, чтоб поставить на верный вас путь. Будьте смелы, решительны, строги, не ропщите на злую судьбу. Выходите на ту же дорогу, по которой мы шли на борьбу...»

Одна строчка совершенно неразборчива. Последние три, видимо, собравшись с силами. Наталья Аркадьевна вывела четко: «Все отдайте, как отдала я пролетарскому делу родному. Вот последняя просьба моя». Некоторые слова размыты. Видимо, кто-то над этим листком плакал...

\* \* \*

Вернемся теперь на Невский проспект в Дом книги, где кипела в середине двадцатых годов литературная жизнь Ленинграда и на одном из этих этажей размещалась редакция альманаха «Ковш».

Принести в альманах рукопись своего первого произведения было для начинающего литератора довольно смелым поступком. В «Ковше» печатались Алексей Толстой, Леонид Леонов, Борис Лавренев, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин... Из поэтов Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Павел Антокольский, Николай Асеев... А. М. Горький считал «Ковш» одним из лучших литературных периодических изданий того времени.

Первым в редакции рукопись Аркадия Голикова прочитал Сергей Семенов. Передавая ее другим членам редколлегии, сказал: «Это, конечно, не роман, а повесть. Но это здорово... По-моему, из него может получиться писатель. Почитайте!»

Мнение члена редколлегии Константина Федина записано в автобиографии Аркадия Гайдара:

«Писать вы не умеете, но писать можете и писать будете».

Началась работа над текстом повести. Аркадий Гайдар вспоминает:

«Учили меня: Константин Федин, Михаил Слонимский и особенно много Сергей Семенов, который буквально строчка по строчке разбирал со мною все написанное».

Сергей Семенов был старше Аркадия Голикова на десять лет. Роман «Голод», рассказы о Петрограде уже принесли ему широкую литературную известность. Он был признанный, авторитетный писатель, ответственный редактор «Ковша». Но получилось так, что почти с первой встречи между ним и Гайдаром возникли теплые, дружеские отношения.

«Сергею Семенову. Командарму литературного фронта. Лучшему другу», — написал Аркадий Голиков 22 марта 1925 года на сигнальном экземпляре «Ковша» с первой частью своей первой повести.

«Аркадию Голикову. В знак веры в совместный и долгий путь», — написал Семенов в ответ на фотографии.

Тонкое, умное лицо, взгляд задумчивый, чуть исподлобья. Он сфотографирован в меховой шубе. На голове — меховая шапка с длинными, почти до пояса ушами. Такие раньше носили полярники.

Видимо, Север уже тогда манил его, и вовсе не случайно в 1932 году Сергей Семенов был среди членов экипажа «Сибирякова», совершившего знаменитый переход по Северному морскому пути, а в 1934 году — среди челюскинцев.

«В знак веры в совместный путь...» — когда читаешь эти слова, начинает казаться, что Сергей Семенов предвидел многое.

Та часть жизненного пути, которую ему и Аркадию Голикову довелось прошагать до их первой встречи, действительно во многом была совместной: оба участвовали в гражданской войне, были ранены, в литературу пришли из Красной Армии. И, видимо, закономерно, что одинаковыми оказались их солдатские дороги в Великую Отечественную. Военный корреспондент Сергей Семенов погиб на Волховском фронте в январе 1942 года, пережив Аркадия Гайдара на два с небольшим месяца.

Помощь, оказанная Сергеем Семеновым своему молодому товарищу, изучена и оценена недостаточно.

Когда сравниваешь текст повести «В дни поражений и побед», опубликованной в двух номерах «Ковша», с ее отдельным изданием, в котором правка не учтена, сразу бросается в глаза, что в «Ковше» повесть стала менее рыхлой, убраны некоторые длинноты, местами динамичнее стали фразы, улучшена компоновка глав.

И все же успеха Аркадию Голикову повесть не принесла. Нельзя сказать, что ее не заметила критика. Заметила, да еще как! Известный в ту пору литературный критик Михаил Левидов, выступивший с обзором альманахов «Ковш», «Недра», «Перевал» и других, даже начал с нее свою статью:

«Нас интересует вопрос, на каком основании ожидал Аркадий Голиков, что его произведение понравится какому бы то ни было читателю. Сюжет? Вместо него банальный эпизод. Действующие лица не живут. Языка нет, так, серая пыль...»

Отрицательные рецензии появились в журналах «Звезда», «Книгоноша», и только «Октябрь» отметил, что «произведение А. Голикова отходит некоторым образом от шаблона...».



Теперь, когда минуло шесть десятилетий и мы знаем все книги Аркадия Гайдара, можно спокойно перечитать эти рецензии. Можно признать, что кое в чем критики были правы.

Но не заметили они, как в повести от страницы к странице постепенно становится крепче и звонче голос молодого писателя. И не разглядели искренности и чистоты, которую сразу почувствовали Константин Федин и Сергей Семенов.

Как пережил тогда этот удар сам Аркадий Голиков? Что делал, чувствовал он, когда грянул гром и сверкнули молнии?

Он работал.

«...На другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всеми солдатами незнакомец крепко пожал руки ребятишкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде,— проговорил он, обращаясь к Димке.— А тебя...— И он запнулся.

— Может, где-нибудь,— неуверенно ответил Жиган.

Ветер чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладину, а большие глубокие глаза устали вдаль.

По дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд...»

Аркадий дописал последнюю фразу. Поднялся из-за стола. Набил и раскурил трубку. Чувство жалости к Жигану, славному, ласковому мальчишке, оставшемуся одиноким в вихре суровой войны, остро щемило сердце. Но Аркадий знал, что по-иному закончить нельзя. И он понимал, что рассказ удался.

Впрочем, может, «Р. В. С.» не рассказ, а маленькая повесть?

Он прошелся по комнате. Да, за минувшие полгода сделано немало. Крепко поработал над «Днями поражений и побед». Написал несколько глав «Последних туч». Правда, это отложено. Зато опубликован рассказ «Патроны». И вот теперь лежит на столе законченная «Р. В. С.»... Что дальше?

Он провел рукой по лбу. Последнее время снова все чаще гудело в висках. Видимо, устал. Да и что там ни говори, разгромные статьи в журналах о первой повести тоже не прошли даром...

Весной 1925 года Аркадий Голиков уезжает из Ленинграда.

Куда? Главное, тронуться в путь. Там будет видно...

Он любил дорогу. Она лечила, возвращала уверенность, вливала силы. «Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки»,— написал он.

Влюбленность в движение и пространство осталась до конца жизни. Может быть, потому так и не удалось ему создать прочное, оседлое, уютное жилье с хорошим письменным столом и любовно подобранной библиотекой.

В одном из последних дневников, уже перед началом Великой Отечественной он записал: «Путник и дорога как целое — при одних обстоятельствах, а при других — дорога его не касается, он касается ее только подошвами».

У Аркадия Гайдара дороги проходили через сердце.

В Ленинграде Сергею Семенову и его жене Наташе пришло письмо:

«Моим милым, славным друзьям от неисправимого бродяги теплый привет!

До Донбасса далеко, но сапоги мои еще крепки, в кармане звякает рубль с гривенником денег, и кисет с махоркой полон до отказа — жить можно.

Был я на Кавказе, в Абхазии, в Гаграх, отдыхал, тянул кислое вино, торгался опасной красотой интеллигентных грузинок и помогал грузчикам стаскивать мешки с золотой рассыпчатой кукурузой. По ночам писал.

Был я в Харькове... Ходил в клинику и с идиотским выражением лица сидел на табуретке, выжидая, когда на разгоряченную голову выльется положенное количество электрического дождя. Я не могу работать так же, как работал прошлый год... И не моя вина, что ухожу в резерв на несколько месяцев. Мне много и много есть еще о чем писать, и я ни на минуту не перестаю верить «в совместный долгий и славный путь».

Ваш Арк. Голиков»

\* \* \*

Теперь мы приблизились ко времени, когда отпадает наконец надобность иметь одного человека то Голиковым, то Гайдаром.

Возвратившись из странствий в Москву, Аркадий встретил своего давнего товарища Александра Плеско. Была осень 1925 года, как раз шел призыв в армию молодежи 1903 года рождения, и Александра Плеско, который работал в Перми заместителем ответственного редактора газеты окружкома партии «Звезда», тоже переводили в военную печать.

Плеско посоветовал Аркадию ехать в Пермь. Газета хорошая, коллектив молодой, дружный, кроме того, в «Звезде» сотрудничает Николай Кондратьев, их общий друг по Арзамасу.

Пермь так Пермь!

«Вошел к нам в комнату большой, широкоплечий человек в серой солдатской шинели, в серой кепке, высоких сапогах, с трубкой в зубах. И таким ясным было его широкое, чуть скуластое лицо с добрыми, с лукавинкой глазами, с детскими, чуть припухлыми губами, что сразу он стал своим, как бы давно знакомым товарищем и другом.

И мы приняли его сразу как друга в свои ряды. Через полчаса в туго перетянутой командирским ремнем гимнастерке, коротко подстриженный, чисто выбритый, весь как-то по-военному подтянутый и собранный он уже сидел за общим столом в нашей комнате-столовой».

Так рассказывает жена Александра Плеско. В годы Великой Отечественной войны Галина Плеско была майором. А тогда, еще совсем молоденькая, работала в «Звезде» секретарем отдела рабочей жизни. И заодно выполняла роль хозяйки в общежитии-коммуне, где жили многие сотрудники газеты.

Аркадий Голиков приехал в Пермь в самый канун восьмой годовщины Октябрьской революции. Через несколько дней в праздничном номере «Звезды» появился его материал.

«— На перекрестке! — задыхаясь, крикнул командир отряда... — Всю линию от Жандармской до Покровки... Сдыхайте, но продержитесь три часа. И вот...»

Так энергично начинался его рассказ «Угловой дом». Шесть красногвардейцев сдержали натиск, и среди них была Галина — смелая девчонка «с кудрявой головой». Под газетным подвалом стояла подпись — Гайдар.

Принято считать, что именно 7 ноября 1925 года в литературе и в журналистике впервые появилось это имя. Так ли?

На размышления наводит письмо, которое Аркадий послал отцу из Красноярска в 1923 году. Он сообщал, что пишет и даже «зарабатывает небольшой корреспонденцией». Кроме того, есть запись в дневнике Аркадия Гайдара, сделанная им в 1940 году:

«17 лет тому назад.

...Все прошло. Но дымят пожарница,  
Слышны рокоты бурь вдали.  
Все ушли от Гайдара товарищи,  
Дальше, дальше, вперед ушли».

Получается, что и стихи тоже написаны в 1923 году. Настроение их понять можно: Аркадий предчувствует близившуюся разлуку с Красной Армией. Но важно другое — уже тогда прозвучало в четверостишии — Гайдар. Может, если полистать подшивки газет, вышедших в Красноярске в 1923 году, то вдруг обнаружится это имя под каким-нибудь материалом?

Но почему в таком случае и над повестью «В дни поражений и побед» и над первой публикацией «Р. В. С.» он поставил — «Арк. Голиков»? И откуда возникло слово «Гайдар», звонкое и раскатистое? Аркадий Гайдар на такой вопрос не отвечал. Если приставали, отделывался шуткой.

Уже после его гибели стали возникать догадки. Автором версии, получившей широкое распространение, стал писатель Борис Емельянов. От него и пошло: по-монгольски гайдар — всадник, скачущий впереди.

Версия красива, романтична и для многих неразрывно слилась с образом Аркадия Гайдара. И имен похожих — Хайдар, Гейдар — на Востоке немало. В Индии даже есть город Хайдарабад.

«Судя по произношению, фамилия Гайдар — татарская и если вы татарин...» — так начиналось письмо, на которое Аркадий Гайдар ответил в одном из фельетонов в газете «Звезда».

Для чего же все-таки вздумалось девятнадцатилетнему Аркадию Голикову брать хотя и звучное, но иноплеменное имя?

Ну, конечно же, не потому что — «всадник, скачущий впереди». Во-первых, в монгольском языке слова «гайдар» в подобном значении не существует. А во-вторых, не был Аркадий хвастлив и нескромен. Зато всегда с детства был большой выдумщик, пользовался шифром собственного изобретения.

Записи в школьном дневнике Аркадия расшифровал его школьный друг А. М. Гольдин: «любезад эдегатофал» — написать стихи, «базрор тонай» — отослан домой... Удалось А. М. Гольдину разгадать и загадку псевдонима, которую задал всем нам писатель.

Вспомним сначала, что в детстве Аркадий учил французский язык. Потом всегда любил вернуть при случае французское словечко.

«Сереза! Завтра — 22 января — мне стукнет ровно без шести лет сорок. Молодость — э пердю! Ке фер?» — написал он Сергею Розанову.

Напомним еще, что во французском языке частица «д» указывает на принадлежность или происхождение, скажем, д'Артаньян — из Артаньяна.

Итак, 1923 год, девятнадцатилетний Аркадий Голиков ранен, контужен, болен. Путь кадрового командира РККА, начатый так уверенно, заволочло тучами. Что делать дальше? Как жить? Видимо, тогда и созревает решение — литература. Неосознанно она манила с детства. На «Выстреле» казалась делом привлекательным, но второстепенным. Отныне должна стать главным.

И вот придуман литературный псевдоним.

«Г» — первая буква фамилии. «Ай» — первая и последняя буквы имени. «Д» — по-французски «из». «Ар» — первые буквы названия родного города.

Г-ай-д-ар: Голиков Аркадий из Арзамаса.

Придуман и оставлен про запас.

Кстати, поначалу в Перми он и подписывался просто — Гайдар, без имени и даже без инициала, просто — Гайдар. Ведь имя уже входило частичкой в это слово. Лишь когда псевдоним стал фамилией, на книгах появилось — Аркадий Гайдар.

Впрочем, все это хотя и любопытно, но полностью вопрос о том, как Голиков стал Гайдаром, не исчерпывает. История сложнее, интереснее и имеет более глубокий смысл.

Дней через десять после рассказа «Угловой дом» в «Звезде» появился рассказ Гайдара «Две телеграммы». Он тоже обращен в прошлое, к гражданской войне. Следующий материал, уже посвященный Перми, — очерк «Кама». Он — о реке, о том как по весне и летом несет она баржи, плоты, пароходы. Однако в его заключительный абзац вдруг врываются посторонние вроде слова.

«Но теперь до весны... до пьяно-ласкового солнца, до журавлиных клеточков, которые высоко-высоко — а аэроплан выше — Кама спит» Прилетел тогда в Пермь агитационный самолет «Все в Авиахим!». Ему бы и лететь дальше по своему маршруту. Однако опять что-то давнее, может, с Арзамаса, когда там размещался штаб восточного фронта, может, с гражданской всколыхнулось в душе автора. И аэроплан завис над Камой в неожиданной гайдаровской строчке.

Вскоре и темы и тон выступлений Гайдара в «Звезде» меняются.

Время было интересное, «пестрое», как сказано в книге «Аркадий Гайдар на Урале», которую написали его товарищи по редакции С. Гинц и В. Назаровский.

Снимались с консервации старые заводы. Рыли котлованы под корпуса новых цехов. Кипела работа в пригороде Перми Мотовилихе — крупнейшем пролетарском центре Урала.

Нэп еще в разгаре. В руках у частников почти вся торговля. В Перми множество кабаков, трактиров, ресторанчиков. Популярностью пользуется «Пивная Леонандра» и кафе «Уют».

Живут рядом, а иногда вместе работают и те, кто еще недавно служил в Красной Армии, и те, кто добровольно или по мобилизации служили у Колча-

ка — «верховного правителя России». Должны пройти годы, чтобы стерлась борозда, проложенная между ними гражданской войной.

Пока же бурно прорастающее новое и неохотно отступающее старое образуют своеобразную, порой взрывчатую смесь.

«Звезда» ведет бой, и не в характере Гайдара оставаться в стороне от сражения.

Перелистывая подшивку «Звезды» с ноября 1925-го по январь 1927 года, когда он сотрудничал в газете, невольно поражаешься объему проделанной им работы. Судите сами: за год с небольшим им опубликованы тринадцать рассказов, двенадцать очерков, четыре повести, которые печатались с продолжением почти в семидесяти номерах. И его тогдашний главный жанр: сто пятнадцать фельетонов.

Темы разнообразны, их не перечислишь. Некоторые фельетоны отмечены, как говорится, непреходящими приметам времени, некоторые, к сожалению, не потеряли актуальности до сих пор.

«Неуместная наивность», «Остров вакханалии», «Тихая обитель» — это о тех, кто, занимая ответственные посты, использует служебное положение для безудержного приобретения личных благ.

«История о неуловимом билете», «Буква закона», «Простая истина», «Купленный человек» — в защиту прав трудового человека от бездушия и головотяпства бюрократов.

«Кизеловская щедрость», «Осиновые дела», «Госторговские яйца», «История одной смерти» — о неумелых, нерадивых хозяйственниках, наносящих огромные убытки государству.

Вот как писал он, например, о режиме экономии:

«Итак, вспомним молодость, вспомним горячие майские дни 1926 года, когда новорожденным младенцам мужского пола давали строгое и мужественное имя «Режим», а младенцам противоположного пола изящное и модное в то время имя «Экономия».

Ах, как верили, как работали!

И, зараженные общим подъемом, прекрасные жены гордых завов, впервые отвергая казенную лошадь, шли как самые простые смертные пешком с корзиной на базар или в мясную лавку...

А теперь?.. Теперь серые, скучные будни. Перебираешь попадающиеся бумажки и смотришь:

— Бог мой, где же энтузиазм, где порыв?

Угас порыв... Вероятно, утонул где-нибудь в волнах разбушевавшейся бумажной стихии...»

Подшивки «Звезды» листаю в одной из комнат новенького нарядного здания редакции газеты на высоком берегу Камы. Река отсвечивает малиновым цветом. За острие телевизионной башни зацепилось вечернее облако. Наступил тот особый час, когда работа над газетными полосами в основном завершена, но теле-тайп может еще отстучать какую-нибудь важную информацию.

Напряжение спало, можно побеседовать.

Об Аркадии Гайдаре здесь говорят несколько иначе, чем обычно. Тоже с любовью, уважением, но как-то теплее и непринужденнее. Как о коллеге, пусть он даже и очень знаменитый.

Чаще вспоминают что-нибудь веселое, такие истории всегда запоминаются крепче. Ну, например, о том, как Аркадий Гайдар, недовольный ядовитым цветом своей комнаты, принес редактору заявление:

«По закону Вебера — Фехнера цветовой впечатление прямо пропорционально логарифму раздражения, а на основании принципа Крафт — Збинга раздражение влияет на соображение. Поэтому прошу...»

Редактор рассмеялся. Комнату перекрасили.

— Но это же позднее... Когда он работал в Хабаровске.

— Ну и что же? Начинал-то у нас!

Подшивки можно было бы со стеллажей не снимать. Все, что Аркадий Гайдар опубликовал в «Звезде», собрано в отдельные папки. Но интереснее и полезнее, листая хрупкие страницы, самому обнаружить его материал. Если в газете

напечатаны сразу два его фельетона — случается и такое, — второй подписан «Г-р».

От газеты к газете увереннее звучит голос фельетониста. Не всегда ладит с композицией. Литературная молодость да и просто молодость подтолкнул иногда руку к несколько вычурной фразе:

«Я люблю остро отточенную шашку, выкованную из гибкой стали и чеканной строки».

Звонкость есть, чеканная строка, мне кажется, не получилась. Но в журналистике часто не так уж важна литературная форма. Важнее позиция.

В «Фельетоне без визы» Гайдар сначала цитирует распоряжение директора Лысвенского металлургического завода:

«По соображениям политико-экономического характера предлагаю всем корреспондирующим как в газеты, так и в другие периодические издания все корреспонденции, освещающие внутреннюю жизнь завода, представлять на санкцию мне и лишь после моей визы могут быть отправлены по назначению».

Затем следует комментарий — декларация Аркадия Гайдара: «Тов. директора, администраторы и пр. ответственные и безответственные товарищи вышеприведенного образа мыслей! Нашу страну, нашу революцию мы, те, кто пишет в газеты, и те, кто еще не пишет, но будет писать, когда научится и поймет всю роль, все значение советской печати, — любим не меньше вас.

И наша любовь глубже, потому что мы приемлем революцию со всеми ее хорошими и неизбежно отрицательными сторонами, мы не закрываем глаза ни на что. А поэтому бросьте курить фимиамом напыщенных фраз о тайных политико-экономических причинах. Ибо никаких «тайн» тут нет, и угодливого молчания нет и не будет до тех пор, пока будет существовать рабочая печать».

Перечитал эти строки и подумал, что, может, не так уж и правильно мое мнение по поводу той фразы об «остро отточенной шашке». Во всяком случае, рубит она крепко. На страницах «Звезды» уже прошла в фельетонных столбцах целая галерея расточительных хозяйственников, бюрократов с чугунными душами, примазавшихся к партии карьеристов. Другие ждут своей очереди.

Но и над головой фельетониста начинают сгущаться тучи. В первых числах сентября 1926 года он вызван на допрос. 13 ноября суд рассматривает «уголовное дело № 683 по обвинению гр-на Голикова Аркадия Петровича, 22 лет, проживающего в гор. Перми, женатого, имущественного положения бедного, в преступлении, предусмотренном ст. 173 и 175 Угол. Код.»

... Не таким уж заметным среди прочих выступлений Гайдара был фельетон «Шумит ночной Марсель». Посвящен судебному следователю Филатову, который подрабатывал вечерами, играя на аккордеоне в рестораничке «Восторг».

«Киноэскиз» — так обозначено в подзаголовке. Утром в служебном кабинете Филатов ведет допрос. В следующем эпизоде — ресторан «Восторг». Переменились и роли. Теперь хозяин положения тот, кого допрашивали. Он и заказывает Филатову музыку.

Обычный фельетон. Есть факт. Есть его литературная обработка. И урок имеется: представитель советского правосудия, согласившийся на подобное совместительство, может поставить себя в унижительное положение.

Но... слушается дело.

Филатов попросил вызвать много свидетелей. С места основной работы. Из числа постоянных посетителей «Востога». Из ЖЭКа. Из их безусловно правдивых показаний видно, что Филатов работник добросовестный, порядочный, не пьет, не курит, с соседями живет в ладу и о семье заботится. На аккордеоне играет хорошо...

Все встают. Судья Лифанов начинает зачитывать приговор:

— Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики... Данными судебного следствия установлено, что фельетон «Шумит ночной Марсель» дает правильное освещение недопустимости совмещения работы следователя с игрой в ресторане «Восторг», и читателям этот факт дан с точки зрения общественности верно, а в отношении нанесения оскорбления следователю

Филатову ни на чем не основано. Таким образом, суд считает деяние гражданина Голикова по статье сто семьдесят пятой недоказанным...

Борис Никандрович Назаровский, присутствовавший в числе других сотрудников «Звезды» в зале, рассказывал мне впоследствии, что именно в этом месте судья сделал паузу, журналисты улыбнулись друг другу: ну вот, конечно, все кончилось правильно!

Судья продолжал чтение:

— По статье сто семьдесят третьей он, Голиков, изобличается вполне. Иходя из изложенного и руководствуясь... приговорил гражданина Голикова Аркадия Петровича подвергнуть лишению свободы сроком на одну неделю. Приняв во внимание, что Голиков социально опасным для общества не является суд считает возможным наказание Голикову смягчить, заменив лишение свободы общественным порицанием на общем собрании сотрудников редакции «Звезды». Мерой пресечения избрать подписку о невыезде.

Суд кончен. Опустел зал. Вместе с товарищами вышел на улицу и Аркадий Гайдар — «имущественного положения бедный», «социально опасным для общества не являющийся».

Слушание дела начиналось днем. Но пока выступали одиннадцать свидетелей Филатова, а потом судья и заседатели очень долго совещались, наступил вечер. С камской волны исчез малиновый цвет, и утонула переспелая вишня. Теперь река отсвечивала тяжелым и казалась полированным с искорками чугуном.

...Существует понятие «должностное преступление». Для врача, скажем, грубая ошибка в диагнозе, ставящая жизнь пациента под угрозу. У железнодорожника — нарушение инструкции, чреватое катастрофой... Профессиональный риск нечто иное — моряк должен быть готов к встрече с ураганом, водолаза может подстеречь кессонная болезнь...

Если журналист сознательно старается обелить черное или очернить белое, он тоже совершает должностное преступление. Но такое случается очень редко.

Профессиональный риск газетчика состоит в том, что после критического выступления, даже если в материале все абсолютно правильно и доказано, может последовать ответный удар. С какой стороны, в какой форме — это бывает по-разному.

Вполне можно допустить, что судья Алексей Константинович Лифанов, составляя приговор, просто не понимал специфику одного из газетных жанров.

«Да это, никак, тот самый, что из меня сегодня на допросе всю душу вымотал! — воскликнул в фельетоне клиент ресторана. — Эй ты, катый дальше, судейская твоя душа, изобрази-ка мне «цыганочку»... — Потом, — и это процитировано в тексте приговора, — предложил: — Филаша, выпьем!»

Честно говоря, когда теперь держишь в руке ветхую, склеенную прозрачными ленточками бумагу — приговор, перечитываешь его, может показаться, что вовсе не таким уж серьезным было все это «уголовное дело № 683». Ну, ошибся судья, газета выступит, разъяснит. Есть в конце концов и высшие судебные инстанции...

Но в те дни шумел не «ночной Марсель» — Пермь шумела.

— Неужели все-таки удалось упечь в тюрьму этого резвого фельетониста?

— Неужели наш суд осудил Гайдара?

...Если профессиональный риск поставил доброе имя журналиста под прямой удар, на первую линию выходит редактор газеты. Он за все в ответе, он подбирает сотрудников, он подписывает номер в печать. Ему и слово.

Собратья Аркадия Гайдара по перу вовсе не собирались, как постановил суд, выносить ему «общественное порицание». Они требовали, чтобы газета громко выступила в защиту Гайдара.

Но новый, недавно назначенный редактор «Звезды» повел себя неожиданно робко.

После суда он забраковал один за другим пять материалов Аркадия Гайдара. Реже стали появляться на страницах газеты и фельетоны другого ее сотрудника — Михаила Черныша.

Тогда выступила центральная «Правда» 5 апреля 1927 года в «Правде» на четвертой полосе в ее правом верхнем углу появилась большая, на две колонки, статья «Преступление Гайдара»:

«Форма фельетона не понравилась. Выходит, что фельетонную форму произведений нужно изгнать из газеты. Но под силу ли сделать это нарсуду 2-го участка г. Перми? Нет и нет! Рабочий читатель знает, что партия и соввласть на газету смотрят не так, как нарсуд 2-го участка. Преступление Гайдара рабочими Перми воспринято как его заслуга. Читатели толкают Гайдара на новые такие преступления...»

Когда двадцать девять лет спустя я начал работать в этой газете и опубликовал свою первую корреспонденцию, в редакцию «Правды» из Курска пришло письмо:

«Уважаемый товарищ! Обращаюсь к вам вот по какому поводу. Арк. Гайдара некоторые местные работники преследовали за критику.

Как представитель «Правды» я выступил на Пермском окружном совещании рабселькоров. Потом беседовал с Арк. Гайдаром, и он рассказал, какие его фельетоны были встречены особенно недружелюбно. Обо всем услышанном сообщила Марии Ильиничне Ульяновой, ответственному секретарю «Правды». Она поручила мне написать статью в защиту А. Гайдара.

Вот примерно и все.

Член КПСС с 1918 г. Д. Ершов».

Не только в Перми, но и повсюду журналисты встретили статью с ликованием. Вскоре нарком юстиции РСФСР и прокурор республики направили циркулярное письмо, обращая внимание судов и прокуроров на участвовавшие случаи, когда корреспонденты привлекаются к суду за выступления в печати даже при явном отсутствии состава преступления.

На этом фоне несколько неожиданным был ответ, полученный из Перми редакцией «Правды» от Контрольной комиссии окружкома.

«Статья «Преступление Гайдара» нами достаточно проанализирована, — сообщил председатель комиссии Гребнев. — Общественное мнение, как говорит автор статьи, было на стороне обвиняемого Голикова. Так ли это? Мы считаем, что Голиков-Гайдар во второй части фельетона не прав, а коли так — получи должное по суду. Революционная законность — прежде всего. Если Голиков-Гайдар считал себя правым, почему же не соизволил кассировать?»

Впрочем, это были уже, как говорится, арьергардные бои.

Что стало с основными действующими лицами всего происшествия?

Филатову пришлось уйти из следственных органов. Так решила дисциплинарная комиссия. Судья второго участка Лифанов получил повышение, стал членом окружного суда. Перемены коснулись и «Звезды». После исчезновения фельетонов с ее страниц тираж начал сокращаться. Способные журналисты покидали редакцию. Тогда коммунисты газеты обратились в окружком партии. В «Звезду» прислали нового редактора.

Но когда все это происходило, Аркадия Гайдара в Перми уже не было. Он уехал сначала в Свердловск, потом ненадолго в Москву, а затем в Архангельск.

\* \* \*

Фельетон как снаряд: грянул выстрел, поражена цель — кому придет в голову беречь обгоревшую гильзу?

Исключения, конечно, бывают. Фельетоны Михаила Кольцова и по сей день живут, читаются с острым интересом. Но это — классика жанра. На такие вершины Аркадий Гайдар в «Звезде» не поднимался. Мы возвращаемся к его фельетонам, опубликованным в этой газете, лишь потому, что работа в Перми была немаловажным этапом в становлении Аркадия Гайдара — писателя.

Пермь он вспоминал с любовью. Сберегал дружбу, переписывался со многими звездами, в частности с Борисом Никадровичем Назаровским.

«Здравствуй, Борис!

Вот ты сейчас получил письмо, посмотрел на конверт и, вероятно, не угадал почерка. От кого бы это могло быть? И решил, вероятно, что это дело темное — почерк что-то немножко знакомый, пишет тебе какая-нибудь давно забы-

тая «она»: или тихая девушка с грустными глазами, или веселая мимолетная любовница, одна из тех, с которыми проводил ты немногие минуты своего досуга в бытность в Москве.

А пишу это вовсе я, Арк. Гайдар, проведая от добрых людей, что работаешь ты в Перми, жив, здоров, холост — а посему спокоен и мудр.

Боренька! За эти два года, что мы не виделись, постарел я также ровно на два года и сколько-то там месяцев. Много за это время я ездил по Северу, а теперь уже полгода живу в Москве. Не работаю пока в газете, но скоро буду работать, потому что долго без газеты скучно. За это время в ГИЗе у меня вышла повесть «Школа».

Лиля жива, здорова, работает редактором радиопионерской газеты. Тимур нигде не работает, все больше бегает, загорает и задает вопросы приблизительно такого рода: «Что такое батарея?» — «А это вот одна пушка, да еще другая пушка, да еще пушка, вот тебе и батарея». — «А почему лес не деревья, а лес?» — «А это одно дерево значит дерево. А другое дерево, да еще третье дерево, да еще деревья — вот тебе и лес». Пауза. «А если батареи с лесом смешать (???), что тогда получится?»

Боренька! У меня к тебе огромная просьба исключительной важности. Здесь одно очень почтенное издательство должно в срочном порядке издать мою повесть «Лбовщина», переработанную вместе с «Давыдовщиной». Но вот беда — у меня нет ни рукописи, ни одного экземпляра «Лбовщины» («Давыдовщина» есть). Может быть, ты в Перми достанешь и пришлешь эту книжку. Может быть, у тебя сохранился экземпляр?..

Если бы я не знал, что ты добр, как Христос и Магомет, вместе взятые, я был бы уверен, что, прочтя сии строки, ты злорадно сказал бы: «Ага, сукин кот, то не писал, не писал, а как понадобилась книга, сразу нашел время... Так вот пусть...»

Но остерегись, Борис, так поступать. Ибо как человек, изучавший диалектику и философию, должен помнить слова св. Нафанаила-постника, который писал о царе Егудииле: «Всуе сей человек к Господу возносит очи, моля — Господи, даждь мне, — ибо очерствело сердце его (Егудиила), многаяжды прокливаемого всяк день всуе просящими его».

Боренька! Посылаю тебе портрет двух Гайдаров — один теперешний, другой будущий.

Напиши, кто у вас теперь редактор, долго ли ты собираешься сидеть в Перми и еще что-нибудь...»

Под письмом стоит дата: 1 сентября 1930 года.

Поскольку дело для Аркадия Гайдара было спешным, наверное, в тот же день письмо и было опущено в почтовый ящик кунцевской станции. Ныне этот затейливый кирпичный домик затерялся среди высоких зданий одного из самых нарядных районов столицы.

На станцию мы ходили вечером. По дороге распевали: «Скоро мамка придет, табаку привезет, э-гей, э-гей, табаку привезет...» Бывали другие варианты. Если садились электрические батареи у нашего радиоприемника, песня звучала: «Скоро мамка придет, батарей привезет, э-гей, э-гей. батарей привезет!»

За лесом раздавался гудок. «Нукушка» — паровозик серии «КУ» — подтягивала к перрону дачный поезд...

Комнату с застекленной террасой мы снимали в деревянном домике на Большой Кунцевской улице. Где-то неподалеку жил Эдуард Вагрицкий. Иногда он заходил к нам, иногда Аркадий Гайдар шел его проведать. Когда перечитываешь «Школу», «Судьбу барабанщика», а потом «Думу про Опанаса», «Смерть пионерки», понимаешь, почему этих людей так тянуло друг к другу.

Но вернемся к письму, в котором нужно пояснить некоторые места.

«Много ездил по Северу» — это Аркадий Гайдар пишет об Архангельске, где с осени 1928-го по весну 1930 года работал сотрудником в газете «Волна».

Разговор об артиллерийской батарее не случаен. Полигон находился от дачи неподалеку. Миновав лесок, перебравшись за овраги, можно было наблюдать с пригорка из-за цепей охранения за учебными стрельбами. Напомню, что именно в Кунцеве Аркадий Гайдар написал рассказ «Четвертый блиндаж» о попавших случайно под артиллерийский обстрел ребятах.



Книга, о которой идет речь, пришла из Перми незамедлительно — тоненькая, форматом и зеленоватой бумажной обложкой похожая на школьную тетрадь. Называется она «Жизнь ни во что». «Лбовщина» — подзаголовок. Отдельным изданием повесть вышла в Перми тиражом в восемь тысяч, мгновенно была раскуплена, но Б. Назаровский все же достал экземпляр для автора.

Самое важное, однако, что «одно очень почтенное издательство», собиравшееся, как писал Аркадий Гайдар, в самом «срочном порядке издать... «Лбовщину», переработанную вместе с „Давыдовщиной“», свое намерение так и не осуществило. По той простейшей причине, что рукопись от автора не поступила.

Почему Аркадий Гайдар не представил ее в издательство? Попробуем догадаться.

«Эта повесть — памяти Александра Лбова, человека, не знающего дороги в новое, но ненавидящего старое, недисциплинированного, невыдержанного, но смелого и гордого бунтовщика, вложившего всю свою ненависть в холодное дуло своего бессменного маузера, перед которым в течение долгого времени трепетали сторожевые собаки самодержавия...» — такие слова предпослал автор началу повести. Он писал ее быстро, каждая законченная глава сразу уходила в набор и номер за номером появлялась на страницах «Звезды».

Страстность вступительных слов, напряжение, с которым Аркадий Гайдар работал, показывают, что тема его увлекла, захватила. Даже что-то глубоко личное чувствуется в этой увлеченности.

Может, всплыли в памяти рассказы родителей о 1905 годе?

Может, сблизают автора с героем повести какие-то черты характера, в том числе и такие, с которыми Аркадий Гайдар сам противоборствовал? Вспомним автобиографию: «Частенько я оступался, срывался, бывало, даже своевольничал...»

Ну а кроме всего этого слышен во вступлении отзвук тех споров, что уже разгорались вокруг личности Лбова, его места в истории революционного движения на Урале.

Алексей Михайлович Лбов — сталелитейщик, образование — три класса, рослый, сильный, удалой, служил в лейб-гвардии, в юности — вожак заводской молодежи, заводила в кулачных боях. К началу революции 1905 года ему двадцать девять лет. Он снова выдвинулся в лидеры. 18 октября 1905 года, когда рабочие, захватив по дороге пермского генерал-губернатора, идут к тюрьме освободить арестованных товарищей, впереди с красным знаменем — Алексей Лбов.

Нельзя не подивиться классовому, политическому чутью этого человека. «Остановятся железные дороги — забастовка имеет все шансы стать всеобщей... А железнодорожникам забастовать особенно трудно: карательные поезда стоят в полной готовности; вооруженные отряды войска рассыпаны по всей линии, во станциям, иногда даже по отдельным поездам. Забастовка может означать при таких условиях, — мало того: неизбежно будет означать в большинстве случаев, — прямое и непосредственное столкновение с вооруженной силой».

В. И. Ленин написал эти слова в июле 1906 года.

Вернемся в год 1905-й, в день 12 декабря.

В снаряжном цехе завода шумит митинг. Лбова и нескольких его ближайших друзей на митинге нет. Но вот они появляются. Они только что силой забрали в конторе складов акционерного общества «Нобель» девятнадцать револьверов и патроны. Лбов прерывает оратора: «Товарищи! Пока мы митингуем, поезда идут! Скоро подойдет номер четвертый. Все на станцию! Остановим движение!»

Рванулись за Лбовым рабочие, на станции присоединились путейцы. Принесли гаечные ключи. Мелькают ломтики. Первые рельсы сползли со шпал... Но уже скачут казаки, и трещат навстречу им револьверные выстрелы...

Этого эпизода в повести нет. Аркадий Гайдар начинает с ночи в рабочем поселке Мотовилиха:

«В ночь на 13 декабря 1905 года этот поселок никоим образом не мог считаться входящим в состав великой Российской империи, ибо за день перед этим

он плюнул в лицо этой империи свинцом винтовочных пуль, отгородился от нее баррикадами...»

Нет нужды пересказывать содержание повести, как и нет возможности подробнее остановиться на действиях боевой дружины Алексея Лбова, которая после поражения восстания ушла в леса и еще долго продолжала борьбу.

Заведующая Пермским облпартархивом Надежда Алексеевна Алкина познакомила меня с документами... Фотография Лбова. Сделана в 1908 году в вятской тюрьме перед казнью. Воротник арестантского халата слишком широк для исхудавшей шеи. Но еще выше кажется крутой умный лоб. Не от этой ли семейной приметы и пошла у Лбовых их фамилия?

Журнал «Книгоноша» отозвался о новой повести Гайдара одобрительно:

«Гайдар-Голиков обнаружил достаточно умения и революционного пафоса... Читается вещь легко и увлекательно... Язык повести образен, интересен... После «В дни поражений и побед» «Жизнь ни во что» большая победа Гайдара-Голикова».

Победа? Так ли это?

Бывают исключения, но творческий путь многих состоявшихся писателей — тяжелый, от книги к книге подъем. Одному удается в начале пути, еще у подножия, наметить трассу, которая, если упорно работать, не сдаваться, не трусить, приведет в конце концов вопреки всем препятствиям к той горной вершине, что назначена ему судьбой и талантом. Другой не сразу найдет свою дорогу.

Чтобы понять путь Аркадия Голикова к Аркадию Гайдару, нужно вернуться к его первой повести, которую так единодушно и, если убрать грубость, не без оснований осудила критика.

В книге «Аркадий Гайдар», пожалуй одной из лучших об этом писателе, созданной уже в послевоенные годы, ее автор В. Смирнова пишет: «Когда я сейчас вновь перечитывала повесть, я увидела, что ей не хватало вкуса, общего замысла, цельности композиции. Поначалу она выливалась из массы собственных впечатлений и размышлений, а под конец автор словно выдохся и свел все к «приключениям» героя».

О вкусе, композиции, массе впечатлений — совершенно согласен. Листаешь рукопись «В дни поражений и побед», особенно первые тетради, и даже по почерку видишь, как спешит перо, как рука не поспевает за мыслью. И очень редко поиск слова притормозит руку.

Все, что составляет содержание первой части повести — осажденный белыми Киев, курсы краскомов, бои с бандами на подступах к городу, — все это с Аркадием Голиковым было и написано. «как было». Но — без силы литературы и без убедительности мемуаров. Однако сейчас, когда знакома и различима его интонация, не так уж трудно увидеть и на страницах первой повести проблески гайдаровского таланта и даже будущего мастерства. Они прорываются редко, фразой, абзацем, даже словечком, как вспышки огня маяка, который подсказывает кораблю место, помогает проложить курс. Чем дальше листаешь страницы, тем проблески чаще.

Вроде бы и нелогично. Когда червонные казаки Примакова, пластуны Павлова, латышские стрелки выбили деникинцев из Харькова, автор повести лечился после ранения в Арзамасе. Когда войска командарма Уборевича освобождали Новороссийск, поезд, на котором Аркадий Голиков ехал на кавказский фронт, находился еще в пути. Свидетелем событий, описанных во второй части, автор не был. Но именно там впервые обретают плоть и кровь нарисованные им люди: командир партизанского отряда матрос Сошников, рабочий человек Егор, крестьянин Силантий, Яшка, который «где только не шатался»...

Попал в засаду к белым, разоружен этот маленький отряд.

«Партизан отвели на несколько сот шагов как раз к самому берегу моря.

— Прощайте, ребята! — сказал Егор.

И должно быть, впервые разгладились морщины на его хмуром лице, и он улыбнулся.

— Прощайте! Знали мы, что делали, за что и отвечаем.

Треснул залп. Крикнуло эхо. Испуганные, взметнулись чайки. Упали люди.

— Готовы!

— Следующие...

По щеке у Яшки катилась слеза. Его старая чиновничья фуражка с выцветшим околышем и кривобокой звездой съехала набок. Рубаха была разорвана. Он хотел что-то сказать, но не мог.

Остальные замерли как-то безучастно. Только Силантий, сняв шапку, стоял спокойно, уставившись куда-то мимо прицелившихся в него солдат, и тихо молился.

— Господи! — шептал он. — Пошли на землю спокойствие... и чтоб во всех краях, какие ни есть, товарищева сила была... И не оставь Ньюрку!»

Обратим внимание — появились любимые писателем имена. Они воскреснут в других его книгах.

Но имена — это деталь. Важнее звучание прозы, ритмика фраз. Их простота и скудость. Ни особых эпитетов. Ни ярких сравнений. Только треск выстрелов и крики испуганных чаек...

И вспомним, что автору повести не то девятнадцать, не то двадцать лет. И пройдут долгие годы, прежде чем по сценарию Вишневого начнут снимать фильм «Мы из Кронштадта»...

Путь Аркадия Голикова к Аркадию Гайдари и путь Аркадия Гайдара к его горным вершинам лежал не через одобренную критикой «Жизнь ни во что». Он проходил по страницам «В дни поражений и побед», по страничкам синеньких тетрадок, так до сих пор и не расшифрованных «Последних туч», выводя к «Р. В. С.», с которой, собственно говоря, вошел в литературу и в ней остался писатель Аркадий Гайдар.

Не случайно тогда в Ленинграде весной 1925 года они лежали на столе рядом — стопочка книг «Ковша», тетрадки с незаконченными «Последними тучами», рукопись маленькой повести «Р. В. С.», в которой Аркадий Гайдар только что дописал последнее слово.

Может быть, раскурив трубку, чтобы сбить неизбежное возбуждение, он еще раз перелистал «Ковш», где рядом с окончанием «В дни поражений и побед» были напечатаны стихи Пастернака:

Пространство спит, влюбленное в пространство,  
И город грезит, по уши в воде,  
И море просьб, забывшихся и страстных,  
Спросонья плещет неизвестно где...

Впрочем, может, такого и не было. Слишком уж литературно звучит предположение. Но, во всяком случае, тогда он разом, рывком уехал из Ленинграда, где, судя по письмам к сестре, собирался обосноваться надолго.

И дело, наверное, не только в том, что был влюблен в пространство. Он словно почувствовал, что предстоит еще пройти много дорог, грустить и радоваться, побеждать, терпеть поражения, отчаянно работать, чтобы потом легли на бумагу такие простые, ясные и тихие строчки: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами...»

Когда в 1930 году в Кунцево из Перми пришла от Б. Назаровского книжка «Жизнь ни во что», Аркадий Гайдар, автор «Школы», не стал перерабатывать ее вместе с «Давыдовщиной». Все это было позади и далеко.

\* \* \*

Уже после окончания Великой Отечественной войны хозяева дома № 24 по Большой Кунцевской улице, разбирая завал на чердаке, наткнулись на пачку старых бумаг: газетные вырезки, пожелтевшее командировочное удостоверение... Мелькнула фамилия — Гайдар. Около тридцати лет прошло с тех пор, как он покинул этот дом.

Внимание привлекло письмо на иностранном языке. Однако при рассмотрении выяснилось, что язык русский. Просто слова написаны латинскими буквами.

Это был оригинал радиogramмы, которую 18 ноября 1929 года отстучал радист французского парохода, севшего в шторм на камни в Белом море. На борт попавшего в беду судна поднялся специальный корреспондент Аркадий Гайдар. «Архангельск. Газета «Правда Севера».

«Саида» сидит на рифе серединой. Произведенной отгрузкой для избежания перелома приподнята корма. Установлены две мощные помпы для откачки воды

из машинного отделения. Водолазами обследован правый борт, наиболее поврежденный. Ночью отгружается бункер (середина). Работают пароходы «Кня», «Совнарком», «Малыгин» стоит наготове с заведенным буксиром. Если не повторится вчерашний шторм, сильно ухудшивший положение, завтра попытаются снять «Саиду».

Гайдар».

Из радиограммы ясно, что пароход еще только шел за лесом, балластные цистерны были для повышения остойчивости заполнены водой, и это в какой-то степени облегчало спасательные работы.

Следующая радиограмма сохранилась в редакции «Правды Севера»: «Победа! «Саида» снята. Матрос Гайдар».

Наверное, он тогда был счастлив. Вижу, как стоит на баке, глядя на тугой буксирный конец, дышит ветром и не вытирает соленые брызги с лица.

В Архангельске Аркадий Гайдар, как обычно, много работал. Писал «Шкolu», фельетоны, очерки. Заодно быстро управился с моими капризами. Недовольный чем-то, я привычно брякнулся на пол и начал колотить руками и ногами. Отец выдворил маму из комнаты. Закрыв дверь. Сел на табуретку Молча с любопытством наблюдал за моими действиями. Заметив, что я начал уставать, доброжелательно посоветовал:

— Ты лупи с толком. Сначала ногами, потом руками. Или лучше так: правой рукой и левой ногой и наоборот. Попеременно. Понял? Ну давай пробуй!

С ним всегда было весело и интересно.

Временами мы жили туго. День за днем на стол ставилась пшенная каша с подсолнечным маслом. Но когда отец был дома, она могла принять облик разнообразных экзотических блюд. Если кашу, скажем, положить горкой, проткнуть на вершине ложкой дыру и туда влить подсолнечное масло, то будет «по-мексикански». или «вулкан Попокальтепек»...

Вокруг него возникала радостная атмосфера игры, сказки, приключения. Она захватывала и меня, и ребят со двора, и всю ребятню по соседству.

Приходил из издательства денежный перевод. «Вулкан Попокальтепек» скрывался в туманной дымке. К воротам подкатывал сверкающий «линкольн» — были такси такой марки. Множество мальчишек и девчонок набивались в просторную, с открытым верхом машину. Сначала катались по городу. Потом — пирожные,

В дождливый день он уводил ребят в ближний лесок. «Кто сумеет правильно разложить костер и разжечь его с одной спички?»

Своим маленьким друзьям он делал настоящие мужские подарки, вещи, которые с удовольствием покупал и для себя: компас со светящимся циферблатом, перочинный нож с несколькими лезвиями.

Учил обращаться с оружием. Не мог равнодушно пройти мимо тира. Отлично стрелял сам и насыпал ребятишкам пригоршни свинцовых пулек для дурного ружья, после которых ладони оставались восхитительно черными.

Но все это не значит, что Аркадий Гайдар был с детьми неизменно добр, неизменно щедр и ласков. Он мог быть строгим, суровым и даже, что было еще хуже, уничтожительно насмешливым. Терпеть не мог трусов, хвастунов, ябед.

Вокруг него кипела игра, множество игр, но в каждой существовали непреклонные правила. Было у нас Слово. Не «честное слово», не «честное-пречестное», а просто Слово. Свои обещания он выполнял свято, но и ты попробуй не выполни...

Он проверял на смелость. Мог сказать на прогулке, когда уже темнело: «Иди, пожалуйста, до конца оврага один. Не боишься? Ну вот и хорошо. Я пойду через семнадцать минут».

Никогда не горюпился отказать в какой-нибудь мальчишеской просьбе. Подумает, прикинет. «Да, можно». Но если уж — нет, значит, излишни и просто невозможны какие-то разговоры.

Александр Фадеев отмечал демократизм Аркадия Гайдара, указывая, что герои его книг — дети солдата, стрелочника, крестьянина... Так оно и есть, конечно. Но думаю, что его демократизм состоял еще и в неподдельном уважении достоинства каждого человека, взрослый он или маленький.

В 1931 году он взял меня с собой в Крым, где собирался закончить повесть «Дальние страны». В дневнике записал: «Выехали из Москвы с Тимуром 16-го. Прибыли в Артек к ночи 18-го. Шли пешком по берегу моря. Думали. Разговаривали...»

Думали... Разговаривали... А собеседнику пять лет!

Еще из его дневников: «Пятилетний Анатолий Федорович крепко со мной дружит», «Запомнился пионер Колесников — угловатые плечи, жест рукой — и земля. Говорил крепко и хорошо». Рядом: «Неважное выступление красного командира».

Семейная жизнь Аркадия Гайдара — нужно, видимо, упомянуть и об этом — не сложилась спокойно и счастливо. Были тому причины, не мне разбираться. Но чтобы был понятнее его характер, нужно рассказать, с какой заботой, вниманием, искренней привязанностью относился он к своим приемным дочерям — Эре и Светлане Трофимовым, Жене Чернышовой (Голиковой-Гайдар). Стоит прочесть письма.

«Быстро мчится и время, дорогая Светлана Светиевна. Вот уже скоро Вам 7 лет, и стремительно протекает Ваше отчаянное детство. Скоро Вы наденете платье из крепдешина и обуеете туфли на французских каблуках. А моя старость не за горами».

«Женечка! Письмо твое получили. Мамка и я сделали танец от радости, что у нас есть такая ученая дочка. Веди себя хорошо. Крепко тебя целуем».

Их имена Аркадий Гайдар дал героиням своих книжек. Всем памятна милая певунья Светлана из «Голубой чашки», а в «Тимуре и его команде» дочь «броневоего командира» Женя — один из самых обаятельных образов.

Не только ребят, но и своих товарищей втягивал Аркадий Гайдар в игру или в веселый розыгрыш.

Константин Паустовский вспоминает:

«Гайдар любил идти на пари. Однажды он приехал в Солотчу ранней осенью. Стояла затяжная засуха, земля потрескалась, раньше времени ссыхались и облетали листья с деревьев...»

Ни о какой рыбной ловле не могло быть и речи. На то, чтобы накопать жалкий десяток червей, надо было потратить несколько часов. Все были огорчены. Гайдар огорчился больше всех, но тут же пошел с нами на пари, что завтра утром он достанет сколько угодно червей — не меньше трех консервных банок. Мы охотно согласились на это пари, хотя с нашей стороны это было неблагородно, так как мы знали, что Гайдар наверняка проиграет.

Наутро Гайдар пришел к нам в сад, в баньку, где мы жили в то лето. Мы только что собирались пить чай. Гайдар молча, сжав губы, поставил на стол рядом с сахарницей четыре банки великолепных червей, но не выдержал, рассмеялся, схватил меня за руку и потащил через всю усадьбу к воротам на улицу. На воротах был прибит огромный плакат: «СКУПКА ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ».

Этот плакат Гайдар повесил поздним вечером...»

К воспоминаниям Константина Георгиевича можно добавить и не увидевшую свет часть его рассказа.

Вскоре возле дома, к которому в обмен на рыболовные крючки ребята таскали банки с червями, появился милиционер. Прочитал плакат. «Так писать нельзя! Скупкой у населения могут заниматься представители организаций. Придется снять», — сказал он. «А как можно?» Милиционер задумался. «Ну, если «Срочно куплю червей», тогда, пожалуй, можно. И то через контору горсправки...» — «Так что, снимать?» — «Червей-то у вас теперь хватит?» — «Вроде хватит». — «Если хватит, снимайте!»

В поведении Аркадия Гайдара была та свобода и нестандартность поступков, которые нередко ставили людей в тупик. Хорошим весенним днем он шел по московскому бульвару опять при деньгах и в отличном настроении. Увидел продавца воздушных шаров, купил сначала один шарик, а потом, подумав, всю связку: «Ребят во дворе много, пустят наперегонки, то-то будет праздник». Но если по бульвару идет человек с пестрой кучей воздушных шариков, за кого его примут прохожие?

— Почему шарики?

- Не продаются.
- Мне голубой, пожалуйста!
- Не продаются.
- Шары почему, гражданин?

Долго так, естественно, продолжаться не могло. Симпатичным покупателям Аркадий Гайдар начал раздавать шары бесплатно. Несимпатичным — отказывал. Позвали милиционера.

Милым лукавством пронизано письмо, отправленное Аркадием Гайдаром в журнал «Красная новь» Владимиру Владимировичу Ермилову. Раньше письмо не публиковалось.

«Дорогой т. Ермилов. Я вчера написал письмо т. Вармуту с просьбой одиннадцатого февраля прислать еще денег. А ночью увидел очень плохой сон. Будто бы 11-го не прислали. А потому, пожалуйста, посоветуй ему 11-го не присылать, а прислать лучше 6-го.

И если вы пришлете 6 февраля, то я даю Тимур-Гайдаровское слово, что, как только устроюсь, сейчас же допишу рассказ на один печатный лист и пришлю вам.

Рассказ будет, по-моему, очень славный — я уже его читал кое-кому в Москве.

Если же не пришлете, то рассказ, вероятно, хорошим не получится, потому что по замыслу он должен быть очень простой и светлый. А у меня с горя в голове будет все время вертеться разное... и рассказ получится какой-то хреновский.

Жизнь здесь, вероятно, у меня будет очень хорошая. Но пока печники разломали печку, плотники разворотили стенку — всем нужны деньги. А тут еще моя дочка Светланка по прозвищу Рыжик-Фижик наелась снега и во время болезни разбила, дуреха, мой новый фотоаппарат. Но все это, конечно, мелочи жизни, а сама жизнь куда как везде прекрасна. И Нюра вчера мне на обед сготовила в русской печке такой пирог с гречневой кашей, луком и печенкой, что, если бы его поставили перед тобою, ты тотчас же востребовал бы целый литр. Я же обощелся и половинкой.

Дорогой т. Ермилов! Как только получишь это письмо, так сейчас же поступи в стенку или высунься и позови т. Вармута. Когда он войдет, ты попроси, чтобы он сел. Сначала скажи ему что-нибудь приятное. Ну например: «Эх и молодец ты у меня. Вармут» или еще что-нибудь такое, а когда он подберет, ты тогда осторожно приступи к разговору насчет 6 февраля.

Если он сразу согласится, то ты его похвали и скажи, что ничего другого от него и не ожидал. А если же он сразу начнет матом — то ты не пугайся и выслушай до конца. А потом кратко загляни ему в глаза и проникновенно спроси, есть ли у него совесть.

От такого неожиданного вопроса кто хочешь смутится. А ты дальше больше, продолжай, продолжай, и все этак диалектически, диалектически, и тогда он раскается и, схватившись за голову, стремительно помчится в бухгалтерию.

Пока всем вам хорошего. Очень только прошу не понять, якобы я пошутил. Деньги мне в самом деле нужны как крепко, как никогда. »

Наверное, некоторый особый отблеск бросает на это веселое письмо то обстоятельство, что рассказ, о котором идет в нем речь, — «Голубая чашка».

К деньгам Аркадий Гайдар относился своеобразно. Тоже «этак диалектически, диалектически». Как все люди радовался, если они есть, огорчался, когда их не хватало. Любил, чтобы сапоги были крепкие, белье — чистым, гимнастерка сшита из коврокота. Чувствовал себя веселее и увереннее, когда знал, что в любой момент может отправиться на вокзал и купить билет до самого дальнего города.

Привез в крошечную комнату на Большой Ордынке, куда мы переехали из Кунцева, огромный портрет Буденного. Он занял значительную часть стены. Шкаф пришлось выставить в коридор. Соседи запротестовали. Точно не помню, кажется, шкаф пришлось отдать дворнику.

Делал записи о своих расходах: «Купил хорошую серую шинель», «Гуляли с Разумным по городу. Морская свинка нам гадает. Расход — полтинник», «Купил часы и компас», «Были в книжной лавке. Купил атлас».

Вопросы о мебели, даче, каких-либо других «солидных приобретениях» не возникали. Но деньги, едва появившись, начинали, как Аркадий Гайдар однажды выразился, «бунтовать в кармане». Они требовали немедленных действий. Не мог пройти мимо инструментальных, хозяйственных лавок. Покупал сверла, стамески, усовершенствованные мясорубки и хлеборезки. Все это ему нравилось, но не требовалось. Покупки отправлялись друзьям в подарок. Легко ссужал приятелей деньгами, никогда не напоминал о возврате. Любил угостить друзей, а то и незнакомых. Однажды близкого друга Аркадия Гайдара писателя Рувима Исаевича Фраермана в поздний час поднял с постели звонок в дверь.

Фраерман накинул халат, повернул ключ. На лестничной площадке стоял официант, поблескивая мельхиоровым подносом и черным шелковым галстуком-бабочкой.

— Вам! — сказал он, торжественно приподнимая поднос. — И это тоже...

Вооружившись очками, Фраерман прочитал записку. Понимающе кивнул головой. Сходил в комнату и, вернувшись, вручил официанту конверт с требуемой суммой.

— А это? — спросил официант, кивая на закрытый белыми салфетками поднос. — Где поставить?

— Извините, а что — «это»?

— Пожарские котлеты. Как заказано. Восемь порций.

— Восемь? Тогда пойдемте на кухню...

Через несколько дней Рувим Исаевич встретил Аркадия Гайдара.

— Послушай, Аркадий! Ну я понимаю, бывает, сидели, не хватило заплатить по счету... Но котлеты! Зачем ты послал мне восемь порций котлет?

— Вот видишь, а говоришь — понимаю. Не мог же я, известный писатель, поставить себя в глупое положение! Однако, если официанта просят срочно на такси по означенному в записке адресу доставить восемь порций пожарских котлет, он обязательно почувствует, что имеет дело с солидным клиентом... Но ведь ты, кажется, любишь пожарские?

Из письма к Борису Ивантеру, редактору журнала «Пионер»:

«Помнишь, Фадеев обо мне написал, что я демократ в лучшем смысле этого слова?.. Боба, зайди куда-нибудь и узнай, сочетается ли демократизм с аристократизмом духа? Я, например, получивши деньги, люблю заказать «линкольн»...»

Незадолго перед войной один из приятелей зашел в Москве к Аркадию Гайдару в Большой Казенный переулок. Он занимал с семьей комнату в коммунальной квартире. Разговорились Засиделись.

— Не волнуйся, — сказал Аркадий Гайдар. — Вот телефон. Слышал про сервис? Очень удобно. Сегодня я отправил двести пятьдесят слов в Одессу. На кинофабрику. Сейчас пошлем твоей жене телеграмму.

Он набрал ноль шесть и продиктовал: «Борис задерживается у меня. Скоро придет».

Через несколько минут предложил:

— Давай все же ей позвоним А то вдруг — телеграмма! Может испугаться...

Снова взял трубку:

— Здравствуйте! Говорит Гайдар. Сейчас вам принесут телеграмму. Так вы не пугайтесь. Там все сказано.

...Через пару месяцев тот же приятель опять заглянул к Гайдару. Телефона на столике не было.

— Сложная, оказывается, штука, — сказал, смущаясь, Гайдар. — Вовремя не заплатил, отключили, да я и не стал восстанавливать. За месяц рублей пятьсот набежало...

Не хочу, не смею да и неправильно утверждать, что Аркадий Гайдар был большим ребенком. Хотя Илья Эренбург в одной из статей военного времени, напечатанной в «Правде», так о нем и выразился: «Богатырь с душой ребенка».

Нет, совсем не ребенок! И умен и по-доброму лукав да и жизненную школу еще смолоду прошел такую, что иным впору и состариться. Но непосредственность, открытость, любовь к игре сохранились в его душе навсегда.

«Дорогой Рува! Когда я приеду в Солотчу, я буду тих, весел и задумчив. К этому времени у меня будут деньги. 10 000 рублей я заплачу Матрене, чтобы она за мой долг не сердилась... 5 рублей дам тебе, а с собой привезу два мешка сухарей, фунт соли, крупный кусок сахара, а больше мне ничего не надо».

\* \* \*

...Осенью 1956 года наш самолет на пути из Москвы в Мурманск совершил из-за непогоды посадку в Архангельске. В справочнике я нашел номер телефона писателя Евгения Коковина. Мы уже разок обменялись письмами, собирались увидеться, и вот — случай.

Архангельск, который я не видел с раннего детства, поблескивал из-за реки далекими огоньками. Северная Двина шуршала. По реке шел лед, и казалось, кто-то мнет газетные листы.

Сообщение с городом было прервано. Но Коковин сказал, что у него старая дружба с моряками и он попробует переправиться. Действительно, через час к пристани подошел буксир.

Заговорили о том, ради чего встретились. Евгению Коковину было пятнадцать лет, когда он написал и показал Гайдару свой первый рассказ.

«Рассказа нет, — сказал мне тогда Аркадий Петрович, — есть начало и конец повести. Может быть, ты когда-нибудь ее и напишешь...» Я к тому времени уже ходил в море юнгой, знал, какие в Архангельске суда, некоторых капитанов знал по имени-отчеству... Аркадий Петрович расспрашивал о мальчишках из Соломбалы, о том, как чистят котлы и топки... Пригласил на охоту: «Ты места должен знать, а у меня ружье хорошее». Еще о чем-то поговорили. Вдруг он покачал головой: «Нет, пожалуй, и не такое уж хорошее ружье. Но бьет ничего, сносно»... В море всякое бывает. Старшие меня уже и ругали и хвалили. Но так, как Аркадий Петрович, никто со мной еще не разговаривал!..»

...Из деревянного аэровокзала повалил народ. Объявили посадку на Мурманск. Мы обнялись. «Еще договорим!» — «Встретимся!» — «Обязательно!» Но... не довелось.

Теперь читаю в книжке недосказанное.

«Был тихий, теплый вечер, светлый, северный, — пишет Евгений Коковин. — Мы шли по набережной. Гайдар восхищался большой рекой и расспрашивал меня о пароходах, ботах, катерах, плывущих по Северной Двине.

— Когда-то я тоже хотел быть моряком, — сказал Аркадий Петрович, — а стал...

Я думал, он скажет: «писателем».

Он сказал:

— ...А стал... солдатом».

В оперативных расчетах штаба солдат он и есть солдат. В прежние времена различали «штык» или «сабля». Другое, более широкое значение слова объединяет рядового и маршала. Но все равно, какое определение ни бери, правильно у Аркадия Гайдара сказано: «А солдат не человек. что ли?»

Есть очень хорошие его фотографии. однако иногда лучше просто закрыть глаза и увидишь, как он входит в дом, сдергивает папаху. Большой, в последние годы даже чуть погрузневший. делает несколько шагов по маленькой комнате, будто она и не тесна ему вовсе. Если все хорошо и ладно, если «елки-палки, лес густой, кончен творческий простой», светлая с лукавинкой улыбка освещает доброе круглое лицо.

— Как будем жить, уважаемые товарищи?

И «уважаемые товарищи» начинают жить веселее, чем минутой раньше. Хозяйка, правда, озабочена

— Аркадий! Какие гости? У меня только вчерашние котлеты. Да и то немного.

— Котлеты? Великолепно! Где мясорубка?

Котлеты, к общему изумлению, вновь пропущены через мясорубку. Добавлено масло. Нашинкован лук. Все это приправлено перцем... Через несколько минут пахнет, украшенный зеленым листочком салата, стоит на столе...



Константин Георгиевич Паустовский отметил, что Аркадий Гайдар «существовал в повседневной действительности так же необыкновенно и задушевно, как в своих книгах».

Наблюдение точное, мы к нему еще вернемся, но прежде следует сказать, что либо ему было то же самое, что и всем людям.

Много ездил, однако по-настоящему хорошо себя чувствовал в родных местах.

«...Скучаю уже по России. Где мой пруд? Где мой луг? «Гей вы, цветики мои, цветики степные!» Всех я хороших людей люблю на всем свете.

Восхищаюсь чужими долинами, цветущими садами, синими морями, горами, скалами. Но на вершине Казбека мне делать нечего — залез, посмотрел, ахнул, преклонился и потянуло опять к себе в нижегородскую или рязанскую».

Как уже упоминалось, пристрастился к рыбалке. В том же письме к Р. И. Фраерману сообщал:

«Выйду на берег моря — ловят здесь с берега рыбу бычок.

Нет! Нету мне интереса ловить рыбу бычок. Чудо ли из огромного синего моря вытащить во сто грамм и все одну и ту же рыбешку. Гораздо чудесней на маленькой задумчиво-тихой Канаве услышать гордый вопль: «Давай под-сак!» А что там еще на крючке дрягается — это уже наверху будет видно».

Любил петь, особенно вторить хорошему голосу: «Гори, гори, моя звезда...»

Смотрел задумчиво на костер, на то, как улетают, закручиваясь к черному небу, красные полосочки искорок. Хмурился, если кто-нибудь начинал петь слишком громко.

Выл по привычкам солдат, но, как все люди, тянулся к теплomu человеческому житью.

«В сущности, у меня есть только три пары белья, вещевой мешок, полевая сумка. Полушубок, папаха — и больше ничего, ни дома, ни места, ни друзей.

И это в то время, когда я вовсе не бедный и вовсе никак уж не отверженный и никому не нужный.

Просто как-то не выходит».

Это записано после возвращения с Дальнего Востока. Позже все несколько устроилось, стало лучше...

И не подумайте, пожалуйста, что был он несчастлив, таил в себе какую-то беду или обиду. Несчастливые люди не пишут такие книги и уж, конечно, не совершают такие поступки.

Представьте: вечером — поезд, долгожданная поездка с друзьями, палатка, рыбалка, костер... Жарким летним московским днем Аркадий Гайдар входит в парикмахерскую, садится в кресло, проводит ладонью по своим светлым, легким, уже редющим волосам.

Других клиентов нет, в зале пусто.

— Вас как? — спрашивает женщина-мастер.

— Как? — Он задумывается. И снова знакомые чертики вспыхивают в глазах. — Скажите, могли бы вы сделать меня брюнетом?

— Покрасить? Можно. — Ее ничем не удивишь. она приступает к работе.

Жгучий брюнет Аркадий Гайдар с интересом смотрит на себя в зеркало. Он доволен. Но еще не совсем.

— А вот если волну... Ну так, знаете ли, чтобы...

— Уложить? Пожалуйста.

Преображенный, неузнаваемый, он поднимается с кресла. Поворачивается, отражаясь во всех зеркалах. Снова усаживается в кресло.

— Ну а теперь, пожалуйста. наголо!

Расплатился. Вышел. Через десять минут возвращается с плиткой шоколада.

— Вы уж не обижайтесь. Надо же хоть раз в жизни посмотреть. А тут как раз такой случай...

Как многие физически и духовно сильные люди, он был добр. Как почти все добрые — легко раним. Не боялся боли, холода, жажды.

Совершенно не мог выносить грубости, хамства. Тогда срывался. Тогда темнели глаза, начинал подергиваться левый уголок губы. Тогда он мог быть даже опасен.

Это теперь звучит красиво, романтично: в пятнадцать командовал взводом, в семнадцать стал командиром полка. Но стоит задуматься, какая тяжесть ложилась на плечи такого командира.

М. Н. Тухачевский вспоминает:

«Сотни и тысячи отрядов самой разнообразной численности, физиономии, дисциплины и боеспособности — вот внешний вид нашей Красной Армии до осени 1918 года».

Когда Аркадий Гайдар стал командиром, за ним, отдающим приказ, посылающим людей в бой, может быть, и на гибель, стоял еще зачастую не суровый военный устав, а лишь личный авторитет. Каково завоевать и удержать такой авторитет командиру, если многие из бойцов годятся ему в отцы?

Гражданская война далась ему нелегко. Думаю, что не только контузии и ранения были причиной его болезни. Да он и сам писал: «Вследствие переутомления, вызванного пятилетним пребыванием на командных постах в Красной Армии, получил острое расстройство нервной системы, требующее серьезного и основательного лечения».

Он хорошо знал войну, ее кровь, ее пот, ее жестокость. Но это была война за правое дело, и он любил свою боевую молодость, «очень дымное, тревожно-счастливое время».

А грубость действительно не переносил.

Как-то вечером шел по улице Воровского. Остановился закурить. На стене особняка поблескивала в фонарном свете полированная дощечка с латинскими буквами.

— Эй ты! — раздался окрик. — Чего встал? Проваливай!

Аркадий Гайдар уважал дисциплину. Понимал обязанности должностных лиц. Да и время было по-особому строгое. Но вот так обращаться к нему все равно не следовало. Поглубже засунув руки в карманы шинели, он направился к будке.

— Бомбу, браток, велено бросить. Вывеска же, смотрю, другая. Не ошибиться бы!

Ну, конечно, выскочили, увезли... Потом, разобравшись, пожурили и отпустили. Да он и сам понимал, что поступил неладно. Но я уже говорил — срывался.

Еще командиром роты надерзил комполка, когда увидел у его ординарца свой добытый в бою японский карабин. Чуть не стоил ему тогда этот случай откомандирования на «Выстрел»...

Пишу и немного опасаясь, как бы у читателя не сложился образ экстравагантного чудака. Суть заключалась в цельности его натуры.

«Существовал в повседневной действительности как же необыкновенно и задушевно, как в своих книгах», — сказал Константин Георгиевич Паустовский.

По-иному, но о том же написал Самуил Яковлевич Маршак:

«Слово у него не расходилось с делом, мысль — с чувством, жизнь — с поэзией».

Думаю, что здесь во многом и заключается объяснение характера судьбы и творчества Аркадия Гайдара.

\* \* \*

Летом 1942 года мы встретились в Москве с Семеном Гудзенко. После ранения он выписался из госпиталя, ему шел двадцать первый год, в кармане шинели носил сложенную пополам тетрадку со своими тогда еще не изданными стихами.

Стихи и баллады были до жестокости правдивы, нежны и мужественны. В ту пору так о фронте еще не писали.

Мне шел шестнадцатый, ни стихов, ни прозы я не сочинял, работал слесарем на авиационном заводе. Попробовал поступить в комсомольскую школу, готовившую радистов для партизанских отрядов, она помещалась на Пушкинской площади, но по молодости лет меня отчислили.

Превосходство Семена было очевидным, он не считал нужным его подчеркивать, и несмотря на разницу в возрасте мы подружились.

Когда в 1943 году я уехал в военно-морское училище, он послал вдогонку письмо: «Тимур, если появится возможность выбирать факультет, поступай на пиратский!»

Поступил я на основной факультет, который готовил артиллеристов, штурманов, минеров, короче — офицеров корабельной службы. Будущие надводники и подводники учились тогда вместе.

Как только Ленинград освободили от блокады, наше военно-морское училище вернулось из Баку в свое старинное здание на набережной лейтенанта Шмидта. Мы уже проходили морскую практику на Каспии, побывали в Иране. Теперь отправился в Кронштадт на торпедные катера.

Отбивая шаг по чугунной мостовой — это не метафора, некоторые улицы и площади Кронштадта были вымощены чугунными плашками, — курсантская рота слушала Юру Малышева:

Сквозь ночной туман плещет океан,  
Мичман Джимм угрюм и озабочен...

Голос Юры, высокий и, как у всех настоящих запевал, чуть пронзительный, легко прорезал зелень парка, улетающая к гавани, где к одной из стенок была пришвартована корма разорванного пополам линкора «Петропавловск». Строй подхватывал:

Еще немного, держи на норд,  
Ясна дорога, и близок порт...

Почему вдруг песня? Почему рассказываю об этом?

Когда после тридцатилетнего перерыва я вновь сидел в читальном зале Центрального архива литературы и искусства, то неожиданно в одной из тетрадей Гайдара мелькнули слова той самой песни о мичмане Джимме, который «не может быть не точен». В 1924 году в Ленинграде Аркадий Гайдар переписал все куплеты в свою тетрадку, хотя к содержанию рукописи песня не имела ни малейшего отношения.

Он действительно когда-то мечтал стать моряком.

Перебирал папки архива, и время от времени что-то заставляло прервать чтение, задуматься. Какой-то случай, штрих характера. Уже позабытые мною или ранее мне неизвестные. Оказывается, отец тоже терпеть не мог кипяченое молоко... Отшатывался, чуть ли не вскрикивал, если на лицо или даже только на руку попадали нити паутины... Иногда записывал сны:

«Страна Наири. Сорок четыре каменных одноглазых чижика звонко свистели мне вдогонку, и я в страхе бежал, низко опустив голову...». «Видел замечательный сон-сказку. Будто бы я солдат не то какого-то полукаторжного легиона, не то еще кто-то. Потом подарок от волшебницы из сказочного дворца. Потом бегство на пароходе. Феерия и, наконец, пожар — я хватаю Тимура, а волшебница в гневе кричит: «Ан все-таки он тебе дороже, чем я». Потом опять другой океанский пароход. Гибель Тимура. И потом я весь в огнях, в искрах — огни голубые, желтые, красные, тут мне и пришел конец».

Ниже приписано и подчеркнуто:

«Очень хороший, тревожный сон».

Отцовские сны... Приязни и неприязни... Вкусы... Сила и слабости... Сопадения... Неожиданные контрасты...

Сложны, многообразны, интересны эти связи. Наверное, было бы правильным, если бы каждый собрался однажды с мыслями и записал все, что помнит, знает, думает о своем отце. Да еще бы о деде. А если что слышал, то и о прадеде.

В Югославии на извилистой дороге, которая взлетает от голубой Адриатики к древнему Цетинье, пожилой шофер корреспондентского пункта «Правды» черногорец Йова Велемирович притормозил «Волгу». В нашу машину сел мальчишка лет двенадцати, темноглазый, светловолосый, вежливый и степенный. Тоже черногорец.

За двадцать минут от перевала до города Йова Велемирович выяснил, из какого наш попутчик племени, кто в его семье воевал с турками... Собеседники установили, что их семьи в родстве, хотя и отдаленном...

История обобщается только в книгах. Живая ее ткань сплетена из судеб. И если в семьях нити памяти оборваны, то не так уже понятен и наверняка обеднен сегодняшний день.

В августе 1932 года в Хабаровске отец написал в дневнике: «Отправил телеграмму: «Шлю Тимуру Гайдару крепкий дальневосточный привет». Интересно: как будет читать и понимать он мою повесть «Военная тайна». Ведь Алька — это он сам».

...Нынешней осенью я вновь поднялся на скалу над Артеком. Лежавший под ногами пионерский лагерь был тих и безлюден. Летние смены закончились, ребята из первой зимней еще не приехали. Трава пожелтела, прикихла к каменной земле. Ветер, который внизу едва рябил море, здесь на вершине дул резко, порывисто.

Тревожно и печально было мне стоять на том самом месте, где слепящим солнечным днем полсотни с лишним лет назад любовались мы с отцом морем, такие дружные и веселые. И в этой же скале, как сказано в «Военной тайне», вырвали динамитом могилу для Альки.

Даже в те далекие годы, когда я впервые читал «Военную тайну» и, укрывшись от всех, плакал над ее страницами, даже тогда понимал, что не только малыш Алька, но часть нашей жизни с отцом осталась навсегда на этой скале над Артеком и что, как бы дальше ни было, все равно так, как прежде, уже никогда не будет.

Летом 1931 года после телеграммы, извещавшей, что наша семья, такая, казалась, дружная и крепкая, распалась, мы с отцом вернулись в Москву. Но и здесь Аркадий Гайдар оставаться не мог, не хотел. Он решил уехать как можно дальше. Хорошо, что в Хабаровске редактором газеты «Тихоокеанская звезда» был тогда И. Шацкий, знавший Аркадия Гайдара по «Правде Севера».

«Северный вокзал. 17 ч. 55 минут. Я стою у ярко освещенного окна транссибирского поезда Москва — Владивосток. Гудок. Сквозь толстое холодное стекло я вижу, как самый хороший мой товарищ, мой маленький командир — Тимур Гайдар улыбается и поднимает руку, отдавая прощальный салют».

Тогда на перроне за три года до выхода «Военной тайны» я был все же слишком мал, чтобы толком что-нибудь понимать. Хотя чувствовал, что случилась беда.

В Хабаровске, как и в Перми, как в Архангельске, Аркадий Гайдар активно работал в газете: очерки, фельетоны, корреспонденции. Побывал на Имане, на границе с Маньчжурией, на заледневшем озере Ханко. Выходил на судне «Совет» в Японское море. Поднимался пешком на перевал Сихотэ-Алинь.

Но уже через три месяца после приезда на Дальний Восток задумал новую повесть. Дневник Аркадия Гайдара помогает проследить, как она создавалась.

«Надо собраться и написать книгу. Крым, Владивосток, Тимур, Лиля — все это связать в один узел, все это перечувствовать еще один раз, но книгу написать совсем о другом».

«Стоят светлые, солнечные дни. Может быть, оттого, что именно в эти дни — ровно год тому назад — я был в Крыму, мне легко писать эту теплую и хорошую повесть».

Но никто не знает, как мне жаль Альку. Как мне до боли жаль, что он в конце книги погибнет. И я ничего не могу изменить...»

«Неожиданно, но совершенно ясно понял, что повесть моя должна называться не «Мальчиш-Кибальчиш», а «Военная тайна». Мальчиш останется мальчишем, но упор надо делать не на него, а на «Военную тайну», которая вовсе не тайна».

«К своему глубокому огорчению, перечитав впервые все то, что было уже написано, я совершенно неожиданно увидел, что повесть «Военная тайна» никуда не годится. И надо переделывать все с самого начала».

Выступая на Первом съезде советских писателей, Алексей Толстой произнес фразу:

«Язык готовых выражений, штампов, какими пользуются не творческие писатели, тем и плох, что в нем утрачено ощущение движения, жеста, образа».

Странное это словосочетание «не творческие писатели» он обронил легко, без нажима, упомянул как понятие, реально существующее и потому естественное. Зал даже не успел отреагировать. Лишь кто-то закашлялся.

Если же говорить о писателях как о таковых, то для них как раз очень характерны те чувства, которые то и дело прорываются в записях Аркадия Гайдара, посвященных «Военной тайне»: «Совершенно неожиданно понял...», «Совершенно неожиданно увидел», «Мне до боли жаль, но я ничего не могу изменить...»

Родился под пером писателя человек, и сам, порой к немалому изумлению автора, начинает определять свою судьбу. Характерные и жесткие сомнения, которые набегают и отступают, как приливы и отливы.

«Насчет «Военной тайны» — это все паника. И откуда это я выдумал, что «повесть никуда не годится», — хорошая повесть».

В дальневосточных дневниках Аркадия Гайдара слышатся удары сердца, то спокойные, то учащенные, когда, занимаясь писательским делом, он «все завязывал в один узел, все переживал заново и писал совсем о другом». Это в большом и в малом.

В дневнике: «Помню Тухачевского — осенью в Моршанске я командовал, а он принимал парад».

И в повести оказывается, что добродушный увалень Семен Михайлов-Баранкин, который предпочитает пилить дрова с Гейкой, чем играть в странные игры, за которые «у нас и хворостиной недолго», приехал в Артек из-под Моршанска.

В дневнике: «На днях умер один из лучших и храбрейших командиров Красной Армии комкор Ст. Вострецов». Появилась на страницах «Военной тайны» пионерка Катюша Вострецова...

Снова перечитав повесть, думаю, что все-таки напрасно Аркадий Гайдар согласился напечатать «Сказку о Мальчише-Кибальчише» отдельно еще задолго до того, как была закончена «Военная тайна».

В повесть сказка входит органично. Она — ее песня. Ее балладный стиль подготовлен всем, что сказано раньше, и бросает свой ответ на все, что случится позднее. Ее напевный, упругий ритм перебивается авторскими ремарками, и читатель видит, как затаихают, а порой не могут сдержать возбуждения маленькие Наткины слушатели.

«— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась».

— Так, Натка, так... Еще лучше, чем так».

Очень важные слова. Они помогают понять, что не Алькина сказка и даже не Наткин пересказ, а голос Аркадия Гайдара в его высоком напряжении звучит на этих страницах. И как всегда, вслед за высокими словами, делая их человечнее и как бы согревая, появляется гайдаровская улыбка.

...Но, говоря по правде, вовсе не об этом, не об истории создания повести, не об особенностях ее композиции думал я в тот осенний ветренный день, когда недавно вновь стоял на скале над Артеком.

В 1931 году здесь было пять пионерских отрядов. Теперь уже и лагерей не счесть: «Горный», «Морской», «Кипарисный», «Озерный», «Лазурный»... Многоэтажные здания теснились под Аю-Дагом. Бетонная горизонталь новой главной костровой площадки придавила холм. Поблескивали стеклянные здания огромного плавательного бассейна. Но по-прежнему пил воду из моря Аю-Даг, и можно было различить убежавшие к берегу извилистые тропинки. Артек был рядом и далеко — вот так, наверное, видел Аркадий Гайдар его из Хабаровска, когда писал «Военную тайну».

Справа над поляной чуть покачивали вершинами гибкие кипарисы. Наверное, на этой поляне фантазер Владик говорил приятелям, что хорошо бы взобраться на самую высокую гору, чтобы вовремя предупредить о нападении врага.

«— Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры, искры... Тревога... тревога... тревога... Летчики — к самолетам. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы — в поход... Спокойней, товарищи! Нам не страшно!»

Страницы повести, детские полустершиеся воспоминания, старые тропинки и то, что было прожито и пережито после, — все это странно переплеталось в единое целое.

Со скалы виден белый нарядный дом. Теперь в нем методическая библиотека лагеря, музей, зал для совещаний. А когда-то был дом отдыха ВЦИК, и на пионерский костер — это в повести — пришли шефы Артека, старые большевики, а среди них друг отца Альки, в гражданскую — комиссар дивизии чернобордый Гитаевич.

Прежняя костровая площадка — это в жизни — со скалы не просматривается. Зато с вершины десятилетий можно увидеть судьбу почти всех героев повести. И самых старших — ветеранов партии из дома отдыха ВЦИК и самых маленьких — «бойцов первого сводного октябрятского эскадрона имени мировой революции».

Нетрудно прикинуть: бойцам «сводного октябрятского» было по восемь-девять лет. Значит, к лету 1941-го им стало по восемнадцать-девятнадцать... И снова дальним эхом прозвучали стихи молодого Семена Гудзенко:

«Я все это в памяти сберегу. И первую смерть на войне и первую ночь, когда на снегу мы спали спина к спине. Я сына этому обучу. И пусть не придется ему воевать, он будет знать, как плечом к плечу...».

«Пусть не придется...» — такой надежды у поколения Аркадия Гайдара не было. Это поколение и те, что постарше и помоложе, знали, что воевать придется. И знали, с кем.

27 августа 1934 года Аркадий Гайдар записал:  
 «В последние дни крепко работал.  
 Наконец-то кончаю «Военную тайну».  
 Эта повесть моя будет за Гордую Советскую страну.  
 За славных товарищей, которые в тюрьмах.  
 За крепкую дружбу.  
 За любовь к нашим детям.  
 И просто за любовь.  
 Сегодня впервые я иду на съезд писателей...»

\* \* \*

Фамилию Аркадия Гайдара находим в списке делегатов Первого всесоюзного съезда писателей с совещательным голосом. В этом же списке Ираклий Абашидзе, Павел Антокольский, Константин Паустовский, Александр Твардовский, Виктор Шкловский, Александр Яшин и другие имена.

«Литература была сильна, — вспоминает В. А. Каверин. — Молодежь, которая встречала нас каждый день у входа в Колонный зал и провожала после заседаний до гостиницы, ждала от нас ответа на вопросы — как жить...»

Съезд открылся 17 августа и продолжался до 1 сентября. Двадцать шесть заседаний, двадцать два доклада и содоклада о советской литературе о литературе союзных республик, о мировой литературе и задачах пролетарского искусства, драматургии, поэзии...

Из пятисот восьмидесяти двух делегатов только десять определили себя как детские писатели. Но первым после основного доклада, который сделал А. М. Горький, съезд заслушал содоклад С. Я. Маршака о детской литературе.

С. Я. Маршак похвалил «Школу»:

«В книге есть настоящие наблюдения, которые позволяют верить в правдивость автора и его повести. Есть у Гайдара и та теплота, которая волнует читателя сильнее всяких художественных образов. Читатель чувствует, что автор, как его герой — сапожник, тоже навек ударился в революцию. И за это читатель любит Гайдара...»

К. И. Чуковский говорил о «Мальчише-Кибальчише»:

«Всякий, кто любит большое дарование Гайдара, должен был указать ему на стилистическую фальшь и безвкусицу, которой грешит эта книга... Революционной героине подобает язык строгий, скупой, а не такое дамское сюсюканье...»

В защиту сказки «Мальчиш-Кибальчиш» выступил Л.А. Кассиль.

Впрочем когда 27 августа Аркадий Гайдар пришел в Колонный зал, съезд уже обсуждал другие вопросы. С содокладом о драматургии выступил В. М. Киршон. Он говорил не только о пьесах, но об усилившейся угрозе войны, о фашизме, который полтора года назад захватил власть в Германии. Какой бы из литературных жанров ни обсуждался, эта тема постоянно присутствовала на съезде, начиная с доклада А. М. Горького:

«Фашист сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову с его позвонков — это уже не зверь, а что-то несравненно хуже зверя, это безумное животное, такое же гнусное, как белый офицер, вырезающий ремни и звезды из кожи красноармейца».

Чудом вырвавшийся из застенков гестапо немецкий писатель-коммунист Вилли Бредель рассказывал о своих товарищах:

«Тюрьмами, пытками и убийствами фашизм пытается принудить к молчанию революционных писателей и интеллигенцию Рабочего-писателя Франца Брауна закололи кинжалом. Лео Крелля замучили до смерти. Эриха Барона довели до самоубийства, Ганса Отто выбросили из окна следственной камеры, Эриха Мюзла повесили...»

И снова вопреки повестке возвращались к детской литературе.

«На этом съезде много и с полным основанием говорилось о царстве ребенка. — сказал Мартин Андерсен-Нексе. — Каждый писатель должен писать для детей; в сущности говоря, он должен писать только для детей, обращаясь ко всему непосредственному, неиспорченному в человеке. «Книга для детей и мудрецов» — так Сервантес назвал своего «Дон-Кихота»...»

Следующая фраза речи могла заставить Аркадия Гайдара нахмуриться, чуть склонить голову, как он делал, подыскивая возражения.

«Но при этом одно необходимо: хороший конец! — заявил Мартин Андерсен-Нексе. — В этом отношении дети дают нам прекрасный пример: они насквозь оптимисты!»

Насчет оптимизма Аркадий Гайдар был согласен с замечательным датчанином. Но, случись им побеседовать, наверное, выразил бы свое убеждение, что не каждая книжка должна завершаться благополучно. Во всяком случае, в книгах Аркадия Гайдара дело не всегда обстоит так.

О «Военной тайне» можно сказать словами автора, что книга заканчивается «спокойно, почти сурово». Но никак не скажешь, что конец у книги безоблачно счастливый.

Оптимизм неведения иллюзорен, непрочен. Он может превратиться в безразличие, а то и в пессимизм, едва столкнувшись с трудностями жизни, которая всегда не проста, а бывает и трагична.

Вскоре после съезда писателей Аркадий Гайдар побывал в Ростове-на-Дону оставил в детской библиотеке экземпляр рукописи еще не вышедшей в свет «Военной тайны». Ребята читали ее вслух, обсуждали, прислали отзывы. Книга понравилась, но попросили изменить конец — «очень жаль Альку!».

Аркадий Гайдар ответил:

«Конечно, лучше, чтобы Алька остался жив. Конечно, лучше, если бы Чапаев остался жив. Конечно, неизмеримо лучше, если бы остались живы и здоровы тысячи и десятки тысяч больших, маленьких, известных и неизвестных героев.

Но так в жизни не бывает...»

Он относил себя к писателям, которые рассказывают, «как в жизни бывает»

.. Славно все-таки мы жили в 1931-м в Артеке!

«Море, скала, шторм. Мы с Тимуром на берегу. Кидали камни и хохотали когда брызги долетали до лица».

«У меня нет ни клочка бумаги. Исписал всю на «Дальние страны». Купить негде».

«Попросил перевести Тимуренка за хулиганство в другую палату».

Стоя на скале, вспомнил я и то письмо, которое Аркадий Гайдар послал из Кунцева в Пермь Борису Назаровскому. И только тут сообразил, что мой детский вопрос был не так уж наивен, потому что «если батареи с лесом смешать», то как раз и получится закрытая артиллерийская позиция.

Может, на такой позиции в августе 1941 года стояли орудия артиллерийского полка, прикрывая огнем отход батальона Прудникова за речку Ирпень.

Аркадий Гайдар в пропыленной гимнастерке склонился к раненому красноармейцу.

— Хочешь закурить? Нет? Тогда закрой глаза и лежи. Мы перейдем реку спокойно.

...Понимаю, что не стоило бы множить цитаты. Но иногда они как бы сами собою сливаются в строфу. И тогда совсем другие, иные, чем у версификации, законы определяют ее строй.

С. Я. Маршак об Аркадии Гайдаре: «Он был поэтом с головы до ног».

Л. М. Леонов на Первом съезде писателей: «Поэт сегодня обязан быть философом. Философ не может не быть солдатом, готовым ежесекундно защищать свою идею».

«Солдат с самой ранней юности, он хорошо знал военное дело, понимал психологию людей на войне. Он был врагом трусости, лжи, растерянности, приворства, эгоизма» — Н. А. Тихонов об Аркадии Гайдаре.

\* \* \*

Весной 1939 года Аркадий Гайдар жил в Доме творчества писателей в Ялте. Дом стоит высоко над городом, улица, набережная не видны, но зато кажется, что море, убегая к горизонту, начинается у самых окон.

Судя по записи в дневнике Аркадия Гайдара, здесь тогда были Паустовский, Каверин, Финн, Диковский, Тренев, Вирта, Уткин, Лагин, Перцов, Гирилитовец, еще несколько писателей. Дом небольшой.

Об этой весне, кроме дневника Гайдара, есть воспоминания К. Г. Паустовского и В. А. Каверина. Они дополняют друг друга, как бы создавая объемность картины. По утрам и днем работали, вечерами играли в волейбол, шутили, устраивали друг над другом веселые розыгрыши, читали стихи.

Аркадий Гайдар тогда был весел и спокоен. Пришла телеграмма, что его повесть «Судьба барабанщика» все же пошла в печать. Ее первые главы начали публиковаться еще в ноябре 1938 года в «Пионерской правде». Но однажды, хотя внизу, как обычно, стояло «продолжение следует», повесть исчезла с газетных страниц и больше в «Пионерской правде» не появлялась. Приостановил работу над изданием книги и Детгиз.

Теперь, после Указа о награждении группы писателей орденами, в котором стояла и фамилия Гайдара, «Судьба барабанщика» опять готовилась к печати в журнале «Красная новь».

«Гайдар был непривычно задумчив и ласков, — вспоминает Паустовский. — Мы много ходили по горным дорогам, сидели у моря. Впервые Гайдар был не в полувоенной своей одежде, а в мягком сером костюме. В нем он был как-то особенно светловолос, высок, изящен».

Мне увидеть отца в штатском сером костюме не довелось. И фотографии такой не сохранилось. Есть одна, той весны: Аркадий Гайдар среди пионеров-артековцев. Но по этому случаю он снова надел черную коверкотовую гимнастерку. Я его помню только в военном или полувоенном. Могу уверенно заявить, что за всю свою жизнь он ни разу не повязал галстука. Дело не в том, хорошо это или плохо. Просто такой был характер.

В хорошем настроении или чтобы разогнать дурное, напевал: «Шел солдат с похода, зашел солдат в кабак, сел солдат на лавку, давай курить табак...» «По-солдатски» — означало в его устах высшую похвалу, относилось ли это слово к хорошо сваренной гречневой каше или к правильному поступку.

К Аркадию Гайдару иногда заглядывали друзья по гражданской войне — командиры РККА. Иван Семенович Конев, будущий Маршал Советского Со-



юза, дружил с мужем сестры Аркадия Гайдара, Натальи Петровны, — бригадным комиссаром Николаем Поляковым. Когда в 1937 году Николай Поляков был арестован, а затем расстрелян, Иван Семенович Конев не порвал отношений с семьей товарища и сослуживца. В годы Великой Отечественной войны продолжал оказывать ей внимание и помощь. Смелость входит в число профессиональных качеств военного человека. Но в данном случае требовалось мужество иного рода.

Покинув ряды Красной Армии, Аркадий Гайдар продолжал интересоваться развитием военного дела. В нехитрой его библиотеке обязательно появлялись последние номера военных журналов. Толстый серый том «О войне» Клаузевица, книги М. В. Фрунзе частенько снимались с полки.

Среди веселых ялтинских записей дневника Аркадия Гайдара есть такая: «На днях с большой помпой справляли день рождения Осипа Резника. Заготовили лавровый венок. Диковский сочинил академическую речь с латынью... Много было хохота».

И сразу вслед за этим:

«Правда» хвалит Н. Шпанова за повесть о будущей войне. Но статья полкового комиссара что-то подозрительна, ибо цитаты он приводит очень неудачные».

Рецензия называлась «Повесть о сталинских соколах». Она появилась в газете 21 мая 1939 года за подписью полкового комиссара М. Миронова.

«Книга Н. Шпанова реалистична, в ней нет ходульных схем и шапкозакидательных баталлий», — утверждал полковой комиссар М. Миронов.

Книгу «Первый удар», так же как и снятый на ее основе фильм «Если завтра война», недобрым словом вспоминали в Красной Армии да и весь наш народ с июня 1941-го и, пожалуй, вплоть до разгрома гитлеровских полчищ на Курской дуге. Потом о «Первом ударе» забыли.

Впрочем, теперь с дистанции времени можно сказать, что одно достоинство у книги было: будущий враг, с которым в скором времени предстояло встретиться в смертельном бою, назван в ней прямо и открыто. А от фильма осталась хорошая песня. «Если черная сила нагрянет, как один человек весь советский народ за любимую Родину встанет...» — пели в июне 1941-го колонны новобранцев, шедшая к вокзалам.

Книгу «Первый удар» я вновь перечитал недавно, а фильм так с довоенных времен больше и не видел, хотя до сих пор остались в памяти кадры: мальчишка гибнет, не успев надеть противогаз, советский летчик направляет свою машину в открывшуюся внизу щель замаскированного подземного ангара противника...

И еще одно воспоминание сохранилось с того 1939 года.

Тишайший теплый вечер во Всехсвятском, ныне район метро «Сокол». На бывшем кладбище, которое уже тогда стало парком и лишь глыба из красного гранита стояла над общей могилой солдат, похороненных в первую мировую, мы, мальчишки, играем в войну. Нужно первым увидеть «врага», первым прицелиться из деревянной винтовки или пистолета, первым крикнуть «готов», и «противник» обязан упасть на землю...

И вдруг в этой теплоте и тишине появляется над нами самолет, двухмоторный, серебристый, идет низко на посадку к ближнему аэродрому, где теперь находится Московский центральный аэровокзал. На фюзеляже красная полоса, в ней белый круг, а в нем черная фашистская свастика.

Мы замерли. Этого не могло быть! Фашистский самолет над Москвой! Мы смотрели друг на друга, опустив свое деревянное оружие, словно спрашивая друг у друга: не померещилось ли? Потом разошлись по домам. Игра кончилась.

Наутро газеты сообщили о прилете министра иностранных дел германского рейха Риббентропа.

...А весна того года в Ялте, видимо, действительно была хороша. «Крымская тихая весна с теплыми темными ночами с голубоватым утренним туманом. Плеском моря, звоном родников», — читаем в воспоминаниях Константина Георгиевича Паустовского.

«Дни, которые запомнились на всю жизнь, и не только потому, что превра-

тились и превращались по временам в беспричинный праздник, но еще и потому, что они никогда больше не повторились и не могли повториться», — написал о тех временах Вениамин Александрович Каверин.

«Диковского проводили в Коктебель... Начинаю скучать по России. Пятилетний Анатолий Федорович очень со мной дружит. Подарил ему звезду, свисток и пистонный револьвер. Он командует над собаками — Цыганом, Цезиком и Машкой. В газетах временное затишье. Но тревожно на свете», — пометил в мае 1939 года в дневнике Аркадий Гайдар.

Год спустя, в июле 1940-го он написал Фраерману:

«Дорогой Рувчик, мне исполнилось 36 лет (5 месяцев). Из чего они складываются?

1. Рождение.
2. Воспитание.
3. Воевание.
4. Писание.

Раздели 36 на 4 и моя жизнь будет перед тобой как на ладони, за исключением того темного времени, когда я задолжал тебе 250 рублей».

«Воевание», как мы знаем, Аркадию Гайдару вскоре предстояло продолжить. Что же касается «писания», то нет у него ни одной повести, ни одного рассказа, в которых не появились бы командир, красноармеец. Те, что еще в строю, или которые уже свое отслужили, отвоевали. И всегда, хотя бы эхом грома дальних батарей, военным эшеленом, промчавшимся мимо окон пассажирского поезда, или часовым на посту, но всегда и непременно присутствует в его книгах Красная Армия.

Позволю себе привести отрывок из «Судьбы барабанщика». Он у многих в памяти, и все же, если мы размышляем об этом человеке, нужно еще раз вернуться к тому месту в повести, где сын просит отца, бывшего командира Красной Армии, спеть солдатскую песню.

Отец поет «Горные вершины» на слова Лермонтова.

«— Папа,— сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой.— Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился:

— Как не солдатская? Ну вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... Винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите,— говорит командир,— еще немного, дойдем. собьем... тогда и отдохнем... Кто до утра, а кто и навеки...» Как не солдатская? Очень даже солдатская!»

Думаю, что, когда Аркадий Гайдар писал эти слова, перед глазами его вновь поднялась островерхая скала у станицы Ширвинской. Мимо скалы шагали в горы красноармейцы 2-го батальона 302-го стрелкового полка. Они должны были подняться к Тубинскому перевалу, сбить вражеский заслон и удерживать перевал до подхода подкреплений...

Аркадий Гайдар начал писать «Судьбу барабанщика», повесть, как он сам сказал, «не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше чем сама война», весной 1937 года. Заканчивал в январе 1938 года в деревне Голутвино, примерно в сотне километров от Москвы, в избушке, хозяйку которой звали тетя Таня.

Были зимние школьные каникулы. Предупредив, что у него срочная работа и мешать ему нельзя, Аркадий Гайдар взял меня с собой. Снова, как в Архангельске, в Кунцево и в Москве на Большой Ордынке, мы жили втроем — отец, мама и я.

Как Гайдар работал?

Домик был маленький, вышагивать по нему трудно, и, накинув шинель, он ходил по заледеневшему шоссе, вдоль которого протянулась деревня. За огородами лежало белое поле, и чернел вдалеке лес.

Приближаться к Аркадию Гайдару в такое время не следовало. Но издали было видно, что он сначала хмурится, потом улыбается. Быстрым, решительным шагом возвращался в избушку, садился за стол. Впрочем, случалось, что он не выходил из дома подолгу, часами сидел, склонившись над рукописью.

Вечерами иногда читал законченную главу. Читал, как правило, на память, лишь изредка заглядывая в тетрадку, да и то чтобы вычеркнуть неудачное или лишнее слово.

Горела керосиновая лампа- «трехлинейка», тетя Таня знала, что нужно перестать орудовать ухватом. Она тоже садилась на лавку. Читал Аркадий Гайдар хорошо. Это помнят многие. Не декламировал. Не старался подчеркнуть голосом удачное место. Шутка в тексте или вдруг вспыхнул пронизывающие душу серьезные и веские слова— голос, чуть-чуть глуховатый, оставался ровным, вроде даже отстраненным. Лишь едва заметно менялась его окраска.

\* \* \*

Новый, 1940 год Аркадий Гайдар встречал со студентами и преподавателями Московского библиотечного института. Он размещался в Химках.

Подробностей не помню, только смех, музыка, веселая суета взрослого, по моим тогдашним понятиям, народа, острое ощущение счастья, что мы с отцом опять вместе... Но один разговор запомнился.

Праздник уже пошел на убыль. Уже и посидели за столами, и танцевали, и пели, и читали стихи. Выбегали во двор смотреть, как светится небо над Москвой. Играли в снежки. Аркадий Гайдар вышел в одной гимнастерке. Отогревалась в аудитории. Скоро должна была подойти машина.

— Скажите, Аркадий Петрович, как воспитывать у ребят ненависть к врагам? — спросил кто-то из преподавателей. — Дети и... ненависть. Ведь это не просто.

— Совсем не просто, — согласился Гайдар. — А зачем вам воспитывать ненависть? Воспитывайте любовь к родине. Пусть она будет большой, настоящей, искренней. И тогда, если кто-нибудь посягает на родину, у человека родится великая и праведная ненависть. Такой вот, по-моему, правильный способ...

Ненависть к врагам у Аркадия Гайдара была велика, потому что любовь к Советской стране, к людям, к жизни переполняла его сердце, прорываясь порой, как в письме к Б. Ивантеру, почти мальчишеским ликованием: «Да здравствуют всякие земли, народы, планеты, звезды, реки и вся наша интересная судьба!»

Но к тому времени, когда мы так весело встречали новый, 1940 год, в его дневниках и письмах все отчетливее звучала иная нота.

«Тревожно на свете, и добром дело, видать, не кончится».

«Нервы в руки. Не распускаться. Смеяться. Работать».

«Сегодня начал «Дункан», повесть. Война гремит на земле. Нет больше Норвегии, Голландии, Дании, Люксембурга, Бельгии. Германцы наступают на Париж. Италия на днях вступила в войну».

Дункан — так поначалу и назвал он главного героя повести «Тимур и его команда». Почему он вскоре переименовал это имя, сказать не могу.

Вспоминая предвоенные годы, вижу себя обыкновенным мальчишкой. В меру озорничал, гонял в футбол, готовился к поступлению в военно-морскую спецшколу...

Тимур Гараев — образ собирательный. Можно сказать, что в нем соединились черты героев предыдущих гайдаровских книг в их развитии. Однажды Аркадий Гайдар с огорчением записал в своем дневнике:

«Очень многие еще нашего дела не понимают».

Один из самых страшных вопросов — это когда человек интеллигентный и начитанный задает вопрос: «А скажите, как вы пишете? Из жизни материал берете или больше выдумки?» Очень становится от такого вопроса уныло».

Весной 1941 года в доме кинорежиссера Л. В. Кулешова были гости. Хозяин придумал игру: каждый должен был назвать несколько своих пристрастий или увлечений, ответить на вопрос: «Что ты любишь больше всего?» На листочке бумаги Аркадий Гайдар написал:

«Путешествовать вдвоем.

Чтобы считали командиром.

Быстро передвигаться.

Остричь с людьми без вреда для них.

Тайную любовь к женщине (свою, чтобы объект не знал).

Не люблю быть один (не — одиночество)».

Вспомним повесть «Тимур и его команда». Заседание штаба, приказы Тимура, его отношение к Жене, мотоцикл, который мчится через ночь, чтобы Жена могла увидеть своего приехавшего на несколько часов с фронта отца... Почти на каждую строчку перечня привязанностей Аркадия Гайдара повесть откликается эхом, то прямым, то отраженным.

Ну конечно же, герой повести «Тимур и его команда» — прежде всего сам Аркадий Гайдар.

«После выступления обступили меня какие-то тетеньки,— рассказал однажды он.— «Ах как чудесно вы знаете советских детей!.. Вы, должно быть, много изучаете их!» А где я их изучаю? Я беру ребенка вообще. И наделяю его теми качествами, какие считаю необходимыми. Получаются Тимур и другие».

Естественно, не все так уж просто. Дело не в том, чтобы составить некий список «добродетелей» и щедро наделить ими героя своей книги. Вряд ли такой герой убедит читателя да еще шагнет с ее страниц в жизнь. Нужно, чтобы душевные качества, о которых говорит Аркадий Гайдар, были действительно писателю необходимы и, значит, ему самому присущи.

На обсуждении повести во Дворце пионеров в Москве Аркадий Гайдар сказал ребятам:

«Я никогда в детстве святым не был, за мной бед было не меньше, чем за другими. Но когда меня ловили, я знал, что я хулиганил. Я не пытался возражать: „В чем дело? Я только рвал яблоки!“»

И еще:

«У Тимура одна идея — Красная Армия, и с этой идеей он ведет за собой других, и потому побеждает он, а не Квакин, так как воровать яблоки — это не идея и этим завлечь нельзя».

В одной из научных статей я прочел: «Гайдар оформляет свои произведения средствами изображения детских игр». Отвлечемся в данном случае от стиля. Как бы коряво ни было сказано, мысль верная.

Игра не простое слово. Играет симфонический оркестр. Офицеры проводят штабную игру на картах. Девочка укладывает спать свою куклу, поет ей колыбельную. Миллионы зрителей затаив дыхание следят за футбольным матчем...

Игра — это и радость, и творчество, и работа. И драгоценный подарок, который каждый может унести из своего детства.

Любовь к игре, понимание ее законов Аркадий Гайдар, несмотря на трудности своих путей, сохранил на всю жизнь. Точными и тонкими наблюдениями откликнулся на выход повести «Тимур и его команда» Юрий Нагибин:

«Ее пронизывает легкая, едва уловимая ирония... Это не ирония взрослого человека над тем, что он всерьез пишет о детях. Нет, в основе иронии Гайдара лежит сознание того, что детский мир, описываемый им, куда серьезнее, куда глубже, чем то, что ему удалось написать о нем. Эта усмешка над самим собой очень требовательного к себе художника почти неуловима: она лишь иногда мелькнет в забавных репликах... в неожиданных сюжетных поворотах...»

Повесть и кинофильм имели большой успех. Но примечательно, что Аркадий Гайдар не был так уж собой доволен:

«Засорен диалог. Надо впредь работать лучше. Перестроить всю манеру разговора. Надо проще».

Впрочем, дело было уже не в деталях. Рядом с Тимуром Гараевым стояли Борис Гориков из «Школы», Владимир Дашевский и Алька из «Военной тайны», Сергей Щербачев из «Судьбы барабанщика» и даже маленькая Светлана из «Голубой чашки» и забавные малыши Чук и Гек... Все они стояли плечом к плечу с Тимуром Гараевым, помогая ему шагнуть со страниц повести в жизнь навстречу тому суровому времени, которому он был так нужен.

«На земле тревожно, но в новый год я вступаю твердым, не растерявшимся», — написал в дневнике Аркадий Гайдар 31 декабря 1940 года.

\* \* \*

На второй день войны Аркадий Гайдар получил задание написать киносценарий «Клятва Тимура». Срок пятнадцать дней.

Никогда, даже в Перми, он не работал так быстро. Страница за страницей шел чистый текст, и режиссер Л. Кулешов сразу же набрасывал режиссерский план фильма.

«Я клянусь тебе своей честью, честью старого седого командира, что тогда, когда ты была еще совсем крошкой, этого врага мы уже знали, к смертному бою с ним готовились. Дали слово победить. И теперь свое слово мы выполним», — говорит в сценарии полковник Александров своей дочери Жене, отправляясь на фронт.

В 1941 году Аркадию Гайдару исполнилось тридцать семь лет. В светлых легких волосах даже не угадывалась седина. Но за каждым словом полковника Александрова, придавая им убедительность, стоят жизнь, опыт, думы, тревоги Аркадия Гайдара. Еще в 1929 году он написал, и это было напечатано в архангельской газете «Волна»:

«Тот год и день, когда напряженную тишину тысячеверстной нашей западной границы разорвут первые залпы вражеских батарей... этот год и день и час не отмечен еще черной каемкой ни в одном из календарей земного шара. Но год этот будет, день возникнет, и час придет».

Конечно, он не был пророком. То, что нас не оставят в покое, что Советской стране рано или поздно придется воевать, знали и понимали многие.

Но как военный писатель, Аркадий Гайдар ощущал приближение военной грозы с особой силой. Он знал, что война предстоит долгая, кровавая. И чувствовал личную ответственность за то, чтобы наша молодежь была готова к грядущим испытаниям.

31 декабря 1940 года газета «Правда» в новогоднем номере напечатала короткие ответы писателей об их творческих планах. Ответ Аркадия Гайдара был озаглавлен: «Тимур готовится к войне». Месяц спустя, выступая на совещании в ЦК ВЛКСМ, он сказал:

«Писатель должен объяснить ребятам некоторые слова: «честь», «знамя», «смелость», «правда». За это тот командир, который будет ребят принимать из школы в армию, останется писателю благодарен».

Для самого Аркадия Гайдара это была не только программа работы, но в какой-то степени ее итог.

...Меня война застала в Крыму, в Коктебеле. Играли в волейбол. Увидели, что от дома к волейбольной площадке бежит, размахивая руками, какой-то человек. Всеволод Багрицкий успел сделать подачу... Но принимать мяч уже никто не стал. Он ударился о песок, подпрыгнул и укатился в траву.

Вернулся я в Москву в последних числах июня. Позвонил в Болшево, в Дом творчества кинематографистов. Попросил у отца разрешения приехать. «Нет, — ответил он. — Работа очень срочная. Закончу, приеду в город, увидимся». Почувствовав мое огорчение, сказал: «Ты должен понимать».

Понимал я тогда, к сожалению, меньше, чем нужно. Мы рыли щели во дворе нашей 114-й школы и в соседних дворах помогали налаживать светомаскировку, слушали сводки, с нетерпением ожидая, когда в них появятся названия немецких городов, и все воспринималось как интересное, увлекательное приключение.

...Вместо пятнадцати дней, как просил Комитет по делам кинематографии, Аркадий Гайдар написал «Клятву Тимура» за двенадцать дней. Помимо срочности заказа, его торопило желание скорее уехать на фронт. 2 июля из Болшева отправил телеграмму Александру Фадееву:

«Закончив оборонный сценарий, вернусь в Москву шестого. Не забудьте о моем письме, оставленном в секретариате».

Напоминание оказалось нелишним, и 14 июля Союз писателей обратился в Красногвардейский райвоенкомат Москвы:

«Тов. Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович — орденосец, талантливый писатель, участник гражданской войны, бывший командир полка, освобожденный от военного учета по болезни, в настоящее время чувствует себя вполне здоровым и хочет быть использованным в действующей армии.

Партбюро и оборонная комиссия Союза советских писателей поддерживает просьбу т. Гайдара (Голикова) о направлении его в медицинскую комиссию на переосвидетельствование».

Медкомиссия в призыве на действительную военную службу отказала. Однако Аркадий Гайдар, предчувствуя такой поворот дела, уже подготовил запасной вариант. Он знал, что все равно любыми путями должен быть на фронте.

Сразу после возвращения из Болшева отправился в редакцию газеты «Комсомольская правда». Борис Сергеевич Бурков, бывший тогда заместителем редактора «Комсомольской правды», рассказал мне, что Гайдар пришел озабоченным, признался, что опасается отрицательного заключения медкомиссии. Просил помочь отправиться в действующую армию.

«Мы обрадовались, решив, что он будет очень нужен в качестве военного корреспондента. Договорились, что редакция через ЦК комсомола обратится в Главпул РККА. Уехал от нас Гайдар в хорошем настроении».

В тот же июльский вечер мы шли с отцом от Большого Казенного переулка к Маросейке. В перекрещенных бумажными крестами окнами пылало заходящее солнце. По улице, как слона на прогулку, провели аэростат воздушного заграждения. Очереди за газированной водой, завидев проходящего командира Красной Армии, сразу отстранялись от тележек: «Пожалуйста, товарищ! Напейтесь!»

Возбужденный тем, что вижу наконец отца, я молот всякую чепуху. Рассказывал, как, пропуская военные эшелоны, ехали из Крыма, что каждый день в школе собираются ребята, приходят преподаватели, только исчез учитель физкультуры Карл Иванович. Говорят, что он арестован, потому что немец и шпион... Сказал, что, наверное, на днях, так решила мама, уеду с пионерским лагерем. Пароходом по Москве-реке, потом по Волге и Каме. Будет много знакомых ребят. Вернемся в Москву к учебному году. Наверное, война тогда уже кончится...

Отец говорил мало. Улыбался. Восторги по поводу пионерского лагеря встретил сдержанно. На прощание крепче обычного стиснул мои плечи.

Когда 18 июля он получил пропуск Генштаба РККА в действующую армию, наш пароход уже плыл по Каме. Как бы мне хотелось, чтобы все случилось не так! Как часто в маленьком городке Чистополе я мечтал снова пройти с отцом по московским улицам, помолчать, послушать, спросить совета! Но как было — так было.

19 июля «Пионерская правда» начала печатать «Клятву Тимура». Через день Аркадий Гайдар уехал на Юго-Западный фронт в качестве корреспондента «Комсомольской правды». В военной форме, но с пластмассовыми пуговичками на гимнастерке. Штатским.

Перед тем как отправиться на вокзал, Гайдар оставил своей жене Доре Матвеевне записку:

«1. Документы военные, старые разделить на две части — запечатать в разные пакеты.

2. В случае необходимости обратиться в Клину к Якушеву. В Москве — сначала посоветоваться с Андреевым («Пионерская правда»), потом с Михайловым в ЦК.

3. В случае если обо мне долго ничего нет, справиться у Владимиров (К-0-27-00, добавочный 2-10) или в «Комсомольской правде» у Буркова.

4. В случае еще какого-либо случая действовать не унывая по своему усмотрению.

Будь жива, здорова!  
Пиши, не забывай».

Судьба сделала круг. Или, точнее, виток спирали.

Он ехал в город, где в 1919 году стал командиром, под стенами которого получил боевое крещение. Он очень любил этот город и ни об одном из других не писал так радостно и взволнованно.

Утром 23 июля Аркадий Гайдар смотрел из окна пробитого осколками вагона на приближающийся Киев. Так же, как прежде, шумела листвою Владимирская горка. Неторопливо проступали из зелени белые здания. У мостов через Днепр стояли зенитные батареи. На левом берегу на прибрежном песке среди кустарников валялись обломки «юнкерсов».

Фронт в это время проходил в двадцати—тридцати километрах западнее го-

рода по реке Ирпень, где части Киевского УР — укрепленного района — остану- вили моторизованные соединения врага.

К северо-западу от Киева сражалась наша 5-я армия. Она удерживала Ко- ростеньский УР, нависая над левым флангом прорвавшихся близко к городу фашистских дивизий.

6-я и 26-я армии отражали натиск врага южнее Киева, стремясь не допу- стить основные силы 1-й танковой группы генерала Клейста к переправам че- рез Днепр у Ртищева и Канева.

В целом Юго-Западный фронт простирался примерно на триста километров. Его войска отошли с боями от границы более организованно, чем на Северо-За- падном фронте.

По «маршруту Ч-Ч» выезжали из Киева военные журналисты в полки и дивизии Юго-Западного фронта, занимавшего позиции от Чернигова до Черкасс.

Как большинство корреспондентов центральной печати, Аркадий Гайдар поселился в «Континентале» Богатая полупустая гостиница в центре города, где раньше останавливались приезжие знаменитости. Из обслуживающего персонала остались несколько человек. Но работает телефонный коммутатор. Журналисты занимают номера на третьем этаже. Каждый день на рассвете в комнатах треть- его этажа раздаются настойчивые звонки «Пора!» Дежурная телефонистка, выполняя наказ, будит корреспондентов. Вскоре камуфлированные «эмки» одна за другой уезжают с улицы Карла Маркса.

В нашей маленькой машине  
Есть гранаты, карабин,  
Запасных четыре шины,  
Два спецкора и бензин...

Бригада «Комсомолки» отправлялась на фронт в грузовой полutorке. Ма- шину, как вспоминают корреспонденты этой газеты Михаил Котов и Владимир Лясковский, раздобыл с помощью ЦК комсомола Украины Аркадий Гайдар. Он же распределил между членами экипажа обязанности.

Михаил Котов — комиссар экипажа и начальник медицинской службы. Йод, бинты, вата, аспирин. Фляга со спиртом. Владимир Лясковский отвечает за горючее. Железная бочка и две канистры должны быть заполнены бензином под пробку. Семен Васильничий, фотокорреспондент, возглавляет службу АХО — ведает продовольствием. Он же на маршруте начальник службы ВНОС — воздушного наблюдения, оповещения, связи. Увидев вражеский само- лет, должен дернуть из кузова за веревку. Тогда в кабине зазвенит колокольчик. и шофер Саша Ольхович рванет с дороги в сторону.

В Киев возвращались вечером. Материал в Москву передавали по телефону около полуночи. Принимали душ. И конечно же, сразу заснуть не могли.

Слышу, как в высокой комнате с зеркалом, с бархатным диваном и кресла- ми пропела и смолкла гитарная струна. Потом прозвучал первый аккорд...

Вчера на рассвете в предместьях Берлина  
Последний взорвался снаряд  
Знакомыми тропами мимо овина  
С войны возвращался солдат...

Поет Александр Гуторович, корреспондент «Советской Украины» Моло- денький, голубоглазый веселый паренек. Он в вельветовой куртке. Брюки-клевш. Он частенько выезжает на фронт с бригадой «Комсомолки» и даже в эти поездки берет с собой гитару в парусиновом чехле. Песня о последнем дне войны напи- сана им.

Ты молча стоишь у распахнутой двери,  
И клены шумят и весна ..

Поют Гайдар, Котов, Лясковский. Закончив диктовать материал, заходят корреспонденты других газет. Окрепла песня. Влились голоса Бориса Лапина и Захара Хацревина. Они неразлучные друзья, писатели, соавторы многих книг знатоки восточных языков. Оба корреспонденты «Красной звезды».

Хацревин басит увлеченно, ироничный Лапин старается быть сдержанным. но песня-мечта берет свое, и его мягкий тенор звучит тепло и задумчиво:

На шею повиснув и встрече не веря,  
Забьется, как птица, жена...

Пришла еще одна неразлучная пара краснозвездцев: капитан Сергей Сапиго и политрук Александр Шуэр. Тихо вошел в комнату корреспондент Все-союзного радио Евгений Барский...

Евгений Барский погибнет 11 августа 1941 года в танковой атаке неподалеку от Канева. Он — первым. Потом из журналистов, которые в июле—сентябре 1941 года жили в «Континентале», погибли многие.

Захар Хацревин будет лежать на охапке сена возле дороги, по которой отступают наши войска, и, стирая с лица кровь, уговаривать Бориса Лапина оставить его одного. «Не говорите, пожалуйста, глупости», — ответит Лапин, держа в руке револьвер и прислушиваясь к приближавшимся очередям немецких автоматчиков.

Александр Шуэр погибнет 22 сентября 1941 года восточнее Борисполя, пытаясь пробиться с другими журналистами и работниками политотдела 37-й армии из окружения.

О том, как это произошло, сообщит в письме в «Красную звезду» капитан Сергей Сапиго. А сам, раненный, проберется по тылам фашистских войск в свою родную Полтаву, станет одним из организаторов комсомольской подпольной группы, и 26 мая 1942 года его расстреляют фашисты. Но письмо его в «Красную звезду» дойдет по адресу только через двадцать с лишним лет.

Аркадий Гайдар... О нем позже. Сейчас нужно только сказать, что в июле—сентябре 1941 года рядом с ним жили, работали, сражались хорошие, смелые люди. Настоящие товарищи. В начале августа все они живы.

В августе оборона Киева стояла прочно. Зеленели каштаны, позванивали трамваи, катили по Крещатику троллейбусы. В книжных магазинах толпились ребятишки, запасаясь школьными учебниками. На улицах строили баррикады и продавали цветы.

Вражеская авиация появлялась, как правило, перед заходом солнца. Дежурный ПВО вел по радио своеобразный репортаж:

— Граждане, соблюдайте спокойствие, к городу прорвались пятнадцать фашистских самолетов!.. Навстречу им вылетели истребители под командованием капитана Солдатова... Граждане, над районом Подола завязался воздушный бой...

Небо города прикрывали 36-я и 19-я авиадивизии.

30 июля вражеские войска начали генеральный штурм, нанося главный удар на южном фланге Киевского оборонительного района. Здесь сначала им удалось потеснить наши части, пробиться к южным окраинам города.

Однажды ночью журналисты в «Континентале» разбудили не телефонные звонки, а разрывы артиллерийских снарядов. Фашистские орудия вели огонь по Киеву с высот возле Голосеевского леса.

«Опершись ладонью о ствол каштана, Аркадий Петрович стоял на тротуаре. Водитель сидел на подножке машины и выжидающе исподлобья поглядывал на нас. Осколком снаряда отбило кусок вывески над самым входом в гостиницу. Гайдар наклонился, поднял с земли стекляшку с золотистой буквой «Т» и в этой напряженной, предутренней тишине вдруг произнес:

Немаловажная деталь —  
Снаряд попал в «Континенталь».  
Попал в гостиницу со свистом.  
Куда податься журналистам?

М. Котов и В. Лясковский вспоминают, что «подались» они тогда благодаря счастливому совпадению обстоятельств как раз в самый важный и нужный пункт: в штаб 6-й воздушно-десантной бригады, которая вместе с 206-й дивизией по приказу командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника М. П. Кирпоноса выдвинулись на помощь частям 37-й армии, сдерживавшим отчаянный натиск врага.

В дни штурма «Комсомольская правда» опубликовала первый фронтовой очерк Аркадия Гайдара.



Я читал его вечером, вернувшись с полевых работ, лежа на сене в сарае на краю села Большой Толкиш километрах в пятнадцати от Чистополя. Тогда для меня важнее содержания был отцовский голос. Его звучание.

Теперь с картами и схемами Киевской оборонительной операции 1941 года читаю фронтовые очерки Аркадия Гайдара по-иному. Адрес первого «У переправы» угадывать не нужно. Он указан в газете: 306-й Краснознаменный полк.

Этот полк входил в 62-ю стрелковую дивизию, сражавшуюся в составе 5-й армии в Коростеньском укрепленном районе. Армия держала активную оборону, нанося контрудары во фланг вражеских войск, прорвавшихся к речке Ирпень.

С одним из героев очерка, комбатом Иваном Николаевичем Прудниковым, мы переписываемся, не раз встречались. Он рассказал, как в полк приехала бригада корреспондентов «Комсомольской правды», двое остались на КП командира полка, а Аркадий Гайдар пришел к нему во 2-й батальон. В атаку пошел с 6-й ротой. Добыл в бою трофейный автомат. Очень этим гордился.

Полк тогда наступал. И очерк Аркадия Гайдара начинается с того, что батальон капитана Прудникова занял село. Но заканчивается отходом за речку Икша.

Аркадий Гайдар предпочитал не обрывать правду на факте. Он рисовал правду ситуации.

Очерк с южного фаса обороны Киева называется «У переднего края».

«У прохода через тяжелую, обшитую грубым тесом баррикаду милиционер проверил мой пропуск на выход из осажденного города.

Он посоветовал мне проехать к передовой линии на попутной машине или повозке, но я отказался. День был хороший и путь недалекий...»

Куда именно вел этот путь, помогает установить упомянутый мельком в очерке номер вражеской дивизии — 95-я. Значит, Аркадий Гайдар прошел по улицам Залазнического района города, старой Соломенки, потом, пересекая овраги, добрался до поселка Пирогово, где сейчас находится Музей народной архитектуры и быта Украины. От стен города 95-я фашистская дивизия была отброшена именно сюда. Тоже не очень далеко, конечно. Но все-таки не Голоусеевский лес.

Оборону здесь держала наша 284-я дивизия. Шла артиллерийская и минометная дуэль.

«Грубые, скрепленные железными скобами бревна вздрагивают. Через щели на плечи, за воротник сыплется сухая земля. Телефонистка поспешно накрывает каской миску с гречневой кашей, не переставая громко кричать:

— Правей ноль двадцать, пятью снарядами!»

Позже, когда очерк появился в газете, кто-то из коллег засомневался:

— Аркадий! Ну при чем тут гречневая каша? Разве об этом сейчас нужно писать?

— Почему же не об этом? Если прикрыл миску, значит, после боя собирается пообедать. Значит, солдат, — ответил Гайдар.

В начале августа появился в Киеве еще один известиец — Михаил Сувинский. Он поселился в комнате с Виктором Полторацким. Сразу включился в работу, передавал информацию, но мечтал о большом очерке. Однажды, когда, вернувшись с фронта, журналисты снова собрались вместе, Виктор Полторацкий прочитал стихи:

Сувинский промолвил: ребята,  
Нам дан очень маленький срок.  
Пройду сквозь огонь автоматов,  
Добуду четыреста строк.

В атаку ходил я немало,  
С Гайдаром под Каневом был,  
Но нету и нету подвала,  
Без этого свет мне не мил...

Судя по воспоминаниям товарищей, Аркадий Гайдар побывал в Каневе несколько раз. Очерк «Мост» привез из первой поездки. Части 26-й армии отражали тогда врага на дальних подступах к городу, по каневскому мосту выдвигался навстречу противнику бронепоезд № 56, спешили на западный берег пополнения, шли на восток беженцы...

18 августа Аркадий Гайдар по вызову редакции прилетел в Москву.

В радиостудии записали его обращение к школьникам, которое должно было уйти в эфир накануне нового учебного года:

«...Страна о вас всегда заботилась, она вас воспитывала, учила, ласкала и особенно даже баловала.

Пришло время и вам — не словами, а делом — показать, как вы ее цените, бережете и любите».

После войны запись нашли. Но чтобы ее воспроизвести, понадобилось снова собрать аппарат «шоринфон», которыми уже не пользовались. Зато теперь можно услышать чуть искаженный, но все же узнаваемый глуховатый голос Аркадия Гайдара.

Возвращаясь из Москвы в Киев, Аркадий Гайдар забрал письма для своих товарищей. В том числе и для Юрия Крымова, который работал в газете 26-й армии. К нему в Переяслав отправились всей бригадой: Гайдар, Котов, Лясковский. Ехали не с пустыми руками, а потому весело. В кузове полуторки стоял железный ящик с коробками кинофильма «Танкер „Дербент“», снятому по повести Юрия Крымова. В ведре плескались карпы. Кое-что удалось раздобыть в Военторге.

Главный подарок — письмо Крымову от жены — лежало в полевой сумке Аркадия Гайдара.

Редакцию газеты 26-й армии «Советский патриот» разыскали на окраине Переяслава рядом с водокачкой. Юрий Крымов находился на передовой, но вот-вот должен был вернуться.

Поджидая Крымова, Аркадий Гайдар листал подшивку армейской газеты, дела выписки. Участвовал в редакционной летучке и выступил на ней. Встреча с Крымовым была радостной. Прежде чем вручить письмо, Аркадий Гайдар заставил его танцевать...

Теплым и тихим вечером все вместе ужинали, а потом читали стихи.

Юрий Крымов был моложе Аркадия Гайдара на четыре года. Жизнь его сложилась по-иному: блестяще окончил физико-математический факультет Московского университета, стал научным работником, первая книга вышла за три года до начала войны и сразу принесла большой успех...

Юрий Крымов погиб в бою 20 сентября 1941 года возле села Богодуховка под Пирятином, откуда редакция газеты «Советский патриот» вместе с другими разрозненными подразделениями 26-й армии пробивалась из окружения.

Одним из последних видел его живым парнишка из этого села Коля Коваленко, вывозивший с поля на лошадях кукурузу:

«Меня кто-то окликнул. Пошел на голос и вскоре увидел среди снопов пленных военных. Все они сидели на плащ-палатке, у каждого был пистолет.

— Не можешь ли ты достать нам гражданскую одежду? — спросил один из них.

Я поехал домой, собрал что можно из старья, заехал к соседке Мотре Слуцкой. Она дала мне три пары старых брюк, и я снова вернулся к военным. Четверо тут же стали переодеваться, а нятый, самый высокий, с орденом на груди и двумя шпалами в петлицах переодеваться наотрез отказался... В ту же ночь мой отец Алексей Яковлевич пошел хоронить убитого немцами советского офицера. Когда я взглянул на убитого, то узнал того человека, который отказался переодеваться».

...Последний очерк «Ракеты и гранаты» Аркадий Гайдар написал, сходя в ночной поиск с разведчиками 41-й дивизии на правый берег реки Остер.

Положение Киева резко усложнилось. Прорвавшиеся через Днепр фашистские части стремились с рубежа реки Остер выйти в тыл защитникам города. В глубоком тылу всех армий Юго-Западного фронта, замыкая их в кольцо, двигались навстречу друг другу две крупные танковые группы врага.

В ночь на 18 сентября был получен приказ оставить Киев. Вместе с другими корреспондентами и работниками политотдела 37-й армии Аркадий Гайдар перешел на правый берег Днепра. Остаток ночи провели в Дарницком лесу. Утром двинулись на Борисполь.

Виктор Полторацкий видел, как после одной из бомбежек Аркадий Гайдар прыгнул в кузов штабной полуторки...

\* \* \*

Вычеркивая дни в календаре, я ждал, когда вскроется лед и по Каме пойдут пароходы. В первых числах мая 1942 года с первым пароходом уехал из Чистополя. Отнес чемоданы знакомой семье, которая перебиралась в Ташкент, и, смешавшись с пассажирами, остался на борту.

В дороге подкармливали меня мотористы. Они же помогли пересечь в Горьком на пароход до Рязани. Оттуда в Москву на попутных машинах.

Почти сразу получил долгожданную весточку. Письмо было адресовано Аркадию Гайдару. Привожу его без исправлений:

«Дорогой товарищ Гайдар.

Вы наверно не забыли нашево отряда, которы вырвался из окружене. Я хотел узнат как вам дорога перешла. Я считаю вы прышли к наш шим в найлугчим парадку.

Я имею очен много рассказывать от моего перехода который я перешел.

Прошу писат мне ответ чем быстрее. Мой адрес следуши:

Город Чапаевск. Куйбышевская область. Рабочая строительная колонна 667 п/я 74 4 рота. Пенцак Михаил Давидович.

Вы наверно еще помните как мы были у партизан. Командира нашво отряда был полковник Арлов Александ Демитриевич. Я как повар и перевотчик тоже участвовал в отраде. Прошу ответ, извиняюз за ошипки».

Как милы были эти ошибки! Письмо обнадеживало.

Где-то в тылу врага сражался наш отряд, и раз уж им командовал полковник, то, наверно, немалый! Отряд двинулся на прорыв и, видимо, разделился на группы. Каждая пошла своим маршрутом...

Точность и грамотность адреса — Москва, улица Воровского, 52, ССП — подсказывала, что его дал автору письма Аркадий Гайдар.

Мы сразу послали в Чапаевск телеграмму. Теперь каждый вечер, возвращаясь с завода, я заходил на улицу Воровского. Это было как праздник: после десяти часов, проведенных в стальной зеленой бочке, которая под грохот наших пневматических молотков превращалась в бронированную кабину штурмовика «ИЛ-2», оказаться в комнате военной комиссии Союза писателей, где всегда были люди с фронта и вот-вот услышишь радостную новость.

Но ответа от М. Пенцака все не было. Пришло другое письмо, которое не оставляло место надежде. Белый узенький заграничный конверт сразу выделялся среди лежавших на круглом столике наших немудрящих конвертов и фронтовых треугольничков.

Фиолетовый штамп военной цензуры в городе Ельце. Из-за линии фронта лейтенант Абрамов сообщал:

«Когда часть армии была разбита, то мы, выходя из окружения, остались в партизанском отряде в приднепровских лесах. И однажды мы ходили по продукты на свою базу и нарвались на засаду, где и был убит тов. Гайдар Аркадий Петрович.

Его могила находится в Полтавкой области около ж. д., которая идет с Канева на Золотоношу. Если ехать с Канева, то надо доехать до станции Лепляво, а затем пройти пешком до 1-го переезда в направлении Золотоноши. Там есть будка — вот около этой будки на правой стороне ж. д. метрах в пяти от полотна и похоронен он...»

Полковник А. Д. Орлов, адрес которого удалось установить с помощью редакции «Красной звезды», откликнулся на наши письма лишь в декабре 1942 года. Он преподавал тактику в Академии ВВС.

«Сами понимаете, что сообщить в письме все, что было, нельзя. Уверен, что любой из видевших и знавших Аркадия Петровича тогда, когда мы были с ним вместе, скажет о нем лишь сердечное.

Для меня лично не было лучше, надежнее, исполнительнее человека в трудные минуты, чем он. Это человек исключительной честности, сердечности и отваги. Прошу об одном, мои друзья, может быть, слух есть какой о нем?

С моего разрешения, спросив моего совета и с желанием он остался там... 18.10.41 (где, как, при каких обстоятельствах — неудобно писать).

Думаю я, что как-нибудь все же попаду в Москву и все вам сообщу, — рад буду это сделать ради памяти друга и милого человека.  
Будем надеяться, что он жив и мы увидим его».

Странное, тревожное чувство вызывало письмо. Если «будем надеяться», если «слух есть какой», то почему же «ради памяти друга»? Может, все-таки лейтенант Абрамов ошибся? Однако и с Орловым переписка оборвалась. Не ответил он и на телеграмму секретаря военной комиссии ССП Ю. Либединского. Видимо, снова был на фронте.

В октябре 1944 года меня вызвал с занятий по навигации начальник политотдела Высшего военно-морского училища имени Фрунзе капитан I ранга Бельский. Он поднялся навстречу курсанту из-за стола, что сразу подсказало — разговор необычный. Протянул несколько листов бумаги:

— Садись читай.

Занимавшая половину страницы «Справка о гибели военного корреспондента „Комсомольской правды“» была подписана членом редколлегии газеты Ю. Жуковым. К ней приложено донесение журналиста капитана А. Башкирова:

«По заданию редколлегии я разыскал в Полтавской области могилу погибшего в 1941 году военного корреспондента Аркадия Петровича Гайдара.

Мне удалось разыскать партизана Бутенко (зав. Гельмязевским земотделом), который был в одном с Гайдаром отряде и хорошо помнит боевую деятельность Аркадия Петровича в отряде гельмязевских партизан. Командиром отряда был первый секретарь райкома партии Горелов (погиб в 1941 году). В селе Лепляво хорошо помнят Аркадия Гайдара семьи погибших партизан Степанца и Касича. В селе Михайловском Каневского района Киевской области (в восемнадцати километрах от Лепляво) я встретил жену лесника Швайко, сын которого был ординарцем у партизана Гайдара.

Из рассказов знавших Аркадия Гайдара колхозников и партизана Бутенко мне удалось установить следующее:

1. В партизанский отряд Горелова Аркадий Гайдар попал в сентябре 1941 года вместе с группой полковника Орлова (бывш. начальника штаба Киевской истребительной авиадивизии ПВО).

2. Полковник Орлов со своей группой пошел на выход из окружения, звал с собой Гайдара, но Гайдар категорически отказался покинуть партизанский отряд.

3. Гайдар в партизанском отряде с первого же дня зарекомендовал себя отважным пулеметчиком и особенно отличился в бою на территории лесопильного завода, когда он и его два пулеметчика успешно отразили натиск большой группы немцев.

4. Гайдар вел дневник партизанского отряда, написал несколько лирических произведений в форме писем к сыну, жене, читал их партизанам. Но автор всегда носил их с собой, и они попали в руки к немцам.

5. Гайдар погиб 26 октября 1941 года в результате стычки с немецкой заставой. Как утверждает Бутенко, в этот день Гайдар и еще четыре партизана пошли на продбазу отряда. Там на них напали немцы. Гайдар поднялся и крикнул: «В атаку!» Его сразила пулеметная очередь. (Остальные четверо спаслись.) Немцы тут же сняли с погибшего партизана его ордена, верхнее обмундирование, забрали тетради, блокноты. Тело Гайдара захоронил путевой обходчик».

\* \* \*

Со всеми, кто упомянут в донесении капитана Башкирова и остался жив, мне удалось встретиться.

Афанасия Федоровна Степанец топила печку. В хате было жарко. Пахло мятой. Младший сынишка Витя, одетый в белую, чистенькую, но заплатанную рубашку, слушал наш разговор и потихоньку гладил пальцами лакированный козырек моей «мичманки», которая лежала рядом с ним на лавке.

— Можэ, вы подумаеэ, що то був ны товариш Гайдар? Так я видам жизнь, що цэ був вин. Як посидали вечеряты партизаны, так он звирнув увачу до мэнэ и говорить: «Повернуться чэрвони, напышу про отряд, и будэ в той кнызи Феня взэчу подаваты и бабушка на караули. .»

С белой стены смотрели маленькие, мутные фотографии: муж Адриан Степанец и брат Фени — Игнат Касич. В ночь на 26 октября они проводили пяте-

рых партизан, в том числе и Аркадия Гайдара, из Лепляво. Оба расстреляны фашистами.

В селе Михайловке на другом берегу Днепра побывал я у Анны Антоновны Швайко. В списке партизанского отряда Горелова она значилась под номером четырнадцатым — связная. Ее муж Михаил Иванович Швайко — разведчик и проводник.

По справке партийного архива обкома партии отряд Горелова считался действующим с 8 сентября по 23 октября 1941 года. Ф. Д. Горелова и М. И. Швайко зверски замучили в Гельмязеве в гестапо. За день до ареста мужа Анна Антоновна успела перебраться с детьми за Днепр.

Анна Антоновна сняла с полки книгу и достала из нее сложенный вчетверо листок бумаги. Крупный, четкий почерк показался мне знакомым:

«Отзыв

Я, начальник штаба 36-й истребительной дивизии ПВО г. Киева полковник Орлов А. Д., находясь в наземном эшелоне, 25 сентября 1941 года после переправы остатков частей 37-й армии через болота у д. Борщовна организовал по личной инициативе отряд до 2000 человек и с боем вывел его в лес к д. Сосновка и далее к 1.10.41 в леса у деревень Озерищи — Лепляво.

Во время сосредоточения отряда в лесу у д. Озерищи я имел общение с лесником кордона № 54 Швайко.

Тов. Швайко М. И. исключительно честный и преданный советской власти человек. Мужественно и с большим риском для себя и своей семьи оказывал личному составу отряда помощь, был неоднократно проводником групп, укрывал командиров от облав немцев.

Мой настоящий отзыв могут подтвердить руководящий состав и члены ВКП(б), входившие в состав моего сводного отряда:

зам. командира дивизии НКВД интендант I ранга Николаев А. А.,  
военком 421-го БАО батальонный комиссар Бугаев,  
начальник связи ВВС 5-й армии майор Алферов,  
секретарь Киевского горкома ВКП(б) Ивкин,  
член Союза советских писателей военный корреспондент Гайдар».

Полковник Орлов поставил под этим отзывом номер своего партбилета и дату — 30 октября 1941 года.

Уже четыре дня как Аркадия Гайдара не было в живых. Но ни Орлов, вернувшийся на кордон номер пятьдесят четыре после первой неудачной попытки перейти линию фронта, ни лесник об этом еще не знали.

Анна Антоновна вспоминает, что за два дня до возвращения Орлова услышала от колхозников из Лепляво, приезжавших вывозить с поля солому, что возле их села убит какой-то красноармеец. Но о том, что это Аркадий Гайдар, она не подумала...

\* \* \*

Отходила в прошлое война, оседал ее дым. Появлялись, казалось, навсегда исчезнувшие в пламени люди.

В Каневе увиделся с Иваном Сергеевичем Тютюником. Он был комиссаром партизанского отряда. В Киеве встретился с полковником в отставке Александром Дмитриевичем Орловым. Харьковский журналист прислал адрес Сергея Федоровича Абрамова, который первым сообщил в Москву о гибели Аркадия Гайдара. На этот раз он откликнулся сразу:

«Получил Вашу телеграмму, очень она взволновала меня. Прошло столько лет, но из памяти не изгладилась те суровые дни 1941 года, когда судьба свела меня с Аркадием Петровичем.

За мое молчание Вы вправе на меня обижаться. Но прошу меня извинить и понять. Все годы после войны об Аркадии Петровиче много писали, выступали по радио очевидцы, и мне не хотелось надоедать Вам своими письмами...»

Перебираю пачки писем; от А. Д. Орлова. А. А. Швайко, С. Ф. Абрамова, Э. М. Бугаева, А. Ф. Степанец. Откладываю самые первые. Мне кажется, что именно они четче и яснее рисуют события последнего месяца жизни Аркадия Гайдара.

А. Д. Орлов:

«18 сентября в 5 утра все командование убыло на автомашинах в направлении Борисполя, и Киев был оставлен. Следом за нами уходили части, оборонявшие Киев, шли толпы жителей, сотни машин.

Творилось что-то непостижимое. Немцы уже были в пятнадцати километрах от Борисполя с трех сторон. Надо было организовать оборону и протолкнуть хоть какие-нибудь подразделения с артиллерией на единственную дорогу к востоку на Переяславль.

И вот нашлись энергичные товарищи. Они распрягли повозки, сели на коней и занялись наведением порядка на дороге. Об этом мне доложил начальник оперативного отдела моего штаба майор Киселев и сказал, что видел среди этих товарищей нашего знакомого писателя Аркадия Петровича Гайдара...»

С. Ф. Абрамов:

«Встретились мы с Аркадием Петровичем в Семеновском лесу у гнилой и болотистой речки Трубеж числа 22—23 сентября 1941 года. Аркадий Петрович много писал и тогда, в окруженном лесу, и когда выходили на юг, и когда были в партизанском отряде.

Особенно дружески Аркадий Петрович стал относиться ко мне после нескольких боев, проведенных вместе».

А. Д. Орлов:

«Присоединился он к моей группе после того, как мы выскочили из непосредственного окружения в районе Киева и шли в направлении Полтавы... Наш костяк, командиров 15—20, и Аркадий Петрович добрались до леса у Днепра у деревни Озерицы. Мы решили сделать остановку, были измучены, были и больные...»

А. А. Швайко:

«Помню, в один из вечеров муж ввел в дом несколько наших военных. Сказал, согрей воды, приготовь чем накормить людей.

Я все сделала. Муж помогал людям мыться. Раньше всех помог больному. Я напоила его горячим чаем с малиной, дала порошки аспирина. Согревшись, он заснул. Поужинав, свалились и уснули остальные. А мы уже не спали всю ночь. Муж караулил на улице, а я с сынишкой сушила их одежду и чистила. Если бы вы видели, какие это были люди, измученные, голодные, грязные.

Под утро муж всех разбудил. Накормили их. Больному приготовили пищу получше, снабдили таблетками. И муж отвел их подальше в лес и устроил в одном домике.

Придя к нам через пару дней, этот больной красноармеец поблагодарил за оказанную помощь. Вот так мы и узнали, что этот больной красноармеец писатель Гайдар».

А. Д. Орлов:

«Мне вспомнились беседы с т. Гореловым. Они соглашались, что лес, где они были, сам по себе ничтожен, «пяточный», выходы из него сразу в открытые места...

Т. Горелов говорил, что базируются так рискованно только потому, что отряд в периоде организации, а в дальнейшем предполагал идти на соединение с другим отрядом где-нибудь в районе Овруча...» «Перед моим уходом он (Аркадий Гайдар) договорился с М. И. Швайко о том, чтобы проводить нас, тепло простився (слезы на глазах были), настроение у него было очень тяжелое, вид измученный. Писал прощальное «письмо-напутствие» Тимуру Аркадьевичу с тремя звездами. Просил меня взять еще два очерка (о летчике моей дивизии, который таранил самолет противника над ж. д. мостом, другой о шестерых советских гражданах, связанных проволокой и утопленных в одной из деревень).

Но ни то, ни другое взять было нельзя, так как моей группе надо было идти в неизвестное».

А. А. Швайко:

«Документы людей Орлова были захоронены до их ухода раньше на три дня. Готовили их к захоронению с Михаилом Ивановичем майор Алферов и капитан Долгов. Они попросили стеклянные литровые две банки и еще чего-нибудь, чтобы их завернуть. Я отрезала кусок клеенки.

А 16 октября я по просьбе Аркадия Петровича приготовила на двенадцать человек ужин группе Орлова. Продукты приносил Миша Пенцак — переводчик.

Группа с Орловым ушла 18 октября, проводил их Михаил Иванович. Вернулся он домой через четыре дня».

С. Ф. Абрамов:

«Уход группы Орлова из отряда перед большими боями Аркадий Петрович считал в душе неправильным. Уходить собиралась и наша группа, но Аркадий Петрович настоял, чтобы мы вышли позже. В этом случае на решение об уходе влияло то, что ему был нужен живой материал о партизанской борьбе».

И. С. Тютюник:

«В какое время немцы подошли к лагерю? Это было на рассвете примерно 22—23 октября. Когда фашисты схватили нас в полукольцо, прижав к речушке, отряд быстро занял оборону и начал отбиваться. Гайдар, как пулеметчик, стал у пулемета, и вообще каждый боец был заранее прикреплен до соответствующего места.

Натиск фашистов с превосходящими силами отряд не выдержал и получил команду отойти. Гайдар, как пулеметчик, продолжал отбиваться, так что тов. Гайдар, по сути, сам вызвался прикрывать отступающих».

С. Ф. Абрамов:

«После боя у лесопильного завода, когда какой-то предатель привел фашистов в расположение отряда, отряд распался... И мы решили уходить к фронту. Это было как раз перед 26 октября.

26 октября пошли в село Лепляво в разведку и за продуктами. Шло нас человек пять. И Аркадию Петровичу обязательно было идти. Но вы знаете его! Разве можно было бы его удержать. Выходя из села, нам нужно было перейти железную дорогу. Аркадий Петрович, как всегда, шел впереди... Подошли к переезду. Никто из нас не ожидал встретить засаду. Мы шли и разговаривали. Поэтому немцы или мадьяры открыли огонь без окрика. Аркадий Петрович упал сразу».

\* \* \*

Ранним утром 21 сентября 1947 года мы двинулись от лесной поляны возле села Лепляво к Днепру. Низенькая двухосная платформа, такие используют рабочие-путейщики, катилась, поскрипывая, по ржавым рельсам. Шпалы мешали почетному караулу держать шаг. Штыки поблескивали на солнце. День занимался ветренный, но безоблачный.

На поляне, откуда мы начали свой путь, прямо пахли осенние травы. Поляна была высокая и сухая. С одной стороны ее перерезает железнодорожная насыпь, с другой — подступает невысокий сосновый лес.

Вчера саперы перекопали эту поляну вдоль и поперек.

— Здесь, — сказал наконец один из солдат, отложил лопату и начал гребать песок руками.

Тело Аркадия Гайдара нашли метрах в десяти от холмика, который 26 октября 1941 года насыпал путевой обходчик Сорокопуд. Видимо, он сделал так, чтобы скрыть настоящую могилу от немцев и полицаев, если бы они задумали к ней вернуться.

— Одна пуля, — определила женщина-военврач. — Прямо в сердце.

Узкие дощатые челны ждали нас на берегу. Они были украшены зелеными ветками, срезанными в прибрежном кустарнике.

Гроб с телом Гайдара сняли с платформы, перенесли в челн. Рядом встали солдаты, секретарь Каневского райкома КПУ Ткач, секретарь райкома комсомола Паценко, еще несколько человек. В других челнах белели платочки учителей из Канева и Лепляво.

Рассеченный оврагами правый берег поплыл нам навстречу. Вздымалась громада Тарасовой горы, карабкались на кручу мазанки Канева.

Вода возле тяжелых каменных быков взорванного моста пенилась, брызги летели в лица солдат, зеленые прутья трепетали под ветром. Казалось, дождавшись своего часа, Аркадий Гайдар форсирует Днепр с броском десанта. А еще казалось, что, заглушая стрекот подвесных моторов, звучат памятные с детства пророческие слова: «Похоронили Мальчиша на зеленом бугре возле Синей реки...»

---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС СЛУЦКИЙ

★

\* \* \*

Похвала была хороша,  
как невеста у алтаря.  
От нее замирала душа,  
разгоралась, словно заря.  
В дальний угол сознания  
я засуну это признание:  
про черный день,  
про черный год,  
про безнадежный конец,  
положу в тень,  
не пущу в оборот  
этот лавровый венец.  
Вспомню, выну из памяти эти слова,  
эту тайную славу и вечное право,  
чтоб опять закружилась голова  
от всемирного «браво!».

## Фунт хлеба

Сколько стоит фунт лиха?	Ели стебли, грызли корни,
Столько, сколько фунт хлеба,	Были рады крапиве с калиной.
Если голод бродит тихо	Кони, славные наши кони
Сзади, спереди, справа, слева.	Нам казались ходячей кониной.

Лихо не разобьешь на граммы —	Эти месяцы поражения,
Меньше фунта его не бывает.	Дни, когда теснили и били,
Лезет в окна, давит рамы,	Нам крестьянское уваженье
Словно речка весной, прибывает.	К всякой крошке хлеба привили.

## Шоферы «скорой помощи»

Без права обеда, без права сна  
каждый третий день.  
Конечно обедают и спят.  
Но только как и где?  
Права обеда и права сна,  
которые есть у всех,  
они на целую треть лишены,  
и так всю жизнь.

В «скорой помощи» скорость — они,  
и только помощь — врачи.



Проскакивай красные огни,  
вставай в баранку. Молчи.  
Думать врачу не мешай,  
больному — болеть.  
Сел за руль и проезжай  
жизни целую треть.

Сколько вытасил, упас  
в самый последний час!  
Сколько спас в последний миг —  
вспоминай про них!  
Нету помощи этой скорей,  
нету неотложней.  
Видишь — ждут тебя у дверей.  
Стало быть, случай сложный.

Тормози! И не задень  
выбежавших, подождись.  
И эдак каждый третий день.  
Всю — напролет — жизнь.

### Стало быть

Посмотревшись в зеркало, не понравился,  
снова не понравился себе,  
искривился, а потом поправился,  
подчинился, стало быть, судьбе.

Что же, много лет и много бед,  
много бедствий, стало быть, последствий.  
Как же тут дождешься морды лестной?  
Нет — стало быть, нет.

Внутренними, стало быть, достоинствами  
недостаток внешних восполнять  
надо: честью, стало быть, и совестью,  
а на зеркало чего пенять.

\*.\*.\*

Во второй половине второго десятка,  
Когда естся, и пьется, и пишется сладко,  
Когда море, которого ты не видал,  
По колено тебе, по колено  
И глядит на тебя бесконечная даль,  
Покоренно глядит, покаянно.

Восемнадцать лет, и прошлого нет,  
Настоящее только и будущее,  
По прекраснейшей из планет  
На такси бесплатном едущее.

Что захочешь, дам — только попроси,  
все, что надо, сделаю,  
потому что мне хорошо в такси  
в это утро свежее, белое.

Все, что хочешь, проси — не жалко мне.  
Все, что хочешь, спроси — я отвечу мудро.  
Потому что я весь в прохладном огне  
Голубого, синего утра.

### О стихах на случай

Какие случаи случались,  
а вот стихи не получались.  
Да, было в случаях такое,  
что поэтической рукою  
касаться страшно было их

и стыдно, совестно — других,  
а третьих — просто неудобно,  
а некоторых — нелегко:  
случившееся ведь от догмы  
поэзии так далеко.

\* \* \*

Логика дна не логика дня,  
скорее — логика сна.  
Дрипертый к стене, понимаю: стена  
поддерживает меня.

Сначала все ее кирпичи  
кричат: молчи.

Потом они хлеба дают, воды,  
и я продолжаю труды.  
Я продолжаю их в тишине,  
свойственной стене.

В ее безнадежности, с ее окончательностью  
все продолжается с прежней тщательностью.

\* \* \*

Учтя подручный материал,  
свой неглубокий опыт,  
систем я создавать не стал,  
а стал глазами хлопать.

Не стал я на манер газет  
всему давать оценки,

стал безответственно глазеть  
то случаи, то сценки.

Не стал я создавать систем,  
пишу лишь то, что вижу,  
и с чем я был, остался с тем,  
не поднялся я выше.

### Том последний. Письма

Чужие письма как чужие окна.  
Дотронусь и как будто камнем кокну.  
Когда же начинаю их листать,  
почувствую себя, как робкий тать.  
Читаю и влезаю в дом чужой.  
В чужую душу прусь своей душой.  
В чужие письма с улицы гляжу.  
А что сквозь полумрак я полувижу,  
об этом лучше я не расскажу  
товарищам. не доложу повыше.  
Чужая книга — это для меня.  
Письмо чужое — только для чужого,  
но что-то больше самого большого,  
но что-то жарче самого огня  
притягивает сызна к письму  
чужому, к сердцу, не для нас раскрытому,  
к его интимному биению, ритму.

Том писем снова с полки я сниму.

\* \* \*

Набегала беда на беду,  
и они истребляли друг друга.

Как волна побораает волну,  
как метель заметает вьюгу.

Я был грудью морского дна,  
я был грудью открытого поля.  
А беда не приходит одна,  
по две, по три и даже боле.

Осаждались, копились во мне,  
громоздились, росли, нарастали,  
а потом уходили вовне,  
по себе только память оставя.

Был закал. А стал перекал.  
И удача на удачу  
набегала, как вал на вал,  
и решалась любая задача  
сразу!

Только к ней приступал.

### Сын негодяя

Дети — это лишний шанс.	Ласковый отцовский нагоняй
Данный человеку богом.	Второй — Излагает сдержанно и сильно:
Скажем, возвращается домой	— Не воруй,
Негодяй, подлец.	Не лги
В дому убогом	И не дерись.
Или в мраморном дворце —	Чистыми руками не берись
Мальчик повисает на отце.	За предметы грязные.
Обнимают слабые ручонки	По городу
Мощный и дебелий стан.	Ходит грязь.
Кажется, что слабая речонка	Зараза — тоже есть.
Всей душой впадает в океан.	Береги, сыночек, честь.
Я смотрю. Во все глаза гляжу —	Береги, покуда есть.
Очень много сходства нахожу.	Береги ее, сыночек, смолоду.
Говорят, что дети повторяют	Смотрят мутные его глаза
Многие отцовские черты.	В чистые глаза ребенка.
Повторяют! Но — и растворяют	Капает отцовская слеза
В реках нежности и чистоты!	На дрожащую ручонку.
Гладит по головке негодяй	В этой басне нет идей,
Ни о чем не знающего сына.	А мораль у ней такая:
	Вы решаете судьбу людей?
	Спрашивайте про детей,
	Узнавайте про детей —
	Нет ли сыновей у негодяя.

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

*Приказье — продолжение встреч*

---

Н. И. БЕХ,  
генеральный директор производственного объединения КамТЗ,  
делегат XXVII съезда КПСС

★

## ОБНОВЛЕНИЕ

1

**В** нескольких километрах севернее нынешней Елабуги 2500 гектаров отведено под промышленную зону города. Здесь по решению партии и правительства будет построен новый в стране индустриальный гигант — производственное объединение Камский тракторный завод. В его составе запроектированы шесть заводов: литейно-кузнечный, двигателей, топливной аппаратуры, турбокомпрессоров, станкоинструментальный и тракторный. Именно это крупное производство станет выполнять одну из важнейших задач, записанных в Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года: «Организовать изготовление новых моделей... колесных универсально-пропашных... тракторов».

Каким он будет, наш трактор?

Очень серьезно, без спешки, взвешивая все «за» и «против», выбирали специалисты базовую модель. Соревновались минская и липецкая конструкции, у каждой были свои преимущества, но были и слабости, которых хотелось избежать в новой машине. Наконец государственная комиссия — а в ее составе были представители и сельскохозяйственного производства, и сельскохозяйственного машиностроения, и Госкомитета по науке и технике, и Госплана СССР — по результатам испытаний приняла решение: в Елабуге будет поставлена на производство белорусская модель.

В чем ее основные достоинства? Машина спроектирована по классической схеме: основные узлы ее и детали примерно на 70 процентов унифицированы с узлами и деталями широкоизвестного трактора «Беларусь»; двигатель — стопятидесятилитный; без капитального ремонта машина сможет работать 10—12 тысяч часов; приспособления для навесных орудий у трактора спереди и сзади. Самый сильный из работающих сейчас на полях пропашных тракторов способен одновременно обрабатывать 8 рядов посевов. Наша машина будет в силах захватить 18 рядов. Это значительно сократит долю ручного труда. Сейчас пропашные культуры занимают в стране 8—10 процентов пашни, а труда забирают 50 процентов. По самым скромным подсчетам, новый трактор наполовину сократит эти расходы.

Первую машину (пока единственную, ее собрали для нас в Минске) мы показали жителям Елабуги на первомайской демонстрации в нынешнем году. А до этого наши специалисты — в первую очередь конструкторы и технологи — хорошо «прощупали» все детали машины, примеряя ее к производству на конвейере. К какому пришли выводу? Трактор безусловно хорош. Сейчас он отвечает требованиям мировых стандартов. Наш «МТЗ-142» ни в чем не уступает, например, американскому трактору «Джон Дир-4450», а по некоторым характеристикам и превосходит его: он легче на 300 с лишним килограммов, число передач у него — на две больше, почти на 700 килограммов выше грузоподъемность задней навески, меньше расход топлива. Знакомился я в Италии с трактором примерно такого же, как и наш, класса фирмы «Фиат

траттори». Хороша машина! 70 процентов выпуска идет на экспорт и легко реализуется на мировом рынке. Но и наш трактор не хуже итальянского.

Несмотря на все это, мы уже сейчас думаем над улучшением модели. Да, в настоящее время наша машина не уступает лучшим мировым образцам. Но запустим-то мы конвейер через пять лет. Наивно думать, что наши основные конкуренты на мировом рынке все эти годы будут топтаться на месте. Нет, они, конечно, уйдут вперед, а мы можем отстать. Как избежать этого? На предприятии уже сейчас создается крупное конструкторское подразделение, которому мы придаем особое значение. Большинство наших конструкторов — это специалисты, много лет проработавшие на крупных предприятиях отрасли, например на ВАЗе или КамАЗе — предприятиях, можно сказать, образцовых, чье появление в стране привело к качественному скачку в нашем машиностроении. Мы ставим перед ними задачу улучшить маневренность машины, снизить расход топлива и масла; трактор должен ходить без капитального ремонта 12—14 тысяч часов (нынешний пропашной трактор ходит 7—8 тысяч часов). Уже сейчас видно, что модель требует доработки и по кабине — надо создать современный уровень удобств для работы механизаторов — и по дизайну. Одновременно с улучшением уже спроектированной машины конструкторы будут разрабатывать и модель трактора 2000 года.

Наша машина должна быть конкурентоспособной на мировом рынке — такую задачу мы сразу перед собой поставили. Я вообще считаю, что производство, которое не продает свою продукцию на внешнем рынке, — это предприятие без будущего. У него нет знаний высших критериев для оценки своей продукции, нет стимулов для постоянного развития производства и улучшения качества товаров. Мы планируем до 20 процентов наших тракторов отправлять на экспорт. В этом деле пойдем по пути ВАЗа — не будем создавать машины в так называемом экспортном исполнении (почему машины на экспорт должны быть лучше, чем для нас самих?), а станем отправлять на мировой рынок обычные машины с конвейера. Но это значит, что конструкция этих машин должна все время улучшаться, чтобы в любой момент соответствовать высшим критериям оценки.

Уже сейчас создаем на заводе НИК — научно-исследовательский комплекс. Пока он выглядит скромно — размещается в пристройке к выделенному нам городом жилому дому. Там уже смонтировали кое-какое оборудование, поставили первую индукционную печь: в ней во время работы XXVII съезда отлили первый металл — высокопрочный чугун. Здесь начали испытывать новые материалы, новые технологические процессы. Что-то аналогичное создадим к концу года и для управления главного конструктора, чтоб были условия и конструировать новые детали и испытывать их. Мы считаем, например, что на нашем тракторе не должно быть стального литья — надо перейти на высокопрочный чугун. Изменится технология производства около полусотни деталей трактора (наши конструкторы вместе с минчанами сейчас этим занимаются). Что это даст? Качество машины несколько не пострадает, но значительно увеличится производительность заготовительного производства, улучшится и облегчится механическая обработка деталей. Чтобы трактор без капитального ремонта ходил 14 тысяч часов, нам надо в ряде случаев переходить на принципиально новые конструкционные материалы.

Полученный нами из Минска трактор, о котором я уже упоминал, весной погал заводу осваивать земли, отведенные нам под подсобное хозяйство. (Это — 3 тысячи гектаров, часть из них в этом году мы впервые засеяли, на этой же земле заложили свиноферму на 10 тысяч голов, ферму крупного рогатого скота на 600 голов, конеферму, где будет производиться кумыс, пчелиное хозяйство...) Так что первый «МТЗ-142» уже принес нам вполне ощутимую, реальную пользу. Но не это в данном случае я хотел бы подчеркнуть. Мы и с п ы т ы в а л и трактор в производственных условиях — вот что было для нас самым ценным. Помню, после окончания работы съезда партии мы, его делегаты, были приглашены на коллегию нашего министерства. Запомнились мне слова министра А. А. Ежовского, сказанные там: «Новую технику надо испытывать не на спине колхозника, а на стендах, в лабораториях, на опытных производствах...» Так вот, строя завод, мы одновременно уже и обрабатываем, улучшаем модель, которую станем делать. Уже сейчас, не ожидая конца строительства (а оно, по существу, только началось), мы придирчиво ищем в конструкции машины «узкие» места и думаем над тем, как их можно «расшить». Хотим избавить работников сельского хозяйства от необходимости ремонтировать трактор

в полевых условиях, а для этого надо создать так называемую равнопрочную конструкцию — любой узел машины должен без ремонта выдерживать гарантированные тысячи часов работы.

Когда я был на фирме «Фиат траттори», меня заинтересовало там необычное подразделение — центр испытаний. Сложнейшие электронные приборы исследуют здесь работу практически всей машины в целом и отдельных ее узлов, фиксируются все отставания от уровня, предъявляемого к тракторам такого класса на мировом рынке, ведутся поиски решений для преодоления этих отставаний. И так — постоянно! Как постоянен в мире технический прогресс... Подобный центр испытаний мы запроектировали и для нашего производства, ибо без него нам не решить нелегкую задачу: все время поддерживать машину на уровне лучших в мире образцов. Кстати, фирмы Австрии, ФРГ, Италии, других западноевропейских стран проявили заинтересованность в сотрудничестве с нами по отработке конструкции трактора и технологического проекта, сейчас по этому поводу ведутся переговоры. Одним словом, с нашего конвейера с первого дня его работы должны будут сходиться машины, в кабины которых с радостью сядут наши сельские механизаторы, машины, за которые, надеемся, самые строгие покупатели на внешнем рынке не поспусят хорошо заплатить твердой валютой.

## 2

Строительство на промплощадке идет полным ходом.

К открытию XXVII съезда партии смонтировали металлоконструкции каркаса главного корпуса станкоинструментального завода... Пишу сейчас об этом и ловлю себя на невольном волнении. Уж больно трудно нам дались эти первые металлоконструкции! Лишь в феврале прошлого года они были заказаны, в Елабугу поступили в третьем-четвертом квартале. В рекордные сроки строители производственного объединения Камгэсэнергострой — нашего генерального подрядчика — сделали фундаменты, круглосуточно работали монтажники треста Стальконструкция Минмонтажспецстроя, наши рабочие и инженерно-технические работники, ни с чем не считаясь, помогали им. То и дело, координируя работу, совместно заседали четыре парткома — Камгэсэнергостроя, ГлавКамАЗпромонтажа, Камдорстроя и нашего объединения КамТЗ, не раз на этих заседаниях присутствовали работники областного и городского комитетов партии. Нам во что бы то ни стало надо было выполнить план! И мы это сделали... Когда закончим строить наши заводы, наверно, мелочью будет выглядеть то, о чем я только что рассказал. Но сейчас эта, по существу первая, победа на промплощадке доставила нам много радости.

В прошлом году ввели в эксплуатацию 11 жилых домов, в этом году построим в два раза больше. В Елабуге, кроме этого, до конца года появятся два детских сада, новая школа, профессионально-техническое училище, гостиница, общежитие, роддом, баня — уже идет строительство всех этих объектов. Стремительно расширится фронт работ на промплощадке. В этом году подадим тепло в главный корпус станкоинструментального завода. К тому времени надеемся на этом корпусе целиком смонтировать ограждение конструкции и кровлю, поставим в нем несколько десятков станков, на которых станем делать нестандартизируемое оборудование для строителей. Возводятся фундаменты под завод топливной аппаратуры и завод двигателей, готовится фундамент под корпус серого чугуна.

Строя объекты объединения, мы внесем новшества, подсказанные опытом работы наших крупнейших машиностроительных предприятий. Учтем, в частности, те недочеты, которые были допущены при организации этих производств. Например, на КамАЗе в свое время мы так организовали литейное производство (я тогда был там директором литейного завода), что могли переплавлять все отходы, образующиеся в объединении. Но мешал этому запроектированный еще при строительстве предприятия порядок: каждый камазовский завод получает сейчас план по сдаче металлолома. И попробуй не выполнить этот план. В результате вместо того, чтобы на месте переработать отходы в нужный объединению металл, заводы отгружают его на склады, оттуда отходы по железной дороге едут за тридевять земель, а навстречу им по той же дороге едет на КамАЗ металл. В проекте нашего завода уже нет этой несуразицы — все отходы, которые станут образовываться на предприятии, планируется перерабатывать в литейке. Или такой пример. На литейном заводе КамАЗа мы в свое время почти полностью отказались от услуг ТЭЦ в горячей воде. Для этого создали

установки для переработки вторичного тепла — от печей завода. Сделать все это было нелегко. Мало того что надо было соорудить специальные установки, еще требовалось встроить их в действующую технологию, одним словом, их надо было приспособить. Теперь на КамТЗ использование таких установок заложено в технологическом проекте.

В свое время пуск в эксплуатацию Волжского автомобильного завода, а потом и КамАЗа был крупной победой нашей индустрии. Оба объединения стоят на вершине мирового машиностроения, воплощая лучшее, что дали отрасли мировая наука и инженерная практика, они — образцы, к которым по мере сил стараются приблизиться другие. Но идут годы, делаются новые научные открытия, появляются новые организационные, технологические идеи... Сейчас, строя новое производство, нельзя всего этого не учитывать. Мы планируем применение роботов, электронно-вычислительной микропроцессорной техники, гибких перенастраиваемых систем, автоматических систем управления, автоматических систем проектирования; на наших заводах будут использованы металлокерамика, безотходная штамповка, холодное выдавливание и другие самые современные технологии.

Где мы возьмем оборудование для наших заводов? Вопрос непростой. Многие машиностроительные предприятия страны — и среди них такие крупные, как ЗИЛ, АЗЛК, ВАЗ, Челябинский, Чебоксарский, Волгоградский тракторные заводы, — сейчас переживают период реконструкции, и каждое производство, конечно, хочет оснащаться, что называется, по последнему слову техники. Но и прибегаться нам особенно не следует. Например, в Иванове делают прекрасные обрабатывающие центры. Наши товарищи недавно были в ФРГ и видели: эти станки работают там на фирмах рядом с западногерманскими, японскими, нисколько им не уступая. Собираемся отправиться на Ивановское станкостроительное объединение, как говорили в старину, на выгучку; на своем станкоинструментальном заводе хотим освоить производство таких же обрабатывающих центров. Первую очередь завода оснастим центрами чужими, а ко времени пуска второй очереди должны научиться делать их сами. Я давно с восхищением слежу за успехами Тираспольского завода литейных машин имени Кирова. Считаю, что его линии для точного стального литья одни из лучших на мировом рынке. Конечно, мы закупим эти линии. Большие надежды у нас и на Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе.

Налаживаем мы сейчас тесные деловые связи с Академией наук СССР. Идея такого сотрудничества возникла у меня на съезде партии, когда я слушал выступление президента Академии наук А. П. Александрова. Он, в частности, рассказал: «Академия наук СССР ведет и фундаментальные и прикладные разработки. У нас сейчас есть более 300 законченных разработок, которые можно внедрять в промышленность и которые не внедряются». Я тогда подумал: вот это то, что нам сейчас крайне нужно! Мы предоставим возможность ученым довести свои идеи до конечной цели — промышленного внедрения, станем для них своеобразным огромным испытательным полигоном. Новые технологии, предлагаемые учеными, требуют проверки и доводки на специальном оборудовании, затем под эти технологии потребуются установить в цехах оригинальные промышленные линии, а для этого их надо будет сконструировать и построить. Мы готовы сделать для ученых все это, готовы пойти на любые издержки во имя нашего сотрудничества, ибо уверены, что издержки эти с лихвой окупятся.

Многие виды необходимого нам оборудования закупим в странах СЭВ. Кое-что приобретем у капиталистов. Например, нужен станок для обработки валика турбокомпрессора. Деталь эта оригинальная, разрабатывать под нее специальный шлифовальный станок нет смысла. Закупим на валюту некоторое оборудование и для литейного производства.

Заводы наши внешне будут выглядеть необычно. Стены, например, камазовских корпусов сделаны были традиционно — из железобетонных панелей. У нас же корпуса запроектировано соорудить из металлических утепленных панелей. Их мы покрасим, гаммы цветов уже подбирают специалисты Промстройпроекта и нашего управления главного архитектора. Каждый завод, таким образом, будет иметь свое лицо. Мы уже все это прикинули на макетах — право, выглядит очень красиво и эффектно!

Конечно, строительство таких крупных промышленных объектов, как наш КамТЗ, — дело непростое, и нам приходится преодолевать немало трудностей. Но труд-

ности трудностям разнь. Части из них, считаю, можно было бы избежать и тем самым ускорить стройку.

Когда в печати появилось сообщение о решении строить на Каме крупное тракторное производство, к нам стали поступать письма. Люди с тревогой спрашивали в них: а что станет с Елабугой? Какова будет судьба знаменитых сосновых боров, древних городских кварталов? Во многих письмах вместе с тревогой высказывалось и категорическое требование: город своей историей, своим неповторимым обликом слишком дорог нашему народу, и надо обязательно сохранить в нем все, что хранит следы славной биографии... Конечно, обо всем этом не могли не думать и проектировщики новостроек в Елабуге, и строители, и мы, заказчики. В третьем номере «Нового мира» за прошлый год Евгений Никанорович Батенчук, начальник производственного объединения Камгэсэнергострой, подробно рассказал о том, как будет решаться эта проблема — решаться по л о ж и т е л ь н о, бескомпромиссно. Я же расскажу об уже возникающих тут вопросах.

Технология нашего производства должна быть безопасной для окрестных лесов и в целом для природы у Елабуги. Это все как будто хорошо понимают, но почему-то наша ТЭЦ по проекту должна была работать на кузбасском каменном угле. В республике все старые электростанции, работающие на угле, запланировано в двенадцатой пятилетке перевести на газ, а новую ТЭЦ, одну из наиболее крупных, планируем на угле. Парадокс! Сколько сил у нас ушло на переговоры в Госплане! Выбросы из труб ТЭЦ, работающей на угле, говорили мы, не пощадят леса, для хранения угля и отвалов золы понадобятся большие площади. Да и какая надобность возить к нам из Кузбасса уголь, если через земли Татарии так густо проложены газопроводы? Добились наконец: основным топливом для строящейся ТЭЦ будет газ. А аварийным (это обязательно предусматривается)? Мы предлагаем мазут — нам навязывают все тот же каменный уголь. Зачем? Республика производит большое количество мазута и практически весь его сейчас отправляет за пределы Татарии. Так почему же не согласиться с нашим предложением? Мы боремся за экономию мазута, говорят нам в Госплане. Но есть же местные условия, которые нельзя не учитывать!

До сих пор мне не приходилось так много и часто ходить по инстанциям. Теперь пришлось, и я, вспоминая подробности этих хождений по мукам, с сожалением думаю: когда же это мы успели развести такие махровые бюрократические порядки? Большинство выступавших на съезде делегатов говорили о тормозящих наше развитие устаревших инструкциях, о безответственности «ответственных работников», о потоках бумаг, в которых тонет живое дело, и так далее. Слушая эти выступления, я мысленно подкреплял их десятками примеров из собственной практики.

Мне до стройки казалось: ну споры, несогласия, разные точки зрения по таким крупным вопросам, как, например, надо или не надо строить еще одно тракторное производство, возможны и даже полезны, если они своевременны. Но когда уже принято решение, когда стройка вошла в Основные направления, все завязанные на этом деле люди должны употребить максимум усилий для выполнения этого решения. К сожалению, этого не произошло. Убежден: строительство можно вести значительно быстрее, если на каждом шагу не наткаться то на инструкцию, то на параграф, то еще на какую-нибудь рогадку. Я не против документов вообще, понимаю организующую силу большинства из них; я не понимаю, зачем нужны такие документы, которые не помогают, а мешают работать. Пример? Их десятки... Пол в цехах наших заводов будет выслан деревянной шашкой — как это было сделано на ВАЗе и на КамАЗе. Но на получение этой шашки, материал для которой уже выделен нам специальным правительственным распоряжением, мы должны получить еще разрешение Госстроя СССР. Я в Госстрой писать не могу, пишет министр, в комитете месяц будут «рассматривать вопрос» потом напишут: «на ваше входящее наше исходящее...» Кому нужна вся эта волокита? Кому от нее польза? Или такой, например, эпизод. Изыскательская организация закончила работу в нашей промзоне — выдала все исходные данные, необходимые для проектирования фундаментов. Думаете, проектные институты кинулись разрабатывать фундаменты? Не тут-то было, инструкция категорически требует: разработку фундаментов можно начинать лишь после оформления изыскателями отчета. А чтобы оформить отчет по всем правилам, необходимо полгода. Но это время можно сэкономить! Отчет, который требует Госстрой, совершенно не нужен проектировщикам, для чертежей, по которым строители уже



могли бы начать работать, вполне достаточно исходных данных. Увы, строители будут ждать полгода.

Еще пример. Очистные сооружения для нашего объединения будут проектироваться года полтора. Мы предлагаем: давайте возьмем готовый проект, по которому строились эти сооружения на КамАЗе (кстати, очень хороший, вполне современный проект), и уже сейчас начнем строить первую очередь. Нам этой очереди хватит на пять лет, а тем временем проектанты пусть рассчитывают вторую очередь, третью. Нет, говорят, так делать не положено... Такое впечатление, что мы сами себе придумываем лишние трудности. В таких крупномасштабных делах, как наша стройка, подобные бюрократические выкрутасы слишком дорого обходятся государству.

По поводу некоторых затруднений хотелось бы сказать особо. Серьезная проблема возникла у нас по так называемым ограждающим конструкциям — трехслойным металлическим панелям, которыми по проекту должны быть обшиты стены заводских корпусов. Панели эти заполнялись раньше пенополиуретаном. Пожарные признали этот материал огнеопасным, а промышленность другого пока не предложила. Как нам теперь выходить из положения? Решение вопроса не терпит отлагательства. Вместе со строителями мы пытались производство панелей с безопасным заменителем создать на месте, в условиях Камгэсэнергостроя, но Минэнерго возражает, считает, что дело это должно решаться в масштабах министерства. А время идет, дело же стоит на месте. Волнует нас и неясность с материалом для кровли. Кто станет производить для этого специальные панели? Многочисленные визиты во многие инстанции пока не внесли ясности и в этот вопрос.

По проекту и в промзоне и в новых городских кварталах мы должны проложить десятки километров труб. Каких? Весь мир давно перешел на пластмассовые, они и дешевле и долговечнее. И уж, казалось бы, где-где, а в новой Елабуге, на строительстве такого современного предприятия, как наш КамТЗ, должен быть учтен этот опыт. Увы. Нам запроектированы трубы металлические. Почему? Пластмассовые трубы наша промышленность выпускает, а вот арматура к ним делается пока в недостаточном количестве. Так, во всяком случае, нам объясняют суть проблемы. В связи с этим мне вспоминается горячее выступление на съезде президента Академии наук Украины Б. Е. Патона, который, в частности, говорил: «Советский Союз потребляет сейчас стальных труб столько, сколько Соединенные Штаты Америки, Япония, ФРГ, Англия, Франция, Италия, вместе взятые. В этих странах потребление стальных труб неуклонно снижается, они используются лишь там, где не могут быть заменены неметаллическими трубами, и в первую очередь пластмассовыми. Наши потребности в таких трубах огромные... Это позволяет сберечь огромные количества металла, так как одна тонна пластмассовых труб заменяет 4—5 тонн стальных. При этом они служат не менее 50 лет без всякой изоляции». Если мы добьемся замены металлических труб на пластмассовые, это будет разумная и заметная экономия металла.

### 3

Когда на съезде говорили «человеческий фактор», я, сидя в Кремлевском Дворце, вспоминал конкретные лица...

Например, Перцева Виктора Васильевича — заместителя генерального директора по строительству Волжского автомобильного завода, через несколько лет — заместителя генерального директора по строительству КамАЗа, сейчас — заместителя генерального директора по московской дирекции нашего строящегося объединения Камский тракторный завод; Косотурова Александра Илларионовича — еще недавно главного энергетика КамАЗа, а сейчас главного энергетика КамТЗ... Директор литейного завода С. Г. Бахметьев был заместителем директора металлургического производства ВАЗа, после семнадцати лет вполне благоустроенной жизни в Тольятти приехал с семьей в Елабугу. Начальник управления строительства промышленных объектов Н. И. Мищенко — бывший работник КамАЗа — был там заместителем директора литейного завода... Все они прекрасные специалисты, но сказать о них только это — сказать не все самое главное. Инженерный корпус нашего объединения состоит сегодня в основном не только из профессионалов высокого класса, а и из людей, не растерявших в жизни, считаю, одно из лучших человеческих качеств: им интересно браться за трудное и новое дело. Все они, как правило, до переезда в Елабугу были хорошо устроены — много лет проработали на ответственных должностях, например,

на ВАЗе или КамАЗе. Возьмите А. Е. Мальцева. На КамАЗе он был начальником управления организации труда и зарплаты, перешел к нам на должность директора по экономике. На прежней работе он в среднем за месяц зарабатывал (представил в министерство справку) более 600 рублей, у нас на первых порах, конечно же, столько получать не будет. Ему сорок шесть лет, у него семья. Что побудило его, других моих товарищей оставить, как говорится, насиженные места? Да вот это замечательное качество — неуспокоенность, стремление стоять у истоков большого дела, стремление приложить к такому делу собственные руки, постоянная жажда пробовать себя в жизни на все более сложных задачах. Замечу, кстати, что осуществить переход специалиста, например с КамАЗа, на наше предприятие — дело вовсе не простое: КамАЗ — действующий индустриальный гигант, там тоже умеют ценить хороших специалистов и там свои кадровые проблемы. Я, получив от того или иного специалиста согласие на переход, с большим трудом выбиваю нужного объединения человека через многие ответственные инстанции.

Должен сказать, что в подборе инженерных кадров генеральной дирекции КамТЗ оказывается полное доверие. Нам никого не навязывают. Мы сами выбираем. Не скрою: выбираем в основном из тех, кого хорошо знаем, на кого, не боясь ошибиться, готовы положиться с первых дней работы. Смотрим при этом не только на уровень инженерного мышления человека, но менее важны для нас дух, жизненная позиция человека, исповедуемая им мораль. Нам сейчас, не побоюсь громких слов, нужны единомышленники, в груди которых бьется сердце, как у комсомольцев первых пятилеток.

Серьезно подходим мы и к приему рабочих — к концу нынешнего года коллектив объединения вырастет до 8 тысяч человек. Приезжают к нам люди по оргнабору, стройка объявлена ударной комсомольской — едет много молодежи с путевками ВЛКСМ, приезжают и «неорганизованные». Кто нас интересует прежде всего? Представители нужных нам профессий? Да как сказать... Время обучить профессиям у нас есть, поэтому мы в первую очередь смотрим, что за человек подал нам заявление. Если у него нет среднего образования — как правило, не берем. В нашей стране кто не кончает среднюю школу? Лентяи, люди неорганизованные, безвольные. Зачем нам такие? Смотрим внимательно трудовые книжки, по записям в них легко узнать летуна, решившего отправиться в очередной всяж — на этот раз на Каму, — дабы проветриться. И такой рабочий нам не нужен. С удовольствием берем парней, отслуживших в Советской Армии, людей с активной жизненной позицией, которые едут в Елабугу, чтобы здесь жить и работать долго.

Предъявляя вот такие высокие требования к кадрам, мы в то же время думаем и о том, как сделать жизнь и работу в Елабуге наиболее привлекательными для людей. Разрабатывается генеральный план реконструкции старых кварталов и строительства новых районов города. С учетом уже накопленного в стране опыта будем строить объекты социального назначения, в том числе и на производстве. В проект заложены благоустроенные бытовки, сауны, столовые, комнаты психологической разгрузки и так далее. Думаем мы и над таким обстоятельством. Вокруг Елабуги три крупных молодых города: Брежнев, Нижнекамск и Менделеевск. Они уже относительно благоустроены, предприятия там работают ритмично, люди неплохо зарабатывают. У нас, на КамТЗ, пока ничего этого нет, предстоит тяжелая работа по строительству заводов комплекса и не менее трудное дело по освоению построенных мощностей. Что же в этих условиях мы можем предложить привлекательного людям?

Мы можем предложить перспективу жить в необычном городе. Что я имею в виду? Да, вокруг нас уже обжитые города с развитой социальной сферой и налаженной работой промышленных предприятий. Но это новые города, в них нет и пока не может быть многого из того, что необходимо человеческой душе, — ощущение исторических традиций, дорогих сердцу современника памятников прошлого, исторически сложившихся и полюбившихся людям мест массового отдыха и уголков для нешумных встреч и многого другого. А в Елабуге все это есть. Это красивый древний город, его многие сохранившиеся до наших дней дома были свидетелями дорогих нам исторических событий. Например, через Елабугу, направляясь в Сибирь, проходила дружина Ермака, здесь были Степан Разин, Емельян Пугачев, через город лежал путь из ссылки великого Александра Радищева. Здесь написала свои знаменитые записки кавалерист-девица Надежда Дурова. Многие картины И. И. Шишкина ставшие гордостью отечественной живописи, писались в окрестностях Елабуги, город до сих

пор окружен великолепными сосновыми борами... В результате этого возникла такая концепция: если к тому, что предусмотрено построить в городе в связи с появлением тракторного гиганта, добавить ряд новостроек, положенных городам-миллионерам (например, крупный театр, цирк и так далее), Елабуга могла бы стать историко-культурным центром региона. Внесли мы в центральные органы и более радикальные предложения, связанные с развитием города. В начале года в «Комсомольской правде» обсуждались вопросы, какими будут города XXI века и не построить ли один такой город уже сейчас — в порядке эксперимента. По поводу места, где мог бы возникнуть подобный город, высказывались разные суждения: одни предлагали у Байкала, другие — на Севере. Нам больше других понравилось предложение соорудить город XXI века не на пустыре, а на базе небольшого, уже существующего старинного города. Понравилось это предложение, во-первых, потому, что оно легче других может быть воплощено в жизнь, а во-вторых... мы знаем этот небольшой старинный город. Это Елабуга. На ее развитие государство уже отпустило огромные средства. Так не употребить ли их с учетом планов строительства города будущего?..

---

---

---

ЮРИЙ РЮРИКОВ

★

## ПО ЗАКОНУ ТЕЗЕЯ

*Мужчина и женщина в начале биархата*

В новой редакции Программы КПСС и в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду говорится об усилении помощи семье, об улучшении положения женщин, о крутом подъеме внимания ко всей социальной сфере жизни. Неблагополучие здесь «отрицательно сказывается в первую очередь на воспитании детей, а также на моральном состоянии мужчин и женщин, их трудовой и общественной активности».

«Многогранные задачи ускорения...— сказано в докладе,— социальные, культурно-духовные и психологические — нуждаются в гальнейшем глубоком и всеобъемлющем анализе... Время ставит вопрос о широком выходе общественных наук на конкретные нужды практики, требует, чтобы ученые-обществоведы чутко реагировали на происходящие перемены в жизни, держали в поле зрения новые явления» («Правда», 26 февраля 1986 года).

В статье писателя и социолога Ю. Рюрикова идет речь о важных социальных и культурно-духовных процессах жизни, об изменениях в отношениях мужчин и женщин, которые принес XX век, и о том, как можно смягчить обострившиеся здесь противоречия. Автор пытается осветить проблему комплексно, с помощью материалов разных наук — психологии, социологии, экономики, демографии, антропологии, педагогики, этики. Статья, в которой есть и спорные моменты, естественно, не претендует на исчерпывающую полноту.

Отношение мужчины к женщине есть *естественнейшее* отношение человека к человеку. Поэтому в нем обнаруживается, в какой мере *естественное* поведение человека стало *человеческим*.. в какой мере человек стал для себя *родовым существом*, стал для себя *человеком*...

К. Маркс.

**Ж**енщина — самка мужчины, говорили в средние века теологи. Много лет спустя Бальзак полуотверг это мнение: «В человеческом обществе женщина не всегда может рассматриваться как самка мужчины». В наше время маятник откатнулся в другую сторону, и левые радикал-феминистки возглашают: главный пол человечества — женский, а мужчина — только самец женщины. Какой из этих подходов верен? Патриархатный, матриархатный? Или, может быть, подход Бальзака, одного из лучших в Европе знатоков женщины? А может быть, в каждом из этих подходов есть крупницы правды? Или не верен ни один из них?

Разница женского и мужского начал, их вражда и дружба, раскаленный союз полюсов, в который они сливаются.— один из самых «проклятых» вопросов, которые издавна мучают человечество. В древности мужское и женское начала считались космическими вселенскими, и такое метафорическое, расширенное понимание родилось еще в первобытные времена. В нынешнем нашем понимании роль мужского и женского начал чересчур съежилась, сузилась почти до физиологии и психологии; мы как бы разучились ценить их величайшую жизненную силу — нравственную, культурную, социальную.

Как понять то, что делается у нас в личных отношениях? Почему волны разводов захлестывают миллионы семей в стране и высота этих волн с каждым годом рас-

тет — от 50 тысяч после войны до 950 тысяч сейчас? Почему «взрыв разводов» идет бок о бок со «взрывом одиночества» и каждый пятый взрослый живет без пары?

Как связаны с этим другие перемены в личной жизни? Почему, например, главные застрельщики разводов сейчас женщины? Лет тридцать назад две трети разводов возникали по инициативе мужчин. Сейчас как бы произошла рокировка: почти две трети нынешних разводов — женские, и не только у нас, но и в других развитых странах. В корне переменялся вопрос о том, кто от кого уходит, кто кого оставляет. — жены в два раза чаще оставляют мужей, чем мужья жен, и это несмотря на то, что после развода они вдвое реже мужчин находят себе нового спутника жизни.

Может быть, такое «мужское поведение» женщин как раз и есть знак, что зревают новые законы соединения мужского и женского начал? А может быть, это просто большие ветки на дереве эмансипации, которые вредят стволу?

Эмансипацией в Древнем Риме называли освобождение сына из-под отцовской власти. Эмансипацит — так Эрве Базен, французский писатель, называет детскую болезнь взросления, выхода детей из-под родительской опеки. Пожалуй, это слово еще больше подходит к детским болезням женской эмансипации: они бывают такими болезненными, что женщины иногда просят эмансипировать их от эмансипации.

Впрочем, все мы, наверное, знаем: когда сильно болит зуб, или голова, или сердце, большое место делается главным в нас, заслоняет все остальное. Пожалуй, и эмансипацит может действовать так же, и тогда часть способна загородить целое, большие ветки могут заслонить здоровые.

К сожалению, мы чаще говорим о достижениях эмансипации, чем о ее теневых сторонах. А ведь когда недуг не видят, он тяжелеет, разрастается. Это социальная азбука, но мы то и дело забываем ее, забываем, что только цельное постижение всех двигателей и тормозов прогресса позволит лучше понять их, лучше помогать двигателям и обезвреживать тормоза.

Сейчас идет в конце один этап эмансипации, назревает другой, и на этом повороте истории особенно важно рентгеновски разглядеть сегодняшнее положение вещей: от этого, видимо, во многом зависит завтрашняя судьба эмансипации.

Мне приходится часто выступать с беседами о любви, семье, и на этих беседах то и дело вслыхивают летучие споры об эмансипации. И в письмах, записках (я часто буду к ним обращаться в статье) тоже много говорится об этом.

«Надо ли идеализировать уравнивание женщины с мужчиной? — пишет из Киева инженер Ярослав Береговой. — Полное уравнивание противоречит женской природе. Идеалом женщины всегда было материнство. Мораль и верования всех народов подерживали на высочайшем уровне материнское назначение женщины. Бездумные перегибы эмансипации подрывают идеалы материнства, и нежелание быть матерью может со временем стать массовым. Эмансипация должна стремиться не к абсолютному уравниванию женщины с мужчиной, а к их равноправию — материальному, духовному, правовому».

Верно, сегодняшние женщины нередко идут по пути подражания мужчине, перенимают мужские нравы, манеры, стиль жизни. Этой детской болезни эмансипации издавна помогала и печать. В женщинах восхваляли решимость, внутреннюю силу, причем с отсечением от пола, от женственности. Как идеал возносилась «женщина, которая не ищет опоры в мужчине, женщина, которая перестала быть слабым полом и по внутренней силе не уступает мужчине». Хвала такому идеалу была характерной, и ее автор, сама женщина, восклицала: «...вот та новая «вечная женственность», о которой будут слагать стихи и поэмы...»<sup>1</sup>

В этих формулах новая «вечная женственность» состояла как бы из бесполой черт стойкости и силы. Больше того, на место женственности тут в парадоксальной рокировке подставлялась мужественность. Не хватало только афоризма «женственность женщины в ее мужественности», и тогда отчуждение пола было бы полным.

Любопытно, что идеология сверхуравнивания мужчин и женщин родилась еще в далекой древности — у великого Платона, первого теоретика феминизма. Природа мужчин и женщин одинакова, считал он, силы природы равно разлиты в тех и других. Женщина слабее мужчины, но разница эта только количественная, и женщина должна иметь одинаковые с мужчиной права и обязанности, получать одинаковое образование, наравне с ним править государством и воевать.

<sup>1</sup> Любовь, семья, дети. М., 1983, стр. 33.

Мысль о тождестве мужчин и женщин часто возникала с тех пор в истории. Феминист XVII века Пулен Барр писал, например, в книге «О равенстве двух полов» (1673): нет мужского и женского мозга, они одинаковы, и поэтому память, воображение, вообще все духовные способности в мужчине и женщине равны. И поэтому женщины могут так же хорошо, как мужчины, постигать самые трудные науки — физику, математику, астрономию, могут так же хорошо заниматься политикой, риторикой, литературой.

А вот сегодняшние, но встревоженные голоса.

«Сейчас все чаще женщина становится моральной и материальной опорой (а значит, и главой) семьи. С другой стороны, женщина не готова к лидерству, самой волевой женщине в душе хочется быть слабой. Но инфантил мужчина не хочет и не может взять на себя тяжесть и ответственность. Результаты противоречия — развод» (Москва, Дворец культуры «Салют», ноябрь 1981 года).

«Женщины получили равноправие с мужчинами, но они пошли дальше. Не секрет, что они все больше захватывают власть в семье, чаще делаются руководителями на производстве. Не грозит ли нам новый матриархат?» (Ленинград, Центральный лекторий «Знания», июнь 1981 года).

Возвышают голос и сторонники мужевластия:

«Почему женщины стараются не вступать в брак или, прожив долго семьей, вырастив детей, все равно подспудно мечтают о свободе? Непрочность семей появилась из-за огромной занятости женщин. Мне кажется, общество выиграло бы, поставив женщин в зависимость от мужчин. У мужчин было бы больше чувства ответственности за семью. Обоюдная независимость — это плохо и для семьи и для всего общества» (Калининград, март 1983 года).

Оживают иногда и кое-какие старые антиженские и антимужские взгляды, которые бушевали в прошлом. Скажем, сто лет назад, в 1884 году, на бреславльском конгрессе антропологов П. Альбрехт выдвинул девять анатомических доказательств, что женщина стоит к обезьяне ближе мужчине: ее рост меньше, череп длиннее, среди женщин куда меньше лысых и тому подобное. П. Мантегацца, известный в те времена социолог, выдвинул в противовес ему девять доказательств, что ближе к обезьяне стоит мужчина: он волосатее, у него тяжелее челюсть и так далее. Впрочем, Мантегацца считал, что анатомически мужчина и женщина одинаково человечны.

А известный немецкий гуманист Агриппа в «Речи о благородстве и превосходстве женского пола» (1529) говорил, что женское превосходство можно увидеть уже по именам первых людей: Адам означает землю, Ева — жизнь<sup>2</sup>. Адам создан из материи грубой, простой, а Ева — из одухотворенной, очищенной, и поэтому женщина — венец творения, его высшее слово. Мужчина, говорил Агриппа, недаром создан из грубой земли: именно через мужчину — Каина, который убил Авеля, в мир вошла смерть. Мужчина несет человеческому роду смерть, женщина — жизнь, поэтому она благороднее и выше.

Споры, кто выше, вспыхивают и до сих пор, особенно в крайних слоях американского и европейского феминизма. В разгаре сексуальной революции в Америке Мэри Джейн Шерфи, доктор медицины, психиатр, выступила с феминистской теорией пола<sup>3</sup>, и ее взгляды сильно повлияли на самый решительный — левацкий — фланг радикал-феминисток.

Человеческий зародыш, говорит Мэри Джейн Шерфи, изначально женский. Чтобы стать мужским существом, зародышу нужно, чтобы в нем стал вырабатываться мужской гормон. Чтобы стать женским существом, ему ничего не нужно — он сам собой развивается по женскому типу. Поэтому исходный, базовый пол человечества, считает она, женский, а мужской пол — лишь надстройка над ним. И миф об Адаме и Еве неверен: не Ева была создана из Адама, а Адам из Евы.

Шерфи строит свою теорию на бесспорном биологическом факте: чтобы зародыш у млекопитающих стал самцом, надо, чтобы у него работали семенники — источники мужского гормона. Яичники — генераторы женского гормона — у зародыша не работают, и, если он не вырабатывает мужской гормон, из него получается самка.

<sup>2</sup> Если говорить точно, Адам по-древнееврейски не только «земля», «глина» но и «мужчина» «человек».

<sup>3</sup> Mary Jane Sherfey. The Nature and Evolution of Female Sexuality. N. Y. Random House. 1972.

Но этот бесспорный факт — лишь один из биологических корней пола, и не первичный, не главный. Неверно, фактически неверно, что зародыш человека изначально женский. С самого начала он или женский, или мужской — в нем генетически заложена или женская, или мужская программа развития. Первичный пол — пол генетический, и он образуется при зачатии, когда сливаются две клетки — женская и мужская. И зависит пол от того, какую хромосому — мужскую или женскую — приносит с собой мужская клетка. Именно мужская клетка — породитель пола. Если она принесла с собой мужские гены, зародыш начинает вырабатывать мужской гормон и вырастает мужской организм. Если принесены женские гены, никакой гормон не вырабатывается и вырастает женский организм. Это азбука сексологии, эмбриологии, генетики.

Да, базовый пол у человека женский, но тут нет никакого предпочтения, никакой первичности. Тут, видимо, просто отпечатался ход эволюции, очередность бесполого и двуполого размножения. Низшие живые существа, одноклеточные, бесполое, но они могут делиться, давать потомство, и поэтому с нашей, двуполой, точки зрения они как бы женский пол. Конечно, это лишь как бы, потому что на деле у них нет никакого пола.

Пол возникает при переходе от дополового размножения к половому — появляются два одинаково важных пола. Адам и Ева, мужское и женское начала, могут возникнуть только вместе. Оба они первичны, ни один не может существовать отдельно от другого, и каждый отличается от другого только потому, что есть этот другой.

Серьезная наука уже давно выяснила, что каждый пол в чем-то выше, в чем-то ниже другого, каждый может то, что не может другой. Их сильные стороны как бы дополняют друг друга, а слабые могут смягчать друг друга. Еще на стыке XIX—XX веков об этом подробно писали основатели сексологии Х. Эллис и И. Блох, социолог и историк-марксист А. Бебель, психологи и физиологи из разных стран мира<sup>4</sup>. Впрочем, все это невероятно сложные вопросы, и, наверно, чтобы понять их, придется уйти в глубину, к артезианским корням мужской и женской роли в человечестве.

У нас появилась не так давно новая теория пола, она по-новому объяснила разную и дополняющую друг друга роль мужского и женского пола в эволюции. Основы этой теории создал московский биолог В. А. Геодакян<sup>5</sup>. Новый шаг в эволюции, говорит он, делает сначала мужской пол, новые свойства возникают у самцов и только потом у самок. Если у них есть какое-то общее свойство, то с ходом времени оно будет меняться в мужскую сторону. Скажем, рост у мужчин больше, чем у женщин, — и человечество сейчас делается выше, а когда в прошлом мельчали мужчины, ниже становились и женщины.

Мужской пол играет в эволюции роль авангарда, разведчика, женский — роль главных сил. Вызвано это разницей в их коренной жизненной роли, тем, что самки — главные продолжатели рода, а самцы — главные его защитники.

В чем состоит авангардная роль самцов? Среда все время меняется, и, чтобы не войти с ней в губительный разлад, живые существа тоже должны все время меняться. Представителей мужского пола природа как бы предназначила для выработки новых свойств. Если новое свойство, которое родилось у самца, хуже старого, он гибнет, если лучше, у него больше шансов на жизнь и его новое свойство постепенно переходит к потомкам, становится общим для всего рода.

Такая разница эволюционных ролей — глубинный закон жизни, и он действует и в человечестве, но, конечно, качественно. В корне иначе: не как животно-биологический закон, а как закон социально-биологический и психологический. Эволюционное своеобразие мужчин и женщин всегда социально, и в сплаве социальных, психологических и биологических пружин, которые движут их своеобразием, всегда главенствуют социальные пружины.

<sup>4</sup> Х. Эллис *Мужчина и женщина* СПб 1898; И. Блох *Половая жизнь нашего времени и ее отношение к современной культуре* СПб 1909; А. Бебель *Женщина и социализм* М 1959.

<sup>5</sup> В. А. Геодакян «Роль полов в передаче и преобразовании генетической информации» («Проблемы передачи информации», М. 1965 т. 1, вып. 1) «О существовании обрательной связи регулирующей соотношение полов» («Проблемы кибернетики» М., 1965 вып. 13); «Два пола. Зачем и почему?» («Наука и жизнь», 1966, № 3).

Материнская роль привязывает женщину к дому, делает ее жизнь как бы оседлой. В обиходе женщины от этого меньше опасностей, напряженности, больше знакомого, однообразного, и она живет в более узком информационном кругу.

Мужчина меньше прикован к дому, его стиль жизни как бы сдвоенный, оседло-кочевой. От этого в его обиходе больше разнообразного и незнакомого, больше опасностей, напряженности, и он живет в более широком информационном кругу.

Мужчина активнее в поиске нового, чем женщина, он больше нее тяготеет к переменам. Женщина больше мужчины сохраняет основы достигнутого, не дает им погибнуть. Мужчины больше, чем женщины, создатели будущего; женщины больше, чем мужчины, оценители найденного, творцы настоящего. Жизнь обоих — сплав поиска и закрепления, открытый и освоения, творчества будущего и настоящего, но у мужчин первую скрипку здесь играют искания, у женщин — закрепление; мужчины (больше, чем женщины) — как бы открыватели новых материков, женщины (больше, чем мужчины) — освоители, цивилизаторы этих материков. Эта разница в эволюционной роли, разница социальная, родила глубокую разницу во всем внутреннем мире мужчин и женщин.

Многие думают, что у них есть две группы свойств: чисто половые, разные — из них состоит их физиология и общечеловеческие, одинаковые — из них построен ум, многое в их психологии, в чувствах. Это, наверно, механический, мапинный подход — как будто мужчина и женщина сделаны из деталек конструктора двух сортов: бесполовых, одинаковых, и половых, разных.

Но своеобразие у мужчины и женщины всепроникающее. Пол — это не полчеловека, а весь человек, половое измерение пронизывает собой все остальные измерения, отпечатывается во всех наших ощущениях, действиях, как оно отпечатывается в каждом звуке голоса. И даже общечеловеческие свойства мужчины и женщины сотканы как бы из мужского и женского материалов. У них разная психология, разный ум, разные способности, хотя в этом разном есть, конечно, похожее, общее.

Наша психика, говоря упрощенно, это сплав чувства и разума, причем у мужчины в этом сплаве преобладает разум, а у женщины — чувство. Поэтому в мужской психологии больше рассудочности, чем в женской, а в женской больше эмоциональности, чем в мужской. Поэтому мужская логика — больше логика мыслей, чем чувств (причем мыслей нередко холодных, не отепленных чувством), а женская — больше логика чувств, чем мыслей (причем нередко смутных, не просветленных мыслью). Обе эти логики односторонни — и поэтому двойственны, у каждой есть своя сила и свои слабости, которых нет у другой. (Как говорят юмористы, железная логика — холодное оружие, а горячие чувства могут и испечь.)

Но разница мужской психологии и женской не только в перевесе чувства или мысли. Само женское чувство отличается от мужского, сама женская мысль — от мужской.

Мысли и чувства у нас текут почти всегда вместе, пропитывают друг друга (кроме, видимо, механических или очень отвлеченных мыслей — у них нет эмоциональной окраски, и кроме бурных вспышек чувств, которые подавляют мысль, не дают ей родиться). Поэтому женская мысль как бы эмоциональнее мужской, а мужское чувство как бы рациональнее женского.

Такое своеобразие, наверно, отпечатывается и в самих механизмах мышления. Есть, как мы знаем, два вида мышления: логическое, отвлеченное, и образное, конкретное. Логическим ведает левое полушарие, образным — правое. У малышей еще нет — или почти нет — логического мышления: у них как бы два правых полушария, и оба рожают образную мысль. Специализация полушарий, деление обязанностей между ними вырастает у мальчиков к шести-семи годам, а у девочек только к одиннадцати-двенадцати. То есть механизмы логического мышления появляются у мальчиков гораздо раньше: видимо, левое полушарие играет в мужской психике более громкую роль, чем в женской.

Возможно, у мужчин левое полушарие — «более левое», чем у женщин, а у женщин правое полушарие — «более правое», чем у мужчин. Возможно, поэтому среди теоретиков, людей отвлеченной мысли, так много мужчин и так мало женщин. (Хотя, наверно, отчасти это зависит и от социокультурного положения женщин.) Возможно, поэтому женщины чувствительнее мужчин к языку, слову, у них более цепкая и, видимо, более насыщенная образная память. Впрочем, здесь масса неясного,



таинственного, и вопросов в этой паутиной сети загадок гораздо больше, чем ответов.

Но и выясненного, разгаданного тут тоже немало. Скажем, из-под разговоров об умственном отставании женщин серьезная наука выбила почву еще на рубеже XIX—XX веков. Это доказали исследования психологов, физиологов, медиков, их детально обобщил тогда Эллис в уже названной книге «Мужчина и женщина». Наше время еще прочнее убеждается в этой истине. Так, английский психолог Г. Айзенк, всемирно известный автор тестов умственного уровня, решительно говорит: «Наши исследования показали, что мужчины и женщины обладают примерно одинаковым уровнем умственного развития».

Конечно, одинаковый уровень не тождество, а отличия в женском и мужском складе ума несомненны. У мужчин, скажем, лучше выходят цифровые и пространственные задачи — возможно, потому, что они больше зависят от левого полушария. Женщинам легче даются словесные задачи и задачи на запоминание — возможно, потому, что они больше зависят от правого полушария.

Есть у них разница и в психотехнических способностях. У мужчин быстрее двигательные реакции, лучше согласуются между собой простые движения, легче усваиваются механические навыки. Женщины выносливее, терпеливее физически и душевно. У них быстрее речь, лучше механическая память; им лучше мужчин даются тонкие и тщательные работы.

Французские медики выяснили: пик умственных и психотехнических способностей наступает у мужчин и женщин в разное время. У мужчин время высшего взлета — двадцать — сорок лет, потом способности у большинства начинают снижаться. У женщин подъем способностей начинается позже. В двадцать — тридцать лет, в разгар супружества и материнства, у них пик гормональной активности, женски-материнская физиология сдерживает рост их умственных способностей. Взлет способностей у большинства женщин начинается после тридцати, и в сорок — шестьдесят лет эти способности могут почти не снижаться<sup>6</sup>.

В жизни есть два вида задач: новые, которые людям не приходилось решать, и старые, известные. Новые задачи до сих пор лучше решали мужчины, старые, привычные — женщины. (Насколько именно это зависит от разницы в психотехнических способностях, а насколько от социокультурного положения, еще предстоит, видимо, выяснить.) Среди изобретателей женщин мало, зато сверхточные работы — скажем, сборка часов, трансформатора — женщины делают гораздо лучше мужчин.

Как установил Айзенк, есть еще одна важная разница между женским и мужским умом. Очень умных, сверхумных среди мужчин больше, чем среди женщин; но и очень глупых тоже больше. На полюсах ума и глупости скапливается больше мужчин, чем женщин: видимо, крайние, труднодостижимые точки — больше мужские области, чем женские. Зато просто умных, обычно умных среди женщин больше, чем среди мужчин: средние, самые массовые области ума, его экваторы, — преимущественно, видимо, женские области<sup>7</sup>. И, возможно, общий запас ума у мужчин и у женщин примерно одинаков.

Ревнителю уравниательства не видят, не знают глубинную природу мужчин и женщин. Это было простительно для Пулена Барра, который триста лет назад говорил, что все умственные способности у них одинаковы. Но и сегодня такая позиция в большом ходу и у нас и за рубежом. Даже просвещенные, прогрессивные враги патриархата могут писать: «...представители обоих полов имеют огромное сходство в поведении и во всех областях трудовой деятельности. Различия тут ничтожны»<sup>8</sup>.

Но различия тут огромны, и уравнительство искажает женскую природу, несет огромный вред и женщинам и мужчинам. Их равенство — это равенство разных, это одинаковая для человечества важность мужского и женского вклада в жизнь.

В том, что здесь сказано, много полуясного, предварительного, спорного, и, чтобы получить глубокие ответы на все эти вопросы, нужны глубокие исследования. К сожалению, они почти не ведутся, наука резко отстает здесь от запросов жизни

Эволюционное своеобразие мужского и женского полов — позвоночник, костяк для жизненной роли мужчин и женщин. Но эта жизненная роль проявляется по-раз-

<sup>6</sup> См.: Э. Сьюллеро. История и социология женского труда. М. 1973. стр. 215.

<sup>7</sup> Г. Айзенк. «Можно ли измерить интеллект?» («Литературная газета», 12 ноября 1975 года)

<sup>8</sup> Л. Мэкки. М. Паттулло. Женщины на работе. М., 1982. стр. 39.

ному в разных обществах и на разных ступенях истории. Два скульптора лепят ее — биология и социология, у нее два родителя — природа и общество. И каждый раз вечное одевается в костюмы времени, настраивается по камертонам эпохи, выступает как социальное воплощение биопсихологии, как конкретно-историческая ступень в развитии родовых человеческих свойств.

Главное, видимо, зависит здесь именно от общества, от общественных отношений; эволюционное своеобразие мужчин и женщин всегда выступает в социальной форме. Одни отношения раскрывают и растят лучшие стороны мужских и женских свойств, другие — сковывают лучшие и растят худшие стороны. Одни отношения больше помогают союзу мужского и женского начал, другие больше вызывают их вражду.

Патриархатные общества (рабовладельческое, феодальное, буржуазное) делали односторонним облик мужчин и женщин, их жизненную роль. Они выдвигали на первый план их неравенство, растили в них враждующие и полярные черты.

Главными в патриархатной мужественности были силовые струны: воля, напор, тяга к господству, владычеству. Женские струны (условно женские, так как они есть и у мужчин) — доброта, мягкость, понимание — звучали тогда слабо, а то и совсем молчали, и мужественность была чаще всего таранной, ломающей.

Женственность тоже росла под давлением, была сплюсненной, односторонней. В ней громко резонировали струны пассивности — слабость, покорная мягкость, а рядом струны самозащиты, приманивания — кокетство, хитрость, коварство. Мужские струны (условно мужские, так как они есть и у женщин) — активность ума, творческий порыв — были полунемыми, а то и совсем немymi.

Патриархатные законы социальной эволюции были в разладе с законами биопсихической эволюции — и они глушили их и тормозили этим весь ход цивилизации.

С началом перехода к равенству — при социализме — законы общей эволюции начинают вступать в союз с законами социальной эволюции, и их соединенная сила ускоряет, углубляет ход прогресса.

Личная жизнь, семья, положение женщины — пересечение всех мировых сил, которые правят нами. Перемены здесь — зеркало всех мировых процессов, эхо всей нынешней ломки мира. И понять их можно, пожалуй, только если увидеть их как звено в цепи, строфу в песне — очень трудной песне, которую слагает человечество.

XX век — век геологических сдвигов во всех пластах земной жизни: рутятся старые устои жизни, на их месте растут новые — везде и во всем. Тут и социальные революции, и НТР — перевороты в самих основах нашей цивилизации — в машинно-технической базе общества, в разделении труда между человеком и машиной; тут и драматическое переустройство всей среды обитания — урбанизация; и болезненный переворот в отношениях человека и природы; и первые ласточки будущей научно-биологической и научно-психологической революций... Все эти катаклизмы сливаются друг с другом, резко усиливают друг друга, все больше пропитывают своими сотрясениями плоть будней.

Рождаются новые, невиданные противоречия, которых не было раньше, — между технической цивилизацией и жизнью планеты, между человеком и техникой, между человеческой биологией, психологией и самим укладом городских будней, урбанистическим образом жизни. Эти новые противоречия, сплетаясь со старыми, классовыми, усиливают друг друга; это резко повышает их опасность и побуждает усиленно искать противоядия от них.

Коренная ломка идет и во всех жизненных ролях мужчины и женщины, во всех их связях — экономических и семейных, социальных и сексуальных. Во многих странах — и, пожалуй, больше всего у нас — уже давно умирает патриархат, главенство отцов. Но верно ли, что на смену ему идет матриархат, главенство матерей? По-моему это не так: по-моему сейчас рождается новый, небывалый уклад — б и а р х а т, главенство обоих полов (от латинского *bi* — два и греческого *arche* — главенство).

Наши обществоведы понимают эти перевороты обедненно, просто как женскую эмансипацию. А ведь освобождение женщин — только одно русло этой гигантской революции, только одна ипостась рождающегося в муках нового социального уклада, небывалого уклада отношений между мужчинами и женщинами. Часть вместо целого — глаза такого поверхностного подхода не видят всю глубину идущих у нас переворотов, не схватывают их вселенский размах — и упускают самые глубокие их опасности, самые подспудные противоречия.

Биархатная революция у нас, пожалуй, будет равна переходу от матриархата к патриархату. Движут этой революцией высшие гуманистические идеалы: идеалы равной важности женских и мужских ролей для человечества, идеалы союза, а не разлада между эволюционными и социальными ролями мужчин и женщин, гармонии, а не вражды мужского и женского начал во всех сторонах жизни.

Достижения нашей страны здесь общеизвестны. Многие делалось у нас впервые в мире, многое в отношении общества к женщине и семье было настоящим социальным открытием. Особенно важны здесь две вещи: такая же высокая, как и при матриархате, роль женщины в экономике (роль прямого, непосредственного создателя экономических устоев общества) и постоянная помощь общества семье — новая черта в отношениях семьи и общества, которой до этого еще не было.

Но каждая ступень истории рождает свои противоречия; неизбежны тут и «тяготы пионеров» — тяготы идущих впереди, тех, кто прокладывает путь по новым материкам истории. Дороги к биархату — это ведь и завоевания, и цена этих завоеваний — такие раны, какие идущие вслед могут не получать. Роды нового, к сожалению, всегда идут с болью; впрочем, сила этой боли во многом зависит от нашего умения — или неумения — ослаблять ее.

Биархатные перевороты — это коренная перестройка всех женских ролей. Из домашней хозяйки женщина начинает превращаться и в общественного работника, из «второго пола» начинает делаться равным. Кариатида теперь держит небо вместе с Атлантом, женщина становится таким же двигателем общества, как и мужчина. От этого в корне меняется весь уклад ее потребностей, весь смысл жизни.

При патриархате смысл жизни женщины — быть матерью, женой, домохозяйкой. Главная ее арена — дом, главное дело — растить детей, обслуживать мужа. Конечно, в трудовых слоях женщины работали и за порогом дома — в сельском хозяйстве, в ремеслах; но работа их почти всегда была вспомогательной, а главная тяжесть промышленного и сельского труда лежала на мужских плечах. Говоря упрощенно, мужчина был «сферой производства», женщина — «сферой обслуживания», хотя в жизни их труды делились сложнее. Мужчины больше занимались общественным, чем домашним трудом, женщины — больше домашним, чем общественным, и общая их нагрузка была примерно одинакова. Но авторитет женщины почти целиком зависел от того, какой она была матерью, женой, домохозяйкой, — именно в этом состояло ее жизненное назначение.

С рождением биархата у женщины начинает рождаться новый смысл жизни — двоякий. Теперь женщина видит его в двурусловой жизни — домашней и рабочей сразу. В ней просыпается тяга к разносторонней жизни, к перемене занятий, к насыщенности и своих женских и общечеловеческих запросов.

В наше время круто меняется вся психология человека, и перемены ее двояки — тень, как всегда, идет вместе со светом. Минусы урбанизации и НТР порождают в психике людей защитные перемены — ослабление чувств, стандартизацию ощущений. Чтобы ослабить разрушительные стрессы, наша нервная система начинает отпускать меньше нервных сил в каждое ощущение, каждое переживание. Это сберегает нам нервные силы, но чувства наши от этого беднеют и обезличиваются, теряют в личном своеобразии — это цена, которую мы платим за приспособление к изъяснам нынешней городской жизни, нынешнего сверхритма жизни.

Но рядом с обеднением и стандартизацией чувств в нас идут полярные перемены: чувства углубляются и усложняются, больше становятся людей-личностей, людей с непохожестью во взглядах, интересах, привычках. Говоря языком психологии, идет и обезличивание и индивидуализация человека, и человек-личность, возможно, начинает соперничать по массовости с психологически стандартизованным человеком.

Рост личности начинает рождать в женщинах новые душевные потребности: в развитии своего «я», в уважении к себе, в свободе поведения, выбора. Сдвоенная жизнь, рабочая и домашняя, будит в женщинах тягу к независимости от мужчин — экономической, житейской, моральной, к личностному (вне дома) общению, к духовному и профессиональному развитию к современным видам отдыха. Эти новые потребности встают рядом со старыми (в замужестве, материнстве, домохозяйстве), теснят их, а часто отодвигают на второй план.

Однажды «Неделя» провела «круглый стол» о современной женщине: в разговоре участвовали известные в своей области женщины — писательница, актриса, гкачи ха, социолог. И вот ткачиха (она к тому же профсоюзная руководительница и обще

ственная деятельница) сказала: «Профессия, труд, коллектив — вот для меня главное. Не спорю, семья тоже нужна женщине. Но работа важнее». Это, увы, частая позиция — полутказ (говоря деликатно) от женской природы, полупревращение женщины в производительную силу.

Сейчас в корне перекраивается весь мир женщины — внешний и внутренний, — и перекройка эта идет с болью и кровью, в яростном борении противоречий. И новые запросы женщины в их нынешнем виде несут в себе добро и зло, лекарство от старых болезней и новые болезни.

К старым домашним ролям женщины (мать, жена, домохозяйка) прибавляются новые — рабочие, общественные, семейные. Женщина постепенно делается организатором семейной жизни, домашним воспитателем и главным помощником учителя, семейной медсестрой, санитаркой, культургом... Социологи насчитали у нынешней женщины около дюжины жизненных ролей — домашних, рабочих, общественных, личностных...

Взрыв таких ролей ведет к взрыву потребностей. Они резко усложняются, появляется совершенно новая их система, куда более трудная для насыщения. Старая простота потребностей — муж, дети, дом — постепенно уходит в прошлое, новый, сгущенный набор потребностей зреет в муках, и женская жизнь делается небывало сложной.

Авторитет женщины зависит теперь не от ее домашней жизни, а от того, как она выполняет все свои резко разросшиеся жизненные роли. К сожалению, этот авторитет куда больше зависит от рабочих ролей женщины, а не от ее женски-материнских ролей — ролей, в которых она незаменима и может дать человечеству больше всего. Было бы, наверно, куда лучше для всех нас, если бы авторитет женщины зависел от сочетания ее домашних ролей с рабочими, от искусства, с которым она выполняет и свои старые, незаменимые для человечества и свои новые, тоже очень важные роли.

Взрыв жизненных ролей круто затрудняет выполнение каждой такой роли; женщина теперь тратит на них куда больше сил, нервов, времени. И нынешний спад рождаемости — это, видимо, стихийный ответ женщин на рост перегрузок. Пожалуй, больше всего именно на двойные нагрузки женщины отвечают сейчас половинной рождаемостью.

Но в этом спаде, кроме минусов, которые всем известны, есть и крупные — в масштабах истории — плюсы. Женщина тратит сегодня на вынашивание и выкармливание детей не четырнадцать — шестнадцать лет, как раньше, а два — четыре года. Это освобождает ее от роли «рожающей машины», дает ей десять — двенадцать дополнительных лет более свободной жизни, помогает делаться личностью, социально равной мужчине. Без этого путь к социальному равенству был бы невозможным.

Конечно, число детей в семье — личное дело каждого, и хорошая многодетная мать заслуживает повышенного уважения, повышенного внимания и помощи. Но массовая многодетность — пройденная модель. Врачи, психологи, демографы, педагоги говорят, что многодетность может вредить здоровью детей и женщин, приносить ущерб воспитанию и экономике. Медики выяснили, что к тридцати — тридцати пяти годам в организме женщины и в ее наследственном веществе нарастают опасные нарушения, они переходят к детям, и те чаще рождаются ослабленными, болезненными. Кроме того, когда детей в семье слишком много, это увеличивает материальные тяготы и снижает индивидуальный подход к каждому — больно бьет по воспитанию. И наконец, как выяснил Б. Урланис, один из крупнейших наших демографов, каждый процент прироста населения съедает 4 процента от прироста национального дохода: нужно строить дополнительные дома, сады, школы, больницы, готовить воспитателей, врачей, выпускать новые товары... Чем выше прирост населения, тем крупнее и экономические трудности. Недаром, наверно, психологи, социологи, демографы, педагоги пришли к согласию, что лучше всего, когда в семье три ребенка: это хорошо и для детей, и для родителей и для общества.

Умеренное материнство резко уменьшает биологические слои женской жизни и так же резко увеличивает психологические. Меняется вся ткань женских будней и вся ткань внутренней жизни женщины, весь спектр ее сознания и подсознания. Нынешней женщиной куда меньше движут биологические и куда больше психологические пружины.

При патриархате психологическая жизнь женщины была искусственно сдвлена, биологическая — чересчур раздута. Женщина патриархата была существом сначала биологическим и только потом психологическим. Женщина биархата будет, видимо,

существом больше психологическим, чем биологическим, причем психологические и физиологические слои ее жизни будут, наверно, уравновешены. Пока же чаши весов здесь колеблются от взлета к провалу.

У Роберта Рождественского есть такие слова:

Современная женщина,  
современная женщина!  
Суетою замотана,  
но, как прежде, божественна!  
Пусть немного усталая,  
но, как прежде, прекрасная!

Увы, романтизм чувств берет здесь верх над реализмом. Современная женщина проходит через очень трудное — кризисное — горнило переплавки, все в ней не такое, как прежде, и божественность с прекрасностью куда чаще встречается в стихах, чем в прозе жизни. Идет перерастание «женщины домашней» в «женщину социально-домашнюю» — очень сложная, очень многострунная переделка самых интимных, самых подспудных глубин женской души и жизни. Она идет невероятно резко и от этого болезненно, с умалением вечных, «биологических» женских ролей.

Поэтому нынешний спад рождаемости — вещь двоякая.

Переход к умеренному числу детей — главная демографическая закономерность биархата, и плюсы этого перехода рождены плюсами начальной степени биархата. Но зигзаги этого перехода, шараханье маятника от максимума детей к минимуму — это лекарство вынужденное, и, врачая одну болезнь, оно порождает другие: девальвацию материнства, «сердечную недостаточность» многих матерей и жен, эгоцентризм многих единственных детей, повышенную рассыпчатость семей, которые слабо цементируются детьми.

Такой откат к минимуму рожден минусами нынешней ступени биархата, и его, наверно, не исправить, пока не будут исправлены эти минусы.

В 1950 году среди рабочих и служащих у нас было 19 миллионов женщин — около половины всех работающих. Сейчас работает 85—90 процентов женщин рабочего возраста, и домохозяйек осталось всего лишь несколько миллионов.

За треть века на работу пришли около 40 миллионов женщин, и они взяли на свои плечи огромную долю мужского труда. Взяли гораздо больше, чем сняли с себя труда домашнего, исконно женского. Социологи выяснили, что домашняя нагрузка большинства женщин в 2—3 раза больше мужской, а общая нагрузка женщин — на работе и дома — на 15—20 процентов больше общей трудовой нагрузки мужчин. Женские перегрузки, пожалуй, самый большой минус эмансипации, они резко мешают биархатным сдвигам, вредят материнским и супружеским ролям женщин — и расшатывают этим самым семью, подрывают женское здоровье, нервы<sup>9</sup>.

В последние десятилетия у нас идет гигантский, мирового размаха процесс — выравнивание образовательного и трудового уровня мужчин и женщин. Это огромный сдвиг в экономике, культуре, во всем духовном облике общества. Но стартовый уровень у женщин был ниже, и чтобы по-настоящему догнать мужчин, им нужны были бы не перегрузки, а недогрузки. Перегрузки, добавляясь к низкому стартовому уровню, резко мешают трудовому выравниванию. Поэтому женщины заняты в среднем на менее квалифицированных работах, чем мужчины, и их разряд в массе своей ниже мужского. Поэтому и средняя зарплата женщин на четверть меньше мужской, и в руководящей структуре общества женщины стоят ниже мужчин<sup>10</sup>.

На первых ступенях руководства женщин много, часто не меньше мужчин. Но чем выше ступень руководства, тем их меньше; даже в сугубо женских профессиях — в

<sup>9</sup> Об этом можно прочесть в книгах: «Проблемы быта, брака и семьи» (Вильнюс, 1970); А. Г. Харчев, С. И. Голод Профессиональная работа женщин и семья (Л, 1971); З. А. Янкова. Изменение структуры социальных ролей женщины в развитом социалистическом обществе и модель семьи (М 1973); «Производственная деятельность женщин и семья» (Минск 1972); Л. А. Гордон Э. В. Клопов Человек после работы (М 1972); Н. М. Шишкан. Труд женщин в условиях развитого социализма (Кишинев, 1976)

<sup>10</sup> М. Я. Сонин. Изменения профессионально-квалификационной структуры женского труда и семья (М 1972); Г. А. Слесарев, З. А. Янкова Социальные аспекты рационального использования труда работающей женщины (М 1967); Ю. Б. Рюриков, «Дети и общество» («Вопросы философии» 1977, № 4, стр. 118—119).

медицине, просвещении, торговле, связи, общепите — руководителей-мужчин больше, чем женщин. Что касается зарплаты, то за равную работу женщины получают столько же, сколько и мужчины. Но так как у большинства женщин квалификация ниже, то и зарплата их меньше.

В будущем, конечно, женщинам станут платить и за их домашний труд — материнский, хозяйственный. Сейчас он бесплатен, а ведь это один из главных устоев всей нашей жизни, на нем держится все существование человечества.

Домашний труд играет прямую — и важную — экономическую роль. Дома мы восстанавливаем свои физические и нервные силы, которые истратили на работе, и домашний труд — одна из главных опор всего рабочего потенциала общества. Кое-где (в Чехословакии, Венгрии, Франции, Швеции) женщины после рождения ребенка два-три года получают пособие на его воспитание, а если мать работает, ей (а иногда и отцу) дают надбавку к зарплате. Недавно и у нас начали платить женщинам за первый материнский год (правда, мало), и надо, видимо, чтобы общество полнее вступало на эту дорогу и шло по ней дальше.

«А зачем женщинам работа, зачем им гнаться за двумя зайцами? Надо дать мужчинам двойную зарплату и двойную норму, а женщин вернуть к домашнему очагу. Мужчинам будет некогда пить, а женщины не будут разрываться между домом и работой, и всем будет лучше» (Куйбышев, Дворец спорта авиазавода, апрель 1980 года).

Увы, история — поезд, который идет в одну сторону, и вернуть женщин к служению одному лишь домашнему очагу она, пожалуй, не сможет. Да и женщины, наверно, не очень захотят этого. Многие, видимо, понимают: большинство женщин работают не только из-за денег, ими движут сдвоенные пружины — материальные и психологические. Социологи разных стран задавали женщинам вопрос: «Перестали бы вы работать, если бы ваш муж получал за двоих?» Большинство ответили «нет», и чем квалифицированнее профессия, тем меньше женщин хотели оставить ее. Даже в самых черновых занятиях меньше половины женщин готовы были бросить работу. Во многом, видимо, это зависит от тяжести, однообразия домашнего труда. Английские ученые недавно выяснили, сколько энергии расходует на свои дела домохозяйка, и оказалось: стирка и развешивание белья берет столько же сил, сколько работа тракториста, глажка равна по трудности работе каменщика, а от мытья окон усталости больше, чем от шоферской работы.

«Женщина создана природой как продолжатель человеческого рода и создатель домашнего очага. Работа губит в ней женственность, привлекательность. Зачем перегружать женщин на производстве?» (Балашиха, Московская область, Дворец культуры завода криогенного машиностроения, март 1981 года).

«Все беды в неверном воспитании девочек. В них не лелеют, не пестуют женские свойства, наоборот, к ним часто относятся как к мальчишкам, и поэтому из них не могут вырасти настоящие женщины» (Красноярск, пединститут, октябрь 1981 года).

Итак, кто виновник неженственности — перегрузки или воспитание? Об этом как-то спорили в «Комсомольской правде» два социолога. Один писал, что в спаде женственности виновато именно воспитание, другой говорил, что все дело в женском труде, а воспитание тут ни при чем. По-моему, оба взяли часть причин вместо их сплава, подменили целое одной частью: это простейший, букварный изъян в аналитической культуре. Пожалуй, главный вклад XX века в эту культуру — системный подход, стремление увидеть весь набор пружин, которые движут каким-то событием, всю паутину корней, которые питают его.

И нынешние изъяны эмансипации рождены, видимо, и перегрузками женщин, и неверным воспитанием девочек, и агитацией в печати, и умалением вечных женских ролей, и взрывом потребностей, и двойными переменами в современной психологии, и многими другими причинами.

Можно ли считать одну из этих причин главной? Например, женскую работу, или воспитание, или двойную нагрузку матерей, или неверную пропаганду? Конечно, среди них есть причины первичные и вторичные, есть причины-почвы, причины-корни, причины-стволы. Но, по-моему, главное здесь — именно союз этих причин, их равнодействие. А в основе этого союза лежит, видимое, новая — сдвоенная — роль женщины, вернее, первые, примерочные шаги этой роли.

Может ли работа сама по себе омужничивать женщину? Наверно, все зависит от того, какая это работа. Если грубая, или тяжелая, или нервная, тогда она каждый день

наносит вереницы уколов ранимой женской душе, наращивает на ней защитную толстую кожу, раздраживает чувствительные нервы.

В письме, которое тут уже приводилось, киевлянин Ярослав Береговой говорит: «Как в спорте не годится женщине заниматься боксом, борьбой, футболом, тяжелой атлетикой так и на работе ей не подходят тяжелые профессии или должности: шахтер, ассенизатор, моряк, солдат, лесоруб, асфальтировщик, строитель, следователь, прокурор, милиционер и, наконец, начальник. Такие занятия огрубляют женщину, требуют от нее недопустимого напряжения сил, превращают в мужеподобное существо».

Здесь, по-моему, хорошо сказано о профессиях, которые вредят женщине. Сюда, наверно, можно добавить и хирурга, и онколога, и другие стрессовые занятия, где человек работает лицом к лицу со смертью; и те тяжелые сельские профессии, которые выматывают женщину, рано старят ее; и все работы, связанные с вибрацией (она вредит очень уязвимой женской половой системе) — на самолетах, пароходах, автомобилях. Не совсем согласен я только насчет поста руководителя. Верно, сейчас такой пост часто портит женщине нервы, вселяет в нее силовой напор, делает жесткими мягкие струны женской души. Многие, наверно, помнят, как директорша из фильма «Москва слезам не верит» пыталась командовать своим близким человеком, слесарем, хотя и классным Отпор, который он ей дал, был отпором настоящего мужчины — веским без грубости, сильным без уязвления, построенным на уважении к своему и чужому достоинству.

Но речь сейчас о другом. Когда работа очень конфликтна и когда женщина не очень старается сохранить женственность, она растрчивает ее; так, к сожалению, бывает очень часто. Но если работа не очень конфликтна и если женщина-руководитель старается уберечь женственность, она может и не потерять свое обаяние. А женское участие в управлении обществом исключительно важно: оно может круто переменить всю его атмосферу — добавить к силовым и волевым диапазонам диапазоны мягкости, доброты. Такая гуманизация управления — важнейшее русло социального подъема, коренное звено тех переломов, которые сейчас начинаются, — и один из главных устоев биархатного общества.

Равновесие мужского и женского начал должно, наверно, пропитывать всю ткань жизни, быть ее основой. Об этом, кстати, с древних пор думали глубокие умы самых разных народов. В Древней Индии так считалось солнечным, мужским началом, тха — лунным, женским, и целью хатха-йоги было уравновесить их. В индийской антропологии человек вообще как бы состоял из трех энергий: раджас — деятельной, мужской, тамас — инерционной женской и саттва — высшей, состоящей из сплава женской и мужской энергий. Путь к такому равновесию будет, наверно, долгим, тяжелым, и потери здесь неизбежны. Сплав приобретений и потерь — печальная сердцевина жизни, один из стержневых законов ее диалектики.

Женщины чаще всего бывают руководительницами после тридцати — как раз тогда, когда у них начинается подъем способностей умственных и психотехнических. К этому возрасту женственность обычно или стирается, пригасает, или углубляется, пропитывает собой самые тайные уголки женской души. К сожалению, она куда чаще отцветает, чем расцветает, но рядом с массовым отцветанием юной женственности, биологической, может вырастать зрелая женственность, психологическая. Спад врожденной женственности неизбежен, нормален, но его может уравновешивать взлет приобретенной женственности — тоже нормальный, естественный. Сейчас это бывает, увы, не часто, но при хороших условиях, пожалуй, может стать доступным для многих.

Юная, весенняя женственность — это нежное цветение в женщине ее природных магнитов, майское ликование чувств, тугая, как струна, грация тела. Зрелая женственность — как бы сдвоенная, биологическая и психологическая, и главное в ней — именно душевные, психологические слои. Она не переменчиво-бурная, а уравновешенно-мягкая, она стоит не на девичьей порывистости, а на материнском проникании. Это женственность как бы не берущая, а отдающая, и она бывает обычно стойкой, глубокой, потому что пронизывает самые потаенные закоулки женской души.

«Как вы считаете, почему женщина — комсомольский работник часто несчастна в личной жизни?» (Высшая комсомольская школа, февраль 1979 года). «Может ли женственность сочетаться с мужеством?» (Институт ювенологии, март 1980 года).

Комсомольские руководительницы ведут свою работу чаще всего в двадцать — тридцать лет — в годы кризиса женственности, стыка двух женственностей. Юная женственность начинает в это время угасать, зрелая только просыпается, и в их междуцар-

стве в женщину легко вкрадывается психология любовных ходов, волевого давления, воинственности. Сила характера у таких женщин часто, к сожалению, оказывается по-мужски жесткой, а не по-женски гибкой; и мужество, которое, конечно, может быть женственным, вырастает у них оголенным от женственности. Об этой женственности, кстати, истинно по-мужски — с беспощадной, клинковой логикой — сказал как-то читатель «Литературной газеты» (от 10 июня 1981 года): «Женственность — это мужество оставаться женщиной в любых условиях» (Л. Муравьев, Владивосток).

«Извините, но что вам далась эта женственность? Ведь основное в человеке — это его деловые качества, польза для производства и для семьи. Из женственности дом не возведешь, поле ею не засеешь, не полезнее ли будет воспитывать в людях старание к работе, ответственность, а не всякие финтифлюшки?» (Кинель, Куйбышевская область, сельскохозяйственный институт, апрель 1980 года).

С гравюрной резкостью здесь отпечталось, увы, ходячее понимание человека как производительной силы, отношение к нему как к колесу и винтику общественного механизма. Для такого подхода главное в людях — их вещественные черты: умения, знания, навыки — свойства-инструменты, которые плетут, тачают, строят. Неуловимые черточки, которые не пощупаешь руками, — это не основы человека, а так, добавки к ним, прилепки, которые сбоку припека...

Но мужественность и женственность — одни из главных измерений человека, великие социальные и культурные двигатели человечества. Они породили краеугольные фундаменты человеческой цивилизации, и культивировать, растить их, наверно, так же важно, как и самые высокие моральные ценности. Эти первородные магниты — глубинные единители людей, они могут пробуждать лучшее в наших душах, хотя часто будят и худшее — когда они перекошены, вывихнуты...

Женственность и мужественность — совсем не биологические понятия: это женское и мужское проявления человеческого, женское и мужское видоизменения в этих человеческих свойствах. Именно эти высшие свойства — свойства души, морали — и есть основное наполнение женственности и мужественности, и их главное содержание — социальное, психологическое, нравственное, эстетическое и только потом биологическое.

Искажение женственности и мужественности — это удар по самим основам человеческой природы, расшатывание одного из главных фундаментов всей нашей человечности. Умаление пола — это попытка выхолостить человека, превратить в машиноподобное существо, в диетический и противоестественный средний род. Пожалуй, умаление пола так же безнравственно, как и раздувание его.

Настоящая, человеческая женственность и настоящая мужественность — такие же стержневые человеческие ценности, как истина, добро, красота, справедливость. И растить их, лелеять, поддерживать надо, видимо, особо и с самого детства, как мы растим другие стержневые ценности.

Но для этого, наверно, придется все в жизни — работу, быт, общественные нравы — перестраивать так, чтобы само их устройство растило в людях лучшие стороны мужественности и женственности. И тогда, наверно, станет ясно, что наши самые неуловимые, самые невещественные черты — это уникальные «производительные силы», создатели нашей человечности и счастья, внедрители в жизнь высших человеческих идеалов.

Во все, что человек делает, он вживляет свой отпечаток — овеществляет себя, как говорят философы. Он пропитывает своей психологией все, что создает. И поэтому дом, в чьем облике нет дыхания женственности или мужественности, — это не истинно человеческий дом, а холодная «машинка для жилья»; к сожалению, в таких вот расчеловеченных домах и живем сегодня мы, горожане.

У нас нет психологии труда, и прежде всего женского, а она, видимо, нужна как «Скорая помощь». Психологический подход — азбука культуры труда, ее простейшая почва. И чтобы такая почва появилась, понадобится, наверно, разветвленная психология самых разных профессий. Нужно будет знать, как каждая из них влияет на женщин разного возраста и разного нервного склада, как она действует на здоровых и нездоровых, на матерей, бездетных, одиноких...

Представим себе, что у сложнейшей кибернетической машины вышел из строя простенький пишущий инструмент, и она рисует непонятные закорючки. Вся ее работа



идет насмарку, потому что эта работа зависит и от самых запутанных устройств машины и от самой простой ее части.

Сила системы равна силе ее самого слабого звена — это, видимо, общий закон жизни. Начальные звенья машины могут быть верхом совершенства, но если ее рабочий инструмент слаб, это подрывает успех всей работы.

Наша психология — как бы такой вот «рабочий инструмент», и в конечном итоге от нее зависит качество всего, что мы делаем. Нервозность, подавленность, душевная усталость могут резко снижать силу самых сложных принципов рабочего устройства. Плохое настроение, горе, упадок духа могут — в радиусе своего действия и на время этого действия — срывать работу самых лучших социальных принципов. Психологическое состояние человека — могучая производительная сила, мощный усилитель или ослабитель всей нашей рабочей и общественной энергии. Массовые психологические тяготы могут резко мешать ходу прогресса.

Сейчас постепенно начинается психологизация производства, управления, общественного организма. К сожалению, идет она вяло, а ведь она может стать для нас архимедовым рычагом. Возможно, это первая ласточка будущей научно-психологической, научно-гуманитарной революции; возможно, эта революция сделает психологию одной из центральных наук земли, а заботу о психологии людей — одним из главных фокусов всех забот общества.

Пожалуй, это особенно важно сейчас, когда человеческая психология невиданно усложняется и от этого начинает неслыханно влиять на весь ход жизни. Хорошее психологическое состояние людей улучшает и ускоряет прогресс, плохое — искажает и тормозит его. Наша психология — один из краеугольных, видимо, социальных рычагов, которые движут жизнь, один из главных ее моторов и тормозов (конечно, вместе с открыто социальными рычагами).

И возможно, не такая уж это фантастика — Академия Горя и Радости из ефремовской «Туманности Андромеды», та самая, которая следит, как меняется у людей сумма горестей и радостей, и строит на этом все управление Землей.

Будущая наука — психология труда — выяснит, наверно, какие занятия больше подходят женщине, а какие огрубляют женственность — этот уникальный, бесценный психологический инструмент. Нынешние трудовые роли женщины — это, пожалуй, только первая, черновая примерка ее будущих биархатных ролей. И завтрашний расцвет женского труда и всех женских ролей зависит, конечно, от наших сегодняшних усилий, от того, как глубоко — или как мелко — мы сумеем увидеть нынешние плюсы и минусы женской жизни.

Биархатные перевороты идут у нас во многом самотеком, по способу проб и ошибок. Науки — социология, экономика, демография, психология — не научились моделировать ход этих переворотов, предвидеть их зигзаги; они не выработали стратегию, которая усиливала бы сильные стороны биархатных сдвигов и ослабляла их минусы.

Новый уклад женско-мужских отношений рождается со сбоями, перекосами. Мужчины и женщины выбиты из своей тысячелетней колеи, создают новую, ищут, как им вести себя в новых, непривычных ролях. Идет громадная разведка в истории — поиск новых материков жизни, новых вселенских дорог, по которым пойдет человечество.

Эти поиски могут перестроить всю человеческую культуру, в том числе культуру чувств, отношений. Они могут уравновесить мужской силовой фермент нынешней цивилизации женским ферментом — мягкостью, добротой. Но у подножия этого будущего равновесия много неравновесия, налетов на преграды, оступания в ямы...

В свое время Аристофан сказал о женщинах: обойтись без них так же трудно, как жить с ними. Наверно, многие мужчины подпишутся под этими словами, но и многие женщины могут, пожалуй, сказать то же о мужчинах.

Теневые стороны эмансипации рождают здесь новые тяготы. Равенство, как уже говорилось, частенько понимают у нас как тождество, одинаковость; из-за этого женщины делают иногда тяжелую работу, разрушительно вредную для женского организма, а мужчины относятся к женщинам как к мужчинам, только семижилым. Из-за этого же происходит странный «обмен частицами личности», когда многие женщины перенимают мужские повадки, а мужчины — женские. Особенно видно это у женщин, которые перенимают (и на работе и дома) извечно мужские роли и вместе с ними их мужской психологический ореол. И дело не только в том, что женщины все чаще ку-

рят, все хлестче пьют и щеголяют языком, который родился на излете матриархата<sup>11</sup>. Они теряют мягкость и делаются однолинейными в своем поведении, перенимают мужскую, силовую манеру решать конфликты — горлом или кулаком по столу.

Массовое ослабление женственности — большая психологическая беда для семейной жизни, для культуры любви, для всего мира человеческих отношений. Женщина вырабатывает сейчас не меньше сейсмических волн, чем мужчина. Она не гасит мужские волны, сотрясающие семейную почву, а удваивает ее колебания. А ведь женщина по всей своей природе может быть главным хранителем семейного мира, от нее больше, чем от мужчины, зависят штормы и штилы домашней атмосферы... Многие женщины сейчас как бы сбиваются с пути в новых чащах времени, блуждают по тупиковым дорожкам — дорожкам искажения женской природы.

Но женственность, которую теряют женщины, не исчезает. По какому-то странному закону сохранения психологической энергии она переходит к мужчинам. При этом черточки, которые для женщин — высшее достоинство, у мужчин обращаются в свои антиподы: мягкость делается мягкотелостью, внимание к мелочам — мелочностью, материнская осторожность — трусливостью, уходом от извечно мужской роли «каменной стены»... Вялость и пассивность, долгие колебания без решений, уход от острых углов и от трудности выбора, взваливание на женские плечи самых нервных грузов супружества — все это с эпидемическим размахом внедряется в психологию многих мужчин. Такие мужчины тоже сбиваются со своей эволюционной магистрали, тоже блуждают по тупиковым дорожкам, на которых мужская природа терпит большой урон.

Грани между мужчинами и женщинами понемногу ступеньваются, появляется все больше каких-то полумужчин и полуженщин. В них частенько царит эдакая двуполовая мужественность, и они как бы начинают сближаться в какой-то странный средний пол.

В середине 70-х годов вышла повесть С. Залыгина «Кюжноамериканский вариант»; о ней много спорили тогда в печати, но, по-моему, суть книги осталась не очень понятой, психологического открытия, которое сделал С. Залыгин, не увидели. А в его книге впервые, пожалуй, была по-настоящему высвечена оужженная женщина, рациональная эмоционалка.

Все в жизни она раскладывает по полочкам анализа, все видит через призму сознания, радио Она как бы чувствует мыслями: настоящих чувств у нее нет, на их месте — мысли о чувствах. Все ее эмоции осознаны, осмыслены, прорационалены насквозь, и от этого все в ее жизни не настоящее и сама она не настоящая — не человек, а функция человека, схема женщины.

Женское в ней как бы пропиталось мужским и от этого перестало быть женским; но оно не стало и мужским, а сделалось как бы внеполовым. С виду Ирина Викторовна на удивление женственна, но внутри в ней все подменено, ею движет бесполовая радиоэмоция, которая потеряла эмоциональность и которой управляет рассудочность. От ее женской души осталась только способность мыслить по-женски изящно, без мужской грубости и лобового проламывания сквозь дебри. Но, потеряв живую эмоциональность, душа ее стала бесполой — и от этого полой.

Зараженная прививкой чужих свойств, такая женщина — тупиковая ветвь эмансипации, выбухший отросток, у которого нет листьев. Она идет по антиженскому пути, пути копирования чужой природы.

Но это еще мягкий, интеллигентный вид оужженной женщины. В жизни, пожалуй, чаще попадается грубый, решительный вид — такой, как скалолазка В. Высоцкого, та самая, которая «к вершинам шла», «рвалась в бой» и которая вся из силовых струн и стальной воли.

У Высоцкого, как все мы, наверно, понимаем, речь идет и об обычных горах и о горах социальных, и скальные вершины только высвечивают в его женщине и муж-

<sup>11</sup> В мире курит половина мужчин и четверть женщин. У нас в разных районах курит половина — три четверти мужчин и от четверти до половины женщин (данные НИИ санитарного просвещения Минздрава. «Правда» от 7 апреля 1980 года). Врачи с тревогой говорят, что почти до последнего времени рос женский алкоголизм и каждый десятый алкоголик в стране — женщина. У женского пьянства — небывалый размах: по частичным (но, видимо типичным) данным из-за пьянства мужа в начале 80-х годов гибла почти треть распадающихся браков (31 процент), а из-за пьянства жены — почти четверть, 23 процента («Известия» от 7 февраля 1985 года).

чине то, что в них выросла равнинная жизнь. Они как бы обменялись психологическим полом, и женщина теперь воплощает мужскую силу и покровительство слабому, а мужчина делается опекаемым и спасаемым.

Она — химически чистый мужской характер: суровость, волевой напор, непонимание того, как ты выглядишь со стороны. Ее мужество не женственное, а ефрейторское, грубо-боевое, как у конных амазонок времени гинекокрации (владычества женщины).

Он — размужиненный мужчина, который тянется за ее мужскими доблестями, хочет догнать ее, стать вровень — но все время срывается в трещины и пропасти жизни. А она (вот новая радость женщины) боится его с наслаждением — от своей силы, которая сильнее мужской, от своей гуттаперчевой ловкости и победительности, которая возносит ее над ним.

Скалолаз Высоцкого — человек поступка, он не пытается понять, почему она такая, что ее такой сделало. У Е. Евтушенко есть горькая исповедь человека-осмыслителя, который не может дать счастья женщине и понимает, отчего это случилось:

Мало ей и детей, и достатка,  
жалких вылазок в гости, в кино.  
Сам я нужен ей — весь, без остатка,  
а я весь из остатков давно.

Здесь точно, пожалуй, схвачена психологическая мозаичность нынешнего усложненного человека: его дробит и раздваивает узкая специализация, спринтерский ритм жизни, резкое расширение запросов, погоня за вещными ценностями в ущерб душевным и духовным...

Сегодняшняя женщина гораздо ранимее и взыскательнее вчерашней: ее психологией правят повышенное (часто до самомнения) чувство достоинства и боль от перегрузок, взрыв потребностей (иногда чрезмерный) и рост ненасыщенных потребностей, взлет притязаний (часто избыточный) и разрыв желаний и возможностей — и от всего этого напряженное, из звенящих нервов подсознание.

Женщине нужен цельный мужчина, а не остатки от работы, рюмки, «телеблени». Тяга к мужской цельности и силе — главная, пожалуй, тяга женственности, самое настоящее, самое первородное влечение женской души. И ентушенковский мужчина, кажется, понимает это:

Под эпоху я плечи подставил,  
так, что их обдирало сучье.  
А любимой плеча не оставил,  
чтобы выплакалась в плечо.

И он казнит, распинает себя, кается:

Как любимую сделать счастливой?  
С чем к ногам ее приволокнусь,  
если жизнь преподнес ей червовой  
даже только на первый надкус?

Вот ощущения растерянного мужчины, который не знает, как в джунглях новых сложностей найти новый путь к счастью.

Тысячи лет мужчины понимали, как сделать счастливой женщину: дом, дети, достаток, остатки душевного внимания — этого хватало для тогдашнего счастья. Нынешний взлет запросов далеко обогнал эти старые идеалы. Вершины теперешнего седьмого неба скрыты в облаках, а его новые фундаменты еле брезжут в подземельной мгле; мы видим только часть этих новых вершин и новых подножий, еле ощущаем их ускользящую новизну.

И ентушенковский мужчина увидел только часть несчастья, и он корит в нем одних только мужчин. Наверно, тут есть мужество, есть редкая сейчас мужская сила — все брать на себя, отвечать за все самому. Но есть тут и нехватка мужской силы — рентгеновской силы ума, которая видит не часть, а все, даже самые потаенные, дружины несчастья.

Герой стихотворения (а может быть, и автор?) не увидел вину времени — времени переломов и взлетов, которое перепутало старые и новые корни счастья, резко затруднило его. Он не увидел и вину женщин, чьи запросы и чье «разженщивание» тоже

затрудняют путь к счастью. Он увидел часть вместо целого, и, пожалуй, его мужественность здесь во многом старая, эмоционально-силовая и волевая. Это мужество без мудрости, сила чувства и воли без прозревающей силы ума.

По строю своих ощущений это, наверно, из лучших во все времена видов мужчины — рыцарь совести, который самоотверженно, до бичевания готов брать на себя и свои и чужие грехи. Но женщина для него — только приематель даров, а не создатель их, не со-деятель. По своей скрытой психологии это, наверно, патриархатное представление о мужской и женской роли, патриархатная мужская гордыня.

Признав свое сегодняшнее бессилие, такие мужчины останавливаются на этом. А как найти новую силу? Как сделать, чтобы мужского плеча хватило и на эпоху и на женщину? К сожалению, нынешние поэты, писатели, мыслители мало думают обо всем этом. В последние годы литература, кино, печать часто говорят о женско-мужских и семейных проблемах, но так же часто они делают это поверхностно. В искусстве — да и в человековедении вообще — у нас мало глубоких духовных исканий, мало настоящих (в масштабе истории) социально-философских поисков.

Человечество идет нехоженными дорогами, каждый шаг на этом пути — шаг по неизвестности, по terra incognita. И чтобы понять, как и куда идти в этих лабиринтах, нужно громадное духовное напряжение, нужны страстные, в полный накал, философские поиски. Пожалуй, именно здесь и рождаются сегодня новые грани мужественности — мужество искателя новых дорог, покорителя лабиринтов, разрушителя тупиков.

Впрочем, кое в чем это и старое мужество, и недаром, наверно, Тезей покорил лабиринт с помощью нити Ариадны. Только в союзе с женским началом мужчина может победить Судьбу, и закон Тезея и Ариадны, закон союза с женщиной, — главная, пожалуй, основа сегодняшней мужественности, вернее, ее поисковых слоев.

Во время патриархата мужество мысли и мужество союза с женщиной стояло на задворках мужественности. И хотя древние греки раз в месяц — каждое восьмое число — праздновали день Тезея, покорителя лабиринтов, но это был праздник только Тезея, а не Тезея и Ариадны. И среди двенадцати подвигов Геракла лишь один был подвигом ума, а не силы — когда он очистил Авгиевы конюшни, пропустив сквозь них реку. Только в наше время сила мысли и тяга к союзу с женщиной начинают входить в центральные слои мужественности.

При патриархате существовал женский вопрос, во времена эмансипации возник и мужской. Где искать его корни? Наверно, там, где живут все вопросы, — в зонах неблагополучия.

Как по излому дерева можно узнать, какой год был засушливый, какой влажный, так и на сломе судеб можно увидеть, что к этому слому привело.

У сексологов есть неожиданный ключ, который помогает им разгадать свое измерение и мужского и женского вопросов. Нарушения у одного человека, считают они, — это болезнь взаимодействия, результат рассогласования пары. Говоря языком древнекитайской философии, это плоды неверного соединения инь и ян, женского и мужского начал. И нарушения у человека можно исправить, только исправив это парное рассогласование, только наладив союз инь и ян.

Мужской вопрос — только один угол из семейного «треугольника вопросов», и понять его можно, видимо, только в сцеплении с другими углами — женским и детским вопросами. Он ветвится на несколько подвопросов. Кто глава семьи? Почему уходят от мужей жены? Почему миллионы мужчин пьют чаще, чем чистят зубы? Почему сила мужественности нередко превращается в свои антиподы — в грубую силу или бессилие? Пожалуй, именно эти срезы мужского вопроса больше всего портят жизнь женщин, детей и самих мужчин.

Что отталкивает от мужей тех жен, которые разводятся с ними? (Вспомним, что среди застрельщиков разводов почти две трети — женщины.) Самые ходовые причины: пьянство — оно отвращает половину разводящихся жен; грубость — на нее жалуются треть женщин; несовместимость домашнего поведения, характеров — о нем говорят тоже около трети жен.

Один из самых больших корней мужского вопроса — мизерный вклад многих мужчин в два главных домашних дела — воспитание детей и хозяйство. Больше чем в половине семей муж мало помогает в хозяйстве, мало занимается детьми — он как

бы полугость в семье, полумуж и полуотец. Из-за этого полуучастия в семейной жизни многие мужья теряют свое положение в семье. Жены и дети судят о них по тому, что они делают (вернее, не делают) для дома, и не признают их ни главой семьи, ни даже равным ее участником. Во многих семьях идет борьба за главенство, и она, как говорят социологи, начинает путь к распаду у двух третей разводящихся пар.

Полуприходящие отцы обездоливают детей своим полуучастием в воспитании. Душе ребенка для нормального развития нужно равновесие мужских и женских влияний. Такое равновесие было раньше в старой — большой — семье, когда вместе с детьми жили отцы, деды, дяди. В нынешней — малой — семье потоки мужских влияний очень обмелели. В детских садах и в начальной школе мужчин нет совсем — профессии воспитателя и первого учителя давно стали женскими; в средней школе учителей-мужчин очень мало. Детство и начало юности проходят у нас под эгидой почти одних женских влияний.

Воспитание стало почти совсем матриархатным, и это «оженчивает» многих мальчиков, рождает в них несамостоятельность, психологию ухода от острых углов жизни — или (от противоположного) грубые, варварские виды мужественности.

У девочек от нехватки мужских влияний не вырастает тот идеал и антиидеал мужчины, который обычно рождается в семье, в детские годы, и служит компасом в мире любовного поиска. Во многих девочках не вызревает сейчас такой подсознательный компас, и это обрекает их на блуждания, ошибки, драму неверного выбора.

«Я убедилась, что умная отцовская любовь очень нужна для развития девочки. Когда отец любит дочь, он, пусть даже неосознанно, относится к ней как к маленькой женщине, а это не только будит в девочке ответную горячую любовь, но, самое главное, развивает в ней девичью полноценность и глубокую женственность. Сначала я ревновала дочь к отцу, а потом поняла, как полезна для девочки, как незаменима для ее женской полноценности дружба с отцом. Чем только могла я поощрять их любовь и теперь уверена, что без нее моя дочь не стала бы нормальной женщиной» (Мария Дмитриевна С. Москва, апрель 1982 года).

Вывод этот, по-моему, очень важен. Как ребенок не может родиться без биологического отца, так и женственность не может родиться без своего психологического отца — мужественности. Тут лежит один из главных (и нормальных, естественных) парадоксов воспитания, одна из опор всей его диалектики.

В женственности есть такие слои, которые может породить только мужественность. И точно так же в мужественности есть черты, которые пробуждают к жизни только женственность.

Без мужских влияний женственность не вырастает; нехватка мужских влияний рождает в девочке ту непроявленность пола, к которой потом легко льнут мужские черты. В эту непроявленность вживляется и влияние омужчиненных мам, воспитательниц, учительниц, и все это растит в девочках колючую строптивость, неженственную воинственность, психологию «чуть что — на дыбы».

Положение детей, отношения детей и родителей утяжеляются и другими причинами. Об одной из них хорошо сказал С. Норткот Паркинсон, автор знаменитых законов Паркинсона. Он сторонник женского освобождения, но он видит и минусы, с которыми оно появляется на свет: «...Эмансипация жены, — говорит он, — подорвала власть родителей над детьми. Свергнув мужчину с пьедестала жена и мать, собственно говоря, отняли у себя оружие для поддержания дисциплины»<sup>12</sup>. Точнее, наверное, сказать, старое оружие повиновения и покорности. Смерть такого оружия нормальна, естественна, вместе с патриархатной семьей угасают и патриархатные орудия воспитания. Но рождаются ли новые? Вернее, не слишком ли медленно они рождаются? Не слишком ли зияет разрыв между смертью одних и вызреванием других?

О главном таком новом оружии родительского авторитета верно, по-моему, сказал Эрве Базен. В книге «Во что я верю» он писал, что в наше время «когда любой авторитет предполагает выборность», родители часто переживают тяжелую драму. «...родители не выбирают детьми, — говорит Базен, — а навязываются самим фактором появления на свет. Это порождает необходимость... как бы усыновления родителей детьми. Недостаточно просто носить звание родителей, нужно, чтобы роди-

<sup>12</sup> С. Норткот Паркинсон. Закон Паркинсона и другие памфлеты. М. 1976, стр. 417—418.

тели были приняты, узаконены собственными детьми. Дети признают нас в отроческие годы, и тогда горе той привязанности, что не основана на уважении!<sup>13</sup>

Вот обратное, расшатывающее влияние демократии на семейные связи. От нравов общества — это азбука — зависят и нравы семьи, и новые социальные нравы подрывают старые опоры детски-родительских отношений, побуждают — как вопрос жизни и смерти! — переводить их на новые рельсы.

Но чем сложнее потребность, тем сложнее ее насытить, и чем новее новое, тем труднее его достичь. Перевод родительского авторитета на рельсы уважения — то есть душевного равенства, семейной демократии — часто приводит к тому, что этот авторитет сходит с рельсов. Особенно касается это отцовского авторитета: он гораздо меньше, чем материнский, зависит от детских чувств, подсознания и гораздо больше — от сознания.

Отцовскую роль затрудняют и другие социально-культурные перемены, в том числе глобальные, лежащие в самих основах нынешнего общества, в самих устоях теперешнего разделения труда. Приобретения, как мы знаем, всегда идут с потерями, в любом новом есть и новые теневые стороны — это сквозной закон прогресса.

В трудовой семье прошлого отец был и воспитателем и учителем детей, особенно в крестьянской и ремесленной семье, которая вся жила воздухом отцовской профессии.

В последние сто лет общество все больше берет на себя эту вечную отцовскую обязанность. Воспитание (отчасти) и обучение (в главном) из рук семьи перешли в руки общества. Это рвет нити духовной зависимости, которые привязывают детей к родителям, резко уменьшает ореол учительства, на котором строилось уважение детей к отцу.

От этих глобальных переворотов трудно и отцам и детям, и трудность эта обостряется от других перемен в семье. Пожалуй, главный минус в положении нынешних детей — их ненормально низкая самостоятельность.

Теперешняя семья — потребительская ячейка, в ней почти нет трудового воспитания: детей чаще всего отстраняют от домашнего труда (маленьких — потому что малы, школьников — потому что им некогда), и они растут иждивенцами, белоручками. В школе трудовое воспитание поставлено плохо — и по времени, которое ему уделяется (два часа в неделю плюс еще два — четыре часа в старших классах), и по качеству самого воспитания. А так как трудовое воспитание — сердцевина нравственного воспитания, то изъяны в ней рождают изъяны и во всем нравственном воспитании.

Детская психология — психология ближнего прицела, быстрого результата. Чтобы в детях рос деятель, созидатель, им нужно постоянное дело, постоянное созидание, причем созидание того, что они могут потрогать, и главное, того, что нужно другим.

Главным воспитательным фундаментом детской жизни должно бы быть каждодневное созидание (для других и для себя) — вещей, игрушек, рисунков, стихов, еды, чистоты, порядка, — каждодневное творение забот о родителях, родственниках, друзьях, соседях. Духовное и материальное созидание должно бы — вместе с игрой — стать генеральным стержнем детских будней, их главным хребтом. Только тогда из детей будут вырастать настоящие люди с равновесием созидательных и потребительных запросов, с перевесом духовных ценностей над вещными.

Такое созидание для других — лучший вид самосозидания: оно рождает в детях самые светлые человеческие черты, растит их добрыми, совестливыми, работающими, полными энергии. Это единственный способ вырастить из человека человека — и лучший, пожалуй, способ вырастить творца.

Но у детей в нынешней семье такого стержня чаще всего нет. Стержень их повседневной жизни — не созидание для других, а потребление для себя — потребление родительских забот, игр, развлечений; у школьников к этому добавляется созидание себя через учебу, узкое созидание части своей личности — знаний, деловых свойств, кое-каких умений.

Детская повседневность построена на принципах я-центризма и получения, в ней нет равновесия получения и отдавания. У большинства городских детей единственный постоянный труд — это учеба, скучный умственный труд, у которого нет практического выхода, который не подкрепляется созиданием для других. Школьное образова-

<sup>13</sup> «Иностранная литература», 1979, № 4, стр. 240.

ние построено на обветшалом принципе, который резко не соответствует нуждам НТР: на пассивном усвоении сведений, а не на активном развитии творческих способностей, на разрыве образования и воспитания, на отсечении учебы от труда. А ведь повседневность — наш главный скульптор, и потребительская детская жизнь лепит из многих детей человека-потребителя, я-центриста, который умеет отдавать куда хуже, чем получать.

Нынешнее социальное положение детей (в семье, школе, в быту) плохо растит в них стержневые свойства настоящего человека — тягу к самостоятельности и труду, товарищескую взаимопомощь, гуманность, неэгоизм...

А в таких детях плохо растет психологическая мужественность или женственность. Мужественность и женственность лучше всего зреют в доброй заботе о других, и главные их пласты — именно создающие, а не потребляющие, дающие, а не берущие. И когда в детских душах не тренируются моторчики деятеля, творца, это лишает детей одного из главных родников мужественности и женственности, обрекает их вырастать в полумужчин и полуженщин.

В последнее время тут начались важные сдвиги. Открытия новаторов воспитания, тревожные голоса родителей, критические выступления печати — все это вызвало массовое движение за перестройку воспитания, за реформу школы. Реформа расшатывает те устои старого просвещения и воспитания, которые окаменели, заменяет их новыми, более подвижными и способными к самоулучшению. Но это, видимо, только первый шаг вперед, только самое начало системных воспитательных реформ, которых требует новая ступень истории.

В последние столетия один за другим в корне перестраиваются главные фундаменты семьи. Еще до прошлого века семья (в трудовых слоях) была производственной ячейкой и люди работали внутри семьи — на своем наделе, в своей мастерской. Потом производственные занятия ушли из семьи. С ходом истории семья передает обществу одну свою обязанность за другой — в том числе образовательную, отчасти воспитательную. От этого круто меняется вся ее жизнь, все отношения в ней.

Психологические и нравственные перестройки в нас всегда отстают от социальных: они как бы следующие ступеньки на той лестнице, которая начинается с социальной ступени. Осознание перемен часто отстает от самих этих перемен на одно-два поколения, один-два шага истории. Это вечный, пожалуй, закон прогресса — и вечный источник социальных бед и недугов.

Впрочем, разлад этот вполне можно ослаблять, обезболивать. Когда есть настоящее научное предвидение, когда мы представляем завтрашние результаты сегодняшних савигов, мы можем или обойти подводные камни, или смягчить удар о них.

Но сегодняшняя наука (социология, психология, демография, экономика, педагогика, этика) таким практическим предвидением занимается слабо. Она не выработала стратегию развития семьи, быта, воспитания, она не создала даже рабочую модель сегодняшнего и завтрашнего развития семьи и воспитания. Наука не установила, какие места в этом развитии самые сильные, какие самые слабые, какие противоречия могут разрастись завтра, послезавтра, чему и как помогать в первую очередь, во вторую, в третью... А ведь предвидение последствий — простейшая основа научности, и если его нет, если мы относимся к жизни, как шахматист, который видит только на один ход вперед, какая уж тут научность...

Ленин остро говорил о таком вопиющем невнимании к стратегии: «...кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае значит обречь свою политику на худшие шатания...»<sup>14</sup>.

Биархатные сдвиги начались исторически совсем недавно — в прошлом веке. Основатели марксизма сразу же отнесли к ним как к коренным историческим процессам. Маркс писал в «Капитале», что крупная промышленность разрушила экономическую базу старой семьи и создала «новую экономическую основу для высшей формы семьи и отношения между полами»<sup>15</sup>. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» выдвинул двойной принцип эмансипации: «...первой предпосылкой освобождения женщины является возвращение всего женского пола к обществен-

<sup>14</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 368.

<sup>15</sup> К. Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 500.

ному производству, что, в свою очередь, требует, чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяйственной единицей общества»<sup>16</sup>. И Ленин от первых своих работ до последних бесед и выступлений много говорил о женском освобождении. «Взгляды на отношения человека к человеку, на отношения мужчины к женщине революционизируются, — утверждал он в разговоре с Кларой Цеткин, — революционизируются и чувства и мысли... Это медленный и часто очень болезненный процесс исчезновения и зарождения... В области брака и половых отношений близится революция, созвучная пролетарской революции»<sup>17</sup>.

Основатели марксизма писали о переворотах в отношениях мужчин и женщин именно исследовательски, они по-настоящему, социологически изучали перемены в положении женщины, исследовали ее труд, ее роль в обществе, в семье и делали из всего этого стратегические общесоциологические выводы. Достаточно вспомнить хотя бы «Положение рабочего класса в Англии» и «Происхождение семьи...» Энгельса, «Развитие капитализма в России» Ленина и его статьи и выступления о женском вопросе. К сожалению, наши общественные науки почти не продолжили эту традицию исследовательского и стратегического подхода к женски-мужскому срезу нынешних социальных сдвигов.

В последние десятилетия у нас часто критикуют общественные науки за робкую разработку стратегических проблем и слабые исследования жизненных противоречий, а ведь это их главная задача, их простейшая, азбучная обязанность. «...Наш философский и экономический фронт, да и обществоведение в целом, — говорилось в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду, — находятся в состоянии... известной отдаленности от запросов жизни... Схоластика, начетничество и догматизм... ведут к застою мысли, мертвой стеной отгораживают науку от жизни». Доклад призвал обществоведов к «смелой, инициативной постановке новых проблем», к их «творческой теоретической разработке»<sup>18</sup>.

Наука — как бы дитя левого полушария, полушария логического мышления, больше мужского, говоря условно, чем женского. В общественных науках в отличие от естественных это полушарие поутратило свою рентгеновскую силу, ведет себя «размужчиненно», «феминизированно». Оно слабо исполняет мужскую эволюционную роль — мало ищет пути в завтра, плохо помогает строить стратегическую дорогу в будущее. А ведь только так наука может стать одним из главных двигателей прогресса, только так она сумеет выполнить свою социальную роль — роль впередсмотрящего на корабле истории, роль акушера будущего.

Мужской вопрос и женский вопрос питают и порождают друг друга, и смягчить каждый из них можно, видимо, только смягчая другой. Это, пожалуй, основа основ, корень корней в подходе к этим вопросам.

Вспомним: до войны у нас работало около половины женщин, сейчас работает 85—90 процентов. Произошел огромный отлив женщин из семьи, и его надо было восполнить таким же приливом мужской помощи и помощи службы быта. К сожалению, встречного прилива не получилось, и это принесло огромный вред и женщинам, и мужчинам, и детям, и обществу. Причем мужчинам, по-моему, навредило не меньше, чем женщинам.

Чем именно женские перегрузки бьют по мужчинам? Итальянская пословица говорит: все невесты — принцессы, почему же среди жен нет королев? Королевы, конечно, есть, но их гораздо меньше, чем могло бы быть: это из гадких утят вырастают прекрасные лебеди, а невесты-лебедушки часто, к сожалению, становятся гусынями — во многом именно из-за перегрузок. Вина здесь ложится и на широкие плечи мужчин и на узкие плечи бытового обслуживания. Именно они — своей слабой помощью — превращают принцесс в золушек, не помогают им стать королевами.

Женственность — главный магнит для мужественности, и мужчин влечет к женщинам именно их женственность. А женственность — это яркость чувств, свежесть ощущений, это переливы эмоций, игра притяжений и отталкиваний, это женская мягкость, слабость, ласковое понимание.

Когда женщина страдает от перегрузок, у нее появляется вялость чувств, туск-

<sup>16</sup> К Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 77.

<sup>17</sup> Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. М., 1969. т. 5. стр. 45—46.

<sup>18</sup> «Правда», 26 февраля 1986 года, стр. 8.



лость ощущений, раздражительность, нервозность, сварливость... На место магнитов для мужского подсознания встают антимагниты, и они разрушают самые глубокие и самые прочные пласты мужского влечения.

Есть ли спасательные круги от этих заколдованных кругов?

В тройке сил, которая тянет домашние дела, женщина выступает коренником, а мужнина и служба быта — пристяжными. На домашний труд, черновой и неквалифицированный, в стране уходит больше времени, чем на общественный: на домашний идет 275 миллиардов часов в год, на общественный — 240—250 миллиардов. Главная доля этих миллиардов — около 200 — ложится на хрупкие плечи женщины, а служба быта, как высчитали экономисты, делает лишь тридцатую часть домашних дел<sup>19</sup>. В будущем, наверно, она станет коренником, будет делать столько домашних дел, сколько сейчас делает женщина. Но служба быта растет сегодня очень медленно, и при нынешних темпах ее помощь семье станет, видимо, весомой лет через двадцать, когда она будет брать на себя хотя бы треть домашних нагрузок, то есть раз в десять больше, чем сегодня. Не слишком ли долго ждать и не слишком ли дорого обойдется семье близорукость экономистов и плановиков-управленцев, которые не видят гигантскую важность семьи для всего хода прогресса?

Поэтому главный на сегодня спасатель семьи от заколдованных кругов — мужчина. Наверно, даже самому завзятому эгоисту и даже с самых эгоистических позиций выгодно разгрузить свою женщину от перегрузок. Он, конечно, кое-что проиграет от этого, потеряет часы отдыха, любимых занятий, но выиграет явно больше. Он продлит жизнь ее женственности, продлит жизнь магнитам, которые влекут его к ней и дают такие россыпи радостей, перед которыми меркнут все футбольные и забытые наслаждения, вместе взятые.

И наверно, чем больше полуотец и полумуж будет делаться полным отцом и мужем, тем меньше станет и семейный «треугольник вопросов» и тем реже принцессы будут становиться золушками.

Когда селекционеры прививают к одному растению другое, старые его свойства расшатываются, теряют стойкость. Такому вот организму с расшатанной природой легко привить новые свойства, и расшатывание старых свойств — это первый шаг к рождению нового сорта.

У мужчин и женщин тоже расшатаны сейчас старые свойства. Они ведут себя в не свойственном им ключе, потому что стоят — может быть, впервые в истории — в небывалом для себя положении. Женщина добавляет к своим старым ролям новые, мужчина — убавляет. Он теряет командные позиции в семье, уступает женщине крупную долю своих позиций в обществе. Круг жизненных ролей женщины увеличивается, мужчины — сужается.

Женщине в этих условиях труднее физически, но легче, чем мужчине, морально: жизнь ее обогащается, она начинает играть для человечества удвоенную роль. Это окрашивает ее жизнь в особые психологические тона, расковывает энергию ее подсознания. Тут, видимо, действует важный закон человеческой энергетики: чем сильнее деятельность (конечно, в границах меры), тем больше энергии вырабатывает организм. В женщинах, наверно, рождаются сейчас невиданные до этого запасы энергии — физической, нервной, душевной. Наверно, из-за этой двойной выработки энергии женщина и преодолевает двойные нагрузки — тут, пожалуй, и таится разгадка нынешней женской стойкости.

Впрочем, у подъема женской энергии два мотора — естественный взлет и искусственное подхлестывание, душевный порыв и нервный надрыв. Многие женщины не выдерживают этого чрезмерного возбуждения, и спад женственности — симптом такого срыва, плата за авральную повышенную выработку энергии, по типу своего мужскую.

Женщины живут сейчас как бы в мужском эволюционном ключе — наступательно, мужчины в женском — уступательно. Пожалуй, впервые в истории женщина меняется

<sup>19</sup> Впрочем, выяснилось, что и это — преувеличение, причем крупное. Журналистка-социолог Л. Великанова установила, что большую часть своей работы (стирка, уборка, ремонт) служба быта делает не для семьи, а для организаций (гостиниц, больниц, детсадов, общежитий, домов отдыха). В Москве, например, фирма «Заря» только 1/10 своих услуг оказывает семье. «Отчеты огромных производственных объединений выглядят великолепно даже в тех случаях, — пишет Л. Великанова, — когда каждому из нас за целый год они оказывают услуг — стыдно сказать — всего на 37 копеек» («Литературная газета», 22 июля 1981 года).

куда режет мужчины, больше, чем он, служит носителем «социальной изменчивости». Женщина как бы выполняет сейчас мужскую эволюционную роль — роль открывателя новых земель, а мужчина женскую — роль отбирателя, оценителя. Возможно, эта рокировка ролей и есть самая главная причина нынешнего омужничивания женской психологии и оженщивания мужской. Такой обмен стилем жизни, видимо, неизбежен на стартовом, поисковом этапе биархата, когда у женщин идет бурное — взрывом — освоение новых ролей, мужской по энергии захват новых жизненных позиций.

Но сейчас это переломное время начинает, пожалуй, подходить к концу. Пик перемен взят, женский рывок совершен, и первая ступень эмансипации — ступень бури и натиска — почти пройдена.

Жизнь подходит, наверно, ко второму этапу биархатных сдвигов. Главное на этой ступени — закрепление на новых рубежах, осознание плюсов и минусов своего нового положения — выработка нового равновесия.

Женщины, очевидно, будут выводить из своих душ отложения мужественности, восполнять потери женственности. Они, возможно, постараются сохранить в себе те свойства искателей, которые дала им эмансипация, но, видимо, будут перестраивать их по камертонам женственности.

Может быть, именно так и станет возникать новая женственность: обогащая себя чертами, которые раньше были в основном мужскими, но пропитывая их женственностью, делая из чужеродных своими. Появится как бы расширенная, двоякая женственность; в старую женственность вживится новый слой — слой усиленной активности и доброго разума; причем активность будет, видимо, мягкая, а не силовая, разум — сердечный, эмоциональный, а не рассудочно-рациональный.

То, что женщины сейчас пережили, это, видимо, только первый шаг в приеме нового — бывшего мужского — признака. Женщины как бы примеряют его к себе, вживляют в себя — сначала в его собственном, чужеродном им виде. Возможно, при осознанном развитии, которое начинается сейчас, женщины будут стараться сразу переплавлять свои новые свойства на женский лад.

Может быть, по такой же спирали расширения пойдет и развитие мужчин. Возможно, те свойства, которые они сейчас перенимают в их женской форме — мягкость, осторожность, внимание к мелочам, — тоже восполняют флюсы в патриархатной мужественности. Возможно, непереваренное усвоение чужих свойств — неизбежная первая ступень такого восполнения. Если мужчины переведут эти свойства в свой ключ, то в мужественность войдут новые слои — мужество доброты, бережная сила человечности.

Можно предположить, что нынешнее обогащение одного пола чертами другого — психологический закон истории, закон рождающейся гармонии биархата. Но на первых шагах такое обогащение идет через обеднение. Новое, видимо, может расти и «по закону гадкого утенка»: красивое рождается как уродливое, хорошее — как плохое. И нынешнее омужничивание женщин и оженщивание мужчин — не только зло, но, возможно, и будущее добро. вернее, переходная ступень на пути к добру, ступень организма с расшатанной природой.

«...Я терпеть не могу мужчин маленьких, сладких, скромных. Мужчина должен быть высок, силен; он говорит громко, глаза у него большие, огненные, а чувства — не знают никаких препятствий. Пожелал и сделал — вот мужчина!..»

— Да ведь вы же, Варвара Васильевна, какого-то зверя изобразили! Что привлекательного в таком чудище?

— И совсем не зверя, а сильного мужчину! Сила — вот и привлекательное. Терпешние мужчины рождаются с ревматизмом, с кашлем, с разными болезнями — это хорошо?.. Какие дети могут быть от таких дрянных мужей?»

Такой вот идеал у героини горьковской повести «Варенька Олесова». Конечно, этот идеал не чудище, в нем много здорового, много именно от идеала мужественности, точнее, от его эмоциональной стороны. Но мужская сила, о которой извечно тоскует женщина, здесь болезненно отщеплена от всего остального, и мужественность сузилась до одного силового стержня — силы мускулов, чувств, воли, силы, которой не нужна нравственность, не нужен разум.

Елизавета Сергеевна, персонаж той же повести, говорит:

«— Мужчины и женщины — два племени, вечно враждующие... Доверие, дружба и прочие чувства этого порядка едва ли возможны между мной и женщиной. Но воз-

можно любовь... а любовь — это победа того, кто любит меньше, над тем, кто любит больше».

Вот две модели, которые рождены ущемленной женственностью: модель патриархатного ян глазами патриархатной инь и модель их патриархатного союза инь-ян. Любовь здесь — вражда и борьба, победа и поражение, она вывернута наизнанку, превращена в капканное чувство. Победа того, кто любит меньше, над тем, кто любит больше, — это ведь затаенная ненависть, антилюбовь в маске, патологический гибрид отталкивания и тяготения.

Любовь — это всегда победа (или поражение) тех, кто любит, над тем, что мешает любить — в них самих, в жизни. Это зенит человеческих чувств, высший взлет союза между мужским и женским началом, самый крепкий мост через пропасть их разницы. И это самый гениальный скульптор, который лепит в женщине женщину, а в мужчине — мужчину.

Чтобы решить женский вопрос, нужны настоящие мужчины, чтобы решить мужской — настоящие женщины. Чем меньше таких женщин, тем меньше и таких мужчин; чем больше одних, тем больше и других.

Двуличие этих вопросов, их половодье можно, пожалуй, ввести в берега лишь вместе, потому что в мужском вопросе многое — эхо женского вопроса, в женском многое — эхо мужского. Они не существуют друг без друга, как не существуют друг без друга полюсы магнита.

Как выходить мужчине из переходного состояния?

Во времена переломов мужской пол играет совершенно особую роль для рода. Когда жизнь меняется мало, когда главное в ней неизменно, тогда на первом плане эволюции стоит женский пол, главный хранитель психологической наследственности. Возможно, так это и было в медленные времена матриархата. Когда жизнь начинает круто меняться, нужны новые свойства, чтобы уцелеть в новых условиях. И тогда в первую шеренгу рода выходят мужчины — боевая сила человечества, главные носители изменчивости. Многие, наверно, знают, что после войн, кризисов, катастроф рождается куда больше мальчиков, чем обычно. Это защитный механизм рода, щит обороны от опасностей: во время поворотов истории именно мужской пол берет на себя главную тяжесть выживания, спасения.

И пожалуй, ключ сейчас — и к женскому и к мужскому вопросу — в резком взлете мужской роли, роли искателя, открывателя, защитника во всех зонах жизни: и в личных отношениях, в семье, в быту, и во многих областях социальной жизни, в которых развитие идет как бы по женскому типу — с минимумом исканий, максимумом сохранения старого. («Оженщивание», как видим, может менять не только личную психологию, но и социальную — стиль жизни каких-то частей социального организма.)

Во времена переворотов и революций мужской эволюционный стиль поведения — стиль созидателя, открывателя нового — должен, очевидно, вести, преобладать. (Речь идет именно о социальном стиле поведения, а не биологическом.) Плюсы мужского стиля сейчас повышено важны, минусы — повышено опасны. Поэтому как никогда важен сейчас глубокий союз с женским началом, который будет ослаблять минусы и усиливать плюсы мужского начала.

Женщины уже усвоили вчерне свои новые общественные роли. Мужчины отстают от них в освоении своих новых ролей, и им, наверно, предстоит тут долгий рывок наверх.

Впрочем, такой рывок уже начался. В последнее время стало заметно больше мужчин, которые ведут себя как творцы, созидатели, а не как потребители старых открытий, приспособленцы к прошлому. И как раз больше всего они проявляют себя в делах, которые касаются детей и семьи, — в воспитании (семейном и общественном), образовании, семейных обычаях. Тут или уже сделаны громадные открытия (вроде раннего разностороннего развития, чей разведочный вариант родился в семье Никитиных), или появились идеи-перевороты, которые могут в корне, революционно улучшить все школьное образование (Щетинин, Амонашвили). Идут здесь и эксперименты с хозяйственно-воспитательными союзами семей — союзами, которые могут стать палочкой-выручалочкой для нынешнего быта.

Это, видимо, первые предвестия завтрашних переворотов в воспитании, образовании, семье, первые ласточки, которые залетают к нам из будущего. И не случайно их авторы в большинстве случаев мужчины: так, наверно, и рождается сегодня мужской

рывок, после которого может ожить вывихнутое равновесие в отношениях мужчин и женщин.

Когда мужчина станет главным внедрителем нового в семье, быту, воспитании, стиль его домашней жизни снова будет зеркально отвечать глубинной мужской природе, социально-психологической и социально-биологической. И при женской поддержке, женском понимании он сможет, видимо, пробиваться к истинно мужской роли в жизни, борясь со своей вековой тягой к командирству, владычеству. На этой дороге, видимо, и будет рождаться новая мужественность — не самовластная, не диктаторская, а обогащенная добротой, гуманностью, тормозами терпения, выдержки.

Личность человека — это понятно — полнее проявляется в личной жизни, и семья может стать поначалу самым естественным полигоном для лепки доброй и смелой мужественности. Но у мужественности есть и вторая сторона, которая обращена к обществу: мужество разведчика времени, пролагателя новых дорог истории. И чтобы мужественность не стала карманной, домашней, придется не меньше растить ее волевые, поисковые двигатели — двигатели социального мужества.

Тогда-то, делаясь искателем и творцом в семье, мужчина будет больше становиться творцом в обществе — не тусклым эволюционером, а ярким революционером.

Тренируемое в семье чувство хозяина, созидателя, тяга к новому, к доброму улучшению жизни — все эти психологические пружины станут, видимо, лучше действовать и в других областях жизни. И наоборот: умное мужество социального хозяина поможет ему стать настоящим мужчиной дома.

На первом этапе биархата, этапе бури и натиска, женщина была более важной, пожалуй, даже главной движущей силой. На втором этапе, этапе выравнивания, главной силой, видимо, станет мужчина. Он возьмет на себя основную тяжесть новых переменов, а когда равновесие восстановится, жизнью, наверно, станет править гармонический союз инь и ян — женского и мужского начал.

Начало эмансипации шло под лозунгом равноправия мужчин и женщин. Сейчас, видимо, здесь начинает рождаться новый лозунг, главный стратегический лозунг биархата — п о л н о п р а в и е мужчин и женщин.

Полноправие — это полное раскрытие лучших сторон женской и мужской природы; это как можно более тесный союз женского и мужского начал в семье и быту, в обществе и работе; это лад, а не разлад между жизненными и эволюционными ролями женщин и мужчин; это такое переустройство всей жизни, всех женско-мужских отношений, при которых они зеркально отвечали бы их человеческой психологии и биологии.

Именно в этом состоит суть всех мечтаний и предвидений будущего, о которых говорили лучшие умы человечества — от утопистов до основоположников марксизма. Ибо полное развертывание всех человеческих сил — это самоцель, то есть высшая цель человека, которая осуществится, по мысли Маркса, в обществе высшей свободы.

В Древнем Китае был трактат о мужском и женском началах — «Наставления чистой девы», и он говорил: «Мужчина и женщина дополняют друг друга подобно тому, как Небо и Земля рождены друг для друга». В благоприятном будущем этот идеал, наверно, по-настоящему вращается в жизнь. Тогда, видимо, люди по-настоящему поймут то, о чем говорили мыслители от античности до наших дней: и мужчина и женщина порознь — не человек, лишь вместе они составляют полного человека.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ



## НА ВЗГЛЯД РЕДАКТОРА

**В**ячеслав Павлович Полонский (23.VI (7.VII) 1886 — 24.II.1932) внес заметный вклад в развитие социалистической культуры нашей страны. Он принадлежал к той части интеллигенции, которая после Октябрьской революции сразу же приняла активное участие в культурной политике Советского государства.

Историку, журналисту, литературному критику и редактору, В. Полонскому еще в годы гражданской войны было поручено организовать литературно-издательскую работу при Политуправлении Реввоенсовета Республики. Полонский был во главе Высшего военного редакционного совета, организовал Государственное военное издательство и руководил им, он стоял у истоков создания газеты «Красная звезда» в 1924 году. Работая в Красной Армии (1919—1925), В. Полонский принимал участие и в «гражданских» литературных делах — был членом литературного отдела Наркомпроса, членом центральной редакционной коллегии Государственного издательства. С 1919 по 1923 год он — бессменный председатель правления Дома печати, в стенах которого обосновалось несколько литературных организаций. Только за первый год существования Дома печати там были проведены десятки литературных и театральных вечеров, дискуссий, лекций, обсуждений новых произведений. В этих встречах принимали участие те, кто стал украшением и гордостью нашей литературы.

В 1921 году В. Полонский стал создателем и ответственным редактором (при ближайшем участии А. В. Луначарского, И. И. Скворцова-Степанова, Н. Л. Мещерякова) журнала «Печать и революция», который с энциклопедической широтой отразил размах культурного строительства в стране. В 1922 году он принял участие в организации журнала «Красный архив», сыгравшего серьезную роль в развитии советской исторической науки и археографии.

Осенью 1925 года ЦК ВКП(б) поручает В. Полонскому стать ответственным редактором еще двух периодических изданий — литературно-художественного еженедельника «Красная нива» и журнала «Новый мир», первого толстого журнала издательства «Известия». Не отдавая предпочтения какой-либо литературной группе, В. Полонский искал и приглашал в эти журналы талантливых авторов — маститых и начинающих, — стараясь быть широким и строгим в отборе материалов для публикации. Реорганизованный Полонским «Новый мир» превратился в такой литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник, тираж которого через год увеличился более чем вдвое, и уже летом 1927 года Горький назвал «Новый мир» и «Печать и революцию» превосходными изданиями.

Будучи одним из учредителей Общества историков-марксистов, Полонский принял участие в создании журнала «Историк-марксист» в 1926 году и его работе.

В. Полонский читал лекции по истории в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова (1923), а в 1925 году стал ректором Высшего художественно-литературного института имени В. Я. Брюсова — его основателя и руководителя.

---

Публикация М. ВАШКЕВИЧ и К. ЭГОН-БЕССЕР (ПОЛОНСКОЙ). Вступительная статья и примечания М. ВАШКЕВИЧ.

В. Полонский был членом Государственной академии художественных наук и выполнял обязанности председателя Всероссийского выставочного комитета.

В 1925 году, когда начало готовиться первое издание Большой Советской Энциклопедии, В. Полонскому поручили руководство отделом литературы, искусства и языка; последний том, в котором он сотрудничал, семнадцатый, вышел в 1930 году.

С 1929 года до своей кончины Полонский был директором Музея изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

С полной отдачей исполняя эти и многие другие ответственные обязанности, он постоянно занимался и творческим литературным трудом, который, еще будучи студентом, начал в 1910 году. В. Полонский — автор работ о Горьком, о русской истории, очерков о литературном движении революционной эпохи, книг об интеллигенции и эмиграции, о русском революционном плакате.

Статьи Полонского о молодой советской литературе, о задачах и проблемах, стоящих перед ней, о литературной критике, его литературные портреты писателей-современников и исследование природы художественного творчества — все это заняло достойное место в истории советской эстетической мысли.

Мы публикуем некоторые страницы из деловой переписки В. Полонского. Письмо С. Н. Сергееву-Ценскому предоставила редакции вдова Вячеслава Павловича Кира Александровна Эгон-Бессер, живущая в Москве. Неоконченное и неотправленное письмо А. М. Горькому взято из Архива А. М. Горького, остальные письма — из Центрального государственного архива литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), где имеется фонд В. П. Полонского.

### В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДУ

11 апреля 1921 года.

Всеволод Эмильевич!

Что Вы делаете? Ведь номер ждет — без заметок Ваших о театре я не могу пустить журнала<sup>1</sup>. Вы сами литератор и редактор<sup>2</sup> — и понимаете мое редакторское бешенство. Я жду от Вас: 1) о Сахновском<sup>3</sup>, 2) о Когане<sup>4</sup>. О культуре театра пустил в № 2. Я уверен, что Вы соберете все свои силы — которых у Вас в запасе уйма — и подарите мне всего-навсего пару рецензий.

Пишите.

Жму руку.

Вяч. Полонский.

<sup>1</sup> Речь идет о журнале «Печать и революция».

<sup>2</sup> Режиссер В. Мейерхольд был редактором и издателем журнала «Любовь к трем апельсинам», выходившего в 1914—1916 годах.

<sup>3</sup> Сахновский Василий Григорьевич (1886—1945) — режиссер, театровед, педагог. В 1919 году организовал Показательный театр, где стремился ставить спектакли, созвучные идеям революции.

<sup>4</sup> Коган Петр Семенович (1872—1932) — историк литературы, театровед. При основании в 1921 году Академии художественных наук был избран ее президентом.

19 августа 1922 года.

Дорогой Всеволод Эмильевич!

Случайно из № 3 «Литературных записок» узнал, что Вы готовите к печати Ваши воспоминания о Блоке. У Вас в самом деле должно быть много знаний о Блоке. Вы ведь с ним сталкивались очень близко в эпоху «Балаганчика»<sup>1</sup> и позднее. Так вот, видите ли, в качестве редактора журнала «Печать и революция» (к слову сказать, Вами столь незаслуженно забываемого) хочу Вам намекнуть, что я с большой охотой пропустил бы эту Вашу работу (в целом или частично) через журнал до выхода отдельным изданием. Это было бы очень хорошо и для Вас как автора и для моего журнала, который, несмотря на Ваше недружеское по отношению к нему поведение, все же продолжает считать Вас своим другом.

Было бы хорошо, если Вы мне ответите.

Полонский.

Симеиз.

<sup>1</sup> В 1914 году В. Мейерхольд поставил «Незнакомку» и «Балаганчик» А. Блока в Студии на Бородинской улице в Петрограде.

## Л. П. ГРОССМАНУ

5 февраля 1924 года.

Дорогой Леонид Петрович!<sup>1</sup>

К сожалению моему великому, статья о Брюсове не может пойти, так как рухнул мой замысел дать характеристику Брюсова как поэта. Это потребовало бы несколько статей, причем центральное место должна была занять тема «Брюсов и русская поэзия». Но автора для такой темы я не нашел. Одна же статья — «Брюсов и французские символисты» — носила бы случайный характер. Очень об этом жалею и прошу Вас в ближайшее время дать мне для журнала что-нибудь — что найдете более подходящим. Может быть, у Вас есть о Достоевском?..

Рецензия Ваша уже набрана<sup>2</sup>. Я, разумеется, никаких поправок в нее не внес — предоставляя это Вашему усмотрению... Статья моя о Вашем «Бакуине» пойдет во 2-й книге «Печати и революции»<sup>3</sup>. Буду также читать публично — рассчитываю на Ваше присутствие.

Жму Вашу руку крепко.

Вяч. Полонский.

<sup>1</sup> Гроссман Леонид Петрович — литературовед, писатель. С 1921 года читал лекции по теории и истории литературы в Литературно-художественном институте. Ученый секретарь литературной секции Академии художественных наук.

<sup>2</sup> Речь идет о рецензии Л. Гроссмана на первый том «Материалов для биографии М. Бакунина» под редакцией и с примечаниями В. Полонского, выпущенный Госиздатом в 1923 году. Рецензия появилась в первой книжке журнала «Печать и революция» за 1924 год.

<sup>3</sup> В. Полонский полемизировал в этой статье с Л. Гроссманом, который в 1923 году в работе «Бакунин и Достоевский» («Печать и революция», книга четвертая) утверждал, что Бакунин является прототипом Ставрогина в «Бесах».

## А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

1925 год.

Дорогой Анатолий Васильевич!

Посылаю Вам книгу о «Плакате»<sup>1</sup>. Работал я над нею около 3 лет — не знаю, как на Ваш взгляд, стоило ли?

Честь создания этой книги принадлежит не мне: ее делали художники, типографы, поэты, политработники — огромный коллектив, работу которого я лишь поддержал, объединил, дал некий общий вид. И потому, что я не приписываю себе одному честь авторства этой книги, я хотел бы просить Вас — если это Вам понравится — написать о ней для нашего журнала. Мне кажется, что книга эта, отражающая нашу революцию, является еще в то же время крупным фактом нашей художественной революционной культуры! Ведь плакаты (а я говорю именно о них) работали в ужасающих условиях блокады, войны и разрухи; ведь интеллигенция еще саботировала, и все-таки, и все-таки — нашего революционного плаката мы можем не стыдиться.

Мне кажется, что материал, вошедший в книгу, дает возможность сделать несколько наблюдений в области психологии нашей революции. Впрочем, я, может быть, ошибаюсь — я ведь, Вы знаете, был страстным «плакатчиком»<sup>2</sup> и, возможно, переоцениваю значение этих литографий.

Жму руку крепко.

Ваш Вяч. Полонский.

P.S. Я уехал до выхода книги, потому-то она придет к Вам с типографской надписью, без автографа.

<sup>1</sup> В письме идет речь о книге В. Полонского «Русский революционный плакат. Художественная монография» (М. ГИЗ. 1925).

<sup>2</sup> В 1923 году В. Полонский подарил петроградскому Музею Революции сорок оригинальных гравюр и плакатов, которых в музее не было.

Я. Х. ДАВТЯНУ<sup>1</sup>

Осень 1925 года.

Уважаемый товарищ!

В дополнение к моей личной беседе с Вами по вопросу о необходимости издания в Париже журнала на французском языке сообщаю дополнительно мои соображения.

Вы, разумеется, лучше меня знаете, какое превратное представление о нашей стране имеют широкие круги европейской интеллигенции. Нет такой чепухи, которой не поверили бы так называемые культурные европейцы, если эта чепуха касается СССР. Лучший пример — корреспонденции Анри Бери, полные дерзкой лжи, какую он не осмелился бы написать ни про какую другую страну. Буржуазные газеты продолжают клеветать, пользуясь услугами «знатоков» русской жизни из белогвардейского лагеря, и европейская интеллигенция, с громадным любопытством относящаяся к тому, что делается в нашем Союзе, питается этой ложью.

Мне неоднократно в Германии и здесь, во Франции, задавались вопросы, которые говорят о невероятном сумбуре, царящем в сознании европейцев по отношению к Советской России. «Развесистая клюква» никогда не давала таких удивительных плодов, как в наши дни.

А что делаем мы, чтобы рассеять дымную завесу, скрывающую от европейцев истинное положение вещей в нашей стране? Ничего или почти ничего. Европа не имеет никакого представления о культуре нашего Союза.

Мне думается, что в этой области работа должна вестись не с помощью полемических статей против отдельных выступлений белогвардейских информаторов французской прессы. Было бы полезней просто и деловито показать те культурные факты, которыми мы располагаем. Говорят, что у нас нет своей новой художественной литературы. Надо дать эту художественную литературу. Говорят, что у нас нет искусства. Надо показать это искусство. Говорят, что большевики разрушили музеи, памятники старины, книгохранилища, — надо показать, что никогда в дореволюционной России не процветали в такой степени музеи, памятники старины и книгохранилища, как в Советской России. Говорят, что у нас города пришли в упадок, что у нас нет строительства, что положение рабочего класса в культурном отношении хуже, чем до революции, — надо показать, что все это ложь. Надо сказать (и это можно сделать), что строительство в СССР ведется в широком масштабе, что наши города растут, что культурное положение рабочего класса в СССР в настоящее время выше, чем было до революции. Надо показать наши театры, нашу живопись, наши школы, технические училища, детские дома, Волховстрой, фабзавучи, рабочие клубы, читальни, студии, спортивные кружки, наш каждодневный быт, жизнь учащейся молодежи, наш комсомол, движение женщин, культурные очаги в республиках национальных меньшинств, наши книжные достижения и так далее.

Все это можно сделать документально, с помощью статистики, цифр, фотографий, обзоров, документов. Все это будут факты, которые, как известно, обладают одним важным свойством: они неопровержимы.

Такой именно работы мы еще не производили. Значение же ее огромно.

Эту именно работу и следовало бы положить в основу журнала.

Основные черты этого издания, по моему мнению, должны иметь следующий характер.

1. Издается журнал в Париже, на французском языке (независимо от полпредства), один или два раза в месяц, книгами объемом приблизительно в 10—15 печатных листов.

2. Журнал богато иллюстрирован (репродукции с картин, театральных постановок, музеев и тому подобное). Зафотографировано должно быть все, что поддается закреплению с помощью аппарата.

3. План журнала:

#### I. Художественная литература

Стихи, повести, рассказы современных (советских) писателей. Французы имеют представление, будто русская литература закончилась Бунинным и Купринным. Надо показать, что мы имеем блестящих писателей и поэтов, рожденных революцией и с ней тесно связанных.

#### II. Современное русское искусство

а) Статьи о современной русской литературе, живописи, скульптуре, архитектуре, графике, книжном деле.

б) Статьи о современном русском театре.

в) Статьи о современной русской музыке и балете.



## III. История искусств и литературы

а) Статьи о влиянии французского социализма на русский (Сен-Симон и сен-симонизм в России, Фурье и фурьеризм, Жорж Занд, Прудон и другие). Отражение французской революции в русском литературном развитии.

б) Статьи о влиянии французского искусства на русское. Статьи о французских художниках, хранящихся в русских музеях (мы имеем такие собрания Гогена, Сезанна, Пикассо и других, которым могут позавидовать французы).

в) Статьи о французских писателях, пустивших корни в России (распространение сочинений Золя, Гонкуров, Гюго, Мопассана и других).

## IV. Хроника научной жизни в СССР

Статьи и обзоры научных и технических достижений, написанные русскими специалистами, имеющими крупные европейские имена.

## V. Быт современной России

а) Фабрика (заводская работа, учреждение, культурные ячейки, клубы, студии, рабочие театры, спортивные ячейки, празднества и тому подобное).

б) Школа (жизнь учащегося, учеба, быт).

в) Забота о детях (детские сады и прочее).

г) Народное здравие (санатории, заботы о народном здравии и тому подобное).

## VI. Советское строительство

Иллюстрированные обзоры всех начинаний в области строительства.

## VII. Природные сокровища СССР

Иллюстрированные обзоры Кавказа, Крыма, Урала, Сибири, Украины; очерки, посвященные отдельным городам (например, современные Ленинград, Одесса, Москва, Киев, Владивосток, Тифлис и так далее). Этот отдел должен дать представление о географических особенностях нашей страны, о территориальном ее размахе, о богатстве нашей почвы (очерки о Донбассе, Бакинском и Грозненском районах, о крымских виноградниках и тому подобное).

## VIII. Критика и библиография

Обзор французских и других иностранных книг об СССР. Полемика. Критика.

План этот примерный. Я его набросал наспех, не считая необходимым детально проработать как его общие очертания, так и содержание каждого отдела. Здесь лишь приблизительно намечены те рамки, в которых можно и должно производить работу по ознакомлению с Советским Союзом европейцев, которых нельзя упрекнуть в отсутствии интереса к нашей стране. Если удастся выпустить, скажем для примера, десять — пятнадцать книг журнала, эти книжки будут культурным фактом большого значения, доступным каждому грамотному французу.

Существование журнала сможет, кроме того, сыграть роль объединяющего центра: во-первых, для всех культурных советских элементов и, во-вторых, для культурных элементов Франции, если и не тяготеющих к Советскому Союзу, то, во всяком случае, достаточно честных и искренних, чтобы склониться перед фактами. Журнал должен будет привлечь в качестве сотрудников ряд французских ученых, писателей и художников. Я не говорю о пользе, которую принесет развитию русской культуры этот выход на европейскую сцену.

В план журнала не включен политический отдел. В настоящих условиях вряд ли мыслимо существование советского органа с политическим отделом.

Возможно, конечно, что я переоцениваю полезность этого литературного начинания. Возможно также, что французские условия требуют иной его конструкции.

Вам виднее. Я с интересом прочту Ваши замечания. Но какова бы ни была оценка моих соображений, в одном я убежден непоколебимо — а именно в том, что мы не можем сидеть сложа руки и созерцать, как систематически и без стыда обманывают и мистифицируют европейского читателя, несмотря на большой интерес к Советскому Союзу, который существует в широких кругах европейской интеллигенции.

Жду Вашего ответа

<sup>1</sup> Давтян Яков Христофорович (1888—1938) — дипломат, советник посольства СССР во Франции (1925—1927).

## Ф. В. ГЛАДКОВУ

14 января 1926 года.

Дорогой Федор Васильевич!

Простите, что несколько запоздал мой ответ, но письмо Ваше я получил дня четыре назад — Вера Константиновна<sup>1</sup> продержала его у себя случайно. А сразу отвечать не хотелось — думал сначала позвонить по телефону, но в конце концов на бумаге лучше можно сформулировать «наше разногласие».

Напрасно Вы обвиняете меня в «неосторожности» и в «диктаторстве». Поверьте, милый Федор Васильевич, что здесь дело не в моих «замашках». Ведь Вы знаете — я сначала материала не читал, вполне полагаясь на Вас. Я Вас ведь знал только как беллетриста и как беллетриста очень ценил. Как редактор Вы мне были неведомы... Но, забрав то, что Вы приняли, и прочитав уже в гранках, я пришел в ужас. Дело не в том, что я «диктатор» (по существу, мне дана именно диктаторская власть с одним заданием: поднять журналы из того болота, в котором они, по общему убеждению, находились...), а в том, что Вы приняли ужасный материал. Дело в том, что у нас с Вами различные литературные вкусы и разные редакторские нравы. Вы не только приняли совершенно плохой рассказ Никулина (я ведь дал Вам именно на экспертизу), но разрешили ему чуть ли не весь рассказ напечатать в каких-то изданиях, и «Новому миру» остались отскребки от этого третьего сорта. Из романа Клычкова Вы разрешили напечатать лучшую его часть — «Два брата»<sup>2</sup> и тем самым обесценили роман, который, несмотря на большие художественные достоинства, нуждался в идеологической коррективе. То же со статьей Вешнева, которую пришлось вынуть из сверстанного номера. В чем тут дело и мои ли «диктаторские» замашки здесь виноваты? Дело в том, милый Федор Васильевич, что Вы, талантливый беллетрист, оказались плохим редактором, мягким и покладливым. Не сердитесь, что я Вам это открыто говорю в глаза, я Вас слишком уважаю, чтобы кривить душой. Да и не Вы первый из талантливых художников оказываетесь никаким редактором... «Новый мир» при благоприятнейших условиях создал себе отвратительную репутацию редакционной корзины, куда писатели сдавали вещи, забракованные в других редакциях. Таково отношение к «Новому миру» большинства, и Вы допустили это. Мне это сделалось ясным после того, как я стал читать материал, и я, не желая порывать с Вами, хотел исправить дело, повысив требования, я считал необходимым показать писателям и поэтам, что у нас есть вкус, что брака мы не возьмем и даже сами браковать будем. И я забраковал второй рассказец Пильняка, хотя он не плох — но нам не подходит. Я вернул рассказ Никулину, я напечатаю только отрывки Клычкова, то есть произведу в романе купюры, — и мы с Клычковым это уже согласовали. Я вернул статью Вешневу, который написал ее возмутительно, без уважения к журналу. Вот в чем дело, Федор Васильевич, а не в моих замашках. Я пришел в «Новый мир» для того, чтобы из литературных задворков превратить его в первосортный журнал. Может быть, мне не удастся это сделать — тем хуже для меня и для журнала. Такую цель я себе ставил. И когда передо мной возник вопрос — щадить ли Ваше самолюбие и погубить журнал или поступиться Вашим самолюбием в интересах литературы, — я избрал последнее. Я люблю литературу — и напрасно Вы пишете, что я пришел в журнал только вчера и к нему более равнодушен, чем Вы. Если Вы любите журнал прошлогодний, тот, который существовал, то я люблю тот журнал, который будет существовать, журнал, который надо создавать, оформлять, поднимать. И Вы, разумеется, поймете меня и согласитесь со мной — ведь дело идет о литературе, которую я, позволю утверждать это, люблю не меньше Вас и которой я отдал много лет моей жизни. Как же мне было поступать? Попробуйте стать на мою точку зрения. Я не только не мог в таких условиях щадить Ваше самолюбие — я отца родного не пожалел бы, если бы он стал поперек журнала, если бы он стал мне мешать его поднимать или портил бы его. Это, может быть, плохо и я заслуживаю всяческого порицания — порицайте меня, обвиняйте, но я иначе поступить не мог.

Мне неприятно все это писать Вам, но Вы товарищ и человек крепкий. Вы поймите, что я ведь не из личностей это пишу Вам, — поверьте мне, что лично Вас я люблю, и уважаю, и высоко ценю как писателя, — я об этом и говорил

и писал Ивану Ивановичу<sup>3</sup>. Но как редактор Вы мне представляетесь слишком мягким, слишком покладливым и без тех свойств, которые необходимы редактору: за год ведь Вы не собрали около журнала литературные силы, хотя денег в Вашем распоряжении и других возможностей было больше, чем у кого бы то ни было. Так что не сердитесь на меня — я ведь Вас обидел в интересах того же дела, которое Вы любите несколько не меньше, чем я. А ведь мы с вами, раз дело доходит до любимого дела, — приносим в жертву многое. Так ведь.

Я еще не уверен, удастся ли мне сделать из «Нового мира» то, что я хочу. Дело очень трудное — и Вы могли бы очень и очень помочь мне: пишите новый роман для «Нового мира» и дайте его в журнал — тут Вы сильны, и с Вами я здесь помериться никак не могу. Или дайте рассказ — да поскорей. Это будет значить, что Вы, хоть и продолжаете сердиться на меня, не сердитесь на журнал, который ни в чем не повинен. А может быть, Вы и на меня отсидитесь и не порвете той дружбы, которая у нас завязывалась при первом нашем знакомстве. Мне это было бы очень больно — не хочу скрыть этого от Вас.

Ну, пока до свидания. Руку жму крепко.

В. Полонский.

...Рассказ от Вас жду.

<sup>1</sup> Белоконов Вера Константиновна (1895—1977) — заведующая редакцией «Нового мира».

<sup>2</sup> Речь идет о романе С. Клычкова «Чертухинский балакирь», фрагменты которого были опубликованы в 1925 году в альманахе «Круг». В «Новом мире» роман С. Клычкова появился в № 1, 3—9 за 1926 год.

<sup>3</sup> Скворцов Степанов Иван Иванович (1876—1928) — государственный и партийный деятель, историк, экономист, член редколлегии журнала «Новый мир» с 1925 года до самой смерти.

### С. Н. СЕРГЕЕВУ-ЦЕНСКОМУ

Февраль 1926 года.

Многоуважаемый Сергей Николаевич!

Вот примерно целый месяц как порываюсь написать Вам — едва удалось освободить вечер. Первая книга реформированного «Нового мира»<sup>1</sup> вышла из печати, и Вы ее, вероятно, уже получили. «Жестокость» идет со второй, я думаю напечатать ее в два приема<sup>2</sup>.

Я был обрадован, получив от Вас рукописи. Я всегда любил Ваш большой талант и, когда имя Ваше скрылось с горизонта, — иногда опасался: не попали ли Вы в какую-нибудь жестокую передрыгу. Правда, мелькнуло оно в 1921 году в крымском альманахе, еще где-то — но только прочитав Ваши последние две рукописи, я крепко почувствовал, что Вы живы, что Ваша кисть крепка, что глаз Ваш по-прежнему остер, что у Вас еще будущее художника. Поверьте, пишу Вам искренно — не как редактор, которому приятно печатать талантливые вещи, но как читатель, у которого остались воспоминания о Вашем творчестве еще дореволюционном.

Но не для того решил я Вам написать письмо, чтобы говорить одно приятное. Я хочу поделиться с Вами впечатлениями от «Жестокости». Из моей телеграммы Вы знаете, что пришлось делать в ней купюры. Мне, коммунисту, революционеру, было больно делать их в произведении большого мастера, который, несмотря на свой художественный талант, не смог дать правильное распределение света и тени, дал ряд совершенно ложных штрихов — и тем самым значительно ослабил силу своего произведения.

Не сердитесь за откровенную резкость — Вы ведь слишком крупный писатель, чтобы я должен был кривить душой. А я, как редактор, как человек, любящий русскую литературу и желающий ее процветания, хочу говорить с Вами в открытую, хочу высказать Вам свое несогласие с Вашей трактовкой некоторых явлений. Может быть, из такого откровенного разговора выйдет что-нибудь путное? Ведь Вы, подобно Вашим «комиссарам», закупорили себя в этой узкогорлой «ликерной бутылке», которая именуется Крымом. За долгие годы революции из Крыма Вы, кажется, никуда не выезжали — вся революция прои-

ла в стороне от Вас. Не оттого ли именно Вы рисуете ее со стороны и в значительной доле — понаслышке, по старым крымским воспоминаниям и впечатлениям, по информации людей, от нее пострадавших?

«Жестокость» — чрезвычайно сильная вещь. После «Рассказа о семи повешенных» Андреева я не знаю более острой вещи. Я прочитал ее ночью, залпом. После долго не мог заснуть и несколько дней ходил взволнованный. Я перечитал ее потом три раза.

У Вас, Сергей Николаевич, едва ли не с первых Ваших вещей проглядывала черта: смотреть на жизнь сбоку, сверху — с птичьего полета. Немалый философический налет был уже в первых Ваших вещах. И здесь Вы тот же: «вне» потока жизни. Вы рисуете его со стороны, наблюдаете как сторонний зритель, одинаково как будто жалея и одинаково как будто осуждая виновных и невиновных, жертв и мучителей. Такая позиция для «объективного» художника, каким Вы хотите быть, очень выигрышна. Но вот в чем беда: Вы этой позиции не выдерживали раньше, не выдержали и теперь. Временами Вы уходите очень далеко от объективности, местами Ваш голос, голос автора, звучит на страницах как заинтересованная сторона, Вы не просто изображаете, но Вы подсказываете, подчеркиваете, откладывая кисть в сторону, выходите к самому читательскому лицу и говорите вещи уже от себя, от своей философии, от своего мрачного воззрения на жизнь вообще.

Вы рисуете большевистских комиссаров, бегущих из Крыма. Но то была эпоха военного коммунизма, то была жестокая эпоха гражданской войны. Но ведь это была гражданская война, это была великая революция, которая, как всякая революция, имела не только примазавшихся, но и героев. Ведь теперь-то, в 1926 году, даже самым остервенелым ее врагам сделалось ясно, что революция эта была народной, что она соответствовала интересам широчайших народных масс, что только этой поддержкой, этим соответствием их интересам революция и продержалась. Ведь каковы бы ни были отдельные черные происшествия революции — не в этом ее сила, не в черных сторонах заключалась ее сущность и ее великий смысл. Правда, отдельный человек, лично пострадавший, какой-нибудь помещик, фабрикант или кулак, разоренный и выброшенный на чужбину, может ненавидеть революцию и шельмовать насмешливо ее: «она, та самая коммунa, что за народ». Но художник с таким талантом, как у Вас, художник, который способен охватить величие ушедшей эпохи с ее правыми и виноватыми, с ее грязью и с ее героизмом, с жертвами и мучениками, со всем прекрасным и величественным, что она дала, и со всеми мерзостями, которые, к несчастью, сопровождают все великое, — этот художник обнаруживает какую-то личную, недостойную художника ненависть и недоброжелательность к революции. Именно это я почувствовал в «Жестокости». Это чувствуется хотя бы в том, как Вы подчеркиваете дегенеративные черты в некоторых комиссарах. Такие дегенеративные черты не редки вообще; встречаются они и в революционерах. Но когда такая черта систематически подчеркивается, выпячивается, она приобретает особый смысл. Допустим, что все Ваши крымские комиссары были более или менее случайными попутчиками революции. Но ведь случайные попутчики революции — они теряют эту свою случайность в художественном произведении. Ведь в том сила искусства и заключается (если оно настоящее), что случайное, анекдотическое, преходящее оно обращает в типическое, вечное, постоянное. А как много случайного осталось в Ваших комиссарах — вообще написанных замечательно. И не только в этих подчеркиваниях чуется Ваше недоброжелательство. Как объясняете Вы расслоение Бешурани? С кого-то надо было взыскать убытки, а с кого? Не с тех ли, кто из своих был богаче? Сергей Николаевич! Ведь это основной вопрос революции: почему расслоилась деревня? Неужели потому, что после войны деревенским беднякам захотелось взыскать убытки с тех, кто побогаче? Но как жестоко в таком случае ошибался автор замечательной книги о поручике Бабаеве<sup>3</sup>. Помните, когда Бабаев вез в вагоне арестованных мужиков. Помните, как он говорил им, что искру из них хотел выбить, — и как это ему не удалось. А мужики, дыша винным перегаром, утешали: «Барин, не плачь, мы стерпим». (Читал я Бабаева лет около пятнадцати назад и, может быть, что-нибудь перепутал.) Так вот, Сергей Николаевич, выбивали Бабаевы искру из мужика и наконец-таки выбили. Искра превратилась в пожар, который сжег усадьбу Бабаева

да мимоходом и бабаевских соседей, богатых мужиков. Теперь Бабаев плачет кровавыми слезами: «Не надо было выбивать искру». Бабаеву улыбается больше, чтобы мужик по-прежнему терпел и утешал бы его, барина. И если бы повесть «Жестокость» написана была Бабаевым — можно было бы понять внутреннее недовольство автора. Но ведь ее писал замечательный художник Сергеев-Ценский. Или рукой Ценского иногда водит поручик Бабаев? Тогда все становится понятным. Но тогда с еще большим основанием я должен буду сказать Сергееву-Ценскому: «Запретите Бабаеву вмешиваться не в свое дело. Он мешает художнику быть большим мастером. Он губительным грузом висит у него на шее. Надо Сергеева-Ценского освободить от власти Бабаева — этого требуют интересы его самого и интересы русской литературы».

Я здесь не стану перечислять купюры, которые с Вашего разрешения я сделал. Вы прочтете вещь и увидите. Я говорю лишь, что делал это там, где я слышал, как сухой голос Бабаева со злостью вымещал на восставших мужиках свою злобу. В Вашей Бешурани председатель комбеда — кретин, предревкома — вор и бандит, другие члены комбеда — просто воры. Все это, конечно, могло действительно случиться в исторической Бешурани. Но разве Вы пишете репортерскую заметку? Разве Ваша замечательная повесть анекдот? Ведь воры, и кретин, и бандит — они на Ваших страницах приобретают общее значение — они бросают тень на всю революцию. А это «бабаевщина». Это неправда, Сергей Николаевич. Это — ошибка, от которой надо освободиться. Она мешает Вам видеть ясно то, что есть. А без хорошего зрения — искусство, Вы знаете, не может быть высоким.

В большом романе, где свет и тени распределяются равномерно, там кретины, и мерзавцы, и преступники, обдывавшие темные и кровавые делишки под фирмой революции, должны найти свое место и найдут его. Но Ваша повесть не эпос, у Вас свет и тени расположены неравномерно — а это вызывает в современном читателе чувство досады, как фальшивая нота. Раз в читателе, таком, как я, так расположенном к Вам, зарождается недовольство, раз мне чужется в «художественном» произведении озлобление автора, как обывателя, это значит, что в повести что-то сделано плохо. Что-то надо поправить.

К сожалению, Вы не первый из больших русских писателей, для которых принять революцию, оправдать ее с ее светлыми и темными сторонами представляет огромную трудность. Тут классовое происхождение, воспитание, старая культура, все навыки протестуют и мешают. Вам еще мешает то обстоятельство, что Вы из Вашей «ликерной бутылки» никуда носу не показывали много лет. А если бы Вы проехали сейчас по нашей стране да посмотрели, как буйно бьет молодая, зеленая жизнь на развалинах старины, как много нового и хорошего рождает каждый день — рядом с грязью и смрадом прошлого, — Вы, может, тогда поняли бы мое чувство обиды, когда я вычитал в Вашей повести нелюбовь к революции. Возможно, что Вы, как и многие другие, материально пострадали. Но Вы — художник. Вы должны преодолеть в себе это личное и мелкое и подняться выше над обстоятельствами, которые недостойны того, чтобы определять направление и характер Вашего творчества.

Не поймите моих слов так, как будто я хочу сказать, что все художники должны воспевать революцию и ее славословить. Такое славословие всегда превращается в казенщину. Я говорю только о том, что революция неправильно освещена в Вашей повести, что повесть выдает Ваше недоброжелательство к ней, — а для такого «объективного» художника, как Вы, это — большая опасность.

Видите — письмо вышло километическим. Это совсем не в моих правилах. Я не думаю, чтобы Вы обиделись на меня за мое откровенное мнение о «Жестокости». Ведь я эту вещь расцениваю очень высоко — потому-то и написал Вам несколько страниц неприятностей. Не сердитесь. Если бы привелось нам увидеться, мы поговорили бы о многом и вышло бы лучше. Но буду ли я в Крыму в ближайшее время — неизвестно. Будете ли Вы в Москве — тоже неизвестно. Поэтому отошлю Вам это письмо в надежде, что Вы не обидитесь и даже напишете мне ответ.

Я хочу Вас печатать. Я думаю даже статью в журнале о Вас поместить — ведь современная Россия Вас не знает. Подумайте: восемь лет революции, новые

поколения, новые времена, новые песни. Кое-что из Ваших прежних писаний можно будет и переиздать.

Итак — жду ответа.

<sup>1</sup> С приходом В. Полонского в журнале расширились отделы художественной литературы, критики, социально-экономический и по истории революционного движения.

<sup>2</sup> Повесть С. Сергеева-Ценского «Жестокость» появилась в февральском и мартовском номерах «Нового мира» за 1926 год.

<sup>3</sup> Роман С. Сергеева-Ценского «Бабаев» был опубликован в 1907 году.

## М. М. ПРИШВИНУ

Март 1926 года.

Глубокоуважаемый Михаил Михайлович!

Не сердитесь на меня, пожалуйста, за мое долгое молчание. Во-первых — корреспондент я отвратительный, неаккуратный (дел множество заедает), но это, конечно, не оправдание, а оправданием является то, что, во-вторых, я успел провалиться более двух недель, — грипп выбил из строя

Судя по Вашему письму, тяжелые финансовые обстоятельства Ваши, кажутся, миновали, по крайней мере Ваше нежелание воспользоваться моими предложениями меня удивило: а я-то думал: вот облегчу положение Пришвина и предложу ему условия куда более для него выгодные, чем он хочет. Вышло наоборот. Ну что же — Ваше дело. За продолжение «Алпатова»<sup>1</sup> — благодарю Неможко оно пришло поздноато — пришлось в мартовскую книжку пустить всего около 10 страничек продолжения, а хотелось бы больше.

«Халамееву ночь» прочитал. Сделана хорошо, как и все Ваши вещи, но скрытый смысл. Как сейчас печатать такой рассказ, когда из него тенденция, быть может и случайная, так и прет. Разрешите, Михаил Михайлович, немного подержать его. Все равно ведь раньше окончания «Алпатова» печатать его нельзя. А как «Алпатов» будет закончен — я вновь перечитаю «Халамееву ночь» и, возможно, напечатая.

Хотел еще Вам вот что написать: насколько я мог понять, Вам больше хочется работать над окончанием «Кашеевой цепи», чем отрываться для отдельных очерков. Так за чем же дело стало? Откажитесь от очерков и вообще от мелких вещей. Вам для этого нужны деньги? Так ведь «Новый мир» не отказывает Вам в авансах. Пишите, пожалуйста, Михаил Михайлович, «Кашееву цепь». Пока я в «Новом мире» (а в ближайшее время не предвидится, чтобы я бросил это дело), Вы можете твердо рассчитывать на то, что редакция каждую минуту готова выручать Вас из всяких финансовых невзгод.

Получил письмо от Алексея Максимовича: очень Вас похваливает.

До свидания. Жму руку крепко.

<sup>1</sup> «Юность Алпатова» — четвертое звено романа М. Пришвина «Кашеева цепь» — печаталась в «Новом мире» № 2—5 за 1926 год.

Май 1926 года.

Дорогой Михаил Михайлович!

Тысяча всяких дел — и вот только сейчас собрался Вам написать. Я порывался несколько раз. Очень досадно, что не удалось мне тогда с Вами не торопясь побеседовать, когда Вы были в Москве. Были Вы — и мне все казалось, что я Вам не сказал чего-то, что очень было надо сказать. Остается вот иногда такое воспоминание от некоторых встреч.

«Юность Алпатова» мы кончили. Прекрасная вещь. Я теперь так привязался к Мише Алпатову, с нетерпением жду — продолжайте. Ведь весь роман впереди. Размах в Вашей вещи чувствуется большой. И какой материал! За меня пахнуло моей собственной юностью — может быть, оттого роман произвел на меня сильное впечатление. Это увлекательнейшая вещь. Я давно не испытывал такого настоящего, большого (от литературы) удовольствия, какое доставила мне «Юность Алпатова».

Я очень рассчитываю, что продолжение «Кашеевой цепи» Вы дадите «Новому миру». Не спешите, конечно, я знаю, что Вас сейчас опять потянуло на

«очерки» для отдыха: Ваши «Собаки»<sup>1</sup> великолепны. Я был болен, и без меня распорядились — захватила «Красная нива». Я бы с охотой пропустил их в «Новом мире». Если напишется что-нибудь «вдруг» кроме беллетристики — присылайте. Каждую Вашу новую вещь буду встречать с радостью.

Что Вам Н Е нравится в «Новом мире»? Напишите. Какие бы в журнал внести улучшения с будущего года (бумагу другую — само собой, я о содержании, структуре книг, отделов говорю)?

Жму руку крепко.

Привет.

<sup>1</sup> Очерк М. Пришвина «Собаки» был опубликован в еженедельнике «Красная нива» в № 19—20 за 1926 год.

## Л. П. ГРОССМАНУ

24 июня 1926 года.

Дорогой Леонид Петрович!

Вы необычайно скромны. Запрашиваете меня по поводу «Преступления Сухово-Кобылина»<sup>1</sup> — как будто это пустячок, в котором Вы сомневаетесь. Ведь это талантливая вещь, во-первых, увлекательная — во-вторых и, наконец, в-третьих, архивное исследование. Подумайте — сколько блестящих качеств, а Вы еще скромничаете. В самом деле — читал с большим интересом. Развернуто Ваше повествование мастерски — беллетристам поучиться! Кое с чем я не согласен в конце (с Вашим разрешением загадки убийства) — но ведь это для Вас не обязательно.

Напечатаю, разумеется, в «Новом мире». Если нужны деньги — сообщите точный адрес, куда выслать. Это можно будет сделать в первых числах июля (180 руб. за печатный лист).

Вы отдыхаете — счастливый! А я еще только-только собираюсь. Врачи меня признали совсем развинтившимся и послали в Железноводск серьезно лечиться. После Железноводска — маленький отдых. Одним словом — в середине июля улечиваюсь из Москвы до середины сентября.

Как себя чувствуете?

В Москве жарко. В Москве — газеты, журналы, редакции, авансы, обидчивые писатели, шум и толчея, а в Крыму... Есть же счастливые люди, которые лежат на берегу и смотрят в прозрачные волны. До чего я стал завистлив.

Отдыхайте — не обращая внимания на мою зависть.

Жму Вашу руку.

Привет Вашей супруге.

Ваш Вяч. Полонский.

<sup>1</sup> Историко-документальная работа Л. Гроссмана «Преступление Сухово-Кобылина» была опубликована в «Новом мире» в № 11—12 за 1926 год.

## А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

29 июня 1926 года.

Дорогой Анатолий Васильевич!

Прилагаю мое письмо тов. Гусеву<sup>1</sup>. Сокращение штата, производимое ГИЗом, разрушает аппарат редакции. При сокращенном штате (4 человека плюс курьер) продолжать издание «Печати и революции» в таком виде, в каком он издается, совершенно невыгодно. Мне поэтому приходится, к сожалению, поставить вопрос о закрытии журнала. После пяти лет существования, когда журнал заработал себе репутацию (много ли у нас таких журналов?), я не хочу на себя брать ответственность за превращение журнала в макулатурный сборник случайного материала, в какой он неизбежно должен превратиться при урезанном штате. Очень прошу Вас: во-первых, сообщить мне, считаете ли Вы необходимым сохранение «Печати и революции» в том именно объеме и виде, в каком он существует сейчас, с тем чтобы улучшать и совершенствовать, а не ухудшать его, и, во-вторых, не захотите ли Вы предпринять какие-нибудь шаги для спасения этого журнала, культурное значение которого, мне думается, далеко не ничтожно. Ваше хорошее отношение к журналу, какое до сего времени я

наблюдал, Ваше участие в его создании и постоянное Ваше сотрудничество дают мне основание полагать, что Вы не останетесь безучастны к его судьбе <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Гусев Сергей Иванович — заведующий отделом печати ЦК ВКП(б).

<sup>2</sup> Журнал «Печать и революция» — издание Государственного издательства — перестал выходить летом 1930 года. В. Полонский руководил журналом с основания его в 1921 году до марта 1929 года.

### Н. Н. АСЕЕВУ

24 ноября 1926 года.

Николай Николаевич!

Возвращаю Вам Ваше стихотворение «Звени, молодость», сданное Вами в «Новый мир», оплаченное редакцией и напечатанное Вами в «Красной газете» от 18 с. м.

Меня очень удивляет, что, несмотря на мое решительное заявление о неопустимости таких случайностей, они все-таки продолжают иметь место. Особенно странным кажется мне это именно с Вашей стороны. Ничем иным я не могу объяснить это кроме как Вашим желанием решительно порвать с «Новым миром».

Привет.

В. Полонский.

### А. Н. ТОЛСТОМУ

1 мая 1927 года.

Дорогой Алексей Николаевич!

Вчера получил рукопись <sup>1</sup>. Тотчас же написал Вам письмо. Распорядился выслать деньги. Ночью прочитал рукопись — и вот сейчас, за несколько часов до отхода моего поезда, спешу набросать Вам несколько моих критических замечаний, крайне необходимых. Дело в том — мы ведь говорили с Вами на эту тему, — отношение наше к роману «Хождение по мукам» весьма серьезное. Такой большой художник, как Вы, вызывает к себе и отношение соответственное. В романе не должно быть (по нашему мнению) ничего такого, что неправильно освещало бы крупнейшие события, что бросало бы неверный свет. Нельзя, конечно, требовать (и мы не требуем), чтобы Алексей Толстой, которого мы хорошо знаем и высоко ценим, чтобы Алексей Толстой рисовал события не такими, какими они ему кажутся. Но мы хотели бы, чтобы воспроизведение событий не противоречило нашим представлениям (объективным) об историческом недавнем прошлом... В первых главах есть на этот счет сомнительные места. Я о них говорю в прилагаемых замечаниях с указанием страниц.

Вы рисуете революцию, находясь пока в том стане, против которого революция обратила свое острие. Такая позиция может быть даже очень полезной в том смысле, что кроме Вас вряд ли кто сумеет да и сможет с яркостью и знанием дела закрепить навсегда все, что происходило в этом стане. Но вместе с этой положительной стороной такая позиция чревата опасностями, если вообще революция будет изображаться под углом зрения людей, пострадавших от революции. Эта точка зрения Вам, разумеется, не свойственна. Наши неоднократные беседы меня в этом убедили. Но в первых главах для читателя многое будет и неясно и сомнительно. Односторонний отбор событий, положительные характеристики одних, сплошь отрицательные других, характеристика революции только сценами насилий, темноты, звериной жестокости и тому подобным, неравномерное распределение света и тени — именно в таком материале, как революционный, имеют колоссальное значение. Мне кажется, что с этой стороны в первых двух главах не все обстоит благополучно. Роман будет читаться в дни, когда исполняется десятилетие Октябрьской революции. Теперь ведь даже у самых ярых врагов ее нет никаких сомнений в том, что это — революция, а не один лишь «бунт, бессмысленный и беспощадный». Был, разумеется, и бунт, но ведь не этот бунт была ее организующей силой. Это значит, мне кажется, что кроме бунта существовала и организующая сила, подлинно революционная, спасительная, прогрессивная, от успехов которой и зависело будущее страны и народа. Вот перегиб в сторону широких картин бунтовского разлива при полном почти отсутствии организующей силы — очень опасно. Эти мои опасения,



разумеется, преждевременны. Я представляю, что для Вас они не существуют. Но говорю о них потому, что так пришлось. В дальнейшем изложении, разумеется, многое неясное в первых главах делается ясным. Но и в первых главах не должно быть ничего, что казалось бы двусмысленным или ошибочным. Потому-то я и пишу Вам это письмо — надеюсь, что Вы на меня не рассердитесь. Так как печатать мы начнем с июльской книги, то у Вас есть время еще поработать над рукописью. Я присланную рукопись оставлю у себя, но если Вы хотите, могу Вам ее послать. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы ответили мне по возможности не откладывая — кажутся ли Вам мои замечания основательными или нет. Рукопись я Скворцову-Степанову не давал, хотя он интересуется романом весьма. Дам после того, как Вы либо посчитаетесь с моими замечаниями, либо отвергнете.

Адресуйте: «Новый мир», Москва. Мне будут пересылать. Если хотите — для скорости адресуйте прямо: Крым, Гаспра, Дом отдыха Цекубу.

Крепко жму руку.

С приветом, Полонский.

---

<sup>1</sup> Речь идет о романе «Восемнадцатый год» — второй книге трилогии А. Толстого «Хождение по мукам». — начальные главы которого автор представил редакции для ознакомления весной 1927 года (публикация вещи началась летом). Позже этот журнальный вариант существенно перерабатывался писателем.

А. Толстой далеко не во всем согласился с замечаниями В. Полонского, в ответном письме он отстаивал свою точку зрения и, раскрывая идейно-художественный замысел произведения, в общих чертах излагал его план. Письмо А. Толстого В. Полонскому впервые было опубликовано в февральском номере «Нового мира» за 1955 год.

### Ф. В. ГЛАДКОВУ

8 июня 1927 года.

Дорогой Федор Васильевич!

«Огорчительную» записочку Вашу я получил. Вы спрашиваете, как мне отнести к Вашему намерению передать повесть «Зифу»? Ну а как Вы отнеслись бы к этому намерению, если бы Вы были на моем месте? Думаю, что вряд ли решение Ваше было бы положительным. И Ваше намерение передать в другое место рукопись, уже данную Вами «Новому миру» и предназначенную для печатания, мы, разумеется, не можем счесть за комплимент «Новому миру».

Повесть хороша, напрасно Вы нервничаете. Это все неврастения.

А кому дать ее — «Зифу» или нам — решайте сами<sup>1</sup>. Мое отношение к этому вопросу Вам теперь известно.

Крепко жму руку.

Привет!

Вяч. Полонский.

---

<sup>1</sup> Ф. Гладков не отдал повесть «Пьяное солнце» в издательство «Земля и фабрика», и она появилась в «Новом мире» в № 8—9 за 1927 год.

### И. Э. БАБЕЛЮ

31 июня 1927 года.

Дорогой Исаак Эммануилович!

Куда ж Вы исчезли? Я ждал Вас — и напрасно. Очень жалко — так как мне с Вами хочется обстоятельно поговорить о многих «посторонних» вещах, то есть не связанных ни с журналом, ни с журнальными злобами. Вообще, хотелось повидать Вас — но Вы какой-то неуловимый, я Вас по крайней мере не встречаю нигде. Впрочем — это, может быть, оттого, что я сам вылезая на свет божий весьма редко.

Независимо от хотенья Вас повидать «просто так» я хочу «допытаться», зря я Вам поверил, что у меня будут в нынешнем году Ваши вещи, или не зря. Что их у меня не будет ни в апреле, ни в мае, ни в июне — это я уже и теперь знаю. Но будут ли в этом году вообще?<sup>1</sup> Не то плохо, что мои ожидания окажутся в некотором роде обманутыми, плохо то, что я анонсировал Ваши вещи и будет обижен читатель. Сейчас делать журнал очень трудно, Исаак Эммануилович. Вы это знаете. И будет еще труднее, если со стороны наших литературных друзей и соратников мы, редактора, не встретим самой настоящей и друже-

ской поддержки. А разве можно назвать поддержкой невыполнение обещаний? Ведь этим дискредитируется журнал в глазах читательской массы и, разумеется, редактор журнала, наивно посуливший читателю вещи, которые он ему не дает.

Вот это обстоятельство меня сильно огорчает. Ко всяческим и многочисленным неприятностям, которые ныне сопровождают редакторскую работу, присоединяются неприятности со стороны, откуда их не ждешь. Признаюсь — мне не хотелось бы видеть Вас в числе тех моих литературных друзей, которые в самое трудное для меня и журнала время мне коварно изменили.

В конце июля я еду в заграничную командировку (Германия, Франция, Чехословакия, Австрия). Вы кажется, Леонов и Катаев также отправляетесь в те же края. Вот бы славно нам встретиться в нескольких местах и устроить литературные вечера: вечер Бабеля, вечер Леонова, вечер Катаева. Я бы — доклад о современных течениях, вы — чтение своих вещей. Ведь так много народа, знающего русский язык (советские люди), интересующихся нашей новой литературой.

Ну — до свидания.

Руку жму крепко.

PS. Кстати, я послал Вам записочку вскоре после моего приезда из Крыма. Получили?

В. П.

Как Ваше здоровье? Мне передавали, что Вы осунулись, похудели.

П.

---

<sup>1</sup> Речь идет о пьесе Бабеля «Закат», которая была опубликована в февральском номере «Нового мира» за 1928 год.

## А. М. ГОРЬКОМУ

Апрель 1928 года.

Дорогой Алексей Максимович!

Вы, конечно, правы. Рецензия о «Климе Самгине» вообще слаба и не обоснована<sup>1</sup>. Это один из срывов, один из промахов моих в «Печати и революции». В ней не только тот недостаток, что она говорит об образе Клима до того, как публика прочла весь роман до конца. И если все же я рецензию напечатал, несмотря на необоснованность, то потому, что ее общая оценка не было отрицательной. Я хочу объяснить, почему это так.

Когда я пускал рецензию в печать, у меня, разумеется, не было в мыслях, что она сможет Вас «задеть». Я лично люблю Вас как писателя, художника (Вы могли это видеть из моей статьи, напечатанной еще более десяти лет назад и вышедшей отдельным изданием в 1919 г., — статья, правда, высокопарной, написанной слабо, которую все хочу в ближайшее время переработать, то есть написать заново и основательно). Ваша репутация как художника-учителя так непоколебима, что когда идет речь о Ваших произведениях, я меньше всего думаю о том, что Вы можете как-нибудь лично реагировать на резкое, но искренне высказанное отрицательное мнение. Ведь нет критики без такой способности искренне и открыто говорить в глаза что думаешь. А обстоятельства складывались так, что теперь в нашей критике необходимо, подчеркиваю — необходимо иногда высказывать отрицательные суждения по поводу произведений писателей общепризнанных, писателей-классиков. И вот почему.

Наша советская критика сейчас в плачевном положении. Не только потому, что у нас нет будто бы «критических сил», есть хорошие работы А. Воронского<sup>2</sup>. Можно было бы назвать еще несколько молодых имен: ведь история нашей критики вообще никогда не была богата выдающимися критиками. Печальным в положении современной критики является то, что она не пользуется никаким авторитетом. Почему?! Вопрос очень любопытен. Мне кажется, по той причине, что сейчас в писательство влилось большое количество молодняка, надо сказать, не очень высокой культуры. Это говорю не в осуждение, но констатирую факт. Малой культурностью молодняка следует объяснить дикие нравы, существующие в нашей литературе, — совершенно безобразная полемика, заканчивающаяся буквально мордобоем, полная неуважения к противнику, к его труду. И этот молодняк, еще не оценивающий все значение беспристрастной и смелой

критики, требует от критика одного: х в а л и. Если ты критик — должен писать о писателе похвально. А если пишешь не похвально — ты не критик, а прохвост и надо тебе дать по шее. Вот примерно, грубо выражаясь, схема отношения современного писательского молодняка к критике. И поскольку находятся люди, тоже очень молодые и малокультурные, которые обслуживают писателей именно в этом роде, то критика в наше время потеряла всякий кредит. Среди писательского молодняка развилась кружковщина — узкая, себялюбивая, пристрастная. Каждый кружок обзаводится своим собственным «критиком», и до чего доходит иногда разнузданное славословие «своим» — представить себе трудно. Якубовский, критик «Кузницы», пишет только о своих и хвалит их без меры. Некий профессор Фатов в статье о Пантелеймоне Романове договорился до таких похвал, что Романов выходил чуть-чуть повыше классиков — Толстого и так далее... Демьяна Бедного сравнивают с Пушкиным и Шекспиром. Серафимовича ставят выше Толстого. Федор Гладков — уже классик и тому подобное. Это настоящее разложение, разрушение критики. Читатель критике не верит, писатель критику не уважает. Когда же критик пытается дать не сусальную оценку писателю, подымается настоящий вой в соответственных «оскорбленных» отзывах кружках.

Вот с этой болезнью я понекому начинаю драку. Моя борьба с Лефами отчасти была вызвана этим желанием. Моя драка с ВАППом преследует отчасти ту же цель. Я хочу завоевать для журнала право говорить, давать отрицательные оценки, и чтобы эти оценки не воспринимались как «нож в сердце», чтобы создалась наконец общественная атмосфера, в которой такие оценки могли бы спокойно выслушиваться. Ведь иначе ни о какой критике не приходится и мечтать. Какая может быть критика, если от нее будут ждать одних лишь похвал, а всякое критическое суждение будет встречаться в штыки — издевательством, бранью, травлей... Быть критиком в наши дни — это значит обречь себя на положение волка, которого будет травить всякий кому не лень. Критик себя ставит как бы вне закона. Или быть при писателе холопом, расхваливая его, как цыган лошадь на базаре, или убирайся вон.

Вот по этой причине я и пустил отрицательную заметку о «Климе...». Надо было показать, что можно писать отрицательно о Горьком. А если можно писать так о Горьком — что же говорить об остальных. В молодой литературной среде существует убеждение, будто критики боятся «хулить» могущественных писателей. Мне приходилось не однажды слышать завистливые слова: «Вот вы все хвалите такого-то, а почему? Потому что боитесь. Ну-ка попробуй ругани!» И глубоко убеждены, что их бранят не потому, что они пишут плохие вещи, а потому, что они, видите ли, мало влиятельны. Они еще не «известны», их не боятся ругать и так далее. Пуская заметку о «Климе...», я и рассчитывал на «положительный» эффект ее «отрицательного» характера. Задеть Вас она не могла. Необоснованность ее, правда, ослабляла ее справедливость. Но я и не ставил своей целью «разгромить» роман. Ведь когда он будет окончен, ему придется посвятить большую статью. Надо ли разве говорить, что это огромное эпическое полотно — крупнейшее явление в нашей современной литературе?

Вот каковы обстоятельства. Алексей Максимович. Вы пишете о молодянке и о бережливом отношении. Это правда. Но мне кажется, что здесь есть большая сложность. Мне как редактору журнала, в котором регулярно печатаются отзывы о десятках книг «молодых», этот вопрос особенно близок. Но вот какая получается картина. В наше время «демократизации» литературы в литературу идет огромное количество молодежи — из самых темных углов страны. Но из ста примерно человек, боюсь определить точно, один останется в литературе, то есть этот один — настоящий, с душой и талантом. Остальные — и таких подавляющее большинство — идут в литературу по разным причинам. Но никакие дарований, грамотности нет. В редакцию «Нового мира» получались тысячи печатных листов в месяц, из которых редко-редко удавалось выудить мало-мальски талантливую вещь. Отдельными изданиями эта литература, отвергнутая журналами, все-таки выходит. Я не знаю, получаете ли Вы все книги по беллетристике, выходящие у нас, чуть ли не каждая неделя приносит новый роман, повесть и десятки отдельных книжек рассказов и тому подобное. Как они про- скакивают в издательства — непостижимо. Редакционный просмотр слаб, отбор

поверхностен — и рынок наводняется литературой, которая в конце концов отобьет у читателя охоту покупать книжку, современную книжку, во-первых, и это понизит средний уровень грамотности — во-вторых. Вообще вред от такого наводнения очень велик. Как быть с такими произведениями?.. А нередко бывает так, что сотрудники издательств, служащие благодаря своим связям в аппарате «пропихивают» свои книжки, хотя никаких достоинств у этих авторов нет. «Пролез» в литературу, сорвал гонорар, рассовал книжку по магазинам — и хватит. А затем начинается новый этап: надо найти критика, который обязательно расхвалит, и журнал или газету, которая напечатает похвалу. Нередки случаи, когда писатель, и бездарный при этом, нагло в редакции требует, чтобы был напечатан отзыв о его книжке — и отзыв благоприятный. Как редактор я говорю Вам это с полным знанием дела.

Значит — бережное отношение? Вот тут-то и приходится, пожалуй, сказать, что здесь «бережливость» вредна. Напротив, нужна какая-то суровость. Жалость (а как жалко иногда искреннего, но бездарного юношу или девушку) приносит вред не только такому автору, которому с первых его шагов следует открыть глаза на его бездарность (еще, быть может, можно его спасти), но и литературе. Ведь обилие слабых вещей, во-первых, понижает общий уровень литературы, а во-вторых, разжигает страсти тех, кому еще не удалось сделаться «писателем», то есть напечатать свою вещь, которая (и они правы) несколько не хуже напечатанных. Чем моя хуже?

Все это усложняет положение критика в современных условиях. Я лично в своих критических статьях очень «осторожен». Среди статей моих в книжке «О современной литературе»<sup>3</sup> есть статья о Малашкине. Повесть его «Больной человек» была талантлива. Другие вещи — слабей, некоторые — бездарны. Я очень «осторожно» написал о нем: надо поощрить — может, что-нибудь и выйдет из него. А взгляните, как сорвался он от похвал (его Якубовский объявил чуть ли не гением), и теперь писатель погибает — заболел графоманией. Как редактору, мне последние годы приходилось прочитывать множество рукописей и говорить с их авторами. Выходило так, обойдешься очень мягко, не отрубив сразу: бросьте писать и так далее — выходит вред. Иной раз вначале нужна жесткость, Алексей Максимович, особенно с молодыми, которые охвачены «литературной лихорадкой». Они, как бабочки на огонь, летят на огонек славы — и сгорают, погибают на этом огне. Как быть? Ах, если бы Вы написали об этом молодежи: ведь Ваше имя в литературе — единственное. К Вашим словам не только прислушиваются; Ваши слова для многих будут решающими. Никогда ни одна литература в мире еще не переживала такого наплыва «молодых», как наша. И никогда еще критика не была так бессильна и мало авторитетна, как у нас. Тут нужно вмешательство огромного авторитета. В газете промелькнул отрывок из одного Вашего письма: Вы писали, что предполагаете уделять свое время текущим литературным вопросам. Как это было бы хорошо!

Ваш упрек мне, как редактору, я принимаю. Вы правы. Но тут оправданием служат также обстоятельства, о которых я говорил. Надо еще принять в расчет, что я, как редактор, до последнего времени был одним и из самых несчастных. Ведь я редактировал не только «Печать и революцию», но также «Новый мир» и три отдела в Большой Советской Энциклопедии. Все приходилось читать самому, некому было довериться. И эта перегрузка была не потому, что я «жаден» и так далее. Я изо всей мочи старался свалить с себя хоть часть работы — не мог. Теперь стало полегче. Я ведь «ушел» из «Нового мира»<sup>4</sup>. А Вы знаете, как много сил надо потратить, чтобы сделать журнал. Ведь в последние два года — говорю с чужих слов — «Новый мир» из третьестепенного и серого журнальчика, каким он был... мне удалось превратить в журнал, не уступающий несколько «Красной нови». Даром это не обошлось: количество «срывов» в «Печати и революции» увеличилось. Рецензия о «Климе...» один из таких «срывов».

Пишу Вам так подробно потому, что в письме Вашем я почувствовал «холодок»<sup>5</sup>. Мне это очень больно. Особенно сейчас, когда меня травят со всех концов, не брезгуя ничем.

Жалею также, что Вы не разрешаете напечатать Ваши письма Брюсову. Они крайне интересны и имеют не меньшее значение, чем письма Ваши Доро-

ватовскому<sup>6</sup> и Коцюбинскому<sup>7</sup>. Они, кроме того, интересны для характеристики Брюсова. Этот большой человек, которого мало знают, сейчас вызывает противоречивые оценки Ваши письма (особенно письмо после июльских дней, когда он прислал Вам сонет) бросают на него такой хороший (для него) свет, что публикация их была бы очень ценной для памяти Брюсова<sup>8</sup>. Но я Вас не «аги-тирую». Не разрешаю — жаль.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Рецензия М. Поляковой на «Жизнь Клима Самгина» была опубликована в «Печати и революции» в книге первой за 1928 год.

<sup>2</sup> Воронский Александр Константинович (1884—1943) — литературный критик, публицист, писатель. Главный редактор первого советского толстого журнала «Красная новь», постоянный автор «Нового мира».

<sup>3</sup> В книгу В. Полонского «О современной литературе» (М. 1928) вошли статьи о творчестве И. Бабеля, Б. Пильняка, В. Вересаева, А. Толстого, С. Малашкина, А. Веселого, П. Романова, С. Есенина, Д. Фурманова.

<sup>4</sup> В 1928 году В. Полонский был на несколько месяцев отстранен от руководства «Новым миром».

<sup>5</sup> Тем не менее А. М. Горький именно в «Новом мире» решил публиковать продолжение «Жизни Клима Самгина» (№ 5—9 за 1928 год).

<sup>6</sup> Дороватовский Сергей Павлович (1854—1921) — первый издатель книг А. М. Горького. Письма Горького к нему были опубликованы во второй книге «Печати и революции» за 1928 год.

<sup>7</sup> Коцюбинский Михаил Михайлович (1864—1913). С Горьким познакомился в Италии в 1909 году. Письма Горького к нему были опубликованы в первой книге «Печати и революции» за 1928 год.

<sup>8</sup> Письма Горького Брюсову появились в пятой книге журнала «Печать и революция» за 1928 год с предисловием В. Полонского.

<sup>9</sup> Это последнее письмо В. Полонского А. М. Горькому Оно не было завершено и отослано. Предположительно датируется первой половиной апреля, так как является ответом на письмо Горького Полонскому от 23 марта 1928 года.

## Ю. К. ОЛЕШЕ

Август 1928 года.

Уважаемый товарищ Олеша!

Очень хотелось бы напечатать в «Новом мире» какую-нибудь Вашу вещь. Сможете ли Вы дать ее в нынешнем году? Если в этом году не сумеете — сообщите, дадите ли что-нибудь для будущего года?..<sup>1</sup>

Привет!

Редактор «Нового мира»

Вяч. Полонский.

<sup>1</sup> При В. Полонском произведения Ю. Олеша в «Новом мире» не публиковались. На этом письме сохранилась шутливая пометка Ю Олеша: «Письмо В. П. Полонского, которое стоило ему 300 рублей». Очевидно, речь идет об авансе, выданном В. Полонским автору «Зависти».

## Н. И. ЗАМОШКИНУ<sup>1</sup>

Сентябрь 1929 года.

Дорогой Николай Иванович!

Письмо Ваше большое и все рукописи (за исключением Сейфуллиной<sup>2</sup>) получил. Спасибо. С рукописями — очень плохо. Ни одной вещи нет для «Н. м.». Конечно, Платонов талантлив и остер. Но рассказ этот ведь нельзя сейчас печатать в «Н. м.»<sup>3</sup>. А остальное — ниже среднего уровня.

Малышкин мне пишет, что «Севастополь» будет только в декабре<sup>4</sup>... Слабо с материалом. Очень слабо.

Кира Александровна сегодня уехала в Москву и повезла с собой все прочитанные рукописи. Возьмите их и передайте Малышкину, как он придет. Он будет в Москве числа 26—27. Я ему решил не пересылать в Коктебель — их немного, прочтет в Москве. Все равно октябрьскую книгу придется сдавать в конце сентября...

О «друзьях» и подругах писать не хочется...

Конечно, жалею, что приходится иметь дело с людьми, внутренне враждебными О собирании настоящих литературных единомышленников придется подумать...

Если будет охота писать — пишите, письма Ваши читаю с удовольствием.

Здесь несколько дней — около недели — холод. От этого — грусть и мерхлюндия.

«Литературу и общество»<sup>5</sup> получил — спасибо!  
Привет всем в редакции. До свидания. Руку жму крепко.

Ваш Вяч. Полонский.

<sup>1</sup> Замошкин Николай Иванович (1896—1960) — критик, литературный секретарь журнала «Новый мир».

<sup>2</sup> Рассказ Л. Сейфуллиной «Расплата» появился в октябрьской книжке журнала за 1929 год.

<sup>3</sup> О каком рассказе Андрея Платонова идет речь в письме, установить не удалось.

<sup>4</sup> Малышкин Александр Георгиевич (1892—1938) — писатель, член редколлегии «Нового мира». Повесть «Севастополь» публиковалась в журнале в № 1—3 за 1929 год и в № 11—12 за 1930 год.

<sup>5</sup> Сборник статей В. Полонского «Литература и общество» вышел в Москве в издательстве «Федерация» в 1929 году.

19 августа 1931 года.

Дорогой Николай Иванович!

Спасибо за письмо. Очень плохо обстоит с моей статьей для сборника ВССП. Я здесь, конечно, разделился вдрызг, играю в кегли, волейбол, шахматы, купаюсь, катаюсь на лодке (вчера вместе с К. А.<sup>1</sup> перевернулись на реке, хорошо, что у берега — вымокли по пояс) — и к работе не тянет. Писать особую статью просто неохота, а давать отрывок из главы, предназначенной для сентябрьского «Нового мира»<sup>2</sup>, нет смысла. Так что, вернее всего, сборник будет без моей статьи. Он от этого, я думаю, не пострадает.

Статью Вашу получил<sup>3</sup> — буду читать с большим интересом...

Вы спрашиваете о письме Вяземской<sup>4</sup> — оно должно быть у В. И.<sup>5</sup> либо в редакции. Я его отдал Кстате, о материалах «Из прошлого» поговорите с Цявловским<sup>6</sup>, Бродским<sup>7</sup> и еще кое с кем: надо пополнить наш запас — поищите.

Я пишу Н. П-чу<sup>8</sup> о Виноградове. Он написал роман о Стендале. Надо прочитать, не подойдет ли нам?<sup>9</sup>

Переговорите также с писателями о статьях для «Трибуны писателя». Заставьте написать для начала Слетову, Лидина, Новикова-Прибоя, Гладкова (Никифоров есть) — еще кое-кого. Вообще — дорогие — проявите инициативу (это Вам и Н. П-чу). Я стал очень нерадивым редактором, то хотя бы Вы не подкачайте!

Здесь хорошо, но уже холодновато, вечерами сыровато, есть неудобства — шум, так что, может быть, мы снимемся с якоря раньше срока. Я не работал, почитывал книжки изредка, очень мало.

Природа здесь прекрасна, но я настолько до мозга костей городской человек, что отсутствие электрического света меня раздражает. Каюсь, но ничего не поделаешь!

Ну — до свиданья. Руку жму крепко.

Ваш Вяч. Полонский.

Тетьково.

Если Толстой пришлет рукопись<sup>10</sup> позже 20-го, мне ее не посылайте — пусть идет в набор с визой В. И. Приеду — прочитаю в гранках.

<sup>1</sup> Кира Александровна.

<sup>2</sup> В. Полонский в апреле начал в «Новом мире» публикацию своих статей о проблемах марксистского литературоведения: «Сознание и творчество», «Об интуиции». В октябре в «Новом мире» Полонский опубликовал «Две речи на дискуссии в ВССП» по вопросам творческого метода, которая началась в Москве в сентябре.

<sup>3</sup> Речь идет о рукописи статьи Н. Замошкина «О смежных и касательных сторонах диалектико-материалистического метода в литературе», опубликованной в № 11 «Нового мира» за 1931 год.

<sup>4</sup> Имеется в виду письмо В. Ф. Вяземской о смерти Пушкина, которое было напечатано в № 12 «Нового мира» за 1931 год с предисловием литературоведа Н. Ф. Бельчинова.

<sup>5</sup> Соловьев Василий Иванович (1890—1939) — государственный и партийный деятель, член редколлегии «Нового мира» и первый директор Государственного издательства художественной литературы.

<sup>6</sup> Цявловский Мстислав Александрович (1883—1947) — выдающийся пушкинист.

<sup>7</sup> Бродский Николай Леонтьевич (1881—1951) — литературовед, специалист по истории русской литературы XIX века.

<sup>8</sup> Смирнов Николай Павлович (1898—1978) — писатель, критик, литературный секретарь «Нового мира».

\* Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888—1946) — писатель. Имеется в виду роман А. Виноградова «Три цвета времени». Роман этот в «Новом мире» не публиковался, но в № 12 за 1931 год в журнале печатались главы из «Повести о братьях Тургеневых».

<sup>10</sup> Речь идет о романе А. Толстого «Черное золото», который публиковался в «Новом мире» в 1931 году.

### А. Я. АРОСЕВУ<sup>1</sup>

29 августа 1931 года.

Дорогой Александр Яковлевич!

Если не трудно — уважьте просьбу: в Праге выходит «Научные труды русского народного университета». Недавно вышел том IV — там статья Евреинова<sup>2</sup> о Бакуanine. Будьте добры, пришлите мне эту книгу — иначе как с Вашей помощью я добыть ее не сумею, а она мне нужна — я ведь помаленьку, на досуге, продолжаю работать над Бакуниним (вскорости выходит 2-й том моих «Материалов»<sup>3</sup>) Буду Вам крайне признателен.

Что пишете? Почему мало печатаете? Если продолжаете мемуары — присылайте. Кстати, что обещаете «Новому миру» на будущий год? Да не смутит Вас этот бланк, повернувшийся мне под руку: кроме директорства в музее — я продолжаю быть редактором (и даже... ответственным) «Н. мира»<sup>4</sup>.

Если напишете в ответ несколько строк — очень меня обрадуете. Если что-нибудь дадите журналу, сообщите название — поставим в проспект.

До свидания. Руку жму крепко.

Ваш Полонский.

Москва.

PS Сейчас только получил Вашу статью «Кризис .. и т.д.».

Жму руку. П.

<sup>1</sup> Аросев Александр Яковлевич (1890—1938) — партийный и государственный деятель, полномочный представитель СССР в Чехословакии, писатель, постоянный автор «Нового мира»

<sup>2</sup> Евреинов Николай Николаевич (1879—1953) — режиссер, драматург, теоретик и историк театра. В 20-х годах эмигрировал.

<sup>3</sup> Книга «Материалы для биографии М. Бакунина» под редакцией и с примечаниями В. Полонского (том II) появилась в 1933 году

<sup>4</sup> Вячеслав Павлович Полонский перестал быть редактором «Нового мира» в декабре 1931 года.

### АНДРЕЮ БЕЛОМУ

22 октября 1931 года.

Уважаемый Борис Николаевич!

Мне передавали, что Вы продолжаете работать над воспоминаниями. То, что Вы опубликовали, — очень значительно! «Новый мир» с охотой напечатал бы ряд глав, продолжающих начатое. Подумайте — и сообщите. Хотелось бы знать Ваше мнение по этому поводу в ближайшее время.

Руку жму.

Ваш Вяч. Полонский.

<sup>1</sup> Андрей Белый в 1930 году опубликовал мемуары «На рубеже двух столетий».

### Н. И. ЗАМОШКИНУ

14 ноября 1931 года.

Дорогой Николай Иванович — из Магнитогорска — привет! Пролетели 385 километров в 1 ч. 50 м. Боялись застрять в сумерках, так как вылетели поздно. Полет был превосходен. Даже Малышкин, который все рвался: «Лучше на железке», — и тот доволен. Здесь стройка — чудеса! Кругом огни, а вокруг огней — мрак, горы и небо!

Жму руку и обнимаю.

Ваш Вяч. Полонский.

<sup>1</sup> В. Полонский бывал в творческих командировках на Магнитке неоднократно. Его очерк «Магнитострой» («Новый мир» 1931, № 8) получил высокую оценку читателей как один из лучших материалов года.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРИС ЯКОВЛЕВ



## ИСПЫТАНИЕ ПРАВДОЙ

*По поводу одной книги и некоторых других*

«**Ж**аждый год, раза два летом, а потом еще и осенью или зимой, я езжу к матери в село, где прошло мое детство».

Так доверительно начинается книга Анатолия Стреляного «В гостях у матери». В ней живет глубинное ностальгическое чувство, знакомое любому из нас, деревенскому по происхождению. Накапливаясь годами, оно щемит, будоражит душу.

Вспомним Василия Белова, его «Раздумья на родине» с их исповедальностью, поднятой до высокой философии: «Никогда не выветрится из души ощущение бездомности, чувство начисто обворованного человека, которое пришло сразу же, когда я узнал, что в деревне никого больше нет, что дом заколочен, а печь, которая не остывала много десятилетий, остыла и часы-ходики остановились. Часто во сне я плакал сухими слезами, плакал, а за окном общезития шумела бессонная громада Москвы».

Знак высокого нравственного свойства лежит обычно на подобных писательских раздумьях, едет ли человек в запущенную вологодскую Тимонику, как Василий Белов, или во вполне благополучную, хотя и не миновавшую многих трудностей Старую Рябину на Сумщине, как Анатолий Стреляный.

Чем живете, чем дышите, родные отеческие места? Зеленый мир родины открывается Белову в живописных и точных деталях: дурашливые мокрогоубые телята на вахрунинском берегу, недоуменно и словно украдкой касающаяся веткой крыши старая береза. Писатель удивительно приметлив и памятлив. Извлечь из глубин пережитого то, как когда-то «мир шумел и раздвигался в моих глазах, я сам был светлым и ласковым миром, и все люди были как мать, они не делились на вра-

гов и друзей», — тут ведь работа не только памяти — души...

Что же произошло с тех пор?

Для Василия Белова самое главное, самое решающее — «это то, что принято правительственное постановление о Нечерноземье... Моя деревня много лет скромно ждала этого события. С чем же она пришла к этой новой поре?».

Далеко не радостную картину тимонихинской яви видит писатель. Кому-то она может показаться слишком сумрачной, не соответствующей нынешнему общественному настрою. Но Белов имеет дело с реальностью — за последние четыре-пять десятилетий ни одного жилого дома в Тимонихе не построено. И не потому, что не нашлось плотников, они тут не переводились. В той же Тимонихе, сообщает В. Белов, за эти годы появились три скотных двора, две большие конюшни, два телятника и множество вспомогательных животноводческих построек. «Жилых же домов не только не строили, но разламывали и оставшиеся. Просто они были никому не нужны».

И снова из глубин писательской памяти возникают люди, припоминаются события, встают судьбы. Что же касается вопроса, куда все девалось, то и на него настойчиво и смело ищется ответ. Надо, чтобы слово не расходилось с делом во всех случаях: и когда возрождают хозяйства, и когда имеют дело с «человеческим фактором», и когда формируют отношения к уходящим традициям крестьянского труда и быта, и когда занимаются оздоровлением всей сельской жизни, веря в ее лучшее будущее и разделяя ответственность за ее достойную судьбу.

«Ответственность... Я убежден, что здесь прилагательное «коллективная» равносильно приставке «без», — полемично заявляет



Василий Белов.— Ответственность может быть только личной. Если и бывает коллективной, то это всего лишь сумма личных ответственностей. Но вся беда-то в том, что так называемая коллективная ответственность зачастую сводит на нет понятие личной ответственности».

Думаю, что здесь Василий Белов как писатель, художник выходит на проблему, давно ждущую глубокого художественного освоения. Она связана с исследованием самой природы морального долга, нашего нравственного чувства, соотношения в этом чувстве общественного и личного начал.

Однажды Д. Гранин заметил, что есть две системы жизни: система усыпления совести и система угрызения совести. Сегодня наша литература просто обязана активней распознавать и художественно обличать первую и с особым душевным тактом относиться к тому, что происходит со второй. Иначе говоря, меняющаяся под воздействием времени, людей и обстоятельств сфера социально-нравственных отношений — вот одна из самых важных проблем, нуждающаяся в углубленном художественном исследовании.

Именно в этом направлении и работает Анатолий Стреляный, выпустивший недавно в издательстве «Советский писатель» книгу «В гостях у матери». В нее вошли очерки, публиковавшиеся ранее в журналах «Юность» и «Дружба народов». Собранные под общей крышей, они выиграли от этого — все вместе и каждый отдельно.

Бывая в селе, А. Стреляный делает, по его словам, заметки о том, что видит и слышит вокруг себя, а возвращаясь в Москву, переносит их на бумагу для печати. «Получается что-то вроде дневника — форма не новая, но удобная, если пишешь, ничего не выдумывая».

Вдумываясь в смысл этого признания, приходишь к выводу, что простота его творческих принципов кажущаяся. За ней не только «как», но и «во имя чего», то есть гражданская позиция художника, подкрепленная тщательно отработанной системой, творческим поведением, заявляющим о себе и в наблюдениях, и в раздумьях, и в обобщениях.

По характеру, по общественному темпераменту А. Стреляный просто не способен быть «человеком со стороны». Отсюда и особая, я бы сказал, неумная страсть как можно больше увидеть, услышать, выявить природу, суть человеческих отношений.

Дотошно, въедливо постигая жизнь Старой Рябины, А. Стреляный умеет в незна-

чительной, казалось бы, детали деревенского быта увидеть явление, в случайном эпизоде — важную жизненную тенденцию. Разговоры с родственниками и односельчанами, споры с местным начальством, размышления о двоюродном брате Боре, ударившемся в баптистскую веру, о настырной бабке Параске, не дающей покоя районным руководителям, о бывшем председателе колхоза Бобракове, которого после его смерти так тепло вспоминают вдовы фронтовиков... Один эпизод дополняется другим; факты сталкиваются между собой, обнаруживая существенное жизненное противоречие; одна судьба высвечивает в неожиданном ракурсе судьбы целого поколения...

Здесь уместно заметить, что современная публицистика, много сделавшая для того, чтобы повернуть «стратегические» силы литературы к суровым жизненным реальностям, подняла социальную и художественную ценность факта, его этическую активность, эмоциональную многослойность. Удивительно современно звучит давнее высказывание А. М. Горького. «Каждый факт,— писал он.— это синтез целого ряда посылок, узел, связующий сотни ниток, квинтэссенция многих капель соков, нервов, крови сердца, слез, отчаяния. В каждом факте коренится глубокий жизненный смысл, корни его проросли глубоко в прошлое, и в каждом факте непременно есть две, всегда одни и те же типические, всем явлениям жизни одинаково присущие черты — степень сознательного участия человека в творческом факте и степень влияния созданного факта на душу человека и вообще на его жизнь...»

XXVII съезд КПСС определил наше время как переломное. Именно этим его решающим качеством объясняется, по моему глубокому убеждению, резко возросший интерес литераторов к прямым формам обращения к читателю, общественности. На наших глазах идет сложный и многообещающий процесс превращения публицистики в социалистическую педагогику, развитие которой предвосхищал и приветствовал А. М. Горький.

Думая о том, как рождается, что собой представляет и о чем печется наша «социалистическая педагогика», прочно обособившаяся в очерке, публицистической статье и вошедшая на правах полномочного элемента поэтики в повесть, поэму, роман, я не раз возвращался мыслью к книгам А. Стреляного, доказавшего своей работой в литературе не только завидное постоянство интереса к деревне, ее людям, пробле-

мам, но и умение подняться над обычными ностальгическими ахами и вздохами по поводу состояния нашей деревни. А главное — выйти к таким социально-нравственным горизонтам, которые позволяют увидеть и то, что было с сельской жизнью в давнем и недавнем прошлом, и то, какая она сейчас «в деталях и главном», и то, какой она может стать, если заниматься ею по-государственному, с высшей степенью ответственности, постоянно чувствуя ход этой жизни во всей ее многосложности. А ее, эту многосложность, очень часто обозначают понятием «быт», узко трактуемым, снимая этим актуальность целого комплекса проблем. Анатолий Стреляный знает, как важно распознать эту терминологическую особенность, увидеть ее социальный смысл.

Позволю себе небольшое отступление.

Как было сказано на XXVII съезде партии, ныне надо наверстывать упущенное, ускорить решение многих социально-экономических, культурно-бытовых проблем сельской жизни.

Именно об этом хлопоты нашей писательской публицистики. Когда мы читаем очерки последних лет, принадлежавшие перу Ивана Васильева («Письма из деревни», «Цена на инициативу») или Юрия Куранова, Анатолия Иващенко, Юрия Черниченко, Юрия Калещука, Бориса Можаяева, Глеба Горышина, мы отчетливо понимаем, что одной чистой литературной деятельности людям такого склада мало. Их гражданский темперамент требует активного соучастия в реальном переустройстве нашей жизни. Мужество в обращении к самым острым, порой весьма драматическим фактам нашей действительности, высокое напряжение мысли характеризуют сегодня нашу лучшую очеркистику. Вот и Анатолий Стреляный свой острейший очерк «На капусте под Москвой» писал как непосредственный участник описываемых событий. И здесь и в других работах он пользуется тонкой, на грани социального сарказма иронией — оружием, которое ему, как и другим коллегам-«деревенщикам», давно и верно служит.

Скажем, замечание о сельской управленческой «механике». «За год колхоз принимает десять — двенадцать проверяющих комиссий. Ответственность председателя перед секретарем райкома, бригадира перед председателем — вещь, конечно, великая. Не мешает, чтобы и тракторист чувствовал ответственность перед бригадиром, очень не мешает. Но судьба урожая в конечном счете больше всего зависит от то-

го, чувствует ли он ответственность перед товарищами по работе...» В наши дни, когда в духе требований XXVII съезда КПСС практически решается проблема повышения ответственности на всех уровнях, мысль А. Стреляного как нельзя к месту.

Или пишет очеркист о мужиках, которые гибнут от бормотухи. «В немолодом уже человеке, отце семейства, видеть эту жалкую откровенность босяка было ужасно». Как точно сказано — «босяка»!

Но прежде всего А. Стреляного интересуют те люди, которые и в трудных условиях экономической жизни на селе оставались настоящими коммунистами, достойно несли свою нелегкую ношу.

Не раз возвращается писатель к личности умершего председателя колхоза Бобракова, пытается понять сильные и слабые стороны этого незаурядного руководителя. Подкосило его давление, пишет А. Стреляный, а еще больше, пожалуй, другое... Формализм, показуха, администрирование — все, против чего выступал этот человек, исходя из своих убеждений и интересов людей своего колхоза, подкосило его силы. Он пропал. «В слове «пропал», как его у нас произносят, нет ничего недоброго, грубого. Оно относится даже не к человеку, а скорее к той силе, которая не разбирает ни правых, ни виноватых, ни во что не вникает и никого не выделяет».

Сила эта, возможно, еще иной раз и пройдет по человеческим судьбам, но ей приходит конец.

Напомню, очерки писались не сегодня, и призыв писателя — «Надо торопиться!», прозвучавший своеобразным социально-нравственным камертоном всей книги, выразил умонастроение многих людей, встревоженных ситуацией, сложившейся на селе, и пытавшихся с учетом имеющихся сил и возможностей изменить ее к лучшему. О конечном результате говорить, разумеется, было рано, но работа таких публицистов, как А. Стреляный, Б. Можаяев, Ю. Черниченко и другие, помогла и помогает важнейшему для всей страны делу. К ним с полным правом можно отнести слова одобрения, высказанные на XXVII съезде КПСС: литература «верно выбрала свое место, свою роль в общенародном деле».

На меня, так же как на многих моих коллег, исключительное впечатление произвела мысль, прозвучавшая на съезде в Политическом докладе: «Когда возникает общественная потребность осмыслить время, в особенности время переломное, оно

всегда выдвигает людей, для которых это становится внутренней потребностью».

Есть все основания полагать, что эта общественная потребность будет материализована в конкретных литературных поступках. И тем быстрее, чем заботливее и осмотрительнее все мы подойдем и к тому, что закреплено традицией (прежде всего традицией овечкинской), и к тем, кто мыслью и делом эту традицию развивает и обогащает.

Вспомним, как активно и настойчиво вела наша публицистика многолетнюю борьбу за сохранение главного нашего богатства — земли. «Землю обмануть нельзя» — об этом остро писал несчетное количество раз Борис Можаяев. «Земля» — один из последних очерков Анатолия Иващенко, где сказано немало слов о привычке жить вчерашним днем, находить оправдания косности, которая играла на руку ловкачам и бездельникам, невеждам и демагогам, поставившим почву на грань разрушения.

Надобность в социально-нравственных знаках предупреждения не отпала, и публицистика, создавая своего рода систему оповещения о возможных опасностях, выполняет свою, только ей присущую общественную функцию.

Впрочем надо отдать должное и людям науки (той, которая работает на острие социально-экономических и культурно-идеологических проблем), понимающим социальный вес честного, правдивого суждения, апеллирующим к общественному мнению.

«Слова «лень» вы не найдете ни в экономическом словаре ни в учебниках экономики. А между тем это понятие стоило бы учитывать в экономической деятельности. Это относится и к таким чертам характера, как ответственность и равнодушие, дисциплинированность и нерадивость, целеустремленность и безволие, точность и безалаберность». Академик Т Заславская, поделившаяся этими размышлениями на страницах «Советской России», находит убедительные иллюстрации. Пример процветания отдельных бездельников, говорит она, не может не сказаться на взглядах и поведении людей, которые все это наблюдают. И порой мы имеем дело с ситуацией, когда хороший работник начинает равняться на посредственного. Подобные ситуации отягчают не только наше экономическое бытие. Негативное влияние, и весьма существенное, оказывают они на состояние общественной нравственной атмосферы, разлагающе действуют на еще не сложившееся сознание подрастающего поколения.

Почти для всех публицистов, пишущих о деревне, проблема сельской молодежи острее. «Замалчивая или обходя в нашей прозе то, о чем публицистика говорит смело и открыто, мы не уменьшим ни количество разводов среди молодежи, ни рост преступности на сексуальной почве, ни рост числа абортос среди несовершеннолетних. Мы ни на миллиметр не повысим моральный уровень нашей молодежи. Не верим! — скажет молодежь. И будет права». Эта мысль принадлежит прозаику Сергею Маркову.

Сказано резко, но по существу.

Не менее остро ставится в литературе, в том числе и публицистикой, проблема развития культуры, просветительской деятельности на селе. Об этом много и интересно размышляют Иван Васильев, Юрий Куранов, Иван Синецын. Какова отдача сельской интеллигенции — агрономов, инженеров, культпросветработников, отдача не только производственная, но и духовная, нравственная? Может ли удовлетворить сельчан уровень общественной престижности учительского труда? Почему мало настоящих подвижников на этой ниве, таких, скажем, как Валентин Марченко, описанный А. Стреляным?

Не нужно особой проницательности, особых усилий, чтобы понять, как много сделано этим педагогом «Что мои заботы и успехи — какие-то там статьи, книги, filmy — по сравнению с этим домом, с этими двумя построенными Валькой школами, с его товарной фермой, с пятнадцатью годами жизни без отпуска? — подумал я». Он учит людей «не грызть друг друга, мирит соселей, вносит лад в семью, а это ведь и есть просвещение — просвещение душ...»

Но как бы много ни делали для «просвещения душ» такие педагоги, как Марченко, мы должны ясно осознавать: только их усилий мало. Главным условием их успешной работы должен стать процесс оздоровления всех сторон жизни нашего общества. Воспитание нового поколения деятельным и граждански зрелым, с точными социально-нравственными ориентирами — общенародная задача. И особенно важно воспитывать, как считает А. Стреляный, «вкус к жизни». Именно так названа одна из ключевых главок книги «В гостях у матери». Речь идет о предприимчивости, инициативности, которую писатель понимает как вкус к решению сложных и серьезных задач, как отвращение к жизни по накатанной колее, к умению быть как все, ничего не делать без прямых указаний.

ничего не делать такого, чего не делали вчера, позавчера, при царе Горохе...

«Есть работники и есть деятели. Самый добросовестный работник — это еще не деятель. Деятель — тот, кто не плавает по течению. Человек, у которого есть свои идеи. Человек, который не просто работает, а ведет борьбу. Деятелю власть нужна не для власти, а чтобы что-то изменить вокруг себя, вмешаться в жизнь, нанести отпечаток своей личности на общий ход вещей. Деятель — это человек, которого нисколько не смущает, не останавливает тот факт, что то, что он задумал делать, никто кругом еще не делал, что так делать не принято, что это вызовет чье-то удивление, кого-то озадачит, уязвит, раздражит... Деятели тоже могут быть и способные и бездарные, и честные и не очень. Но он все равно деятель — человек, который вылезает на общественную трибуну, на трибуну жизни с чем-то своим и сознательно рискует ради этого своим положением, знает, что может не только выиграть, но и проиграть, потерпеть поражение, готов к поражению. Работник по своей природе боится проиграть, сорваться с лестницы. Работник к поражению не готов. К личному поражению внутренне всегда готов только деятель, политик. Поэтому он и побеждает...»

Автор имел в виду, конечно, людей, так сказать, практической жизни, но мне кажется, что сказанное имеет прямое отношение и к нашей литературе, в том числе и к ее активно плодоносящей публицистической ветви, демонстрирующей и вкус к жизни, и готовность и способность менять эту жизнь к лучшему.

Давно замечено, что в известные исторические эпохи публицистика неудержимо врывается в область, всегда, казалось бы, принадлежавшую художественному творчеству, и распоряжается там как у себя дома. Об этом говорил Плеханов.

Именно такое время мы переживаем сегодня — литература наша становится все более публицистичной, и факт этот живо обсуждается общественностью.

Самый свежий пример — дискуссия в «Литературной газете» с многозначительным названием «Начинается с публицистики?». Чтобы с первых выступлений направить ее по деловому руслу (статья Вадима Соколова, которой она открылась, на это и была нацелена), читателям было предложено ответить на ряд вопросов. Спрашивалось, согласны ли читатели, что обновление литературы начинается со взлета

публицистики; не случается ли так, что публицистическое, актуальное начало идет в ущерб художественным произведениям; не ждет ли читатель современной литературы ответа на вопросы, поставленные сегодняшним днем; что он думает о материалах, которые «ЛГ» публикует в своей дискуссии, и какой новый поворот мог бы предложить.

Появились интересные, в подлинном смысле дискуссионные статьи. Любопытные мнения высказали Н. Иванова, Л. Вильчек, С. Марков, В. Курбатов, А. Борщаговский. Есть реальная попытка найти «точку роста» нашей словесности. И не где-нибудь, а в стыковом звене ее связей с жизнью — в публицистике.

Прав В. Курбатов, когда пишет в «Литературной газете», что «пришла пора прямого обращения к читателю». Но о чем речь дальше? Оказывается, писатели «всегда были хорошими публицистами, но не смешивали «два эти ремесла», выходя к читателю для прямого разговора в случаях, когда материал или не успел еще отлиться в устойчивые, проникающие нравственную структуру человека формы, или уходил от художественного усвоения, «выпадал в осадок» и легче осваивался в открытом обсуждении».

Не могу согласиться с таким утверждением.

Стоит только заглянуть в широко распахнутую дверь классической и советской литературной традиции — и взору предстанут блистательные примеры иного свойства. Когда публицистическая мысль — социально значительная и страстная, глубоко прочувствованная и одухотворенная, несущая свет неповторимой творческой индивидуальности, — выводит произведение в ряд шедевров. Разве можно, скажем, представить художественную мощь «Русского леса» Л. Леонова без знаменитой вихровой лекции или шолоховскую «Судьбу человека» без публицистического голоса самого автора? На память приходят цикла романов «Братья и сестры» Ф. Абрамова, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, недавние повести «Пожар» В. Распутина и «Печальный детектив» В. Астафьева.

Правильной будет сказать, что роль публицистичности — и как общественного фермента и как формы художественного постижения жизни — еще далеко не познана. Особенно в связи с невиданной масштабностью, сложностью и драматизмом жизни и одновременно растущим гражданским самосознанием литературы.

Очевидно, удельный вес публицистичности в художественных структурах будет

расти. Но следует ли бить тревогу по этому поводу? По-моему, бояться мысли (а она, надо признать, играет в публицистике не просто содержательную, а и формообразующую роль) нет никакого резона. Хотя бы потому, что, по предположениям мудрых людей, она — тоже чувство, только более утонченное.

В свое время Энгельс, размышляя, от чего зависит творческое состояние человека, обратил внимание на два решающих, с его точки зрения, момента: право свободно выражать свои взгляды и уверенность, что обращаешься к той аудитории, на которую рассчитываешь. XXVII съезд КПСС своими идеями и решениями, своим примером дает советским писателям возможность называть вещи своими именами, судить обо всем «начистоту», следовать правде жизни, которая всегда была сутью настоящего искусства.

Что касается аудитории, которая ждет от

литературы, в том числе и публицистики, правдивого, делового, духовно и нравственно возвышающего слова, то и здесь есть перед кем держать ответственность по самому взыскательному и строгому счету. И в количественном и в качественном смысле эта аудитория — весь народ.

Уже после окончания работы XXVII съезда партии в недавнем интервью алжирскому журналу «Революсьон африкэн» М. С. Горбачев сказал: «На съезде остро поставлен вопрос о гласности в деятельности государственных, партийных и других общественных организаций. Мы считаем, что правды не может быть меньше или больше. Правда одна, и она должна быть полной».

Пусть кому-то это лекарство может показаться горьким, но оно необходимо сегодня как никогда. Правда сама лечит раны, которые наносит.



В. БАРААС

★

## АССОЦИАТИВНЫЙ ПОИСК\*

1

С троки отрешенные, но и уязвленные, холодно-замороженные, расслабленно-безудержные. И стихийная устремленность навстречу всему, что запретно-гибельно, рушится, бросает вызов Редкостная, изощренная готовность поэта чутко подхватить любой намек на это в созвучиях слов, смещениях смысла, переплетениях ассоциаций — и с налету рвануться вдогонку за приманками мгновенно чередующихся ощущений: «чем случайней, тем вернее», чем парадоксальней, тем притягательнее, а если и на грани смысла, то еще возжеланней заглянуть и за эту грань.

Не хочу быть голословным. Вот у Андрея Вознесенского раскручивается, например, «Скупщик краденого» (из Сборника «Взгляд»)... Мы в «малине», где «пугливая душа» скупщика «затаилась не дыша». Все нереально здесь:

Символы предметов реют  
в твоей комнате паучьей,  
как вещевая лотерея:  
вещи есть — но шиш получишь!

Да и достаточно неопределенно (символы каких предметов — тех, что здесь перебивали? или вот-вот появятся? или просто вспоминаются сейчас?). Но тут точно срывает искра созвучия (реют, лотерея и следом Лорелея) — поэт затягивает розыгрыш только что упомянутой лотереи. Суть — в самом переборе случайно возникающих номеров и мгновенном отклике «выигравшей» ассоциации или созвучия (из

\* Статья критика и литературоведа Владимира Яковлевича Барласа получена редакцией из архива писателя. Написанная в 70-е годы, она не устарела и ныне. В суждениях критика о поэзии Андрея Вознесенского ощущается острота и оригинальность взгляда, увлеченность истинного любителя литературы, стремящегося разобраться в ее глубинных, общественно значимых проблемах.

Публикация Т. В. БАРААС.

набора «вещей» лотереи). Смотрите: «не-разборчивая цифра» — откликаются созвучия (Фишер, шифер, шифр), и тут же второй отскок в ассоциацию — цитату из «Двенадцати стульев» («ключ от сейфа с шифром, где деньги лежат»); и еще ассоциация — переключка с ревом распоясавшихся болельщиков: «судью на мыло!» (№ 1968... Судья класса «А», мыло «Москва»); и еще... и еще...

А когда эта игра начинает приедаться, почти сразу же завязывается новая — по образцу тех детских песенок-прибауток, где конец смыкается с началом Толчок здесь, видимо, дает двуступище «Разметалась, как пропеллер, воровская лотерея»; от «пропеллера» передается импульс и образ движения, а слово «воровская» скрепляет звенья завертешегося кольца ассоциаций, выдержанных в духе философствующего Хлестакова («Бриллианты миссис Тэйлор, и ворованные ею многодетные мужчины, и ворованная ими...» и так далее, пока снова не появятся, уже ворованные, бриллианты миссис). Прокручивают ли это организаторы лотереи или перед нами, так сказать, ее самовыражение или что-то еще — опять-таки не ясно (придумывай сам как хочешь или не думай вообще), и снова это не важно, потому что, по сути, ничего не меняет в восприятии эпизода.

Если убрать из «Скупщика краденого» то, что обязано безоглядной игре ассоциаций, то остается еще смутное, но несомненное ощущение какого-то заораживающего, даже влекущего страха перед миром темным, подлым, гибельным, но живучим в своей разрушительной силе и презрении к любым запретам. Омерзение поэта к этому миру неподдельно и порой прорывается взвинченными выкриками («Ты опаснее, чем вор, скупщик краденого!», «Скушай, гадина!»). Но, чураясь и отвращаясь, он вместе с тем точно не может оторваться от того, что здесь совершается: то как бы

опьяняет себя гибельным ароматом воображаемых сцен, то как бы шарахается в нарочито развязный раешник, — но так или иначе продолжает вглядываться в то, что при обостренной чувствительности поэта должно быть особенно невыносимым.

Вот, еще в лотерее, промелькнуло кожаное манто («№48»), на котором «хлоркой сведено пятно». Да мало ли откуда такое могло появиться?! Но сама эта многозначительная и допускающая любые жуткие истолкования неопределенность, видимо, так задевает поэта, что сразу после розыгрыша жгучий след этого ощущения еще растревается: «...горит... хлоркой смытое пятно. Кто кожаночку купил? (Не скрыть крапинку)...» Но разбираться в этом, пожалуй, лучше на другом примере.

«Он прет на тебя, великолепен... Лупи! Ну, а ежели не влепишь — нелепо перезаряжать!.. Уже между вами десять метров. Но кровь твоя четко-весела». Он — это кабан («Кабанья охота», «Взгляд»). На этот раз ощущение возможной гибели (здесь — собственной) и азарт приближения к ней — уже непосредственная пружина действия. Захватывающая мысль: а что, если не мы на кабанов, а они — и вполне успешно! — охотились бы на меня? И вот в лад этому парадоксу стремительно выстраиваются смачные ассоциации, размашисто живописуя ошеломляющую ситуацию. Думаю, что на двух ближайших эпизодах не стоит задерживаться подробно.

В первом из них представлены с отменным знанием дела аксессуары парадного застолья, за которым кабаны (ну и, конечно, кабарышни, кабабушки и тому подобное) готовятся приступить к «литургии» над телом аппетитного убранного охотника. Во втором — различные салаты и закуски сопоставляются с предметами материальной культуры и произведениями искусства разных эпох («...сеledка, нарезанная как клавиатура перламутрового клавесина... Вкусно порубать Расина!»).

Но вот здравца «усопшего стрелка» на этом жутком пиру:

Я пью за страшную свободу  
отплыть, усмехнувшись, в никогда.  
.....  
За неуловимое Искусство.  
Но пью за отметины дробин.  
Закусывай!  
Не мсти, что по звуку не добил.

Неужели здесь и Искусство — такая же смертельная охота и уловить его — значит, добить, а если нет (если только «отметины дробин»), то оно вправе и, быть может, даже обязано мстить (и тоже — добывать)?

Да. И Блок в стихотворении, обращенном к музе, писал: «Я хотел, чтоб мы были врагами» — и даже что это «горькая страсть», где «была роковая отрада в попираньи заветных святынь». Но — страсть же... И за этими бесстрашными признаниями всегда стояло то, во имя чего все это: «...хочу... все сущее — увековечить, безличное — во-человечить, несбывшееся — воплотить!» Здесь, видимо, и источник готовности, даже необходимости все принимать на себя: «За мученья, за гибель — я знаю — все равно: принимаю тебя!»

И Пастернак в зрелые годы «Второго рождения» признавался, «что строчки с кровью — убивают», а несколько раньше просил своего «осторожного охотника»: «Не добирай меня сотым до сотни... Целься, все кончено! Бей меня в лёт». Но ведь и в этом прежде всего ощущалась готовность к плате за право на полет. И для всех истинных поэтов призвание было вышшим, не терпящим никакой распушенности началом. А чтобы так бесшабашно, как бы на равных — кто кого, да еще добывать?! Что-то не припомню такого в русской поэзии...

Действительно — страшная свобода... Вспышка убийственного попадания, оплачиваемая желанным гибельным риском. Что же тогда принимать поэту как свое необходимое достояние? И не упадет ли тень от такой смертельной игры, притягательной и звинчивающей одновременно, и на другие его устремления? Может быть, правила той же игры вызвали к жизни и следующую строфу?

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.  
Ты вина чужая!  
Молчит она. Она не ест, не пьет.  
Лишь на губах поблескивает лед.

(Ведь если «усопший стрелок» ее не знает, то, значит, она здесь по ошибке и ее право мстить в этом потустороннем мире может быть осуществлено лишь там, где отыщется настоящий «виновник»: тот, кто некогда — удачно или неудачно — пытался ее поймать или добить.)

А это кто? Ты?! Ты ж меня любила...  
Я пью, чтоб в тебе хватило силы  
взять ножик в чудовищных гостях.  
Простят убийство —  
промах не простят.

По-моему, это невыносимо даже отчетливо себе представить. Тем более написать. Да еще соревноваться с циничной сентенцией главного наполеоновского жандарма — Фуше («Это — более чем преступление, это —

ошибка»). Что же это за всепобеждающий азарт, влекущий столь ранимого поэта к тому, что больше всего, и так безудержно и бесчувственно?

Но тут, перебивая друг друга, заговорили критики.

— Эпатаж! Надругательство над законами и традициями языка и стиха! Попытка возродить давно отвергнутые советской поэзией настроения и построения всевозможных декадентов и формалистов. Претенциозные невнятности...

— Позвольте! А я-то считал, что в нашей критике изжито наклеивание уничтожающих ярлыков. Образность Вознесенского подчас озадачивает, ассоциативные связи далеко не ясны но и безудержная гиперболизация и нарочитая резкость чаще всего являют своеобразную защиту поэта — реакцию его гипертрофированной чувствительности, обостренное чувство достоинства. Так потрудитесь же освоить язык поэта! И тогда перед вами откроется динамичный мир напряженных эмоций современного человека, мир, герой которого рыцарски предан сиянию высокой женственности и яростно противостоит любым проявлениям антигуманизма.

— Как бы не так! Боюсь, что в данном случае вас слишком увлекло освоение языка поэта и фактически вы довольствуетесь приобретенным навыком перевода его не столь уж замысловатых ребусов на обычный язык, полагая, что восхищаетесь их непосредственным содержанием. Только верна ли ваша картина? Разве новое и неожиданное является когда-либо Вознесенскому как зерно открытия, выстраданного в поисках правды воссоздаваемого им мира? Скорее оно предстает как бы победным призом, к обладанию которым стремится азартный и вместе с тем расчетливый игрок. Потому что при всей необузданности фантазии поэта никогда не замечаешь, что он целиком отдается полнокровному и непосредственному переживанию. И не потому ли он то и дело использует знакомые интонации и словосочетания, имитирует или пародирует прославленные строфы; не потому ли, что, лишенный иной опоры, он конструирует необязательное и лишь умозрительно цементируемое целое из деталей, уже доказавших свою добротность, в надежде, что экспрессия и воображение сами по себе обеспечат победный приход неожиданных открытий? И сопоставления порой ошеломляющи, образы пронзительны. Но чувство, которое непосредственно не пережито, невозможно ни сконструировать, ни имитировать по из-

вестным образцам. Прикрыть пустоту в главном невозможно. Она неизбежно изобличает себя и недостоверностью, и несоответственностью деталей, и расплывчатостью или беспомощной декларативностью в решающих местах.

Пора, однако, прервать эту невольную вспышку полемичности разных критиков.

## 2

Три только что прозвучавших несовместимых оценки, по-моему, отражают (правда, в известном сгущении, а значит, и утрированно) некоторые утверждения и интонации тех бурных споров, которые возникали и возникают вокруг сборников Вознесенского. Но стоит за ними больше, чем реакция на стихи отдельного поэта.

Для одного из критиков любые отклонения от уклада стихосложения, установившегося к середине 30-х годов, представляются вообще посягательством на традиции нашей советской поэзии, опасным рецидивом, и очевидные вольности Вознесенского представляют здесь достаточно поводов для обличения. Для другого имя Вознесенского связано с веянием прогресса, благотворным для развития личности. Но вот, скажем, третий участник диалога — проницательный интеллект, объясняющий поэзии, как ей правильнее всего с учетом быстро изменяющихся условий отстаивать достоинство человека. Разве не удивительно, что и он проявил, в сущности, не меньший скептицизм при оценке вклада Вознесенского в поэзию — пусть по совершенно иным мотивам. Видимо, вызов, брошенный поэтом, затрагивает какие-то глубинные основы искусства.

Эта мысль, вернее стремление до конца в ней разобраться, собственно, и дала жизнь тому, что вы сейчас читаете. Когда споры о поэте долго не затихают, то, по-моему, за ними обязательно стоит и общественно значимая проблема искусства.

Разумеется, можно было бы, наметив некоторые связи, сразу начать вольный разговор о все возрастающем значении ассоциативного мышления в условиях научно-технической революции, а обращаясь к примерам в области искусства, говорить и о многих поэтах. Но общие выводы здесь явно преждевременны, проблема только обозначается, так что естественнее всего довериться тому, как тема сама заявляет о себе, когда ты, углубляясь в поэтику конкретных стихов, не укладывающихся в привычные рамки, стараешься осмыслить то, чем они нас все-таки задевают. Пола-



гая, что в работе литературной в отличие от научной интересны не столько выводы, сколько прокладываемый к ним путь, по-пробую как можно непринужденнее воспроизвести путь собственных размышлений.

Действительно, неоднократные указания критики на очевидное небрежение поэта к известным фактам, нормам языка и правилам приличия обычно конкретны, и их нетрудно подкрепить доказательствами.

В той же «Кабаньей охоте» слово «блюдо» отнесено без ошутимой надобности к женскому роду («...на блюде ледяной, саксонской»); в кульминационной строфе здравицы охотника выбрана, пожалуй, самая неестественная и труднопроизносимая конструкция фразы: «...пью, чтоб в тебе хватило силы» вместо «чтобы тебе» или «у тебя» хватило — и так далее.

Если перейти от грамматики к интонациям и лексике, то мест, могущих озадачить или даже шокировать читателя, становится слишком много, и чтобы не тратить времени на их перечисление, ограничусь картинным двустушием из «Исповеди», открывающей сборник:

Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.

Сказала: «Будь первым» — я стал гениален.

Не менее убедительны иронические замечания в связи с эксплуатацией хорошо известных литературных мотивов. Это и ассоциации-цитаты вроде промелькнувшей в «Скупишке...», и полемическое переименование традиционных сюжетов или хрестоматийно знаменитых стихов (скажем, молитва Резанова богоматери в поэме «Авось!» или парафраз финала лермонтовского «Смерть поэта» в финале поэмы «Лед 69»: «У вы, надменные подонки» и так далее) — и просто вариация полюбившихся строк и мелодий. Так, стихотворение «Нас много. Нас может быть четверо» — вариация на пастернаковскую тему («Нас мало Нас, может быть, трое»); та же тема прозвучала и во вступлении к поэме «Авось!» («Нас мало, нас адски мало»).

Но что, собственно, доказывают эти свидетельства? Если поэт, нарушая принятые в литературе нормы языка и стиля, прибегает к вызывающим интонациям или просторечным, жаргонным и даже вульгарным выражениям, то из этого вовсе не следует, что он скандализует общество, чтобы привлечь к себе внимание, и должен быть осужден как разрушитель культуры. В равной мере способность и потребность поэта переваривать чрезвычайно разнород-

ный литературный материал вовсе не дает оснований для вывода о его собственной пустоте.

Перед нами действительно необычные стихи хотя бы потому, что так разноречивы толки о них. И ведь при всей разноречивости мнений нас задевает и вызывает споры, в сущности, все то же: ощущение нарочитости или вызова (объясним ли мы его эпатажем, экспрессивной реакцией чуждой природы на сложность мира или конструированием целого из элементов, лишенных внутреннего единства), острая современность (то ли неврастения, то ли тревога перед угрозой обезличивания в век машин, то ли имитация этих настроений по имеющимся литературным образцам), внетрадиционность (то ли декадентская невнятица, то ли смелое новаторство, то ли формальные поиски, маскирующие внутреннюю пустоту). Откуда же такое берется?

## 3

Если существуют стихи благодаря тому, что чем-то нужны своему обществу и времени (или, как чудо, превосхищают эту нужду и тогда ждут своего часа, чтобы по-настоящему расцвести), то возникают они, рождаются они только потому, что вокруг уже цветут какие-то другие стихи. — это и есть та почва, на которой непосредственно произрастает поэзия.

Применительно к Вознесенскому нас будят, естественно, интересоваться не прямые заимствования — эти как бы пронизывающие поэтическую почву соки, которые каждое самобытное растение использует и перерабатывает по-своему, — а та (если развить сравнение) основная почвенная структура, усваивая которую и формируется поэт. В рассматриваемом смысле поэт родился в середине 50-х годов, и действительно, в первых двух его книгах («Мозаике» и «Параболе») немало следов активного усвоения поэтической структуры тех лет (например, в посвященной С. Щипачеву «Осени»).

Однако еще тогда прорывалось стихийное стремление преодолеть, взорвать усваиваемую структуру. Достаточно вспомнить о сразу выдвинувших поэта «Мастерах», которые не только пронизаны мотивами бунта против косности и спеси властителей Руси, но и провозглашают право на него неотторжимым от самой природы искусства («Художник первородный — всегда трибун. В нем дух переворота и вечное — бунт»).

И в следующей книге — «Треугольной

груше» — все уже безоговорочно обращено к этой стихии. Компромисс оказался невозможным, и, раскрепощаясь в свободном поиске, поэт как бы подвел черту под порою ученичества, не включив в новую книгу ничего из прежних.

Что же он искал? От чего отталкивался? Сам Вознесенский придает в этой связи большое значение («...считаю первым моим стихотворением») «Гойе» (1959), помещая его во всех сборниках с вкраплениями ранних стихов. Полагаю, с полным основанием.

Это трижды (в начале, середине и конце) повторенное «Я — Гойя!», несколько сходно звучащих коротких строк («Я — горе... голос... голод... горло... грозди... гвозди») и перемежающиеся с ними длинные строки, которые в мерном ритме медлительных ударов колокола разрабатывают и варьируют этот звуковой ряд (вот примерное сочетание: «Я — голос Войны, городов голыши на снегу сорок первого года») и ассоциативно связаны с картинами минувшей войны, а возможно, и с офортами Гойи «Бедствия войны».

Очевидно, что подобный поиск не имеет отношения ни к тенденциям стихов середины 50-х годов, ни к традициям, которые они унаследовали (при всей значительности изменений, принесенных войною и послевоенным обновлением) от поэзии 30-х годов. Я думаю, что Вознесенский, впитывая современную ему поэзию, был, однако, непосредственно воспитан не ею, а теми поисками начала века, которые оказались ему внутренне близки, и воспринимал прежде всего эту глубинную подпочву всей нынешней поэзии, стремясь ее осовременить. Значит, пока нам надо хотя бы вкратце остановиться на природе этой поэтической среды.

Кризис назревал по мере того, как стала быстро расти бессодержательная условность поэтического языка. Принятые еще в середине XVIII века жесткие каноны стихосложения, которые утвердили строгую гармонию ритма на месте менее упорядоченных интонаций сказа и речитатива, в свое время чрезвычайно обогатили музыку поэтической речи. Однако жесткий остов предписанных стихотворных размеров оказался малопригодным для перелачи живых интонаций разговора и эмоций повседневной жизни и постепенно обрстал корой условно-поэтических образов и оборотов, вырождавшаяся в штампы или риторичку.

Выхода искали на разных путях, но здесь нас интересуют те, которые связаны с выразительностью звучания слова как

такового. Ведь и «Гойя» Вознесенского примечателен именно своим звуковым строем и, строго говоря, не имеет определенного разумного смысла помимо того, который подсказывается самими ассоциативными связями словарного состава стихотворения.

Эта сторона дела, конечно, может насторожить читателя, который вправе заподозрить, что ему просто морочат голову, претендуя на его внимание. И неудивительно, что зачинатели нового подхода, немало раздвинувшего область допустимых вольностей поэзии и глубоко повлиявшего на ее развитие, были встречены, мягко говоря, иронически. Особенно первооткрыватель Велимир Хлебников. Иные теоретики, отстаивая поэтику Хлебникова, тоже далеко не всегда придерживались норм рационального мышления, что только усилило предубеждение, оказавшееся довольно стойким. Думается, что и замечания о непонятности многих мест у Вознесенского — чаще всего тех, где он отталкивался прежде всего от звучания слов, — коренятся в том же естественном, хотя и поверхностном отношении к стихам такого рода. Поэтому хочется, не вдаваясь в историю происходивших споров, коснуться бесхитростной и открытой всем сути того дара, с которым связано в поэзии имя Хлебникова.

Прежде всего отсутствие определенного разумного смысла вовсе не означает бессмыслицы. Природа еще задолго до чело века была насыщена содержательной, высокоорганизованной, целесообразно развитой жизнью, исполненной смысла, который, конечно же, не является разумным, если только не принять идею о божественном разуме, творящем жизнь из хаоса, или не обольщаться представлением, будто этот смысл только и открывается благодаря разуму — после того как появились люди, — и в той мере, в какой мы способны отобразить бесконечно богатый мир явлений природы на языке понятий, разрабатываемых преимущественно для удовлетворения возникающих потребностей. И сами мы, дети природы, в ранние годы великолепно общаемся и взаимодействуем с нею, набираемся опыта, даже не ведая о разумном мышлении. Да и потом зачастую не испытываем в нем нужды. Скажем, в пенье птиц нас полностью удовлетворяет и радуется его «доразумный» смысл и не смущает (разве что ученые) отсутствие сведений о том, что означало бы оно на языке точного знания. Нас трогает и музыка, лишенная слов, и мы способны воспринимать ее помимо разума и не нуждаясь в словах, охваченные тем, что она властно нам сооб-

щает. Слова, быть может, и нужны специалистам, чтобы понять или объяснить, как это сделано, или подготовить человека с неразвитым восприятием музыки к ее становящемуся все более условным полифоническому языку. Но тогда это только бледная тень того, чем она нас способна захватить.

С речью дело как будто обстоит иначе. Ее словам соответствуют понятия — основа разумного мышления, и ясно, что она служит именно для передачи конкретного смысла сообщения. Но не стоит забывать, что каждое слово сперва все-таки звучит и лишь потом что-то означает. И с «доразумным» смыслом его звучания для нас, видимо, связано нечто трепетно-драгоценное. Не потому ли так дороги нам самые звуки родной речи, даже если мы превосходно умеем передать ее смысл словами другого языка. И поэзия, собственно, и вырастает на стыке разумного и «доразумного» смысла, и именно потому, что важны они оба, оказывается необходимою и она. И основоположники русской поэзии, должно быть, ощущая необходимость защитить ее от прямолинейных наскоков здравого смысла, недаром предупредили нас об этом (Пушкин: «А поэзия, прости господи, должна быть глуповата»; Лермонтов: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно»).

И хотя почти для всех поэтов звуковая стихия имела первостепенное значение, она все же оставалась лишь тем камертоном, настраиваясь на который велся интуитивный поиск слов, подкрепляющих при осмысливании образов опорную гармонию ритма. Хлебников же отважился углубиться в самые истоки возникновения слов и их смысла. Он как бы открывал и развивал смысл, рождающийся из гармонии звука. Как открывало его все человечество в ту «доразумную» пору, когда и образ, и звук, и смысл были с недосыгаемой для нас непосредственностью еще слиты воедино в первичном восприятии мира. Как открывает его каждый из нас в ту пору первого лепета и осмысливания жизни, когда с тою же слитностью восприятия мы еще по-настоящему не отделяем себя от окружающего и, познавая мир, в чем-то его и творим, потому что тем самым формируем и себя. Когда и словотворчество столь же естественно, как неумная неподсидливость, потому что также направлено на уяснение мира и одновременно на утверждение себя во всем. И хотя со временем мы привыкаем расчленять отдельные элементы восприятия (звук, смысл, зри-

тельный образ) и почти начисто забываем об этой удивительной поре утраченной цельности, ее зов, пусть неведомо для нас самих, все же редко остается безответным, потому что именно тогда было заложено то, что мы из себя представляем.

Так вот, похоже, что Хлебников на всю жизнь и в полной мере сохранил эту первичную слитность восприятия звука и смысла и благодаря этому освободил поэзию от подчиненности ритму. То есть чаще всего определенный ритм в стихах поэта присутствовал, но он может свободно изменяться и вообще не обязателен, поскольку и без того движение стихов всегда сливается с первичной звуковой гармонией слова и уже по одному этому всегда музыкально. Смысл сказанного при этом может быть разумным, а бывает, частично, и доразумным — когда число новообразованных слов намного больше того, при котором возможно их четкое истолкование; но неизменно смысл вырастал и направлялся музыкой звучащего слова, которая придавала такую первичную образность речи, что поэт легко обходился без обычных метафор и сравнений поэтического языка (вернее, они как бы полностью сливаются с музыкой речи как со своей материнской средой).

Более того — звук у Хлебникова во многом предопределяет смысл, к сожалению, иногда и в тех случаях, когда это приводит к зауми, то есть когда ощущение связи в созвучиях слов переносят на реальные области нашего бытия, устанавливая там абсурдные смысловые соотношения. Однако еще более достойно сожаления, что подобные несуразности (следует признать, что их немало и что они не случайны) использовались, чтобы вообще перечеркнуть все сделанное поэтом.

Хочу привести здесь хотя бы короткий отрывок. Прошу просто, ничего не стараясь осмыслить рационально, сосредоточиться на непосредственном восприятии цитируемых стихов как звучащей речи (быть может, хотя бы не русской, а родственной ей, пусть незнакомой). Это из эпизода «Бой» (до него был «Путь», а дальше пойдут «Деж добычи», «Тризна...») в поэме «Разин», все строки которой одинаково звучат «в обоих направлениях»:

Топот.  
И  
Шорох хорош.  
Гор рог:  
Ищи равоты, товарищи!  
А вод вдова  
Чар прац,  
Течет,

Алым мыла,  
Несет в тесен  
Узел слезу.  
.....  
Воз вод и вдов зов  
Течет.  
Так, кат.

На первый взгляд все это лишь отдаленно соотносится с поэтикой Вознесенского. Различия действительно очевидны. Хлебников неизменно и органически музыкален; у Вознесенского преобладают интонации отрывистой речи с резкими и частыми изменениями оттенков. Для Хлебникова звучание слова так значимо, что каждая строка обычно оказывается весомой и автономной в силу одного этого, и он нередко расширяет ее смысл, просто варьируя складывающийся звуковой ряд и невольно переходя к словотворчеству. Вознесенский вводит новые слова реже и преднамереннее; и как ни увлекают его вариации звука в словах, он нуждается и в их ассоциативном осмысливании, даже когда звучание полностью доминирует (как в «Гоёе»).

И все же связующие нити существенны. Слова, вводимые по созвучию с уже бытующими в языке, несут у Вознесенского даже большую нагрузку: появляясь редко, они, естественно, привлекают больше внимания. Например, во «Взгляде» словообразование *сосердцанье* (при осмысливании контекста оно ближе всего, пожалуй, к *состраданью*) становится ядром небольшого стихотворения именно потому, что звучит оно почти так же, как и его сосед по строке — *с о з е р ц а н ь е*, но оказывается его антагонистом по смыслу.

Есть у Вознесенского и целые стихи, где преобладает «доразумный» смысл. Правда, поэт создает их скорее как некую игру, затеваемую вокруг одного-двух заманчиво звучащих словообразований. Таковы «осенбри» в сборнике «Антимиры» или «позмимы» во «Взгляде», причем характерно, что в обоих случаях это песенки, непосредственно подготовленные для спектакля. Сходную притягательность имеют для него и проявления симметрии в словах. Но если для Хлебникова достаточно того, что симметрия уже предопределена звучанием, то Вознесенскому существенно подчеркнуть особенности звучания графически. Так что со звуком у него, видимо, связаны и довольно сложные зрительные образы, которые соотносятся со смыслом скорее всего на «доразумном» уровне. Об этом свидетельствует раздел «Изопы» (изобразительная поэзия) в сборнике «Тень звука», где напечатанный текст создает контуры соответствующего зрительного образа.

Эта первичная настроенность на звучание, которое предвывает и развивает смысл, видимо, всегда присуща поэту, хотя и редко проявляется так отчетливо, как в упомянутых выше стихах, конечно, характерных для него, но скорее из тех, какие пишутся между прочим. Дело в том, что чаще всего на первый план у Вознесенского выдвигаются достаточно легко осмысливаемые ассоциативные связи, и наше внимание естественно переключается на них. На этой двойственности — на мой взгляд, источнике многих недоразумений при восприятии стихов поэта — следует остановиться подробнее.

Вот вроде бы вершинная мысль стихотворения «Строки»: «Но победит Чело, а не число». Чело, очевидно, осмысливается здесь как метафорический синоним человеческого разума, а число несколько туманнее — как символ безликого скопища или бездушной цифири. Стало быть, перейдя на язык повседневных понятий, мы приходим к утверждению оптимистической веры в способность разума противостоять разрушительной стихии бездуховности, исполняющей и достижения техники. Но при такой интерпретации сразу возникают уже знакомые недоумения.

Оттого что поэтическую мысль усваиваешь наподобие разгадывания шарады, она не становится ни интересней, ни содержательней. Скорее наоборот. Если она воспринята не непосредственно — когда следуешь за автором путем его переживаний, постепенно проникаясь еще неведомой целью стихотворения, — то невольно подрывается и наше доверие к ее весомости вообще. Ведь осознается она вне связи с живыми приметами пережитого, выскакивая, как чертик из детской игрушки, под нажимом кнопки созвучий. Что же удивительного, если такая мысль, оторванная от всего, что помогло бы нам ее прочувствовать, представляется плоской или декларативной!

А раз так, то и многие детали, которые поэт вплетает в ткань стихотворения, представляются нам не идущими к делу. Тем более что Вознесенский, следуя за звучанием, не смущается нарушением точности в смысловых соотношениях. Например, ярко звучит: «Правó ли наводнение во Флоренции. круша палаццо, как орехи грецкие?» Но, конечно же, вопрос о правоте наводнения вряд ли уместен даже как риторический (зато строкою выше стояло: «...правó ли большинство?»). Да и «крушить» — не самое подходящее слово, чтобы описать, как вода разрушает здания, и

к тому же не особенно согласуется с образом раскалываемых орехов (не крушат же их).

Думаю, что подобная неудовлетворенность стихами коренится в указанной двойственности поэтики Вознесенского: звук у него зачастую так расставляет собственные акценты, что подходящие по своему звучанию слова при их ассоциативном осмысливании никак не укладываются в единый ряд; мы же по привычке стремимся к их однозначному истолкованию.

Ну, а если вообще не пытаться осмыслить стихотворение как единое целое? Если поэт даже для себя не уясняет прорезающуюся поэтическую мысль до конца и рад, как Хлебников, довериться одному ее звучанию, но, не нуждаясь в общей гармонии возникающих при этом словосочетаний, тут же начинает их ассоциативно осмысливать — применительно к тому настрою, в каком он начал писать? Пусть при этом и не возникает цельной картины — такая ли уж это беда? Конечно, что-то важное ускользает, кое-что ни с чем не согласуется. Зато какой простор для воображения читателя! То и дело представляется случай что-то додумать самому, заполнять пробелы, сближать разнородные представления или еще резче ошутить их противоборство. Мы уже видели, что, включаясь в игру со словами и созвучиями, Вознесенский отнюдь не забывается о точном смысле и, наслаждаясь свободой от заданности любого замысла, как бы приглашает каждого понимать его по-своему.

Попробуем же еще раз вслушаться в «Строки». Ведь они буквально пронизаны тревожным звучанием — чу! Не будет преувеличением сказать, что все стихотворение выросло из строки «чую Кучума»; и поэт разрабатывает вариации этого первичного словозвучия, ассоциативно осмысливая все попутные отпочкования (сочетание «чело — число» — одно из таких отпочкований, не более, но и не менее). Поэтому, например, бесполезно указывать на слишком вольное обращение автора с известными фактами, заметив, что Кучум предстает у него олицетворением бесчеловечного деспотизма. Пусть Кучум памятен нам вовсе не как жестокий завоеватель, а как последний хан сибирских татар. Пусть Грозный просто не мог «попрать Кучумку» хотя бы потому, что умер (1584) до бегства Кучума (1598). Да и Ермак овладел столицей Кучума (1582) без ведома Грозного и лишь потом известил царя о победе, прося помощи; к тому же сама эта победа оказалась непрочной — Ермак вскоре (1585) погиб в

засаде, устроенной Кучумом, и тот вернулся в свою Сибирь (Кашлык). Но все равно по-своему прав поэт, потому что никакое иное имя не могло бы вернее передать взбудораженности строки, которая скорее всего дала жизнь стихотворению.

Почему бы и нам не разделить его подхода к стихам? Взбудораженность «Строк» неподдельна и содержательна и, видимо, может быть и воспринята читателем со всей непосредственностью своего возникновения, если... если только не устанавливать сперва рациональный смысл каждой строки, желая во что бы то ни стало усмотреть его развитие в последующих. Потому что первичная эмоциональная природа этих стихов восходит к «доразумному» звучанию, и лишь благодаря богатым ассоциациям они дают и хороший материал для размышлений на актуальную тему. Вполне естественно желание разобраться в возникающих мыслях и как-то соотнести их со словами поэта. Но, право же, совсем не обязательно, обнаружив, что концы не сходятся с концами, приписать это несостоятельности поэтики. Ведь наши рассуждения вовсе не адекватны эмоциям автора.

У поэта отчетливо прослушиваются и многие другие словозвучия, из которых возникают стихи, — например, в «Зауральской пляске» это «скрытымным», звуковой эквивалент восприятия пляски поэтом.

Еще чаще стихотворение формируется вокруг чем-то задевшего автора словосочетания или слова, которое он повторяет и варьирует (как в «Строках»), давая толчок к разработке ассоциаций (например, «белые брюки» в «Жестоким романсе»). Такое зерно может прорасти стихотворением и не напоминая о себе повторами, если само первичное словосочетание осмысливается как зрительный образ, который и разрабатывается в дальнейшем (например, словосочетание-образ «по годы, как по ягоды» в стихотворении «Айда, пушкинианочка...»).

Зерном стихотворения может быть (как в упомянутых «Изопах») и остро воспринятый на «доразумном» уровне зрительный образ — без первичного зерна словосозвучия. Таково стихотворение «Сложи атлас, школярка шалая...», где воображено Восточное полушарие, вложенное (как половина разрезанного мяча) в полушарие Западное, и ассоциативно разработаны возможные при этом жутковатые совмещения различных наземных объектов.

Отмеченные черты в новых стихах предстают отчетливее, чем раньше, когда их скрадывала потребность как-то **смятчать** отход от традиций. Например, в одном из

первых откровенных воплощений «доразумного» образа — «Балладе-Диссертации» — автор, увлеченный картиной непрерывно растущих и всюду проникающих носов, почти апокалипсически живописует нос, пронизывающий (как чеки в булочной) череду этажей жилого дома, и вместе с тем приспособляет свою фантазию к реальному миру, свалив все на сон приятеля. А в «Сложи атлас...» он просто предупреждает нас, что намерен пошутить.

Не скажу, что к этому и сводится поэзия Вознесенского. Но, пожалуй, структура зарождающейся вещи и природа тяги к ее воплощению в слове действительно таковы... Обостренное звуковое восприятие всего, что трогает поэта: первичное зерно словозвучия или образа на скрещении путей окружающего мира и поисков настроенной души, искра, высекаемая находкой еще на «доразумном» уровне, и импульсивное, ассоциативное осмысление этого уже прорастающего зерна, — в погоне за пронсящимися созвучиями и образами. И, по-видимому, почти никакой потребности в предвосхищении общего смысла нарождающейся вещи.

В сущности, он и сам не раз говорил нам об этом. Помните, еще в «Треугольной груше»: «Художник хулиганит? Балуй, Колумб! По наитию дую к берегу... Ищешь Индию — найдешь Америку!» Но Индия, видимо, только из-за Колумба и названа. Потому что если «по наитию», то, верно, не стоит и загадывать, чего ищешь: важно верить, что обязательно найдешь свое. И в более поздних стихах — та же убежденность, только обстоятельнее и без запальчивости:

Стихи не пишутся — случаются,  
как чувство или же закат.  
Душа — слепая соучастница.  
Не написал — случилось так.

Конечно, привычнее и намного плодотворнее формула Маяковского: «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем». Но ведь Вознесенский говорит о себе. И наверное — правду. Так может, все-таки поверить поэту, что его система отображения мира действительно такова? И так как вряд ли в его власти ее существенно изменить, то не лучше ли вместо сетований на ее несовершенство задуматься над тем, что она может нам дать. Да и над тем, как она могла сформироваться: ведь поняв — легче и принять.

## 4

И в самом деле зачем это все? Совместить хлебниковское выведение смысла из

звучания с чем-то вроде импульсивной поэтической публицистики (поскольку при осмысливании ассоциаций Вознесенского они чаще всего затрагивают темы, привлекающие острый общественный интерес) действительно представляется малоперспективным занятием. Но ведь и Маяковский овладевал речью «агитатора, горлана-главаря», учась у Хлебникова. Конечно, он не плыл в фарватере его поэзии — недаром считал, что она нужна только поэтам, а не читателям: при всем богатстве поэзии Хлебникова она не готова давать четкие ответы на неотложные запросы времени. В этом отношении ее возможности сводятся в основном к углублению общей культуры, то есть близки к роли симфонической музыки или балета. Ясно, что с этим не мог примириться ни один поэт, наделенный активным гражданским темпераментом.

Многие мотивы стихов Вознесенского явно созвучны тому, что отчетливо выражено у дореволюционного Маяковского.

Что, собственно, я имею в виду? Прежде всего обостренное восприятие любой неустроенности, дисгармоничности мира, хотя у Маяковского оно всегда было резко окрашено социально. Такая строка, как «я — где боль, везде», вполне могла бы принадлежать и Вознесенскому — если не по интонации (он редко столь определен), так по настрою. Эта уязвимость толкала и раннего Маяковского на воспроизведение болезненных картин. Порой и у него как самозащита от боли рождались противостоительно-бесчувственные строки. С этим была, вероятно, связана и кричащая гиперболлизация образов и срывающиеся интонации речи, то и дело вызывающие вульгарной

Очевидно, что эти тенденции, открыто восстающие против любого сладкозвучия, не могли быть выражены в рамках ритмически упорядоченной и гармоничной системы стихосложения. Хлебников же обеспечил необходимую для их воплощения основу — систему поэтического языка, организуемого за счет выразительности самого звучания слова или автономной группы слов. И Маяковский, опираясь на образность и силу автономных, самодовлеющих звучащих слов, а также широко используя речевую интонацию, создал свой неповторимый лад высокопоэтической публицистики. Отказавшись от общей гармонии звучания, он делал особый акцент на рифме, которая в основном и цементировала стихи. Получился удивительный сплав поэзии одновременно демократичной (благодаря снижению лексики и интонации), доходчивой на слух (поскольку впечатляющие рифмы, эксрес-

сивные образы и самодовлеюще звучащие ударные строки, которые несли основную смысловую нагрузку, могли восприниматься независимо от целого) и, главное, действенной. Действенной, потому что начиная с первых дней революции Маяковский подчинял каждое стихотворение конкретным запросам времени и тем самым постепенно обрел в самой жизни то ощущение необходимой цели, в котором он нуждался все первые годы и которое одно сообщает творчеству законченность и единство.

Возвращаясь к Вознесенскому, естественно предположить, что те мотивы творчества раннего Маяковского, которые позволяют говорить об известной внутренней близости обоих поэтов, объясняют (по тем же основаниям) и хлебниковское влияние на Вознесенского. Мало того. Перед ним был пример Маяковского, свидетельствующий, что эти мотивы могут быть органически включены в поэтическую систему высокого общественного звучания.

У нас было уже немало случаев убедиться, что и Вознесенский опирается в стихах не на гармонию звучания, а на речевую интонацию, подкрепляемую экспрессивной образностью. Только у Маяковского с годами устанавливались интонации энергичного оратора, привыкшего выступать перед массовой аудиторией, а интонация Вознесенского скорее напоминает человека, который самозабвенно роняет толпе отрывистые реплики, непосредственно не обращая ни к кому. И вместе с тем иногда они удивительно близки. Да и образность обоих поэтов близка по духу, только у Вознесенского гораздо отчетливее проявляется ее «доразумная» основа. Видимо, «доразумное» начало способствует и большой активности просторечья у Вознесенского (пожалуй, больше чем у Маяковского).

Наконец, выделение самодовлеющих ударных сочетаний слов, зачастую воспринимаемых независимо от стихотворения в целом, тоже характерно для обоих поэтов. Правда, для Маяковского это скорее всего излюбленный прием, с помощью которого он заостряет до предела сжатую поэтическую мысль. У Вознесенского же нередко автономна большая часть строк в стихотворении — как следствие ассоциативной разработки и осмысливания его первичного зерна; поэтому ударные, особо значимые места выделяются до некоторой степени случайно — благодаря удачной ассоциации (как созвучие «чело — число»).

Почему же при многих чертах внутренней близости и сходстве поэтического средств их претворения в непосредствен-

ный отклик на общественно значимые темы столь разительно отличается общее впечатление от стихов? Потому что в главном — направленности поэтического воздействия — пути поэтов решительно разошлись. Если для Маяковского единственной возможностью осмыслить свой внутренний мир поэтически оказалось выйти за пределы поэзии, удовлетворяя текущие нужды общества («...я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви»), то Вознесенский, по-видимому, в принципе не способен выйти за пределы правды непосредственно ощущаемого им состояния («Стихи не пишутся — случаются»), которую он осмысливает в основном ассоциативно (разумеется, вместе со всем, что формирует ее извне).

Сказанное ни в коей мере не дает оснований укорять поэта этим великим примером. Маяковский мужал в ощущении, что «мы живем, зажатые железной клятвой», а наше время, во всяком случае, предоставляет каждому много больше возможностей для поиска. К тому же поэтом можно оставаться, только не отступая от себя. И быть может, лишь великий способен на такой нравственный подвиг, как найти себя ценою того, чтобы смирять себя, «становясь на горло собственной песне».

Как бы то ни было, но разговор о поэтике Вознесенского этим не исчерпан. Пусть она и органична для него и сформировалась вполне естественно. Но, выходит, почти все, что мы благодаря поэту узнаем о мире, мы должны осмысливать с помощью ассоциативных связей. А это связи зыбкие, случайно возникающие, непрерывно разрушаемые. Безусловно, они необходимы для творчества, наводя на новые мысли — по созвучию, по сцеплению образов или понятий, по смежности с глубинным, полузабытым, но важным воспоминанием. Но если их не направляет опыт воплощаемого переживания, если все они как бы равноправны и каждая может быть осмыслена по-разному, то велика ли всему этому цена? И подлинное ли это искусство?

Я уже говорил, что многое здесь зависит от точки зрения, так что если не искать у поэта воплощения правды целостного переживания, то он дает не так уж мало. В сущности, он в чем-то возвращает нас к той изначальной, не обремененной условностями природе искусства, когда оно еще представляло непосредственную импровизацию и выражало правду некоторого мгновенного эмоционального состояния, настойчиво требующего выхода.

Это, конечно, расходится с распространенным представлением о сложности и умственной изощренности стихов Вознесенского. Но не есть ли само это представление результатом того, что, не учитывая рассмотренной выше двойственности его поэтики, мы пытаемся только последовательно осмыслить содержание ассоциативного ряда стихотворения, считая звуковой ряд лишь своеобразным украшением? Если же представить себе, что мы имеем дело с вольной импровизацией, то, пожалуй, почти все, что могло бы при ином отношении вызвать недоумение или протест, окажется на своем месте.

Импровизируя, естественно отталкиваясь от темы, уже знакомой слушателю. И Вознесенский то и дело обыгрывает перед нами популярные мелодии. Импровизатору легче продемонстрировать свою виртуозность, имитируя или полемически переосмысливая признанные шедевры. И таких примеров у Вознесенского, как мы знаем, хватает. При импровизации намного возрастает значимость отдельных строк, ослабевают связи между ними. Поэтому, чтобы облегчить ее восприятие, существенно повторять или варьировать «зерно» развиваемой темы. Но ведь и обо всем этом как чертах чрезвычайно характерных для Вознесенского немало говорилось выше.

Импровизация по самой своей природе чужда завершенности (верной приметы реализации замысла). Ее содержание формируется самим ходом создаваемой вещи, которая может быть оборвана, в сущности, в любую минуту, важно лишь от чего-то оттолкнуться. Эту же черту в творчестве утверждает и Вознесенский: «Нет у поэта финиша. Творчество — это старт». Но тем самым выбор той или иной редакции текста теряет свое значение. Думаю, что с этим связана у Вознесенского и тяга к повторным вариациям. А публика «Скупщика...» в спортивном журнале, автор непридуманно вводит туда и тему спортлото и чуть переименованный «Жесткий романс»...

С чем бы мы ни связывали формирование этой поэтики импровизаций и как бы к ней ни относились, ее своеобразие очевидно. «Доразумная» стихия глубинных импульсов и звучаний не только непосредственно запечатлена здесь в слове, но и как-то соотносена с общественно значимым восприятием окружающего мира. А самоотдача потоку случайных ассоциаций — скорее всего не просто внутренняя потреб-

ность поэта, но и единственная возможность чего-то достичь в этом направлении.

Правда, сам Вознесенский («Вопросы литературы», 1973, № 4) объявляет своим символом веры гармонию, ссылаясь на завещание Блока — речь о назначении поэта — и оговариваясь, что «есть разные системы гармонии». Допускаю, что эта позиция объясняется искренним стремлением поэта к гармонии, которое может проявляться и в характерной для него фиксации всего, что бросает гармонии вызов. Но, конечно же, манера осмысливать мир, опираясь на ассоциативные связи, по самой своей природе приспособлена для отображения связей, непрерывно распадающихся и разрушаемых, и уже по одному этому несовместима ни с какой системой гармонии.

Да и стоит ли поэту отрешиваться от главного своего достояния? Пожалуй, именно оно обеспечивает остросовременное звучание его поэзии и больше всего нас задевает. Потому что если разобраться, то наша жизнь пронизана все возрастающим числом дробящихся связей, и мы справляемся с этим, все охотнее прибегая к их ассоциативному осмысливанию. Оглянитесь и, если не слишком молоды, припомните, как изменилось все даже за последние пятнадцать — двадцать лет. Наше время все плотнее заполняется все более разнообразными впечатлениями бытия. Мы встречаемся со все большим числом людей и, значит, имеем все меньше возможностей по-настоящему узнать каждого. Доступность и быстрота сообщений, нужды дела и все растущий запас свободного времени все чаще забрасывают нас во все новые места («Я пролетом в тебе, моя жизнь! Мы гранзитны», — пишет Вознесенский). Значит, легче завязываются и легче распадаются отношения и связи: на них отпущено меньше времени, и это только естественно при частых поездках и переездах. Значит, все менее уместными оказываются и глубинные переживания, и в мире эмоций вопросы типа «что же это такое?» или «ради чего?» все успешнее вытесняются более конкретными и целенаправленными — где, как и когда?

Я не собираюсь вдаваться здесь в модную и довольно абстрактную тему газетных дискуссий, беднеют ли наши чувства. Потребность в эмоциональном постижении своего внутреннего мира, быть может, даже возросла именно из-за обилия и пестроты впечатлений внешних. Но сейчас идет речь о том, как мы к этим стремительным изменениям жизни приспособили-



ваемся. И не только в быту, но и в подходе к культуре.

Даже наука — высший авторитет нашего времени — все чаще отказывается от общетеоретического осмысления изучаемых связей ввиду их многообразия и прибегает к моделированию: воспроизводит (иногда и очень условно) интересующие нас стороны действительности и как бы непосредственно рассматривает на модели то, что происходит на самом деле. И эти далеко не строгие методы все успешнее соперничают с чисто логическим анализом фактов — недавним монополистом в точных науках — и все решительнее вторгаются и в область гуманитарных наук. А ведь при моделировании мы, в сущности, отказываемся от анализа причинно-следственных связей, подменяем изучаемое явление неким его условным или внешним подобием, а значит, в какой-то мере прибегаем к связям ассоциативным. Не удивительно, что, и воспринимая достижения науки, мы все меньше стремимся постичь ее как единое целое (даже специалисты по-настоящему разбираются теперь только в узкой области знания) и обращаемся к ассоциациям, охотно отвлекаясь от общих закономерностей, чтобы как можно нагляднее представить себе то, что как бы происходит на самом деле. А эмоциональный акцент, пожалуй, постепенно перемещается от интеллектуального преклонения перед величием теории, устанавливающей незыблемые законы природы, на непосредственное восхищение теми чудесами, которые, оказывается, способен совершить человек. (Увы, если величие, например, дарвиновской теории эволюции было открыто и простому здравому смыслу, то об идеях теории, ведущей к тайнам генетического кода, непосвященный может теперь только разглагольствовать.)

Я и здесь далек от того, чтобы обобщать значение этих беглых замечаний, число которых легко многократно увеличить. Ясно, что все более широкое использование ассоциативного мышления имеет и отрицательные стороны. (Так, иронические строчки Вознесенского: «От женщин рельсы-ройсы роятся... Радиация!» — дают в этом отношении очень емкую модель нашего безгранично растущего доверия к любой невероятности — была бы она снабжена хотя бы видимостью научного ярлыка.) Я же веду к тому, что отмеченные тенденции, видимо, смещают акценты и в духовных запросах общества, вызывая растущую потребность в более непосредственном отображении мира, приближенном к

прямому показу со всеми его непредсказуемыми случайностями.

Не тем ли особенно притягательно и телевидение, что, как ни один другой вид искусства, оно приближает нас к ощущению непосредственного потока самой жизни. И если передача не подстроена, то наблюдаемые события вызваны только самим их непреднамеренным ходом и осмысливаются каждым со всей случайностью набегавших при этом и никем не подсказанных ассоциаций.

Не потому ли так возросла и популярность документальной (не прибегающей к вымыслу) прозы, что мы вольны там, не вникая в замысел автора (который, правда, отражается на отборе материала), как бы непосредственно погружаться в то, что происходило на самом деле?

А Вознесенский? Разве не близок он к этому в своей поэзии? И те черты импровизации, какие мы у него отметили, и его погруженность в стихию «доразумных» звучаний и образов, и то, как непродуманно он дает выхода глубинным импульсам, и как самозабвенно осмысливает мир с помощью ассоциаций, — решительно все свидетельствует, что нам предлагают непосредственно, как бы на самом деле приобщиться к сокровенной сути творческой переработки поэтом впечатлений бытия и впитывать все, на что он при этом оказывается способным. Помните «Футбольное»: «Только мяч, мяч, мяч, только — вмажь, вмажь, вмажь!» Удивительное слияние с образом. Принял — обработал — ударил — и беги, повинуйся наитию, не ведая, как обернется дело через миг, и потому расслабленный, но всегда снова готовый всего себя вложить в удар.

Полнота этой самоотдачи, видимо, глубоко задевает поэта. И, в сущности, к ее воплощению он неизменно тянется и сам. Все, что сопричастно разрушению в окружающем его мире, — точно вызов, требующий мгновенной обработки и ответа. И он снова и снова устремляется навстречу этому вызову разрушаемых связей, каждый раз высекая из грозящего гибелью столкновения искры ассоциаций, теплом и светом которых он только и держится. («Бабочка на свечу, хоть пропаду — я знаю, — но все равно лечу!») И всем этим помогает и нам находить удовлетворение и опору в ассоциативном осмысливании мира каждый раз, когда целостное осмысливание почему-либо оказывается невозможным.

Притягательна здесь именно полная непринужденность сказанного, его явная не-

обдуманность, что ли. Ведь многое из того, чем остро задевает нас время, остается за пределами четко осознаваемых формулировок, и нам дорога любая возможность, не заслоняясь от этого рассуждениями, как-то эмоционально переработать поток прямых впечатлений, приспособиться к напору быстро изменяющихся условий и требований научно-технической революции и вместе с тем противостоять разобщающим влияниям, сохранить верность себе, не подрывая первоначальную наших естественных связей с природой. Редкая восприимчивость Вознесенского ко всему, что может нас при этом травмировать, очевидна, и потому его импульсивные, пусть взвинченные, выступления почти всегда (каков бы ни был первоначальный повод) благодаря непринужденности сопутствующих ассоциаций затрагивают и насущные темы этого ряда: одиночество в многолюдстве или роботизацию, унижаемую женственность или безжалостность...

Все это безусловно отвечает назревшей потребности — как исполненный тревоги голос, предупреждающий о вполне реальных опасностях. А отсутствие ясной цели у этих тревожных предупреждений и своеобразные блуждания потока ассоциаций, порой бесчувственно обнаженных, все же обычно отступают на второй план, так как сейчас, видимо, все более значимым оказывается ощущение поиска, разворачивающегося на наших глазах, которое как бы гарантирует достоверность происходящего (при любой его нарочитости). К тому же непреднамеренность и необязательность такого поиска позволяют каждому осмысливать ассоциации поэта по-своему, внося в них то, что близко и важно нам самим.

Если бы приведенные соображения можно было проиллюстрировать только на примере стихов одного поэта, то вряд ли стоило бы на них останавливаться. Но давайте поглядим вокруг. Разве бурный расцвет в 60-х годах поэзии шансонье не примечателен и утверждением полной непринужденности интонаций (при крайней пестроте тем и настроений), повышенной интимностью общения, точно со слушателем делаются строками, только что сложившимися, порой произвольно, и уж никак не продуманными заранее? Пожалуй, и обаяние Новеллы Матвеевой во многом связано с тем, как по-детски непосредственно она углубляет на вид незатейливую мысль, расцветившая ее мягкими, зачастую обыденными образами и сопоставлениями, которые, однако, почти всегда неожиданны,

потому что автор перебирает их скорее всего не на пути к намеченной цели, а будто играя, с добрым доверием к ценности любого уголка жизни, куда ее приведут случай или судьба.

Верно, конечно, что подобные стихи производят совершенно иное впечатление, чем то, что предлагает нам Вознесенский. В известном смысле они антиподы: от того, что невыносимо мучительно, попросту отстраняются, а невольно задевая, как бы обезболивают, переключая нас на ощущения, в которых естественно искать опору. И поскольку такой жанр не претендует на глубокий анализ, его довольно часто укоряли за легковесность. Но искусство, несущее людям облегчение (если оно не иллюзорно), быть может, не менее важно, чем будоражащее их совесть. С этой стороны, по-моему, связано и фактическое возрождение жанра городского романа на новой основе. И вряд ли случайно оно сопровождалось столь интенсивным обогащением элементами импровизации: они как нельзя более уместны, когда нуждаешься в непосредственном общении со слушателями. Так что эта новая лирическая струя в современной поэзии, по-видимому, как и «нервическая» струя Вознесенского, удовлетворяет все тому же смещению акцентов в наших духовных запросах — все большему интересу к выражению сиюминутных состояний, а значит, и к ассоциативному поиску.

Нетрудно указать на сходные черты и в прямых поэтических откликах на все те же беспокоящие нас темы. Так, наметившийся за последние годы спор между, говоря условно, раздумчиво-неоклассическим (Межиров, Соколов) и интонационно-публицистическим (Евтушенко, Рождественский) течениями в нашей поэзии во многом обязан и резкому расширению диапазона привычных поэтических интонаций 30-х годов. Появилось множество стихов с интонацией оратора, исповедующегося перед массовой аудиторией (как, скажем, евтушенковское «Граждане, послушайте меня...»), а некоторые знатоки не замедлили окрестить их «эстрадными» — в отличие от подлинного искусства. И среди них действительно немало образчиков пошлости и пустословия, но я не думаю, что избыток глубокомыслия реже приводит к пустословию или пошлости или менее губителен для дарования поэта, чем недостаток сдержанности. Как не думаю, что успех «эстрадных» стихов объясняется преимущественно неразвитостью вкуса их почитателей.

Поэзия всегда развивалась, вводя в свой обиход то, что раньше лежало за ее пределами. И если интонации сбивчивой речи, неожиданные, как в кино, смещения планов и ракурсов, торопливая непоследовательность, когда необходимо выговориться до конца, как и необходимая недоговоренность, когда, продолжая, только помешаешь подумать другим, да и просто дерзость,— если все это является не самоцелью, а органически включено в определенную систему поэтического видения мира, то и такая поэтика правомерна не менее любой иной. Надо полагать, что подобная раскрепощенность, а стало быть, и ощущение достоверности при восприятии стихов должны немало способствовать их успеху, хотя решает, конечно, их общая направленность.

Вознесенский явно примыкает к этому течению и оказывает на него определенное влияние, но дело обстоит здесь не так просто. Много общего проистекает от того, что родственные ему поэты фактически принадлежат одному поколению и почти все (каждый, конечно, по-разному) отталкивались от поэтики Маяковского. Специфика же дарования Вознесенского — прежде всего связь между глубинными импульсами и их ассоциативным осмысливанием — способна скорее оттолкнуть, чем привлечь к освоению его поэтики. Другое дело отдельные ее элементы: экспрессивность, ассоциативная образность, как и способность поэта в немногих словах зафиксировать ощущения, с трудом поддающиеся осмысливанию, но безусловно значимые,— все это достаточно впечатляюще, чтобы влиять на тех поэтов, кому близка основная направленность его поиска. Любопытно, что даже Евтушенко, у которого безудержность интонаций сочетается с явной рассудочностью хода поэтической мысли, как бы примеряется к иррациональности Вознесенского и иногда затевает нечто вроде соревнования, демонстрируя на сопоставимом материале меру своего владения элементами его поэтики (сравните, например, «Монолог Мерлин Монро» и ентушенковский «Монолог бродвейской актрисы»). И такие параллели, а еще чаще — воспроизведение аналогичных приемов, можно найти у многих поэтов.

Однако суть поэзии Вознесенского к этому, пожалуй, непричастна; видимо, потому, что, следуя за нею, очень трудно отстаивать то, чем дорожишь, и приходится уж слишком нарушать принятый поэтический уклад. Тем не менее и такая

поэтика, при всей ее нетрадиционности, заслуживает полного признания, если исходить из того, что цель творчества — самоотдача. Важно только осознать, что, опираясь вместо правды целостного переживания на правду мгновенных озарений, поэт подвергает себя жестокому испытанию. На что все-таки положиться, погружаясь в стихию равнонающих образов и ассоциаций? Как ограничить себя и отбросить все несостоятельное, чтобы не поступиться своим достоинством? Вероятно, и здесь есть выход — если непоколебима совесть и вера в необходимость и правду каждого сказанного слова или при высочайшем накале эмоций, когда оказывается оправданным все. Либо же неизбежен компромисс, когда произвольно нахлынувшие слова придутся приспосабливать к своему представлению об ответственности за сказанное. Похоже, однако, что Вознесенский безгранично доверяет правомерности произвольно возникающих словосочетаний, быть может, опасаясь нарушить полноту самоотдачи.

И так как поэтике Вознесенского свойственно ассоциативное осмысление «доразумных» импульсов, а потоку ассоциаций благоприятствует скорее известная ослабленность эмоций (но не их высокий накал), то не удивительно, что видение поэта нередко вступает в противоречие не только с реальными фактами, но и с естественным восприятием мира и, что хуже всего, с простыми велениями нравственности. Разумеется, могут быть оправданы такие поэтические вольности, как неуместное употребление имени Кучума в «Строках» или упоминание в «Мастерах» о семи (вместо восьми) главах храма Василия Блаженного (за что поэту уже попало от критики): значимость слова в поэзии отнюдь не рациональна. Не так трудно как будто примириться и с тем, что метафоричность Вознесенского чаще всего идет не от непосредственного ощущения или образа, окрашенного эмоцией, а от звучаний или ассоциаций (например, георгины в строке «Кому горят мои георгины?» появились, прежде всего, потому, что созвучны рифмам двух предыдущих строк — «героине» и «героину», а «груша» оказалась «треугольной» просто по ближайшей ассоциации с геометрической формой). В конце концов, поэт так видит (или, вернее, ассоциирует), и к этому довольно быстро привыкаешь, как и к любой предлагаемой нам художником условности искусства. Но нередко его ассоциации не просто немоти-

вированы, а прямо бросают вызов естественному восприятию. Так, нечто кощунственное видится мне в образе суки, которая, слушая поэта, «с негой блокувской Незнакомки (разрядка моя.— В. Б.) ...лапы положила перед собой» (не говоря уж о том, как чуждо Блоку слово «нега», уместное в наши дни разве что в юмористических рассказах или на этикетках парфюмерных изделий). А между тем при любви Вознесенского сближать, казалось бы, несовместимое и такая выходка не противопоказана его поэтике. И когда столь же беспрепятственно обнажается влечение поэта (пусть безотчетное) к болезненным образам, то порой проходят и такие противоестественные сцены, как в «Кабаньей охоте»; и автора не насторожило даже то, что, попытавшись найти хоть какое-то оправдание для изображенной ситуации, он пересказал стихами сентенцию Фуше.

За последние годы, когда в стихах Вознесенского отчетливо обозначилась поэтика импровизации, освобожденная (уже после первых книг) от направляющих рамок сюжета и подчиненности конкретным темам (которая была существовавшей еще в «Треугольной груше» и «Антимирах»), все чаще замечаешь и ее отталкивающие проявления. Да и сам поэт явно ощутил масштабы того опустошения, которое тайлось в желанной полноте самоотдачи («И стоял я, убийца слова»). Приведу хотя бы такие строки из сборника «Взгляд»:

Позорно знать неправду и не назвать ее,  
а назвавши, позорно не искоренять,  
позорно похороны называть свадьбой,  
да еще кривляться на похоронах.

Должен сказать, что разговор о «правде» здесь, по-моему, такая же иллюзия, как и мнение поэта о своей верности некой гармонии. Чтобы «знать неправду», художнику необходимо осмыслить ее в опыте целостного переживания, а это вряд ли возможно, если не пожертвовать слишком многим из того, чему Андрей Вознесенский отдал свои лучшие силы. Да и нужна ли такая жертва?

Конечно, оказавшись перед лицом серьезных трудностей, приятно уповать на то, что во всем главном идешь по пути, уже намеченному великими, и тем самым частично перекладывать бремя своей ответственности перед обществом на них и на изменившееся время... Не стану, однако, набиваться в советчики поэту и напомню просто строки Пастернака о работе ху-

дожника, которые, по-моему, необходимо дополняют самоотдачу:

С кем протекли его боренья?  
С самим собой, с самим собой.

Потому что если и можно что-либо противопоставить безответственности, то лишь верность тому лучшему, что ощущаешь в себе.

## 5

Поиски искусства — это поиски свободы. Свободы от чего? От всего мешающего непосредственно выразить те, как впервые открываешь для себя мир; выразить и нести это свое сокровище как светоч на удивление всем окружающим. На первых порах, когда искусство еще не выделялось в череду обычных дел и было естественной эмоциональной составляющей труда, магии или борьбы, еще не существовало иного поиска, кроме поиска наилучшего выполнения самого дела, и непосредственность выражаемых при этом эмоций подразумевалась сама собой. Но постепенно в обрядах и обычаях закреплялись и особые формы выражения эмоций, отвечающие некоторым условным нормам. И хотя еще долгое время искусство совершенно не воспринималось как результат творческой деятельности человека (очевидно, и эпос древнего мира и мифы представляли для современников просто удивительный рассказ о том, что происходило на самом деле), еще тогда наметилась и его драма. Чтобы оставаться искусством, оно обязано непосредственно выражать то, что впервые открылось художнику, то есть нести и неповторимый отпечаток его личности; а чтобы быть осознанным и окружающими как искусство, оно должно соответствовать уже сложившимся условным формам, то есть оказаться привычным. Здесь суть спора между вдохновением и ремеслом, между Моцартом и Сальери, и необходимость участия обоих в каждой работе художника. Отсюда и вечный поиск обновления, освобождения от тисков условностей, но и неизбежность того, что все новое, пусть рожденное озарением, получив признание, постепенно осмысливается и как новый набор условных форм.

Классическое искусство преодолевало эти противоречия, выдвинув на первый план опыт переживаний художника. В идеале он мог быть образно переработан в некую целостную картину мира, которая, в общем, не выходила за рамки признанных условностей (и благодаря это-

му легче признавалась правдивой) и вместе с тем передавала и неповторимость видения ее автора. При этом обновление изживающих себя условных форм не вызвало в искусстве особых потрясений, пока каждое новое поколение считало, что привычные формы, унаследованные от предыдущего поколения, в целом могут служить и при изменившихся обстоятельствах.

За последние сто лет жизнь пошла по-другому. Весь ее уклад изменялся так быстро, что те формы искусства, которые еще недавно принимались как должное, в новых условиях становились все менее содержательными и явно устаревшими. К тому же несколько потерял свою убедительность идеал целостной и гармоничной картины мира, воссоздаваемой художником: постигая мир, мы руководствуемся теперь в основном наукой, очарованные ее могуществом. Та же наука не только доказала, как несовершенен наш чувственный опыт перед лицом неисчерпаемо сложных связей и закономерностей мироздания, но с ее помощью и жизнь общества стала такой необозримо разветвлен-

ной, зачастую опрокидывающей естественные представления о сущем, что порою и художник невольно отступает перед задачей целостного осмысливания своих впечатлений.

И искусство стало все чаще пересматривать свои нормы, стремясь более непосредственно приблизиться к жизни. За первые двадцать лет нашего века уклад русского стихосложения изменился, пожалуй, сильнее, чем за прошедшие сто пятьдесят лет — от рождения Державина до Маяковского (хотя новаторы, пылко отвергающие все, что им предшествовало, фактически во многом продолжали жизнеспособные тенденции прошлого и авторитет Пушкина незыблем для нашей поэзии в целом). Поэзия освободилась от подчиненности узаконенным ритмам, в нее хлынули разнообразнейшие интонации живой речи. И вот — еще один шаг, быть может, более решительный, так как он направлен на возрождение первозданной стихии творчества, свободной от любых условностей, но, конечно, и шаг, чреватый новыми условностями и противоречиями...



---

---

С. ТОРОПЦЕВ



## РАЗРУШЕНИЕ «ВЕЛИКОЙ СТЕНЫ»

**И** название этой статьи не надо понимать буквально. Великая Китайская стена стоит на своем месте, в наиболее посещаемых местах реставрируется, наверх по каменной кладке восходят экскурсанты. Туризм — новинка для Китая, если понимать его как организованную индустрию. К нему относятся серьезно. В стране, где не столь давно громили собственную культуру под громогласным лозунгом «разрушим четыре старья», внимание к основам цивилизации, закладывавшимся тысячелетия, — важнейший аспект утверждения национального достоинства.

«Туризм не только прибыль, — восклицает один из персонажей повести Ван Мэна «Гладь озера», «брошенный» на преодолении последствий, как он формулирует, былого «разрушения того, что оставили предки», — в нем (туризме. — С. Т.) заложены и экономика, и политика, и духовная культура, да еще патриотизм и интернационализм! Наладь это дело — и все пойдет в гору...»

Так что с Великой Китайской стеной все в порядке. И оставим эту тему специальным статьям. Речь идет о другой «стене», некоторое время назад отделявшей Китай от остального мира.

Эта «стена» осязаемых, материальных форм не имела. Но воздействие ее на китайский народ, китайскую цивилизацию, китайскую культуру было огромным. Теперь, когда она разрушена, в китайской печати любят цитировать старинное изречение: «Пока мы находились в пещере один день, в мире промелькнула тысяча лет».

В фильме «Голос деревни», поставленном в 1983 году режиссером Ху Бинлю, эта мысль воплощена в облике сегодняшней, но как бы законсервированной чуть ли не в средневековых формах крохотной деревушки. Одним боком она прижата к горам, с трех сторон петель стягивает ее ши-

рокая река. Там, за горой, там, где-то по течению реки, — широкий современный мир. Плывут мимо тяжело груженные баржи, и поселяне машут им, но баржи не задерживаются. Из-за горы временами доносится стук колес: там ходят поезда, которых героиня фильма Тао Чунь ни разу не видела. Река где-то в необозримом далеке впадает в море, и Тао Чунь как сказку рассказывает детям, что существует такое чудо — море.

Идущий больше на средних и крупных планах (в этом видится не только тяготение к психологическим решениям, но и образ узкого мирка, лишено панорамного простора), фильм время от времени как бы замирает на долгом общем плане, панорамно охватывая эту забытую деревушку, а в звуковом ряду возникают мерные глухие удары. Не сразу зрителю становится ясно, что это не тревожные стуки больного сердца, а шумы работающей маслобойни, но щемящая нота не затихает: ведь маслобойня сама принадлежит прошлому и должна исчезнуть вместе с деревушкой. Когда ближе к финалу ее сменяет построенная за рекой более современная маслобойня и глухие удары перестают тревожить сердце, воспринимаешь это опять в образном ключе: старая жизнь уступает место новой.

Нелегко протекает этот процесс. Умирание старого уклада получает оптимистическую окраску лишь в исторической перспективе. Для тех, кто накрепко врос в старый уклад, его уход нередко трагедия. Тао Чунь — плоть от плоти своей деревушки, ее векового бытия. Молодая еще, в сущности, женщина, она механически исполняет предписанную ей традицией работу, привычно соглашается во всем с главой семьи: «Я, как ты».

Но стихают перестуки ветхой маслобойни, и все громче над деревней, привлекая

сюда молодежь, шумы стройки (сооружается мост через реку, который должен соединить деревню с большим миром). И как раз в это время Тао Чунь выходит из больницы: у нее неоперабельный рак.

Судьбы Тао Чунь и ее родной деревни слеплены неразрывно. Когда мост соединит берега и сегодняшний день ворвется в этот глухой уголок, жизнь преобразится, деревня станет иной. Но произойдет это уже за сюжетными границами фильма; жить в деревне предстоит другим — сестре умирающей Тао Чунь, ее маленькой дочке, жадно слушавшей «сказку» мамы о далеком море. Предсмертное жеманство Тао Чунь — взглянуть на поезд, стук колес которого давно уже будоражил ее душу. Сама идти она уже не в силах, и муж везет ее в тачке через перевал, скрипит колесо ветхой повозки, заглушаемое шумом поезда. Таков финал.

В сущности, это фильм-притча, где за предметными подробностями, поданными крупно, не сразу замечаешь общую концепцию: непривычное для киноискусства КНР решение. Принято было формулировать концепцию в прямых диалогах, расставляя все точки над «и».

Потому-то, вероятно, «Голос деревни» и был прохладно принят зрителями и критикой в Китае. Дебатировался в основном образ главной героини: то ли это «воплощение лучших традиционных черт китайской женщины», то ли «извращение образа современной женщины». И лишь отдельные, наиболее чуткие кинокритики увидели столкновение пластов времени в судьбе обреченной деревушки, услышали звуковую партитуру — грохот взрывающихся времен и миров, — ощутили тяжелую замкнутость интерьеров, подчеркивающую оцепенелость жизни деревни.

Вряд ли правы те китайские критики, которые с абстрактно-теоретических позиций порицали фильм за то, что он будто бы извратил реальный облик действительности. Конечно, на экране не тот Китай, который сегодня пытается широко внедрить современную технологию, реформирует экономику и образование, готовит собственные кадры электронщиков... На экране крупно показан уходящий вчерашний Китай. Но подразумевается, что преодоление вчерашних бед еще далеко не завершено.

Страну, где время словно бы остановилось, показывает Чжан Сяньлян в повести «Мужчина — наполовину женщина», в конце 1985 года опубликованной в шанхайском журнале «Шоухо» и вызвавшей

большой резонанс в прессе. Повесть построена в форме монолога ее главного героя Чжан Юнлиня, который с 1957 года, когда кто-то усмотрел в одном его стихотворении «антипартийные выпады» (в ажиотаже той кампании «борьбы с правыми элементами» особо весомой аргументации не требовалось), вот уже почти два десятилетия находится на положении заключенного в исправительно-трудовом лагере где-то на севере Китая. Для Чжан Юнлиня мир делится на две части: внешний, куда ему уже нет доступа, и собственно лагерное бытие. 1957 год как бы поделил его жизнь на «внешнюю» и «внутреннюю». Предлагая женщине той же судьбы стать его женой, Чжан Юнлинь отмечает про себя: «Я ведь раньше никогда ни с кем не говорил о таких вещах... То есть, в сущности, после пятидесяти седьмого. А то, что было до пятидесяти седьмого, даже я сам не считаю частью своей жизни».

В данном контексте 1957 год не просто веха личной биографии персонажа, а тот рубеж, после которого, по сегодняшней официальной версии в Китае, левачество начинает захватывать позиции в общественной жизни (хотя, надо заметить, и в Китае есть иные точки зрения на исходную дату леваческого вторжения, отодвигающие ее к гораздо более ранним срокам). Лагерные годы героя вобрала в себя трагедию общества.

Все под запретом: за ведение личного дневника могут осудить (за сам факт, даже не углубляясь в содержание записей), владелец радиоприемника квалифицируется как «иностранный шпион» (считалось: все, что надо, будет передано по принудительной трансляции — репродукторы установлены даже в конюшне, — а прочего слушать не положено), во вполне невинном стихотворении могут отыскать опасные политические намеки. Правда, и распутство считается криминалом, но по тогдашней градации провинностей наименее серьезным.

В повести не много диалогов: о чем можно беседовать, если всего опасаться?! И особо важные проблемы, выходящие за рамки собственного лагерного мирка, герой обсуждает не столько с женой или товарищами по заключению, сколько с духами предков, спускающимися с небес. Мысль объявлялась подрывной силой. «Люди, наделенные мыслительными способностями, полагаются на размышление, люди, не наделенные ими, — на инстинкты. Однако инстинкты делают человека сильным, размышления же, наоборот, расслабляют», — считает герой.

Развитие в таком мире не предусмотрено, поскольку в нем не должно быть неожиданностей: все регламентировано сводом цитат «великого человека». В заявлении о браке, поданном на утверждение лагерному начальству, — цитата о «сплочении»; через год для заявления о расторжении брака тут же находится «цитатное» обоснование — призыв к «борьбе, критике, преобразованиям».

В человеке подавляется жажда движения, развития, разрушается его творческая, созидательная сила. Чтобы сделать эту мысль более предметной, автор вводит в повесть образ кастрированного коня (с ним любит разговаривать герой), все понимающего, наделенного речью, но лишеного сил и желаний. «Будь хотя десять процентов из вас, — говорит мудрый конь Чжан Юнлиню, — настоящими волосатыми мужчинами, со страной такого бы не произошло... Ты живешь в эпоху невиданного фарса!» Этому рассудительному коню противопоставлен жеребенок, в котором кипит жизнь, увлекая его в бешеную скачку по степи...

Центральный герой, долгие годы подавляемый как личность, безынициативен и статичен. Лишь внезапное стихийное бедствие (потоп, прорыв дамбы, с которым никто, кроме Чжан Юнлиня, справиться оказался не в состоянии) возвращает его к активности. Забурлили соки жизни, воспрянул человек, и в последней беседе с говорящим конем Чжан Юнлинь признается: «Я должен уйти отсюда, мне необходимо движение, я должен увидеть широкие просторы земли, мне нужны те места, где есть люди, я хочу высказать людям все то, о чем думаю!»

Вынужденное опеменение, антижизнь бесследно не проходят. Двадцать шесть лет покоилась на дне хозяйского сундучка женская кофта из тончайшего шелка — героиня сказки Ван Мэна «Пурпурная шелковая кофта из деревянного сундучка». Купленная к свадьбе в 1957 году (вновь он этот роковой год!), она оказалась неуместной роскошью в эпоху «кожаных безрукавок с резким и заносчивым запахом, непромокаемых парусиновых штанов». А потом, после 1966 года, и вовсе вошла в разряд «ниспровергнутого» как «четыре старья» (старые идеи, культура, обычаи, привычки). А в восьмидесятые, когда эту вещь можно было без опаски достать из сундука, она уже не смотрелась.

Теперь шелковая кофта вошла в иную категорию — «документов, свидетелей истории». Так она и не пригодилась. «Закон-

чится наше повествование, — подытоживает сказочник, — а реакция окисления будет медленно проникать в глубины ее сердца. Оставим же ее окисляться на дне сундука и исчезнуть...»

Ностальгическая тональность отличает фильм Хуан Щуцзяна «Да здравствует юность» (в 1984 году он был прислан на Ташкентский кинофестиваль). Романтически идеализируя начало 50-х годов, режиссер как бы представляет нам те светлые начала, в которых авторам видится залог сегодняшнего движения вперед, те ростки раннего исторического опыта, которые позднее начали чахнуть, как «пурпурная шелковая кофта» (о «культурной революции» фильм не говорит, но ведь он идет в залах, где сидят зрители не 50-х, а 80-х годов, которым уже известна завтрашняя судьба тех школьников).

Идея решительного преодоления прошлого громко звучит во многих произведениях. Кое-где она воплощается с недостаточным вниманием к урокам истории, как, например, в фильме «Любовь на горе Лушань», где американская туристка, услышав на ступеньках храма, что в годы «культурной революции» он подвергся разгрому, заходит внутрь и видит сверкающий позолотой реставрированный интерьер, не хранящий никаких следов «недавнего нашествия варварских орд».

Иначе расстаются с прошлым герои фильма Ян Яньцзиня «Улочка», с которым наш кинопрокат недавно познакомил советских зрителей. Ся и Юй не хотят забывать прошлое, наоборот, стержень сюжета — воспоминания о «культурной революции». Но воспоминания эти оформлены в сюжет заведомо расплывчатый, теряющий четкость деталей, как бы преломленный сквозь призму больного зрения: герою-рассказчику Ся хунвэйбины какое-то время назад повредили зрение (Ся избивали ременными пряжками). В отличие от будничного изложения событий в повести Чжан Сяньляна тут тональность несколько возбужденная, акцентировано коренное нравственное различие между активистами «культурной революции» и ее жертвами (эта идея несовместимости пробивается во многих произведениях). Как сказал поэт-классик Бо Цзюйи, подчеркивая несмылаемую белизну чистой души среди мирской грязи: «Не расплавить яшмы настоящей! Не запечатать чистого кристалла! Коли существо их несовместно, не дано им рядом поселиться».

В фильме намечена идея двух миров: внешний мир — повседневное бытие персо-



нажей, внутренний — их душевная чистота, незамутненность, огражденная от инвектив «культурной революции». Поездки героя и героини в лес — это некий уход от «внешнего» мира в то, что в поэтической традиции Китая носит название «персикового источника»: некое райское местечко, волшебным образом отделенное от нашего привычного мира с его треволнениями.

Необычен финал фильма. Рассказчик, поведавший режиссеру свою историю (это сюжетный стержень), не знает, чем ее завершить, поскольку сама жизнь еще не поставила определенной точки, и они вдвоем начинают размышлять, перебирая варианты, каждый из которых показан зрителю. Финал, таким образом, открыт. И дело идет к тому, что рассказчик отвергает все варианты, в которых содержится трагический оттенок или намек на душевную опустошенность, нравственное падение, — такие финалы противоречат авторской установке. В одном из эпизодов герой произносит фразу, в которой провозглашается идея фильма: «Хватит плакать, мы стали взрослыми. Нашему поколению нужен не конец, а начало».

Итак, «начало».

Тема крайне актуальная для сегодняшнего китайского искусства. Прошлое Чан Линь, героини «Палаты № 16» — фильма Юй Яньфу и Чжан Юаня, стоит барьером на пути к возрождению, к «началу». Дурным кошмаром накатываются воспоминания: фанатичной хунвэйбинкой отправляется она в деревню, наводя там «революционный порядок», а в городе, как наказание, как расплата, умирает отец... И вот теперь легкая форма туберкулеза осложнена у Чан Линь стрессом, в дневнике она делает запись о близкой смерти и проводит бессонные ночи, накапливая таблетки снотворного, чтобы принять смертельную дозу. Но жизнь преподносит ей урок мужества и истинной человечности: умирает соседка по палате, женщина спокойная, рассудительная, выдержанная настолько, что никто и не подозревал, что она обречена. И перед смертью она находит в себе силы утешить Чан Линь, и та соглашается с нею: да, «...мы, как звезды на небе — каждая маленькая; но светит».

Прошлое не отсечешь неким хирургическим ножом от нового дня, оно запечатлелось в памяти народа, в памяти отдельного человека. Вот, казалось бы, удалось заглушить голос совести герою повести Чжан Цзе «Изумруд» Цзо Вэю, который когда-то, в жестокие времена, предал свою любовь, а потом залез в кокон самооправдания. Но

незримые нити тянутся из вчерашнего дня в сегодняшний, и Цзо Вэю приходится выбираться на свет правды.

Деятнадцатилетний Дракончик (так кличут его дома) из рассказа Ван Мэна «Глубины озера» тоже тяготится прошлым — хунвэйбиновским. И теперь, когда эксцессы «культурной революции» осуждены, он со свойственной юности бескомпромиссностью проклинает все, что было «до». Но Дракончик, взяв, что называется, разгон, огульно отвергает и настоящее, видя в нем сплошную «пошлость» (апеллируя при этом к Чехову). И потому проходит мимо красоты, мимо духовных ценностей, проходит в буквальном смысле, не заметив на художественной выставке новых скульптурных работ отца-художника, на которого прежде тоже смотрел свысока. А отец, оказавшись, сумел возродиться духом после унижений «культурной революции», и его новое творчество содержательно. Так что надо воздерживаться от шараханий из крайности в крайность — вот итог раздумий автора рассказа.

Алун из фильма Чжан Ляна «Рыбная лавка Ямаха», ровесник Дракончика, из бывлой левацкой политики сделал единственный и, как ему и многим представляется, логичный вывод — доверять государству нельзя. Заманчиво для него лишь такое будущее, в котором он станет крепким хозяином, а эту возможность сегодня открыла ему политическая линия на стимулирование частной инициативы. И он упрямо движется к своей цели: стать владельцем рыбной лавки на рынке (для чего предстоит приобрести лицензию, что он предпочитает делать с «черного хода»), купить японский мотоцикл «Ямаха» (для чего накапливает под матрасом купюры). Живое, даже в чем-то изящно снятый фильм не старается развенчать новоявленного лавочника и тогда, когда тот, включаясь в рыночную конкуренцию, не слишком щепетильничает в выборе методов. Любопытная, кстати, ассоциация: постановщик фильма в 50-е годы, тогда еще актер, играл бравого солдата Дун Цуньжюя в одноименном фильме, показывая, как армейская дисциплина шлифует деревенского паренька, склонного к анархическим порывам; затем воплотил образ молодого приказчика в фильме «Лавка Линя» по повести Мао Дуня (оба фильма были в советском прокате); и вот теперь, уже режиссером, продемонстрировал свое понимание облика «социалистического частника».

«Культурная революция», как выяснилось, породила сегодня разочарование в

идеалах («все пошло», резюмирует в «Глубинах озера» меланхоличный Дракончик), кризис веры, одна крайность (насильственная «коммунизация», уничтожившая личность) породила другую — нигилистическую. Эгоцентрическая замкнутость, бегство от политики — вот к чему начинают сегодня склоняться некоторые молодые люди, что и показывает сегодня искусство.

Примечателен в этом плане диалог двух ostensibly молодых героев рассказа Ван Мэна «Вегер нагорий»: «Папа весьма серьезно относится к преобразованию мировоззрения...» — «А вы?» — «Мне наскучили лозунги. Не верю лозунгам Мне нужен мотоцикл, кондиционер, видеомагнитофон... А после мотоцикла я захочу автомобиль. Шанхайская «Цзефан жибао» сообщала, что вот-вот начнут продавать польские «фиаты» частным лицам...» — «Э! Вот это и есть ваши лозунги! Мотоцикл, автомобиль, кондиционер, видео... этого у вас пока нет, и потому все это — лозунги, а не реальность. А говорите, вам наскучили лозунги...» — «А вам, вам-то что в первую очередь нужно — квартиру или лозунг?» — «Конечно, квартиру...» — «А отцу?» — «Не знаю...»

Вот какие любопытные разговоры ведут теперь китайские литературные герои. Но гораздо важнее другое... Когда от людей перестали требовать лишь повторения заученных цитат и исполнения команд, многие вспомнили о запросах не столь уж одномерной души: «О небо и земля, такие просторные, о наше необъятное трехмерное пространство, неужели не отыщется у вас крошечного уголка, где бы молодые люди могли объясниться в любви, обняться, поцеловаться? Многого мы не просим. Вы находите место для героев-исполинов, для бунтарей, сотрясающих мир, для вредоносных тварей и отбросов, загрязняющих землю, вы находите место для баталий и стрельбищ, площадей и митингов, для всевозможных судилищ... Так неужели не отыщется у вас местечка для любви Сусу и Цзяюаня? Всего-навсего метр шестьдесят и метр семьдесят, сорок восемь и пятьдесят четыре килограмма» (рассказ Ван Мэна «Воздушный змей с лентами»).

Мир любви, как начинают выяснять для себя герои китайского искусства, оказывается гораздо притягательнее мира ненависти. Ибо в том мире не было места одухотворенной человеческой личности. Человек по-настоящему находит себя лишь в мире любви и уважения. В небольшом предисловии к киносценарию «Улыбка страдаль-

ца» (1978) его авторы (один из них тут уже упоминался — режиссер Ян Яньцзинь, поставивший «Улочку») констатировали обретение китайским возрождающимся искусством человека: «В искусстве «банды четырех» существовали лишь две категории — либо ангелы, либо дьяволы. Но в реальном мире нет ни ангелов, ни дьяволов... Мы старались показать судьбу и долю, страдания и радости обыкновенного человека».

Свою человеческую неповторимость утверждает шестнадцатилетняя Аньжань, героиня фильма «Девушка в красном», поставленного по повести Те Нин «Красная кофта без застежек». Утверждает со всем жарким «нонконформизмом» юности, не всегда даже сознавая, насколько она эпатирует общество, где все привыкли оглядываться на соседа (как возможного доносчика). Ведь даже сама одежда девушки — красная кофточка, свободная блуза, сшитая без традиционных накладных застежек, привычного атрибута китайской одежды — уже выделяет ее из ряда. Аньжань постоянно попадает в различного рода переделки как раз в силу своей активности и божни затеряться в безликой толпе. Но она не отвергает общества, не стремится оказаться вне его, только вот общество еще не вполне готово принять такую неординарную личность. Лишь половина ее товарищей по классу голосуют за Аньжань во время выбора учеников, достойных почетного школьного звания «три хорошо». В чем-то девушке приходится подчиниться общественному мнению — в школе она появляется уже в менее броской одежде, но дома, на улице — в последнем кадре фильма — она по-прежнему в своей красной кофте без застежек: наивное, детское, но все же выражение твердости характера, самоуважения, знак вызревающей личности. Возможно, этот новый для китайского искусства мотив и обеспечил фильму «Девушка в красном» первую строку в списке лауреатов Всекитайского киноконкурса «Золотой пегух» в 1985 году.

Вот какие новые грани китайского искусства мы увидели, когда осела пыль от рухнувшей стены изоляционизма и догматизма. Все это было просто непредставимо лет десять назад, в пору трубных фанфар, цигат и громкоговорителей в конюшнях. Персонажу в те времена следовало быть исключительно героем, приподнятым на котурнах «творческого принципа тройного выдвижения», предполагавшего иерархию среди персонажей: сначала просто «положительные», а на вершине — «самый-са-

мый» положительный из положительных. Сегодня подобная «пирамида» если и напоминает о себе, то как пережиток умирающего догматизма. В целом же это — вчерашний день.

Сегодняшний читатель и зритель в Китае все чаще видит на страницах книги, на экране кинотеатра, на театральной сцене, на художественной выставке своего соседа, приятеля, родственника, человека знакомого и близкого, озабоченного теми же проблемами, какие ждут его самого за дверьми зала или выставки. Быт «коммуналки», в которой есть не только трогательное единение духа, но и теснота, отсутствие кухни, плитка в коридоре и — как следствие — ошпаренная малышка (фильм «Соседи»). Мир ребенка, трагически расколотый разводом родителей, мир, где лишь прирученному гусю, нежно обняв его за шею, можно доверить слезы своей души (фильм «Зачем вы меня родили», демонстрировавшийся в Москве во внеконкурсной программе XIV Международного кинофестиваля 1985 года). Метания деревенской девушки, приехавшей в столицу, чтобы в качестве домработницы поднакопить денег, не желающей поступаться своей человеческой гордостью (фильм «Девушка с горы Хуаншань»). Примерно в том же ряду и другие сюжеты... Немолодой холостяк совершает долгую поездку под дождем, отыскивает дом, где его должны представить девушке, затем их взаимное смущение, отчужденность, преодолеваемые желанием покончить со

своим одиночеством (рассказ Чжан Сяня «Жаркий дождь»), писатель, забросивший жену, друзей и упивающийся своим «кафкианским» слогом (рассказ Ван Мэна «Гибель самшита в вазоне»), пассажиры, ожидающие автобуса... час, год, десять лет, а те проносятся мимо, и выясняется, что самый решительный из пассажиров, отправившийся пешком, уже добрался до города (пьеса Гао Синьцзяня «Автобусная остановка»)...

«Гуанмин жибао» пишет о фильме «Желтая земля», поставленном вопреки прежним канонам: «Заимствуя материал у литературы, авторы вырвались из рамок, привычно привязанных только к сюжету, фабуле, персонажам. У них есть и сюжет, и фабула, и персонажи, но, пожалуй, главным становится замысел, атмосфера, мысль. Был период, когда лишь излагался сюжет, механически «воспроизводя жизнь», и это не могло не тревожить нас. Повествование — лишь одна из функций кино; «документальность», строго говоря, лишь его техническая особенность. А мы долго одной функцией подменяли многие, технической спецификой заменяли художественную».

Как видим, не все сегодня в Китае покорно «ожидает автобус», и из тех смелых художников, кто решительно отправился в путь, некоторые уже достигли ну если еще не цели, то, во всяком случае, важной вехи в развитии китайского искусства по пути реализма.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Коган.** Служба памяти.— **Игорь Золотусский.** Донкихот из Вейска.— **Н. Малиновская.** Сто лет латиноамериканской литературы.— **Ю. Богомолов.** Пограничная ситуация

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Ю. Шарапов.** Новый вклад в Лениниану — **Виктор Цоппи.** Революция, личность, бланкизм.— **В. Хайт.** В битве за культуру.

## Литература и искусство

### СЛУЖБА ПАМЯТИ

**Л. Овчинникова.** Улица среди окопов. М. «Молодая гвардия». 1985. 191 стр.

Документальную, в основе своей даже автобиографическую повесть Л. Овчинниковой читаешь с особым, непростым чувством.

Когда война началась, мне было восемнадцать лет. Героине повести (язык не поворачивается, говоря о ней, прибегать к отвлеченно-литературоведческому термину «героиня», ведь за ее судьбой — судьба самого автора) — одиннадцать Семь лет разницы. По мирным временам — немного..

Прошедшие через тяжесть фронта ребята моего поколения успели, однако прожить до войны нормальное, человеческое, хотя отнюдь не безоблачное детство. И даже юность. Наше мироощущение той поры хорошо выражено в известной поэтической формуле Николая Майорова: «Мир, как окно, для воздуха распахнут»...

У маленькой Люды Овчинниковой (по повести — Любы) нормального детства не было. На ее родной город — Сталинград — упали фашистские бомбы, и вся жизнь пошла наперекос. Судьба девочки — вместе с судьбой города. С судьбой улицы Карусельной, на которой она жила, людей, что жили вокруг, с кем Люба ежедневно встречалась, дружила и ссорилась, ходила вместе в школу и бегала купаться...

И вот этой жизни не стало.

Людмила Овчинникова вспоминает о том времени сорок с лишним лет спустя. Вспоминает много повидавшим и пережившим человеком, опытной журналисткой, многолетним автором и сотрудником «Комсомольской правды»... Но, видно, не случайно все эти годы она преданно несет службу памяти: воссоздает ли на страницах газеты обобщенный портрет фронтового поколения, пишет ли рецензию на документальное повествование Евгения Долматовского «Зеленая брама» или выпускает свою первую книгу — о жителях Сталинграда, работавших на победу.

И вот — «Улица среди окопов» (так называется отдельное, книжное издание повести), на сегодня главная книга Людмилы Овчинниковой. Сколько лет прошло с той поры, а память сердца не отпускает. Тревожит эта память и нас, читателей. Даже тех, кто сам не пережил дней и ночей войны.

Повествование Овчинниковой внешне бесстрастно, сдержанно. Так вернее — сердце наше отзывается не на обилие восклицательных знаков (современный читатель к такому обилию мало сказать привык — сыт по горло, высоким словам априори не верит; чтобы его взволновать, заставить сопереживать, нужно добиться эффекта

присутствия), — волнует контраст между подчеркнуто спокойным тоном повествования и чрезвычайностью совершающихся событий. Ну и, конечно, точность их видения и воссоздания.

Достигается это разными средствами. Тут и выдержки из сообщений Совинформбюро, из воспоминаний участников сталинградской обороны — от маршала В. И. Чуйкова до погибшего в боях под Сталинградом красноармейца И. А. Мазалова, и протоколы комсомольских собраний (в том числе и тот знаменитый, бессмертный: «Вопрос к докладчику: существуют ли уважительные причины ухода с огневых позиций? Ответ: из всех уважительных причин только одна будет приниматься во внимание — смерть»); тут и собственные впечатления от увиденного и пережитого, столько лет хранившиеся в памяти, точно вчера это было... Тут и размышления о пережитом. Тогдашние ли — маленькой Любы, сегодняшние ли — автора, — как их разделишь... «Не знала, что так обычно входит в жизнь беда» — кто это говорит: маленькая Люба, прячущаяся от бомбежки в свежавырытой щели во дворе, или журналист Людмила Овчинникова, оглядывающаяся сквозь годы на свое израненное войной детство? Однозначно на этот вопрос, пожалуй, не ответить; лучше всего — строками Юлии Друниной: «Живу, как будто в двух измерениях: в семидесятых и в сорок первом».

Видит, помнит — та, первая. Осмысляет, оценивает — вторая. Не буду кривить душой, не везде соединение двух повествовательных пластов показалось мне одинаково органичным, временами современный взгляд на прошлое явно превалирует, и тогда читательское доверие к подлинности (не фактов, разумеется, но тогдашнего душевного состояния автора) несколько снижается. Но в целом эффект двойного — стереоскопического — видения и осмысления поистине высок.

Повесть начинается сухо-документально — сообщением Совинформбюро от 25 августа 1942 года. В приводимой выдержке три фразы, всего три: «Северо-западнее Сталинграда наши войска вели напряженные бои с крупными силами танков и пехоты противника, переправившимися на левый берег Дона. Обстановка на этом участке осложнилась. Наши бойцы самоотверженно отбивают атаки немцев и наносят противнику огромный урон».

События изложены протокольным языком, никаких эмоций. А дальше мы видим эти же события глазами людей, которым

пришлось самим встретить немецкие танки, в буквальном смысле слова грудью преграждая им дорогу.

«Обстановка на переднем крае изменилась за один день. Утром рабочие тракторного завода вышли на смену, а вечером взяли в руки винтовки», — вспоминает И. Я. Мельников, секретарь Тракторозаводского райкома партии. И рассказывает, как это было. А было так. С утра 23-го, в воскресенье, «тысячи сталинградцев отправились в степь на строительство оборонительных рубежей... Разошлись по участкам. Стали копать противотанковые рвы, окопы, траншеи. Вдруг видим, примерно в двух километрах от нас — вспышки огня. И тут как буря пронеслась над траншеями — люди закричали: «Танки! Немецкие танки!» В первые минуты в это даже трудно было поверить. Еще вечером мы знали — фронт стоял на Дону...

В это же время нам сообщили еще одну тяжелую весть. Тысячи фашистских самолетов бомбят центр города...

Этой фразой заканчивается выдержка из воспоминаний Мельникова. Почти с тех же слов — «нас бомбят» — начинается и рассказ-воспоминание героини. Почти с тех же, да не с тех. Секретарь райкома видел картину в целом, он вспоминает о тысячах фашистских самолетов. Маленькая Люба не собирала сведений, не обобщала их, для нее эти тысячи воплотились в одном — том, который сбросил бомбу на убежище, где она была с матерью и трехлетней сестричкой...

Вот так — через монтаж официальных документов, воспоминаний участников боев и воспоминаний самой героини о том, как война пришла в ее дом, на ее улицу, что принесла с собой ее жителям, — строится повесть. В ней есть поразительно точные картины, детскими глазами увиденные и сохраненные в памяти; есть мысли, которые хочется повторять. Не всегда, как я уже сказал, первое органично цементируется со вторым. Когда я читаю: «В бомбежку мы стоим в щели в полный рост. Чтобы не засыпало с головой, если обрушатся стенки», — в это веришь, веришь безоговорочно, как и в то, что «даже во сне каждое мгновение прислушиваешься к взрывам бомб, реву самолетов». Но когда вслед за этим автор говорит: «...звук не поспевают за полетом смертоносного железа», — понимаешь: это обобщение — более позднее. Как и умело, по-писательски сказанное (пожалуй, слишком умело для той поры): «Теперь на свете живут два моих «я». Одна из нас стоит за мос-

том через овраг в светлой голубой матроске. Другая сидит в щели в пропахшем плесенью, отсыревшем в земле пальто. Та беспечная девочка не знает ничего о моих страхах и тревогах. Ей трудно помочь мне»...

Да, «швы» кое-где чувствуются. Но в данном случае это не небрежность, не недотянутость, не неспособность к перевоплощению. Нет, тут другое: автору нужно было сказать именно так. Нужно, чтобы донести до читателя не только тяжкую

судьбу девочки, на чьи неокрепшие плечи легли недетские испытания войны, не только историю души, развивающейся и взрослеющей в этих испытаниях, не только образ улицы, города, людей, населяющих этот город, сражающихся и гибнущих за него, но и свое сегодняшнее понимание пережитого. Понимание, столь созвучное нашим нынешним чувствам в этом беспокойном, насыщенном грозовым электричеством мире

А. КОГАН.



## ДОНКИХОТ ИЗ ВЕЙСКА

Виктор Астафьев. Печальный детектив. Роман. «Октябрь», 1986, № 1.

В конце романа герой видит сон: девочка стоит на льду на реке, лед начинает ломаться, крошиться, льдину относит все дальше от берега, а на льдине уносит девочку, и вот это уже не льдина, а тетрадный лист, в углу которого красная двойка и девочка — дочь героя Светка, которая взмывает «в небо, во тьму, проколотую звездами» «Да это же тот свет!» — догадывается герой и просыпается.

Как и все сны, этот сон многоговорящий, затаенные страдания души в нем выходят наружу, приобретая форму образа, многозначной картины, которую можно толковать согласно воображению. Герой Астафьева рвется на льдину, хочет спасти девочку — дочь, но лед проваливается, расстояние от льдины до берега все увеличивается, он в ужасе кричит, сознавая неизбежность случившегося, и просыпается.

Роман Виктора Астафьева — роман о нарушенной целостности, об оторвавшихся от берега, от суши, от твердыни семьи, долга и совести — от тех святынь, на которых издревле держалась жизнь. «Порвались они, воистину порвались», — думает Сошнин о связи времен, «изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловеющий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем».

Не совсем обычные мысли для героя-милиционера, героя-оперативника, который ловит преступников, обезвреживает их, доставляет в милицию, а то и убивает, если они не хотят сдаваться. Может быть, сам и не убивает, но отдает приказ убивать. Потому что когда пьяный человек за баранкой въехал в толпу пассажиров на остановке, превратил «в мясо» мать с ребенком, двух старушек — он уже не человек, он зверь, и нет ему пощады, хотя тот, кто творит суд

над ним, тоже не испытывает удовольствия — тяжкая это работа, обременяющая душу обязанностью.

В романе Сошнина называют и «младой герой» (ему сорок два года), и «герой-детектив», и «мыслитель из железнодорожного поселка», и «молодой художник слова», и «этот гений», и «остряк-самоучка». А порой и «мямля», «хлюпик», «псих». Психом его зовет следователь Пестерев.

Но есть у Сошнина и еще одно имя: сирота. Он действительно сирота, так как рос без отца, без матери, воспитывали его одни тетки. Тетка Лина, тетя Граня. Лина была родная тетка, сестра матери, тетя Граня — чужая женщина, но у ее будки на железнодорожных путях обосновался целый детдом — не один Сошнин, а все бездомные (и небездомные) дети поселка.

Тетю Граню зовут «родней всех угнетенных и осиротевших». Сначала ее будка и насыпь под будкой делаются пристанищем детей Вейска, потом домик, купленный на оставшиеся от мужа деньги, потом детская больница, где престарелая тетя Граня служит сиделкой. В войну она таскает в госпиталь молоко, которое дает ее «патриотическая корова», поит этим молоком эвакуированных — и не только люди, но и кошки и собаки находят под ее крышей приют.

От кого как не от нее получает поддержку астафьевский «хлюпик» и «псих»? Кто как не тетя Граня, не Лавря-казак, бывший фронтовик, кавалер трех орденов Славы, а ныне коновозчик, милицейский дворник дядя Паша, тесть Сошнина Маркел Тихонович — чистая душа и золотые руки — защищают его? От этих людей идет к нему свет, а с другой стороны подступает тьма — убийцы, бандиты, подонки стоят там, скалят рожи, как черти у Гоголя, только не

черти это, а не люди в образе человеческом, потому что нельзя признать за людей тех, кто льет кровь человеческую, как воду.

Герой Астафьева называет их «недоумками», «бесами» и «дьяволами». Эти бесы с черными крыльями и с синюшностью на лицах вылетают не из каких-то лепящихся по ту сторону добра и зла гнезд, они выпархивают из того же народа, они развертывают свои крылышки из личинок, которые откладываются в душах загодя и ждут своего часа, что бы вылететь.

Это и те подонки, что гужуются у Сошнина под лестницей и готовы броситься трое на одного, у которых «в предчувствии крови» является на лицах улыбочка; они нервно теребят шарфики, ибо там, под шарфиками, за пазухой у них нож. Это и Венька Фомин, весь пропахший собственной мочой, сжегший себе почки водкой, с желтой засохшей пеной у рта, и Урна, шатающаяся по улицам Вейска и по рынку, вечно пьяная, прозванная Урной за то, что ее черный большой рот всегда раскрыт и из него несет перегаром.

Астафьев не страшится этих подробностей, смело вводит их в роман — это роман не о детском садике, роман о зле и о войне со злом.

Рыцарь Печального Образа носит у Астафьева погоны, а в кобуре — пистолет. Но чаще он является перед читателем безоружным — лишь во всеоружии своего сердца, которое можно прострелить, проколоть, но которое заставить тихо и ровно биться, когда кто-то вершит над человеком насилие, — нельзя.

Таков закон того мира, который воспитал Сошнина: погуби сам, но другого не дай в обиду. И откуда это в нем, если не знал он отца (тот погиб на войне), не знал матери (умерла сразу после войны), а знал только теток и закон детдома у будки? Значит, от этого сообщества маленьких трудяг, от договора, связывающего честные души, от бескорыстия протянутой ему руки, от всего, чем жив человек, помимо хлеба, масла и сытых игр.

Дон Кихот нападал на ветряные мельницы и на мирные стада овец, принимая их за чудовищ и полчища врагов. Сошнин имеет дело не с призраками, не с ветряными мельницами. Перед ним настоящие чудовища и ублюдки, страшные еще тем, что, убивая людей, насилуя, грабя, они делают это с отупелостью автоматов, то ли мстящих за свою давнюю обиженность, то ли механически исполняющих предназначенную им работу.

И следуют картины одна другой ужасней.

Пьяный лэтэушник, забравшись в женское общежитие, был выставлен оттуда с позором и в отместку решил убить первого попавшегося человека. Первой попалась женщина — молодая, красивая, беременная. Он бросил ее под откос и «долго, упорно разбивал ей голову камнем».

А другие, муж и жена, любители чтения, заперли свое дитя в пустой квартире и отправились на много дней в библиотеку имени Достоевского читать книжки, а дитя тем временем, исстрадавшись без помощи и пищи, сгнило — съели его черви.

А третья — мать — подкинула своего младенца в автоматическую камеру хранения на вокзале, попросту похоронила его там, чтоб не кормить, не нянчить.

Как назвать этих людей? Только бесами и дьяволами. Спроси каждого из них: «Зачем они это делают?» — пишет Астафьев, те ответят: «Не знаю».

Это не знаю, на мой взгляд, опасней всего. С ним трудно разобраться, его невозможно предотвратить. И все-таки герой «Печального детектива» пробует разобратся. Он не только действует — противоборствует этим преступникам, — но и думает. Мысли его не всегда доходят до конца, они обрываются на полусуждении, полуслове. Астафьев вместе с Леонидом Сошниним ставит вопросы, но не всегда отвечает, он надеется на работу мысли в нас самих. Его «мыслитель», читающий Ницше и Екклесиаст, еще, может быть, блуждает в потемках, но он по крайней мере отваживается шагнуть в эту душевную тьму, пытается возжечь в темноте свечу.

Три типа торчат у него под лестницей и как бы специально поджидают его, чтоб придраться, пристать и — в случае если он окажется непокорным (ответит непокорством на их оскорбления) — отправить его без размышлений на тот свет. У них пустые глаза, потертые лица, все они подержанные и лежалые, один — как скисшая ягода, другой — как подвяленный судачок, третий — просто громила с обмякшими мускулами. А смотрит этот судачок на Сошнина с «фыбим прикусом губ», возбуждаясь от «предчувствия крови».

За что они так злы на него, за что ненавидят? Ни за что. Просто он проходил мимо, а у них дурное настроение. Просто, как говорит в романе другой бандит, им «харя» его не понравилась.

«Откуда это в них? — задает себе вопрос Сошнин. — Откуда? Ведь все трое... из трудовых семей. Все трое ходили в садик и пели: «С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки...» В шко-

ле: «Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет...» В вузе или в ПТУ: «Друг всегда уступить готов место в шляпке и круг...» Втроем на одного, в общем-то, в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе...»

Вейск отстоит далеко от столиц. В Вейске есть льнокомбинат — значит, в области сеют лен. Вейск окружен лесами — здесь добывают древесину. «Гнилой угол России», — говорит Астафьев о месте действия романа. Но муки, которыми мучается лейтенант милиции Сошнин, не вейские муки, не областные и районные муки, это переживания, которые захватывают в свой круг всех нас.

Речь идет о падении нравственного уровня в народе, о камне, что давит народную душу и пригибает к земле, что тяготит великую нацию, на которой, как на плечах Атланта, держится мир.

Нелегкая ноша, и не поднять ее, кажется, в одном романе, тем более в детективе. Но детектив Астафьева — «печальный детектив». Печаль эта относится не только к облику главного героя, но и к существу тех идей, из чьих тайников герой, не имея философского опыта, хотел бы выйти на свет.

О свете, о просвете, который ищет герой Астафьева, и идет речь в начале романа. Это начало — кусок пейзажа, а в пейзаже яснее всего виден Астафьев, хотя пейзаж мутный, размытый водою от растаявшего снега, пейзаж плачущий, скорбный. Вот он: «...Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустыню...»

Он шел по родному городу из-под козырька мокрой кепки, как приучила служба, привычно отмечал, что... стояло, шло, ехало. Ехало мало, а много стояло, шло настороженно... сверху лило, хлюпало всюду, текло, вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно, плоско, неорганизованно: лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу, из щели в щель. Всюду обнажился прикрытый было мусор: бумага, окурки, раскисшие коробки трепыхающийся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки, их шевелило, иную птицу роняло ветром, и она тут же слепо и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчаньем мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клекнув, смолкала.

И мысли Сошнина под стать поюде, медленно, загустело едва шевелились в голове, не текли, не бежали, а вот именно шевелились, и в этом шевелении ни света даль-

него, ни мечты, одна лишь тревога, одна забота — как дальше жить?»

Раньше, когда Сошнин был на службе (сейчас он на инвалидности), он думал, что преступный мир и непроступный мир — это разные миры, что есть чистый и нечистый народ и надо отделять один от другого, принимая это разделение как данность. Сейчас он судит иначе. Он видит, что не было бы Анны Тарыничевой, которая жалуется на Веньку Фомина, пишет письмо в милицию, чтоб освободиться от насильника и пьяницы, принудившего ее к сожительству и обирающего ее, то не было бы и Веньки. Потому что стоит только Веньке попасть в руки правосудия, как та же Анна начинает защищать его, подучивает баб говорить на суде неправду, сует ему в карманы табак и конфеты, обливает разлуку с Венькой горючими слезами. А тетя Граня? Ее изнасиловали четыре пьяных молодца. Кинули в грязь, втоптали в землю ее беленький с синенькой каемкой платочек, осквернили, опоганили, надругались, а она за них — после суда, который ввалил им по восьми лет строгого режима, — за них же просит, корит Сошнина, приведшего молодцов под пистолетом в милицию. «Ну дак че теперь? — говорит она Сошнину. — Убыло меня? Ну, поревела бы... Обидно, конечно. Да разве мне привыкать?»

И тут же вспоминает «физкультуру», которую ей устранил ее законный муж Чича, когда она не давалась ему. Гонялся за ней с лопатой по всей кочегарке.

А Чича был не ублюдок, не подонок, а бывший красный партизан. И вообще хороший был человек. Только пил масть. Он из своей кочегарки и наверх-то не поднимался на вольный воздух — все сидел там, разжигал огонь в котлах Дома культуры, а когда умер, то погас огонь, остановились котлы, исчез дым в небе, и, кажется, похолодало не только в самом Доме, но и в небе над Вейском.

Так откуда берется эта жалость к преступнику, жалость к слабым, которые только что были страшными в своей силе, а попав в руки правосудия, делаются слабыми, плаксивыми, как Венька, как тот убийца, что зарезал не одного вейчанина только за то, что «хари» их ему не понравились. Он кричит, когда вяжут ему руки: «Бо-о-ольно! Не имеешь права!»

Загадка русской души? — спрашивают герой и автор. «Ничем не объясненная штука, так называемый русский характер?» Черта с два. «Бесов» и «диаволов», считает Астафьев, порождает наше «давнее согласие на страдание», а «зверь в человеческом



облике рождается... чаще всего покорностью нашей».

Его донкихот и хорош тем (оттого и донкихот!), что не покоряется, что идет на нож и на вилы — на все, что окажется в руках его врага, не раздумывая о последствиях. Оттого он в представлении Пестерева — псих, а в глазах таких его послуживцев, как Федя Лебеда, может, и лопух. Ибо Федя Лебеда себя под пули не подставляет, он лучше кого-нибудь другого пошлет, как послал молоденького милиционера под пулю грабителя. Он жизнью дорожит, ее благами, а его жена, работающая официанткой в вейском ресторане, говорит жене Сошнина Лерке: «Жить надо уметь».

Что ж, эти слова сейчас можно где хочешь услышать. Те, кто их говорит, считают себя умными, а тех, кто этих слов не слушает и совершает безрассудные поступки, глупыми. Получается, что ум жизнь бережет, а глупость ее транжирит. Или, как выражается один знакомый Сошнина тюремный парикмахер: «Усю шпану не переброешь».

Да, детектив у Астафьева какой-то особенный, русский, он озабочен не столько поимкой преступника и его доставкой по месту назначения, его не механика раскрытия преступления и торжество добродетели интересуют, а, по меньшей мере, проблемы мирового зла. В бессонные ночи, которые теперь отвело ему свалившееся на него свободное время, он обдумывает, как это зло исправить или хотя бы, не погана себя, победить. Он страдает совестью, раздирает свои душевные раны, он к тому же один, не устроен, не благоустроен: жена Лерка, взяв дочь, оставила его, ушла.

Легче всего сказать: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!» И Сошнин вроде бы соглашается с этими словами из маленькой трагедии Пушкина. И все-таки он подозревает, что высшая правда есть. И каждый из нас может сделать из своей жизни у с т у п к этой правде, с высоты которой открывается, быть может, необозримая ширь. Это, как пишет Астафьев, гибельный уступ, но по нему надо карабкаться, обдирая ум и руки об острые камни, срываясь вниз, но иного пути нет: не толкая свое сердце вверх — останешься в бездне.

И как на звук рога, на клич опасности, на крик о помощи идет, поднимая себя, астафьевский донкихот — идет, понимая, что впереди его ждет смерть.

В осенний, полный непроглядной тоски день шагает он по пустым полям к телятнику, где Венька Фомин запер тугожилинских баб, требуя от них денег на опохмел-

ку. И без формы, без оружия бросается вырывать тех баб «герой-детектив».

День этот как две капли воды похож на день, описанный в начале романа. Те же мокрые деревья, те же вороны на ветках. Только теперь это уже не вороны, а воронье — не птицы, а как бы души демонов и бесов, следящие с ненавистью за Сошнинным. «Воронье, тяжело громоздящееся на гнущихся вершинах елей, на жердях остожий, черно рассыпавшееся на речном хламе и камешниках, провожало человека досадливым, сытым ворчанием: «И чего шляются? Чего не спится? Мешают жить...» Голые, зябкие ольховники, ивняк по обочинам плешивых полей, по холодом реющей речке, драное лоскутье редких, с осени оставшихся листьев на чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтобы экономился фураж, просевшие до колен меж кочек в болотину, каменно опустившие головы, недвижные среди остывших полей кусты мокрого вереса на взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных людей, — все-все было полно унылой осенней одинокости, вечной земной покорности долгому непогодью и холодной, пустой поре».

«Несжатая полоса» Некрасова вспоминается, когда читаешь эти строки. Та же печаль осени и общая печаль жизни, которые навеиваются со страниц стихотворения.

Некрасов и Гоголь часто приходят на ум при чтении Астафьева. И не потому, что в романе есть прямые цитаты из Гоголя, упоминания о тех толкованиях Гоголя, которые даются в институте и школе. В «Печальном детективе» есть даже Бобчинский и Добчинский — два чиновника, которые провозжат на вокзале Вейска «значительное лицо» и бегут за увозящим его поездом, как некогда Бобчинский бежал за дрожками Хлестакова. Все это есть, как есть цитаты и из других авторов, из Лермонтова и Гийерага, из Маяковского и советских песен, из кино- и телешлягеров и поделок масскультуры.

Астафьев силен тем, что, пародируя штампы, почитая высокую и высмеивая дурную литературу, всюду сохраняет свой голос, рожденный голосами великой русской классики.

Об этом говорит и свобода писания, свобода замаха, вольность языка, доходящая иногда до разнузданности, — я употребляю это слово не в том смысле, которое оно приобрело сейчас, а в смысле свободы от пут, от узды — от пут «приличия» формы и «приличия» содержания.

Астафьев пишет про что хочет и как хочет, легко тасуя жанры, — перепрыгивая из

стихии языка газеты, который он пародирует, в стихию диалектизмов, которые его не смущают, из стихии поэзии в стихию жизни,— то поднимаясь до нежных интонаций лирической прозы, то срываясь в сатиру, в злость.

Он не страшится ни ярости, ни злости — и эти ярость и злость не шокируют, не отталкивают, а, наоборот, приближают, утоляя голод на сильные чувства. В этом смысле язык и тон романа Астафьева, сам роман — прорыв стены серости, стены гладкой «культурности», которая, будучи отшлифованной и выстроенной из верных фраз, все же стена.

Что бы там ни толковали о сугубой «художественности», о таинствах стиля, о нынешних приобретениях усложненного, мифологизированного реализма, в литературе без реализма не обойтись, без страсти никуда не денешься, без вольного изъяснения вольных чувств ничего не добьешься. «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчины своей», — сказал Некрасов. Тот, добавим мы, не любит и литературы. Тот только притворяется ее мастером, ее профессионалом, тот только формально числится в ее рядах, ибо умение водить пером по бумаге еще не доблесть, не успех.

Роман Астафьева прост, как жизнь, груб, как жизнь, и он возвышенно-идеален; это сатира, где слышны слезы, это бичевание и обличение, где нет гордыни. В бессонные ночи «графоман» Леонид Сошнин (а многие считают его графоманом, поскольку он «марает бумагу») вспоминает нежный роман о любви, в котором героиня, монашенка, пишет письма своему возлюбленному. И столько чувств поднимает в Сошнине эта «сказочка», эта детская «ахиня» и «болтовня», которой он так беззаветно верил в детстве. Сопротивляясь своему чувству, Сошнин укорачивает себя: не верь, не поддавайся сладкому туману. «Писчебумажным штучкам-дрючкам», стой на земле, оглянись вокруг.

Ну а что вокруг? Вокруг не только люди и убийцы, воры и бесы. Тут же и люди, которые не выдадут, спасут, вытащат из беды,— та же недобрая Лерка, и бабка Тутышиха, и тетя Граня, и Лавря-казак, и Паша Силакова — чугунная богатырша с сердцем ребенка, и дочь Светка, склоняясь над которой, когда она спит, Сошнин думает: это поколение «наверное, самое трагическое за все земные сроки».

«Жизнь, она все-таки в общем-то ничего, — говорит Лавря-казак. — В ней то клюет, то не клюет...» Не очень-то утешитель-

ные слова. Но и они как-то поднимают дух. Потому что стоит увидеть тещу Сошнина Евстолию Чащину — бывшую активистку и горлопанку из тех, кто «проорал деревню», как становится не по себе, а вот окажется с ней рядом Маркел Тихонович, ее муж, который при всей Полевке отделяет ее палкой по спине, — делается легче.

«Говоруны», «баре», «пустобрехи» то и дело мелькают в «Печальном детективе». Это и местные «интеллектуалы», которые написаны в лучших гоголевских традициях, беспощадно и саркастически («интеллигент» Пестерев даже мать не поехал в деревню хоронить, послал на похороны пятьдесят рублей, чтоб не портить впечатления от только что проведенного на курорте отпуска), и градоначальники, вытягивающиеся перед столичным чином, и «будущие гармонично развитые личности» — студенты местного пединститута, которые тренируют свои мышцы на стадионе, возникшем на месте засыпанного шлаком патриаршего пруда. Пруд этот засыпали, «борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников».

«Интеллектуалы» заседают в издательстве, в педагогическом институте, они мешают в своих статейках Вергилия и Данте с Трегубом и Ермиловым, правят «творческих производителей» и, обсыпая пеплом джинсовые костюмы, рассуждают «о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя». Они потешаются над бедной Пашей Силаковой, которая докладывает им об этих «заблуждениях», зачерпнув сию мудрость из учебников и пособий.

А в то время когда эти господа предаются болтовне, Леонид Сошнин через отверстие в крыше прыгает в запертый телятник, попадая в лужу навозной жижи, в которой стоят голодные телята. Он открывает двери, освобождая испуганных женщин, впуская заодно в телятник и свет осеннего дня, и идет с голыми руками на Веньку Фомина, хватающего лежащие подле него вилы. Ржавые вилы с ржавыми огрызками зубьев «Запору, падал!» — орет от страха бандит, и ржавый рожок вил втыкается в плечо Сошнина, пробивает плевру, майка его, тут же напитавшись кровью, «кисельным, липким сгустком» сползает к поясу.

«Правда — самое естественное состояние человека», — рассуждает Астафьев. Но как же нелегко говорить эту правду, писать эту правду, потому что не благоднее у нее лицо, не кремевые тона, не пряник она глазированный, а черный хлеб. Тут надо «обнажить до кожи, до неуклюжих

мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания», а подсознание — это тьма тьмушая. Вывести человека из этой тьмы на свет — дело писателя.

Правда — это и «даже когда ты привычно лжешь себе или другим». «...И самый страшный убийца, вор, мордovorot, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все-все это правда, порой неудобная, отвратительная». И то, что кровь раненого милиционера и убитого им бандита — еще ранее в главе, предшествующей сцене в гелятнике, — с мешиваются на полу «скорой помощи», которая везет одного в больницу, а другого в морг, — тоже правда.

Для того чтобы добраться до «гнилой утробы человечихи» и чтоб от этой гнилой утробы в небо воспарить, вера нужна, страдание нужно, любовь нужна.

В астафьевской иронии и самоиронии (а герой и автор стоят у него недалеко друг от друга) есть и любовь и боль. Не посторонним пером все это описано — взят весь Вейск в разрезе, — а кистью верного сына родины — не пасынка, не приемьша, а того, кто за нее, за мать, горой.

«И вопше, маракую я, Левонид, нашей державе честные трудовые люди нужны, а не говоруны и баре. Пустобрехи вроде моей бабы... Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели». Это говорит не какой-нибудь Костонжогло, который весь родился из ума писателя (и в ум вышел), а трудовой человек, который мало что в мирной жизни все может и все делает — и дом ставит, и корову доит, и за пчелами ухаживает, и внучку приучает к работе, и всех Чащиных держит на своем попечении, а заодно и Леонида, считая его за сына, — но и на фронте, воюя, успевал «кому обутку починить, кому бритву направить, повозку подлатать, колеса обсоюзить». «...Втулку там, ось, оглобли ли выгтешу, — говорит он, — сварить че — суп, кашу, картошки... сруб в землянке сделать, дзот покрыть».

На таких Маркелах Тихоновичах, как, впрочем, и на Лаврах, на Чичах, на таких, как дядя Паша, милицейский дворник, и держится вера Астафьева. Он этим людям «трибунов» не предоставляет (редко высказываются они), он их просто бережет в сердце, как бережет в памяти Сошнин свои детские мечты.

А в остром язвительности ему не занимать, яду не одалживать. Посмотрите на эти штампы — дети в детдоме тети Грани «проходили трудовую закалку»: «Здесь ца-

рил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане советской державы с самой большой протяженностью железных дорог... заколачивали костыли». К чему тут самая большая протяженность железных дорог? Да это штамп из газеты. И Астафьев смеется над ним. Дорог-то больше всех в мире, а порядка на них нет. Или про отношения Сошнина и Маркела Тихоновича: «И Леонид, не помнивший отца, возвращенный пусть и в здоровом, но женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов». Опять штамп, клише, но с другим смыслом. Тут уж ирония безотцовщины, в глубине которой светится смущение и любовь. Речь-то идет о настоящей любви тестя и зятя, а не о показухе.

«Счастливые советские люди в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом» — этот штамп вклинивается в абзац с описанием прогулки Сошнина и его жены по местному базару, под аркой которого (на ней написано «Добро пожаловать») гуляет пьяная Урна. «У нас везде есть место подвигу!» — смеется сквозь слезы жена Сошнина, сидя у его изголовья в больнице, куда доставили его после схватки с Венькой Фоминым.

Кстати возникают эти штампы, эти вездесущие и всегда готовые словесные стереотипы, на которые косо смотрит Астафьев, его живая, смелая, непреднамеренная и — повторяю, настаиваю — свободная речь.

Ирония языка — это тоже взято у Гоголя. Вспомним речи Чичикова и его постоянные упоминания о величине российского государства, на пространствах которого могли бы уместиться несколько римских монархий. Вспомним чичиковскую литературщину, сравнения себя с баркой, носимой волнами, и тому подобное. Гоголевская усмешка заглядывает на страницы «Печального детектива», освещая его солнечным смехом. Если смех играет, если он, заломивши шапку, играет при народе, на миру, значит, есть в силе, его породившей, жизнь, значит, не истощена она.

Хотя само солнце редко светит над Вейском. Пора такая избрана — поздняя осень или декабрьская оттепель, когда снег согнан с улиц и полей, все пусто, обнажено, все раскисло, плачет серыми слезами и вызывает к ответным слезам. И лишь в конце романа в сцене на кладбище, куда Сошнин зашел проведать мать и тетку Лину, снег накрывает Вейск, забеляя его язвы, его раны, его могилы и пустыри.

И тут мне приходит на память окончание рассказа Астафьева «Ясным ли днем»: «Почкой был на земле. Спал поселяк. Стали

люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудейный расчет... Из тлеющих солдатских тел выпадали осколки и звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли» Ту же связь умерших с землей, их какую-то обратную связь чувствует и Сошнин. Он думает о земле, что она раскололась бы, если б могла чувствовать боль тех, кто лежит в ней. Она задавила, раздавила их, но она не может ответить на вопрос: зачем люди торопят друг дружку «туда», тогда как «надо наоборот»?

Загадка жизни и загадка смерти тревожат героя Астафьева. Отсюда и сгущенные символы романа — воронье и телята, люди и нелюди, диаволы и бесы. И сама земля входит в этот символический ряд как некая одушевленная сила, которую надо разбудить, растормошить, заставить переживать чужое горе. Потому что если она останется каменной, каменно-бездушной кажется, и у человека нет предела отчаяния.

И еще одна загадка встает в конце романа перед донкихотом из Вейска. Загадка ячейки жизни — семья. Семья, так легко разрушившаяся у Сошнина, противопоставляет смерти, противопоставляет уничтожению. Она единственное, что может выбить из-под тоски ее кривые костыли.

Символом этой тоски этого стоящего на грани полусна полубреда отчаяния выглядят в романе два образа — образ раздавленной на дороге крысы которую видит истекая кровью в машине «скорой помощи» Сошнина, и образ одинокой лошади бредущей без хозяина, без понуканий по улицам опустевшего Вейска. Эту крысу клюют в голову воронье, и на мгновение ее голова кажется Сошнину его собственной головой с голубыми северными глазами. А лошадь? Это образ одиночества, безнадежности, на которую обречен он, Сошнин останься он только с самим собой, один со своими мыслями.

Вот почему обращается он в последнюю ночь романа к рассуждениям о семье. Приведя Лерку и Светку в свою одинокую комнату и устроив их на ночлег он садится у стола и кладет перед собой чистый лист бумаги. Что будет на нем написано? Автор не знает. Не знает этого и герой.

«Экая великая загадка! — размышляет, перед тем как сесть за стол. Сошнин — На постижение ее убуханы тысячелетия, но так же, как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если он и она блудили, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или

порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, Уже безо всяких на то оснований именующий себя людьми».

Этот публицистический пассаж как нельзя кстати подходит к описываемому моменту. Что развело Сошнина и Лерку? Самолюбие, амбиции, невозможность уступить друг другу, если хотите, гордость ума. Оба образованные, оба отчасти эмансипированные Лерка — дочь своей матери, с ее фанатичными и трескучими фразами, но все же отходчивая, отзывчивая на беду, и Сошнин — писатель, творческая личность, эгоист творчества, решивший, что семья будет ему мешать писать рассказы.

Самолюбие в конце концов отступает перед сочувствием, перед теплой жалостью к родной крови, к собственному ребенку и к той же Лерке, которая все же «.. баба. Жена. Крест Хомут на шее. Обруч. Гиря. Канитель земная». Конечно, лучше читать в романах про возвышенную любовь, про то, как хорошо ткнуться в колени женщины и забыть все на свете, — тут ты забудешь, тут надо гасить груз, впрягаться в этот хомут. Можно страдать по далекой Дульсине, но труднее любить того, кто у тебя под боком.

В начале «Печального детектива» (и тут мы не побоимся тавтологии) «глубокая, уже постоянная печаль» гложет героя Астафьева. Он ни в исправившихся негодяев не верит, ни в то, что диаволов и бесов «подлечить» можно. Даже тот, кто у бога за свои грехи страшные готов прощения просить, у него не вызывает сочувствия. А в конце романа, глядя на свою успокоившуюся семью, на Лерку, разметающуюся в его холостяцкой кровати на Светку, притулившуюся на старом дедовском сундучке (сколько поколений складывали в него свою одежду!), он уже не испытывает прежней безнадежной печали. Печаль остается, но она как-то меняется, она соединяется с покоем, с отсутствием «раздражения и тоски в сердце» она — «сладкое горе, воскрешающая животворящая печаль».

Надолго ли они соединились? Неизвестно. Но это уже и неважно. Минута соединения засечена, остановлена, воспета Астафьевым. Он дрожит от ее непрочности, ее мгновенности, ее, может быть, обманчивой сладости.

Пусть. Исполать ему. Исполать его герою, который в отличие от героя Сервантеса все же обрел дом.

Астафьев написал роман, который жжет душу, берedit совесть, вызывает в ответ желание быть столь же свободным, как и его автор. В свободе-то и все дело. Она нужна каждому из нас. Она нужна народу и государству — такое сейчас время, когда пришла пора без страха оглядеть себя и свою опору в жизни. В этом смысле

Виктор Астафьев выполнил завет, который оставил поэтам Гораций:

Надо сегодня сказать лишь то, что  
уместно сегодня,  
Прочее все отложить и сказать  
в подходящее время.

Игорь ЗОЛОТУСКИЙ.



## СТО ЛЕТ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. Столбов. Пути и жизни (О творчестве популярных латиноамериканских писателей). М. «Художественная литература». 1985. 319 стр.

Читательский успех латиноамериканского романа в нашей стране повлиял и на нашу латиноамериканистику — она сконцентрировала внимание на этом ведущем жанре литературы континента. Прослеживая развитие жанра, латиноамериканисты стремились углубить контакты с читателем, расширить аудиторию, искали новый язык — живой и ясный. Наша латиноамериканистика постепенно отходила от канонов сугубо академической науки, стараясь при этом не утратить серьезного филологического фундамента. И книга, о которой пойдет речь, — наглядное воплощение этой плодотворной тенденции. Она обращена к самому широкому читателю. Язык ее прост, интонация естественна, но широта адреса не означает, что подход автора к материалу в чем-то упрощен.

«Пути и жизни» — первая книга В. С. Столбова. Но автор не новичок в литературном деле, а мастер, за плечами которого почти сорок лет литературного труда, мастер, знающий цену выношенному слову и, однако, не избалованный публикациями. Такой дебют нелегок: ответственность осознана в полной мере, отбор скуп и точен.

В книге шесть портретов латиноамериканских писателей, данных крупным планом, а за ними, за кадром, угадывается многое. Ведь это В. Столбову наша читающая публика во многом обязана знакомством со всеми теми художниками, о которых он рассказывает в книге. Это он составлял их первые сборники, вышедшие на русском языке, его предисловия предваряли первые русские издания их романов и стихов. Наконец, очень многое из написанного ими переведено на русский В. Столбовым. Да и вообще, во множестве книг, выпущенных латиноамериканской редакцией «Художественной литературы», немалая доля труда Валерия Сергеевича, хотя на титульных листах нет его имени. Организовать книгу — огромный труд, и Столбов как глав-

ный редактор отдал этому много сил и таланта.

Но за кадром остается не только это. Остается Испания — страна, которую В. Столбову еще в юности довелось полюбить и защищать. Его первые переводы датированы 30-ми годами, первые публикации — 50-ми. Война и военная профессия надолго отсрочили возврат к любимому делу, но подтвердили верность давнему выбору. Не будь в судьбе В. Столбова Испании, не было бы и этой книги...

В последнее время сталкиваешься с утверждением, что в критическом выступлении читателю интересен критик и только критик, предмет же исследования есть предлог для выявления творческой индивидуальности критика и не более того. Спор, думаю, из незавершимых, а доводы сторон напоминают разработанную уже в подробностях аргументацию другого вечного спора — о точном и вольном переводе. Спор о переводах «старше», и в нем уже отзвучали яростные самоутверждения. Мысль, высказанную еще Белинским («В переводе из Гёте мы хотим видеть Гёте, а не его переводчика; если б сам Пушкин взялся переводить Гёте, мы и от него потребовали бы, чтоб он показал нам Гёте, а не себя»), теперь не оспаривают, по крайней мере открыто. Однако в споре о критике, видимо, время спокойных мыслей еще не пришло. Упомянутый спор ведется на современном отечественном материале, но, мне кажется, небезынтересно выяснить, как решается проблема выявления творческой индивидуальности критика на материале зарубежном. Ведь тут отпадают многие внелитературные факторы. Специалист (а в данном случае В. С. Столбов), обращаясь к тому или иному автору, руководствуется в своем выборе не только чисто профессиональными мотивами, но и любовью, часто — только любовью, и потому декларировать свой критический суверенитет ему и в голову не

приходит: исследователь как бы отступает в тень, нисколько не заботясь о выявлении своей творческой индивидуальности. А в итоге, закрывая книгу, читатель не менее отчетливо, чем шестерых знаменитых латиноамериканцев, представляет себе и самого рассказчика. Видимо, в данном жанре такой «окольный» путь выявления творческой индивидуальности надежен.

В книге «Пути и жизни» шесть героев. Трое — признанные корифеи латиноамериканской литературы: поэты Хосе Марти, Рубен Дарио, Сесар Вальехо. Двух других в нашей стране знают меньше — это романисты кубинец Рамон Меса и чилиец Мануэль Рохас, но зато имя героя последнего очерка известно буквально всем: Габриэль Гарсиа Маркес. Свели их под одной обложкой не только литературные пристрастия В. Столбова, но в немалой мере логика внутренних переключек: художественные открытия Марти отзываются в поисках и свершениях Дарио, а, казалось бы, архивная стилистика Дарио обнаруживает свое родство с новаторскими решениями Маркеса, свидетельствуя как о его укорененности в традиции, так и о том, что Дарио — пока лишь бегло прочитанная страница поэзии и прозы Латинской Америки. Эти и многие другие основополагающие связи, интересные и просто читателю и специалисту, выявлены и прослежены в книге, и можно только пожалеть, что ее ограничивают рамки континента. Как недостает здесь очерков об испанцах — Унамуно, Валье Инклане, Мачадо, о современниках и сподвижниках героев Столбова! И тем не менее, когда прочтешь всю книгу, Испания, языковая родина латиноамериканской культуры, осознается как седьмой полноценный ее герой.

Об испанских корнях параллелях и отзвуках Столбов говорит достаточно подробно. Он выявляет эти корни — испанский плутовский роман в «Сыне вора» Рохаса; прослеживает связь мировоззрения Дарио с умонастроениями в Испании начала века, лишь по первому впечатлению чуждыми латиноамериканцу. Вообще латиноамериканисты (наши и зарубежные) не часто привлекают испанский материал. Возможно, этому мешает ощущение osobisti латиноамериканской культуры или желание освободить ее до конца и в области культуры от «духовного ига метрополии». Но опыт Столбова убедительно доказывает: сознание родства унижить не может. Не исключено, что на такое внимание к корням Столбова натолкнула строка Дарио: «Я — сын Америки, я — внук Испании» —

звонкая, часто цитируемая, но, пожалуй, прежде звучавшая для исследователей только как декларация. Столбов услышал в ней больше.

Вообще умение вслушаться, уловить звучание слова, интонацию фразы, музыку всего стихотворения, цикла или романа — характерная черта Столбова.

Пристальное, бережное отношение к тексту, характерное для автора рецензируемой книги, наверно, в немалой степени диктуется опытом В. Столбова-переводчика. Он переводил стихи испанских и латиноамериканских поэтов, донес до русского читателя высокую простоту лирики Марти, ораторскую мощь Леона Фелипе, изысканные фантазии и бурные порывы Дарио, скупое, исполненное мысли слово Мачадо, философскую лирику Неруды. Таков его переводческий диапазон.

Закономерно, что немалая часть книги — это рассказ о Марти и Дарио. Третьего крупнейшего поэта Латинской Америки — Сесара Вальехо — он почти не переводил. Этот поэт легко западает в душу, но читается трудно, а переводится еще трудней. Приняв его в сердце, Столбов на протяжении долгих лет возвращался к нему, пропагандировал его. В книге есть такой штрих: «Порой человек его раздражает до ненависти, но он ненавидит его всегда с нежностью» — и страстный, нервный гуманизм Вальехо предстает во всей характерности. Но, видимо, В. Столбову по складу его дарования всегда необходимо собственное переводческое соприкосновение с живой плотью стиха, и недостаток такого контакта в случае с Вальехо все же сказывается. Досадно почти рядом с тонким наблюдением насчет того, что «в поэзии Вальехо есть нечто чаплинское», читать: в его поэзии «есть свой ад — капиталистическое общество и свой рай — социализм». Вальехо был далек от подобной однозначности. Действительно, наивный взгляд на социализм как на «царство божие» встречался среди левых западных интеллектуалов на рубеже 20—30-х годов. Но именно Вальехо не раз страстно предостерегал против подобных мечтаний о праздничном, подурмяненном социализме. Такое «повсеместное бесперебойное веселье», — писал он, — окажется величайшим несчастьем для человечества». Для Вальехо жизнь человека при социализме немислима без сострадания и уважения к личности.

Вернусь еще раз к переводческому опыту Столбова и назову лишь одну его работу (совместно с Н. Бутыриной) — «Сто лет одиночества». При том редкостном резо-

нансе, который имел этот роман в нашей стране и в наших литературах, кажется по меньшей мере странным, что никто из рассуждавших о нем и словом не обмолвился о переводе — словно роман так и вышел из-под пера Маркеса по-русски! Такое впечатление и впрямь может возникнуть — настолько естественна интонация, выверен стиль и богат словарь. Но те, кто испытал влияние Маркеса и осознал это, должны осознать и другое: в их прозе отозвались не только новации Маркеса, но и находки мастеров, воссоздавших его по-русски; так в свое время на формирование новой волны нашей прозы повлиял язык, найденный Р. Райт-Ковалевой в переводе «Над пропастью во ржи». «Сто лет одиночества» и литературы народов СССР — это огромная и пока едва затронутая тема, а ведь она и не возникла бы, не окажись перевод «Ста лет одиночества» фактом русской литературы.

Роману Маркеса посвящена одна из самых интересных глав книги. В ней нет ни историко-литературных гипотез, ни теоретической изощренности, то есть нет как раз того, что стало привычным в работах о Маркесе и что вызывает у Столбова почти инстинктивное недоверие. В чем-то это, наверно, сродни отношению самого Маркеса к теоретизированию вокруг его романа. Природа такого отношения понятна — странно видеть, как в созданном (воссозданном) тобой взгляд со стороны обнаруживает то, чего не было ни в материале, ни в замысле. И даже если результаты таких изысканий интересны (и, возможно, верны), неизбежно недоумение. Думается, это естественное отношение художника к теоретизированию вокруг созданного им. Об этом говорил и Ф. Гарсиа Лорка: «Я всегда удивляюсь, когда в моих произведениях обнаруживают «дерзновенный поэтический вымысел». Я ничего не придумываю. Все подробности точны, а необычными они кажутся потому что необычны по нынешним временам такая естественная — и редкостная — способность видеть и слышать».

Не превращая Маркеса в фантом «самобытности», не отчуждая его от возможных влияний, в том числе и кинематографических, Столбов последовательно разрушает «мифологию вокруг Маркеса», освобождая художника от литературных ярлыков, от ауры язычества, ветхозаветности и других наслоений комментаторской мысли. Отдав дань полемике, он рассказывает о том, что знает из первых рук, и лучше, чем кто-либо. Художественный перевод — это форма прочтения, и, вероятно, наиболее углуб-

ленного. Чтобы уловить и воссоздать прихотливую мелодию маркесовской прозы, переводчики должны были осознать роман полно и целостно, в каждой повествовательной подробности различая световую волну авторской мысли. На такое же целостное восприятие ориентирует читателя и Столбов-критик. Он настаивает на симфонизме «Ста лет одиночества», на «синтезе» (термин употреблен самим Маркесом) трагического, комического и лирического начал, слитых столь тесно, что невозможно определить, какое из них является главным или ведущим. Все же главным Столбов считает лирическую окраску романа — иными словами, его странную и несомненную поэзию. И далее поясняет природу этой странности. Речь идет о том, чем рождено круговое движение романа. В. Столбов выделяет несколько ведущих доминант.

Одна из них — духовно-психологическая: обреченность героев Маркеса в их обделенности любовью. Речь не о житейском одиночестве, а о какой-то фатальной для всего рода Буэндиа душевной неполноте, центростремительности их внутренней жизни. Любовь не только не перерастает их самих, поднимая за собой, но обычно и не дорастает до них, и чем ярче, цельней и даровитей натура, тем губительней эта душевная незаполненность, внутренняя отгороженность. Так растет и замыкается столетний круг человеческого оскудения. На глазах читателя рассыпается прахом жизнь, обещавшая полноту, и мысль уходит за пределы гибельного круга и самого романа. Авторская подсказка Маркеса осторожна — «одиночество, рассматриваемое как противоположность солидарности» (из интервью писателя).

Другая ведущая доминанта связана с эстетикой романа, тональностью этого симфонического единства. Голоса инструментов так многозвучны и ярки, что общая тональность, пожалуй, и вправду слышна лишь такому искусственному читателю, как сам переводчик, или неискушенному совсем. Этот организующий тон, считает Столбов, — «трагическая ирония», в просторечии именуемая «иронией судьбы», а в философии — «иронией истории». У нас и за рубежом о маркесовском смехе писали многие, и порой слегка им оглушенные. А между тем Маркес так полюбился в России, быть может, еще и потому, что его смех напомнил не раблезианский, а совсем другой и родной нам — гоголевский смех.

С иронией Маркеса, трагической при всех оттенках, связана и необычная поэзия его прозы. В. Столбов, обращаясь к авторите-

там, ссылается на формулу Т. Манна: «Иронический взгляд на жизнь, родственней... объективности и прямо совпадающий с понятием поэзии...», но мог бы сослаться и на Гейне: «Я больше не знаю, где кончается ирония и начинается небо».

В книге «Пути и жизни» вообще много цитат. Цитирование — вещь порой рискованная, но здесь риск оправдан. Не так уж часто в «Избранном» поэта находится место для его эссе, фрагментов из дневника, переписки, заметок, а ведь они рождены если

не тем же, то родственным творческим импульсом. Эта связь отчетливо и настойчиво выявляется в книге В. Столбова, эпиграфом к которой могли бы стать слова Антонио Мачадо: «Я начинаю верить, что художник должен любить жизнь и ненавидеть искусство. А это обратное тому, что я думал до сих пор». И сам ход мысли и эта фраза, как мне кажется, многое открывают и в тех писателях, о которых рассказано в книге, и в ее авторе.

Н. МАЛИНОВСКАЯ.



## ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

М. Туровская. На границе искусств. Брехт и кино. М. «Искусство». 1985. 255 стр.

**Н**овая книга М. Туровской, посвященная сложным теоретическим вопросам взаимоотношений театра и кинематографа, читается почти как авантюрный роман. Здесь есть все, что привлекает в такого рода беллетристике: хорошо закрученная интрига, острые повороты сюжета и, разумеется, герой, завладевающий нашим воображением.

Интригу образуют теоретические распри между театром и кино, их взаимные притязания на те или иные выразительные приемы. А герой, ссорящий и сближающий пограничные искусства, — Бертольт Брехт.

Очевидно, что кинематограф в свое время, развиваясь в условиях жестокой конкуренции с театром, многое позаимствовал у него: многое взял всего лишь напрокат, присвоил, а присвоив, трансформировал до неузнаваемости: мелодраматические сюжеты, манеру исполнения...

В свою очередь, невооруженным глазом видны следы влияния кино на театр — как прямые, так и косвенные. «Монтаж аттракционов», который был теоретически обоснован и практически применен в кино, затем экспортируется в театр. Принципы документализации, воплощенные в кино, затем используются в театре. На одном этапе (примерно в 20-е годы) становление киноязыка проходит под знаменем борьбы с театральной условностью. Театру в это время тоже есть с чем бороться — серьезную угрозу для себя он видит в фотографическом и кинематографическом иллюзионизме.

В послевоенные годы театр и кино вновь обнаруживают взаимную заинтересованность. В театре все чаще используются приемы, составляющие, казалось бы, неотъемлемую принадлежность системы кинематографических выразительных средств:

дробность эпизодов, крупные планы, изощренное акустическое оформление. Кино же позволяет себе откровенную условность, которую, казалось, навсегда монополизировал театр и которой прежде бежал, как чумы. Сегодня мы можем не без изумления говорить об абсолютной органичности, с одной стороны, кинофицированного театра, с другой — театрализованного кинематографа.

Ни фильм М. Захарова «Тот самый Мюнхгаузен», ни спектакль «Дядя Ваня» в постановке О. Ефремова не кажутся эстетическими кентаврами. Называю вещи характерные и известные широкому кругу советских читателей и зрителей. Но, разумеется, список легко продолжить. Назовем, впрочем, только один пример, стоящий многих, — одну из последних лент Ф. Феллини «Корабль плывет...», представляющую собой поразительный сплав чистой кинематографичности и явной театральности.

Театральная и кинематографическая эстетики сегодня переплелись настолько тесно, что кажутся частями единой эстетической системы, а вместе с тем остаются безоговорочно суверенными, автономными мирами.

Творческая биография Брехта и судьба его эстетического наследия, как это наглядно демонстрирует автор, замечательно выпукло «проявляют» кульминационные моменты и основные мотивы «сюжета» взаимоотношений пограничных искусств — театра и кино.

Парадоксальна уже сама смена творческих интересов Брехта. Как правило, в новое, набиравшее силу и авторитет искусство кино творческие кадры шли из театра. Крупнейший драматург XX века начал с кино (в книге приводятся и обстоятельно



анализируются первые сценарные опыты Брехта) и только позднее связал свою жизнь с театром, лишь изредка отвлекаясь для работы в кино, впрочем, так и не достигнув результатов, которые могли бы выдержать сравнение с его театральными успехами. Сразу же возникает ассоциация по контрасту с С. Эйзенштейном, который как раз начинал в театре, но затем перешел в кино.

Тогда как для Эйзенштейна, показывает М. Туровская, театр — лаборатория, где приготавливается и апробируется техника кинематографического анализа действительности (именно на сцене будущий кинорежиссер испытает эффект воздействия «монтажа аттракционов»), для Брехта кино — модель, пока что очень приблизительная, поэтики «неаристотелевского театра». Именно в сценарных опытах Брехта обнаруживаются следы усилий, направленных на создание знаменитого «эффекта очуждения» следы борьбы с традиционным психологизмом.

Эйзенштейн и Брехт разминулись логично. Доводы на этот счет М. Туровской столь же просты, сколь и глубоки. Брехт, приветствуя «аппараты» и «технофикацию» искусства, «остро ощущал опасности, которые они в себе таят». Одной из них была податливость, с которой аудитория технического зрелища превращалась в «потребителя», в сторону пассивную. Демократизм кино, столь высоко ценившийся Брехтом, имел изнанку, довольно быстро распознанную опять же Брехтом. Обратной стороной массовости кино была как бы обезличенность аудитории, ее анонимность.

Кино, особенно на первых порах, обострило до предела все те элементы аристотелевского театра, которые впоследствии Брехт столь категорично ревизует в своей собственной театральной практике. Например, принцип зрительского сопереживания с героем Кино трансформировало его в принцип «отождествления». Зритель как бы растворялся в экранном персонаже. Экранная тень захватывала всю полноту власти над человеком в зрительном зале — она похищала его индивидуальность. Вот что отвращало Брехта от кино если довериться авторской логике. А не довериться вряд ли возможно. Эта логика опирается на объективные факты истории кино и театра. Сегодня мы знаем, что противопоставил Эйзенштейн этому природному свойству кино — противопоставил поэтику воздействия, рычагом которой стал монтаж. Но и в этом случае зритель оказывался в довольно жесткой зависимости, но не от персонажа, а от самого автора.

Словом, зритель отождествлял себя либо с героем мелодраматического сюжета («традиционное кино»), либо с автором, творческая активность которого не оставляла места для собственного творчества.

Брехт, не стремясь управлять и руководить эмоциями зрителя, искал равноправного сотрудничества с ним. «Не только автор должен был быть производителем, но в какой-то мере и зритель, творящий вместе с ним» — так формулирует позицию Брехта М. Туровская.

Собственно, техника отчуждения затем и нужна, чтобы передать часть реальной власти над зрелищем зрителю и возложить на него долю творческой работы. Применить эту технику Брехт мог только в театре, но, как убедительно показано в книге, не только «в присутствии кино», но и с помощью кино.

Обстоятельно прослежено, в чем эта «помощь» выразилась. Прежде всего в том внимании к «тривиальным» жанрам, на которое Брехта как раз и спровоцировало кино. Детектив и всевозможные его разновидности, где доминируют не характеры и психологические мотивировки, но события, поставленные в жесткую причинно-следственную связь, дали Брехту надежный каркас для конструирования неаристотелевского зрелища. Ну а блестящим подтверждением плодотворности обращения Брехта к опыту «тривиальных» жанров стал триумф «Трехгрошовой оперы». Причем автор весьма убедительно показывает, что отличает брехтовское пользование приемами «низких жанров», фольклорным материалом от эксплуатации тех же ресурсов современной «массовой культурой».

Брехт выставил на обозрение то же, что обыкновенно предлагают производители ширпотреба: развлекательность, дешевую романтику, дешевую сентиментальность, подчас насилие. Но по мысли М. Туровской, своеобразие Брехта в том, что «все это было сопоставлено и взаимно очуждено, вывернуто механизмом наружу, продемонстрировано, прокомментировано, оркестровано и пропето в соответствии с законами жанра. И в полную противоположность им».

Столь же диалектичен и сценический документализм Брехта. Он явно навеян документальной природой кино. И он, естественно, входит в состав неаристотелевского зрелища, поскольку необходим для «взгляда извне». Не случайно на страницах книги уделено столь значительное внимание документальному кино, его исконным свойствам и проникновению эстетики доку-

ментализма в художественный кинематограф. Это важно для понимания специфики претворения документальной эстетики на сцене. Документализм вступает в конфликтное соединение с канонами недокументальных жанров и служит элементом, их остраивающим.

Но вот Брехт, завершив то, что М. Туровская называет «кинофикацией театра», может как будто бы без особых проблем вернуть свои театральные шедевры кинематографу, которому они обязаны своей новизной и своей действительностью. «Вернуть», однако, не удастся — и не только по техническим причинам, но и по причинам эстетического порядка, рассмотрение которых позволяет автору книги выявить в отчетливой наглядности коренные противоречия между эстетиками театра и кино.

Самые поучительные примеры — неудавшиеся экранизации «Трехгрошовой оперы» и «Мамаши Кураж». В первом случае камнем преткновения стала необычайно динамичная и эластичная поэтика брехтовской пьесы, предполагавшая чрезвычайно подвижную связь с публикой. «Уже «Шиска» (сценарий, написанный самим Брехтом по своей пьесе), — замечает М. Туровская, — представляет собою гораздо более жесткую, дидактическую конструкцию. Жанровая структура «Трехгрошовой оперы», где искомый контакт и сотворчество с залом были впервые достигнуты новыми средствами, оказалась разрушена».

Во втором случае непреодолимой преградой на пути к экранизации (притом авторской экранизации) оказалась, как это ни парадоксально, абсолютная кинематографичность пьесы. Туровская убедительно разъясняет и этот парадокс. Все кинематографические элементы — монтажность и документальность — на сцене обнаруживают обновленную условность, которая «работает» в театральном зрелище иначе, нежели на экране. Она «работала» на создание притчевой структуры зрелища. Кинематограф же неизбежно подталкивал к «„декинофикации“ кинофицированной структуры». Брехт, утверждает М. Туровская, попытался пройти «с к в о з ь непрерывность экранного физического бытия», но при этом оказалось, что он безнадежно утрачивает «позицию над ним». А это как раз и означало спрямление смысла спектакля и пьесы.

Неудача экранизации «Мамаши Кураж»

подтвердила значимость границы между смежными и к тому же тесно сотрудничающими искусствами. Переходить ее в ряде случаев небезопасно.

В книге рассмотрены и опосредованные пути сотрудничества кинематографа с театром. Убедительно показана его плодотворность, знаком которой стало бурное «вторжение брехтовских принципов в кино». Здесь следует пронизательное замечание автора о «саморефлексии» искусства экрана, то есть о способности кинематографа сделать свою форму объектом собственного видения. «Саморефлексия кино», в свою очередь, служит благодатной почвой для «брехтианской аналитичности», для знаменитого эффекта очуждения.

Действительно, брехтовский эффект очуждения многое объясняет в том интенсивном процессе театрализации кино, которому в самом конце книги автор уделяет весьма пристальное внимание.

Становится понятным парадокс упомянутого фильма Ф. Феллини «Корабль плывет...», кажущегося столь же кинематографичным, сколь и театральным. Здесь как раз удалось то, на чем осекся Брехт, — пройти сквозь непрерывность экранного бытия, не утратив позиции над ним. Смысл фильма описывает ту самую «притчевую параболу», к которой так стремился Брехт и которая ему не удавалась в кино.

...Книга тем и значительна, что она не просто освещает прежде малоизученную сферу художественной практики известного художника, она дает методологический ключ к пониманию тех явлений, которые порождены сегодняшним днем, тех процессов, которые будут иметь продолжение в дне завтрашнем.

«Разумеется, ничто не останавливается, — пишет поближе к концу своего исследования М. Туровская, — и точка, которую мы ставим сегодня, уже завтра окажется запятой в движении кинопроцесса».

После того как автором была поставлена точка, начались съемки телефильма по пьесе Брехта «Мамаша Кураж».

Брехтовским принципам предстояла проверка телекамерой.

И телевидению — брехтовскими принципами.

Как бы там ни было, точка, поставленная в книге, на наших глазах трансформируется в запятую.

Ю. БОГОМОЛОВ.



Политика и наука

## НОВЫЙ ВКЛАД В ЛЕНИНИАДУ

Ленинский сборник XI. М. Политиздат. 1985. 511 стр.

Отечественное лениноведение располагает 55 томами Полного собрания сочинений В. И. Ленина, 39 «Ленинскими сборниками», 12 томами издания «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника» (в каждом томе хроники — от 300 до 800 новых ленинских документов). Прибавьте к этому «Хронологический указатель произведений В. И. Ленина» в трех томах и продолжающую выходить много томную библиографическую «Лениниану», и вы представите себе, каким богатством литературного наследия Владимира Ильича, сколь обильной литературой о нем мы обладаем.

Тем с большим интересом и вниманием встречен выход в свет сорокового «Ленинского сборника». В самом деле: еще 116 документов! В свое время ЦК РКП(б) обратился к архивам учреждений, ко всем членам партии и беспартийным, имеющим записки, письма, заметки В. И. Ленина, а также документы с его надписями, резолюциями и пометками, с просьбой передать их в только создававшийся тогда Институт В. И. Ленина. В обращении, опубликованном в «Правде» 8 июля 1923 года, указывалось: «Члены РКП не должны забывать того, что всякий маленький обрывок бумаги, где имеется надпись или пометка В. И. Ленина, может составить огромный вклад в изучение личности и деятельности вождя мировой революции и поможет уяснить задачи и трудности, стоящие на том пути, по которому мы идем, руководимые В. И. Лениным».

За полтора года в Институт В. И. Ленина поступило 3300 документов от 50 учреждений и 97 лиц. Н. К. Крупская одной из первых передала Институту весь личный архив Владимира Ильича.

В сороковой «Ленинский сборник» вошли документы за период с 1888 по 1922 год. Это письма, записки, телеграммы, библиографические записи, пометки, замечания на книгах, журналах и газетах. Ленинские маргиналии составляют большую часть сборника. Они важны не только для историка, но и для психолога, писателя, для каждого, кто задался целью проникнуть во внутренний мир, в творческую лабораторию Владимира Ильича.

«О диапазоне его знаний наглядно свидетельствуют и его богатейшее неопценное литературное наследство, и те заметки, которые оставлены им на полях громадного

количества прочитанных им книг,— писал о Ленине Г. М. Кржижановский.— ...Читая книгу, прошедшую через его руки, невольно становишься на его точку зрения: так метко расставлены его подчеркивания, его восклицательные и вопросительные знаки, это выразительное ленинское «гм, гм...», и вам сразу становится ясным ход ленинских мыслей».

«Колоссальная сосредоточенность» — так, отвечая на анкету Института мозга в 1935 году, определила Крупская одну из характернейших черт ленинского облика, имеющую прямое отношение к процессу чтения. Показателен эпизод, рассказанный Надеждой Константиновной. Летом 1918 года в кремлевском кабинете В. И. Ленина собрались члены ЦК, наркомы, военные. Положение напряженное, разговор взволнованный. А Владимир Ильич сидит в стороне, уткнувшись в книжку. Когда его оторвали, он сказал: «Вот, надо было посоветоваться с Марксом...»

Чтение не только процесс получения информации, чтение — труд, и нелегкий. Читать «вообще» — мало проку, говаривал, по свидетельству Крупской, Владимир Ильич. У него был свой термин: вчитаться. Это означало целиком овладеть материалом, текстом книги, ее строением, манерой изложения. Так дирижер овладевает партитурой оперы или симфонии. Требуется предельная внимательность, способность безраздельно отдаваться процессу чтения, чтобы ничто не мешало усвоить прочитанное раз и навсегда.

Около девятисот книг, журналов, газет ленинской библиотеки в Кремле хранят пометы, которые делал Владимир Ильич. Значительную часть сорокового «Ленинского сборника» составляют ленинские пометы на произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса, прежде всего на первом томе «Капитала» и на страницах переписки основоположников научного коммунизма. Остановимся на нескольких примерах.

В 1920 году в Берлине к столетию со дня рождения Ф. Энгельса был издан сборник отрывков из его неопубликованных писем, озаглавленный «Политическое завещание». Владимир Ильич тотчас ознакомился с новой книгой. На обложке его рукой помечено, что особое внимание надо обратить на письмо Ф. Энгельса А. Бебелю от 11—12 декабря 1884 года. Говоря о перспективах развития социальной революции, Эн-

гельс рассматривал в теоретическом плане тот факт, что в острый, кризисный момент самая левая, радикальная часть буржуазии поднимет за собой под лозунгом «чистой демократии» большинство нации против ее революционного авангарда. «Все, что было реакционным,— писал он Бебелю,— надеется тогда демократическую маску». Ленин зачитал выдержки из письма Ф. Энгельса к А. Бебелю в конце своего «Доклада о тактике РКП» на III конгрессе Коминтерна 5 июля 1921 года. И снова вернулся к этому письму в статье «О значении золота теперь и после полной победы социализма», написанной 5 ноября 1921 года.

В мае 1920 года Ленин, читая книгу Бухарина «Экономика переходного периода», оставил на ее страницах множество пометок карандашом. В сороковом «Ленинском сборнике» эти пометы, впервые опубликованные в 1929 году, воспроизводятся вторично. «Игра в дефиниции», «игра в аналогии»,— пишет Ленин по поводу различных формулировок Бухарина. Наткнувшись на определение «капитализм есть антагонистическая, противоречивая система», он оставляет на полях запись: «Архинеточно. Антагонизм и противоречие совсем не одно и то же. Первое исчезнет, второе останется при социализме». По поводу определения Бухариным вои́н Владимир Ильич высказывается еще резче: «Полная путаница, простирающаяся от чрезмерной любви автора упражняться в игре понятиями, выдавая это за „социологию“».

Там, где Бухарин, характеризуя капиталистическое производство как производство ради прибыли, противопоставляет ему социалистическое производство, цель которого — удовлетворение общественных потребностей, Ленин замечает: «Не вышло.

Прибыль тоже удовлетворяет «общ[ест]-в[енные]» потребности. Надо было сказать: где *приб[авочный] продукт* идет не классу собственников, а всем трудящимся и только им». Из ленинских слов следует, что важно не то, используются ли при удовлетворении общественных потребностей стоимостные категории или нет, а то, в чьих интересах осуществляется производство и распределение. Прибыль является, по выражению К. Маркса, «предметом страсти» капиталиста. В социалистическом обществе она служит самим производителям.

20 мая 1922 года Ленин запрашивает литературу, которую ему должны были прислать из Петрограда, в том числе сборник «Утренники». Почему он заинтересовал Владимира Ильича? Потому что в нем была опубликована речь Пителима Сорокина, произнесенная им 21 февраля того же года на праздновании 103-й годовщины Петроградского университета. Получив книгу, Ленин сделал на ее страницах несколько пометок. Подчеркнуто «откровение» Пителима Сорокина: «Наше отечество лежит в развалинах». Знаком нотабене и подчеркиванием помечены слова Сорокина о героях, которым надлежит, по его мнению, следовать молодежи: «Я бы взял в качестве таковых таких лиц, как Нил Сорский, Сергей Радонежский — носители идеала старца Зосимы...» И эта проповедь была обращена к молодежи начала 20-х годов, едва успевшей отвоевать на фронтах гражданской войны и уже берущейся за невиданное по своему размаху строительство социалистического будущего!..

Новое слово В. И. Ленина входит в нашу жизнь.

**Ю. ШАРАПОВ,**  
доктор исторических наук.



## РЕВОЛЮЦИЯ, ЛИЧНОСТЬ, БЛАНКИЗМ

Николай Молчанов. Огюст Бланки. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1984. 416 стр.

Глубокий анализ современной политической борьбы немислим без обращения к ее корням и истокам. Чтобы разобраться в сути нынешних процессов в мире, которые так похожи и так разительно не похожи на происходившее давным-давно, необходимо знать историю социалистического движения.

Книга профессора Н. Молчанова интересна прежде всего тем, что автор не просто описывает жизнь революционера, но воссоздает важный период в истории Франции: от Великой буржуазной революции

конца XVIII века до Парижской коммуны и образования Социалистической партии Франции. Партии, наследниками которой, по-разному трактуя свои наследственные права и обязанности, называют себя и нынешние французские социалисты и героническая партия французских коммунистов, стоящая на позициях марксизма-ленинизма.

К. Маркс считал Огюста Бланки вождем революционного пролетариата Франции, его умом и сердцем. Девятнадцатилетним Бланки становится на путь революционной борьбы и вступает в тайное

общество карбонариев. Вскоре он получает первое ранение в бою на баррикадах, а в июле 1830 года с оружием в руках участвует в революции, свергнувшей власть Бурбонов. Победа — не в первый и не в последний раз — была украдена у народа, власть перешла в руки нового короля Луи Филиппа, опиравшегося на банкиров и буржуазию. Бланки сразу выступил против нового режима, стал одним из самых решительных руководителей революционного общества «Друзья народа». В 1834 году, после разгрома этой организации, он создает тайное «Общество семей» и активно готовит новую революцию. Однако созданная им подпольная мастерская по производству пороха раскрыта полицией, и за участие в «пороховом заговоре» Бланки заключен в тюрьму Фонтевро. Выйдя из тюрьмы в 1838 году, он без промедления организует «Общество времен года» и готовит антиправительственный заговор. 12 мая 1839 года Бланки возглавляет вооруженное восстание. Восстание терпит поражение, а его руководителя приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в злойшей тюрьме на острове Мон-Сен-Мишель. Он пытается бежать оттуда с группой товарищей, но терпит неудачу. Жестокие тяготы заключения едва не доводят Бланки до гибели. Только февральская революция 1848 года позволяет ему вновь активно включиться в борьбу во главе наиболее левых, пролетарски настроенных революционеров. Реакция в страхе перед Бланки идет на подлую провокацию, пытаюсь скомпрометировать его в глазах революционеров. По ложному обвинению его снова надолго заключают в тюрьму, теперь уже на острове Бель-Иль. Он снова пытается бежать, но предатель выдает Бланки и его товарища... Только в 1859 году, после одиннадцати лет заключения, Бланки выходит на свободу и не колеблясь вновь безраздельно отдается делу организации революции. Новый арест, новый суд, новая тюрьма. В августе 1865 года он бежит из тюрьмы (на этот раз удачно) и организует революционную партию, которую готовит к вооруженному восстанию против монархии Луи Бонапарта. В августе 1870 года бланкисты во главе со своим вождем совершают вооруженное нападение на казарму Ла Виллет. Но опять заговорщическая тактика без связей с народом обрекает Бланки на провал.

Революция в сентябре 1870 года открывает перед Бланки новые возможности. И он действует. Дело идет к Парижской коммуне... Накануне ее победы Бланки

арестован, а затем заточен в крепость на острове Торо. Сражающаяся в это время в Париже коммуна избирает Бланки своим почетным председателем.

Коммуна потоплена в крови, Бланки вновь приговаривают к пожизненному заключению. Не много ли для одного пусть и сильного духом, но слабого здоровьем человека? Только в 1879 году под давлением массового движения в защиту Бланки власти вынуждены его освободить. Теперь Бланки — признанный вождь, его имя стало символом революции. И хотя он уже стар — время его не пощадило, силы окончательно подорваны тяжкими испытаниями, — революционная страсть в этом человеке неукротима, и он борется до последнего дыхания...

В книге Н. Молчанова наряду с переосмыслением того, что уже было известно, приведено множество новых, никогда еще у нас в стране не публиковавшихся данных, документов, материалов. Советский читатель впервые знакомится, например, с отрывками из письма П. Лафарга от 12 июня 1879 года, в котором Маркс и Энгельс передавали приглашение Бланки, только что освобожденному из тюрьмы в Клерво, приехать в Лондон для личной встречи и переговоров в связи с основанием марксистской рабочей партии во Франции. Этот штрих чрезвычайно важен не только для понимания отношения основоположников научного социализма к Бланки. Он проливает новый свет на роль самого Бланки в международном рабочем движении тех времен.

Политические и философские взгляды Бланки даны в книге в сплаве, в органической связи с конкретными биографическими событиями и жизненными ситуациями. Он предстает перед читателем живым человеком, со всеми сложностями, противоречиями его характера, обусловленными противоречивостью эпохи. Н. Молчанову свойственно не обходить острые углы при описании той или иной исторической личности. О несомненных отрицательных чертах, об идейных блужданиях Бланки он пишет честно, прямо, не опасаясь эффекта дегероизации. Автору удается глубокий психологический анализ личности знаменитого революционера: незаурядная воля, сверхэмоциональность под маской сдержанности и хладнокровия, самоотверженность аскета, способность добиваться цели, презрев любую опасность, поднявшись над самым невыносимым страданием. Этому подчинено почти всегда и отношение Бланки к окружающим его людям, к кото-

рым он подчас и равнодушен и суров, несмотря на свою крайнюю чувствительность. С одной стороны, взаимоотношения Бланки с женой Амелией, с другой — с его личным и идейным врагом А. Барбесом позволяют Н. Молчанову показать сложность нравственного облика героя, в котором сочетались и боролись слабость и необыкновенное мужество. Все это находило отражение, так или иначе преломлялось в его общественной деятельности, в революционной тактике,— скажем, в непреодолимой неспособности заключать союзы, действовать совместно с революционерами других взглядов и направлений.

Автор всесторонне выявляет связи идейно-теоретических взглядов Бланки с различными течениями домарксистской социалистической мысли во Франции, особенно с французским утопическим социализмом. Уточняя взаимоотношения Бланки с утопистами, историк не соглашается с бытующим до сих пор мнением, что Бланки был их бездумным последователем. Дело обстояло гораздо сложнее.

В соответствии со взглядами Маркса, Энгельса и Ленина Н. Молчанов разоблачает слабость и несостоятельность бланкистской тактики. Он доказывает, что революционное мировоззрение Бланки сформировалось в первой половине XIX века и затем уже не изменялось в соответствии с требованиями новой, бурно и стремительно развивавшейся эпохи, оставаясь эклектичным. Бланки «жил и боролся в эпоху, когда рабочий класс Франции оставался по преимуществу классом рабочих-ремесленников. Этот объективный факт и предопределил ограниченность мировоззрения Бланки, неэффективность его практической деятельности. В заговоре он видел единственный способ борьбы при полной невозможности легальной деятельности. Альтернативой заговорщической тактике служило только бездействие. Когда же появилась возможность бороться легально, то Бланки нетерпеливо искал другие методы...

Бланки неотделим от своего времени. К началу нашего века бланкизм в основном сохранил лишь историческую, а не практическую ценность. Но осталось нечто такое, что всегда будет иметь ценность абсолютную, непреходящую. Это целеустремленная, героическая жизнь-эпопея Бланки, это сама его необыкновенная личность».

Искренние социалистические убеждения французского революционера складывались не в результате научного познания законов общественного развития, а как плод эмоционального и даже сентиментального восприятия окружающей его жизни. Однако в отношении неспособности Бланки воспринять марксизм Н. Молчанов высказывается крайне сдержанно и осторожно. Это в какой-то степени можно понять и объяснить самим характером книги. Ведь она носит не только исследовательский, но и популяризаторский в самом благородном смысле этого слова характер. И главным ощущением читателя все же остается симпатия, любовь, уважение к герою.

Можно только поражаться тому умению, с каким удалось автору вместить в историю жизни одного человека целое столетие французской истории, на протяжении которого сменились две империи, два королевства и две республики, произошел ряд революций... В этом отношении Н. Молчанов верен себе. Вспомните его книги о Жане Жоресе, о героях Парижской коммуны, о генерале Де Голле, о вышедшей незадолго до «Отста Бланки» «Дипломатии Петра Первого». Скрупулезный исследователь, он, подобно археологу, влюбленному в дело своей жизни и уверенному, что все находки и открытия впереди, вскрывает пласт за пластом эпоху, которая его влечет и волнует, находит то, мимо чего прошли предшественники, объясняет факты и заставляет их говорить, а не просто инвентаризует открытые сокровища.

**Виктор ЦЮПКИ.**



## В БИТВЕ ЗА КУЛЬТУРУ

**Алехо Карпентьер.** Мы искали и нашли себя. Художественная публицистика. М. «Прогресс». 1984. 415 стр.

**Николас Гильен.** Перелистывая страницы. Мемуары. М. «Прогресс». 1985. 334 стр.

**П**отомственный интеллигент, сын русской женщины (родственницы поэта К. Бальмонта) и француза-инженера, европеец не только по цвету кожи, но и по культурным

корням, и одаренный сын негра-ремесленника, ставшего впоследствии политическим деятелем. Алехо Карпентьера и **Николаса Гильена**, столь не похожих друг на друга

людей и писателей, сближает прежде всего жизненный путь. Почти ровесники, оба они, романист и поэт, уже в 20-х годах активно включились в политическую борьбу на Кубе. Оба подолгу жили и работали в эмиграции. В 30-х годах встали на защиту республиканской Испании. И Карпентьер и Гильен опубликовали сотни статей, эссе, обзоров и заметок в журналах и газетах многих стран, отдавая свой талант борьбе за свободу угнетенных народов, а после победы Кубинской революции стали в первые ряды строителей социализма в своей стране.

Вышедшие одна за другой в издательстве «Прогресс» книги А. Карпентьера и Н. Гильена впервые показывают советскому читателю еще одну, глубоко внутреннюю связь между этими выдающимися писателями XX века, которая выразилась в их отношении к публицистике.

Тонкий, глубокий знаток и ценитель искусства, друг и единомышленник крупнейших латиноамериканских художников-новаторов, Карпентьер считал журналистику неотъемлемой стороной своей творческой деятельности: «Можно было бы определить журналиста как работающего на горячем материале писателя, который идет по пятам события, каждодневно исследуя живое». А Гильен, как бы уточняя это определение применительно к себе, любил повторять: «Я журналист и кроме того — поэт. Для меня публицистика — это отдых, обращение к ней помогает мне сказать то, что я не могу выразить через поэзию, не говоря уж о том, что стиль многих моих стихов открыто публицистический».

Прошлое Латинской Америки, ее роль в мировой культуре — вот одна из важнейших историко-философских проблем, занимавших обоих кубинских писателей. В условиях нарастающей культурно-идеологической экспансии империалистических держав, стремящихся сбить накал освободительной борьбы народов «пылающего континента» и привить им, в особенности молодежи, буржуазную систему ценностей, обоснование и отстаивание этнокультурной самобытности Латинской Америки стало задачей всей прогрессивной интеллигенции этого региона.

Из теоретических положений А. Карпентьера, тесно связанных с проблематикой его литературного творчества, два особенно важны для понимания искусства Латинской Америки.

Первое — «чудесная реальность» континента, связанная с природными условиями этих земель, спецификой этнического состава населения и, главное, историческими

судьбами латиноамериканских народов. Интересно приведенное Карпентьером в книге высказывание одного из европейских первооткрывателей Америки Эрнана Кортеса: «Я не знаю, как назвать эти вещи, и поэтому не называю их». Сам Карпентьер пишет: «На каждом шагу я открывал чудесную реальность. И в то же время мне думалось, что чудесная реальность во всей ее жизненности и жизнеспособности (разрядка моя.— В. Х.) ...является достоянием Америки вообще... Чудесная реальность вторгается на каждом шагу в жизнь людей, вписавших страницы в историю Латинской Америки... Что такое вся история Латинской Америки, как не хроника реального мира чудес?» Из других высказываний писателя видно, однако, что реальность Латинской Америки является поистине чудесной не сама по себе, а лишь преломляясь в народном мифотворчестве, в сознании больших художников, что особенно ярко сказалось в новом романе Латинской Америки, одним из пионеров которого был сам Карпентьер.

И второе — барочность как проявление чудесной реальности: буйство форм, пластика, музыкальность, яркость, карнавальность — и иррационализм, мистика, внутренняя противоречивость. Барокко понимается писателем не как стиль или, скорее, не только как стиль, а прежде всего как специфический историко-культурный феномен, система мировосприятия и отражения действительности в искусстве. Барочность искусства Латинской Америки обусловлена и природой, и противоречивой и динамичной социально-политической жизнью «пылающего континента», и богатством его этнической структуры, в которую вошли европейцы, индейцы, негры, выходцы из стран Азии и Океании.

Соглашаясь с определением испанского искусствоведа Э. Д'Орса, что барокко — своеобразный творческий импульс, циклично повторяющийся на протяжении всей истории искусства в любых его проявлениях, Карпентьер широко использует это понятие для раскрытия содержания чудесной реальности Латинской Америки: «Наш мир барочен и в архитектуре... и благодаря роскоши природы: причудливо переплетенной растительности, ее многоцветности и яркости, благодаря еще живой пульсации земных недр, которой подвержен наш континент». Он пишет о «барочном образе мышления, обязанном своим возникновением среде, где барокко присутствует во всем: и в старинной кубинской колониальной архитектуре, и в музыке, постоянно обновляющейся, и

даже в растительности, пышность, обилие, разнообразие форм и цветное богатство которой запечатлены на многих полотнах».

Говоря, по сути, о том же, Гильен высказывается так: «...жизнь нашего континента — это нечто вроде крика новорожденного в сравнении с почтенными камнями, на которых зиждется в целом европейская культура».

Латиноамериканские культурологи, стоящие на буржуазных и реформистских позициях, много и в целом справедливо пишущие о сплавлении индейской, европейской, а в ряде стран континента и негритянской культур, нередко обходят тот бесспорный факт, что исторически процесс этот не был мирным и безболезненным, он происходил в условиях жесточайшего угнетения, а во многих странах, включая Кубу, и геноцида. Колониальное иго и социальное неравенство усугублялись расовой дискриминацией. Гильен испытал ее с ранних лет и так же, как его отец, участвовал в борьбе за равноправие негров и других народов, населяющих Латинскую Америку. В своих мемуарах он неоднократно подчеркивает, что расовая проблема была решена на Кубе только с победой революции. Однако для Гильена это не только социальная, но и творческая проблема. Еще в 30-е годы он говорил о своих произведениях: «Это стихи-мулаты. Они родились, быть может, из тех же элементов, что входят в этнический состав Кубы... Я считаю, что без негритянского элемента не может у нас быть настоящей кубинской поэзии — это метисский дух».

Общим для Гильена и Карпентьера является восходящий к С. Боливару и Х. Марти взгляд на Латинскую Америку как на единое целое, осознание населяющих ее народов как своеобразной сверхнации. Бывая в разных странах континента, писатели нигде не чувствовали себя на чужбине, везде находили друзей и единомышленников. Гильен пишет: «Путешествовал я не как в меру любопытствующий турист, а как человек, который жаждет увидеть и познать сложный мир, называемый Латинской Америкой». А в другом месте, рассказывая о симпатии, которую при первом знакомстве вызвал у него колумбийский поэт Х. Артель, замечает: «В конце концов, все страны Карибского бассейна заселены не знающими друг друга родственниками», — имея в виду прежде всего потомков негров-рабов. Вслед за передовыми латиноамериканскими мыслителями XIX века оба писателя часто говорят «наша Америка», отделяя страны Латинской Америки от ее северного соседа.

В то же время Карпентьер и Гильен далеки от националистических взглядов, доходящих у некоторых представителей буржуазной интеллигенции Латинской Америки до проповеди реакционной утопии изоляционизма.

Размышления о национальном и интернациональном, традициях и новаторстве в культуре, о роли творческой личности пронизывают все статьи Карпентьера, посвященные тому или иному художнику или явлению искусства. В его книге собраны глубокие, тонкие, подчас прогностические работы о П. Пикассо, Д. Ривере и Х. К. Орско, Ч. Чаплине и Р. Десносе. В них Карпентьер выступает как принципиальный интернационалист, борющийся против прямолинейного этнографизма и стилизации («Увлечение экзотикой — болезнь, слишком часто поражающая деятелей искусства нашей Америки»), против «духа подражательства». В пору, когда в среде модернистов распространились идеи «заката» и дегуманизации культуры, а многие латиноамериканские деятели искусства подхватили лозунг «заката Европы», писатель продолжал твердо верить в неизбежность и творческую состоятельность реалистических традиций: «Весьма маловероятно, чтобы от Рио-Гранде до Магелланова пролива молодой художник всерьез решил бы заняться чистым или дегуманизированным искусством».

Карпентьер и Гильен бывали в Советском Союзе, имели много друзей среди советских писателей и деятелей культуры. Карпентьер пишет о Маяковском, Эйзенштейне, Пудовкине, Вс. Иванове. Гильен с особой признательностью вспоминает об И. Эренбурге, о его «страстном, активном интересе к литературному миру Латинской Америки. Его истинными близкими друзьями были Жоржи Амаду, Неруда, Варела, Маринельо... Он как свои пять пальцев знал творчество этих писателей и спрашивал их о планах. Он всегда незамедлительно рекомендовал читателю своей страны все, что считал новым и интересным в нашем искусстве... Всякий, кто приезжал в Москву из наших стран и навещал Эренбурга, неизменно встречал в нем понимание и теплый прием».

Сегодняшнему читателю, пожалуй, особенно интересны статьи Карпентьера о русской культуре начала XX века. Писатель приоткрывает неизвестные страницы, рассказывает о том, что было пережито им самим, чему он стал свидетелем. Поучительны его статьи об И. Стравинском, Л. Баксте, о дягилевской труппе русского балета и ее эволюции за рубежом, об Анне Павловой, воспоминания о путешествии в детстве в Россию.



Но как бы ни волновали Гильена и Карпентьера судьбы культуры Латинской Америки и всего мира, для обоих важнее всего перспективы социального и культурного развития Кубы, неотделимые от истории континента. Гильен рассказывает о ликовании в Буэнос-Айресе по случаю свержения диктатуры Батисты: «Кто-то стоявший рядом со мной заметил: «Прямо как аргентинский праздник». Я ответил ему: «А разве это не так?»

Зрелыми, всемирно признанными писателями приветствовали Карпентьер и Гильен победу Кубинской революции. Это событие положило начало новому этапу их общественной деятельности. Карпентьер стал видным деятелем культуры республики; Гильен бесценно возглавляет Союз писателей и деятелей искусства Кубы. Новый импульс получило и их литературное творчество. Как сказал Карпентьер в день своего семидесятилетия, «для кубинского писателя закончилось время одиночества».

Слова и мысли А. Карпентьера и Н. Гильена служат народу Кубы и другим народам Латинской Америки, помогают им отстаивать

свою культурную самостоятельность, создавать новое революционное искусство. «...События, ожидающие нас в будущем, найдут в нашем лице, в лице писателей Латинской Америки, свидетелей, летописцев и толкователей нашей великой латиноамериканской действительности,— писал Карпентьер в программной статье «Барочность и чудесная реальность».— Мы готовились, мы изучали наших классиков, наших писателей, нашу историю для того, чтобы выразить время нашей Америки, мы искали и нашли себя, нашу зрелость. Мы станем классиками огромного барочного мира, еще таящего для нас и для других стран самые небывалые неожиданности».

В заключение хотелось бы поблагодарить издательство, переводчиков и комментаторов, редактора Т. В. Чугунову, авторов предисловий В. Б. Земскова и Л. М. Бурмистрову за любовно сделанные книги, которые знакомят нас с недостаточно известной в Советском Союзе стороной творчества Карпентьера и Гильена.

**В. ХАЙТ,**  
*кандидат искусствоведения.*



## КОРОТКО О КНИГАХ



**ДАНИИЛ ГРАНИН. Выбор цели. Публицистика. Проза. Л. «Советский писатель». 1986. 397 стр.**

Произведения, вошедшие в новый сборник Даниила Гранина, — лишь малая часть созданного им за сорок лет работы в литературе. Восемь лаконичных зарисовок (семь из них датированы 1984 и 1985 годами) составляют раздел публицистики. Четыре хорошо известных советскому, да и не только советскому, читателю повести — «Выбор цели», «Примечания к путеводителю», «Сад камней» и «Месяц вверх ногами» — представляют прозу.

Буквально с первых произведений Гранина, созданных еще в 40-е годы, — рассказа «День второй» и повести «Спор через океан» («Победа инженера Корсакова») — стало ясно: в советскую литературу пришел писатель, не боящийся смело ставить и решать острые, животрепещущие вопросы. Шли годы, росло мастерство художника, и одновременно все отчетливее складывалась авторская позиция: будущее — за героем социально активным, за людьми, чье жизненное поведение основывается на законах высокой коммунистической нравственности.

Как показатель духовного богатства любимых гранинских героев, как пример их борьбы за то, чтобы слово не расходилось с делом, воспринимаются и в наши дни принципиальные споры персонажей романа «Искатели» и противостояние Крылова и Тулина в романе «Иду на грозу». В этом же смысл каждодневного подвига всей жизни Александра Александровича Любищева («Эта странная жизнь») и душевного взлета солдата ленинской партии Клавдии Вилор из одноименной повести. Единственно возможный, позволяющий сохранить себя как личность выбор делают в трудной борьбе с соблазнами легкого успеха герои повестей «Кто-то должен» и «Однофамилец»...

Все та же центральная гранинская тема отчетливо встает и со страниц рецензируемого сборника. С тем отличием, что решается она в основном не столько в столкновении жизненных взглядов литературных персонажей-антиподов, сколько в страстных, откровенно публицистических размышлениях, сопоставлениях, выводах, к которым приходит непосредственно автор.

Невозможно равнодушно читать близкие сегодня любому слова о том, что в наш ядерный век художник, который спешит

забыть уроки минувшей войны и гонит от себя прочь мысль об общей ответственности жителей планеты Земля за будущее всей цивилизации, утрачивает моральное право считать себя выразителем дум поколения (очерки «Право на жизнь», «Показания свидетелей», «В ответ на Ваше письмо...», «Два вечера»)

Путевые зарисовки второго раздела сборника — «Примечания к путеводителю» (английские впечатления), «Сад камней» (документальный очерк о Стране восходящего солнца) и «Месяц вверх ногами» (о поездке в Австралию) — написаны, естественно, в ином ключе. Но и здесь очевидны активность жизненной позиции автора, стремление избежать, по его собственным словам, «искуса простого описательства», желание докопаться до глубинного смысла увиденного. «Я описывал то, что было со мною, то, что я почувствовал, то, каким я был», — говорил позже Гранин. Честность и непредвзятость писательского взгляда позволили с самого начала отрешиться от трафаретных (на уровне туристских путеводителей) представлений о чужой стране, они же побуждают художника, с уважением относящегося к культуре, обычаям, нравам других народов, постоянно сравнивать увиденное с хорошо знакомым по жизни на родине.

Когда-то Лев Толстой заметил: «...цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое... есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету».

Целеустремленность художнического поиска, осознанного «выбора цели» — такова определяющая черта и новой книги Д. Гранина.

**А. Старков.**



**ВАДИМ КОВДА. Житель. Лирика. М. «Молодая гвардия». 1984. 95 стр.**

**ВАДИМ КОВДА. Стихи. В кн.: «Юность». Избранное. 1955—1985. В двух томах. Т. 1. М. «Правда». 1985.**

Вадим Ковда закончил механико-математический факультет МГУ, работал в одном из институтов Академии наук СССР. Коллеги прочли ему успехи в науке. А он ушел из НИИ, поступил на операторский факультет ВГИКа, стал кинооператором.

И все же окончательно его творческое призвание определилось позже: то была не наука, не искусство кино, а поэзия, стихи, которые он начал писать с 1961 года. Через десять лет вышла в свет первая книга «Будни». Молодого поэта заметили и поддержали Борис Слуцкий, Давид Самойлов и другие.

Для поэзии Вадима Ковды характерна истинная любовь к родной земле и ее людям, неустанный порыв выразить их красоту, даже при трагических обстоятельствах. Свое поэтическое слово Вадим Ковда поставил на служение именно этим целям, и когда он в одном из стихотворений новой книги пишет: «Солнце. Тропа. Подорожник. Даль. Переливчатый свет... Жалко, что я не художник. Может, еще не поэт», — то мы понимаем, что это — высокая требовательность к себе и поэзии вообще.

Именно в поэзии Вадиму Ковде очень пригодилось все, чем он увлекался: четкость математического мышления, умение найти выразительные ракурсы, сочетания света и тени, ближние и дальние планы, необходимые в работе кинооператора.

В стихах о русской глубинке, о Севере, о Средней Азии, Грузии Вадим Ковда находит свои краски и образы. Но главное для него — это душа человека. И о чем бы поэт ни писал, «русские» его стихи, естественно, как и должно быть в поэзии, выходят за географические рамки, становятся общезначимыми, следуя устойчивой традиции отечественной словесности: «Это мало: томиться и тлеть. И ничто: если ум, да меньше... В небо взмыть, и упасть, и сгореть — для российского стихотворенья»

Открытость, искренность всегда подкупают. И в человеке и в поэзии. Стихи В. Ковды откровенны, часто романтически приподняты, что тоже результат прямого, честного взгляда на жизнь.

Судьба моя, не бойся бездорожья!  
Укоренись, естественность моя.  
Вот лист дрожит ветхозаветной дрожью  
от чистого восторга бытия.

И разум пусть не ищет оправданья —  
ему не все проведать суждено...  
Пускай дождями плачет мирозданье,  
пусть солнцем улыбается оно.

Г. Федоров.



**АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.** Армения. Очерк, письма, воспоминания. Ереван. «Советакан грох». 1985. 206 стр.

«То — Арагат.

Смотришь, — кажется: вылезло что-то огромное, все переросшее — до ненормальности вдруг отчеканясь главою своей; всех зубцов оно дальше, и все же — громадней; а тело, в мутнящемся воздухе, странное и разлетанное, — призрак, распахнутый бледными линиями; и растет впечатление, что голова, отделившись от тела, является белой планетой, которой судьба — обвалиться или в небо уйти навсегда, унося времена патриархов...»

Да, это автор «Петербурга», его узнаваемый слог. «СобираТЕЛЬ пространства», Андрей Белый в 1928 и 1929 годах совершил

две поездки в Армению. Результатом первого путешествия стал очерк, опубликованный в журнале «Красная новь» и теперь воспроизведенный в ереванском сборнике. Очерк примыкает к книге о Грузии — «Ветер с Кавказа» (мне думается, ее тоже пора переиздать) и является последним в ряду путевых очерков Белого, который до этого писал о Сицилии, Египте, Тунисе... По словам писателя, Армения дала ему ярчайшие впечатления и в смысле общения с людьми и в смысле познавательного материала. Его очерк (несмотря на большую в сравнении с другими путевыми произведениями Белого информативность) есть именно «путевая проза» в том особом значении, какое вкладывал в это выражение сам автор: «...точный отчет о летающих пятнах пути, о случайно летающих мыслях, о танце случайностей...» Проза со всеми известными признаками его писательской манеры — ярко выраженной напевностью, ритмичностью («Моя проза — совсем не проза; она — поэма в стихах...»), упором на звукопись, цветопись, неологизмы. Читать Белого бывает трудно: дело даже не в своеобразном синтаксисе — то и дело спотыкаешься о стилистические «неправильности» (уже в первом абзаце очерка — «черная стая коров»), неотделимые, впрочем, от манеры писателя, никогда не считавшегося с «правилами» в поисках наибольшей, с его точки зрения, выразительности. Мощная поэтическая волна его прозы несет эти «неправильности», как бурная река — камни.

Примечательна принципиальная избирательность его зрения. В путешествиях по Армении его волнует или очень древнее («...здесь жив Вавилон: поглядите на бритые профили, губы, носы эриванцев, привставьте к ним длинные клинья бород завитых — вы узнаете фрески; мужей окрыленных и посохоносцев в венках многозубчатых...») или совсем новое — социалистическое строительство («...мне интересны: природа, строительство новой Армении, даже развалины многостолетие, — вовсе не «старый режим...»). А за исключением «старорежимного» Белому равно важен и нужен и завод по переработке хлопка и эчмиадзинский музей с коллекцией старинных рукописей. С одной напевной интонацией описывается туман на горном перевале и карбидное производство, так что порой чувствуется некоторое противоречие между жизненным материалом и манерой его описания. Надо привыкнуть, что на то же производство Белый смотрит глазами вдохновенного мыслителя и одновременно как бы взволнованного ребенка.

Кроме небольшого отрывка из неопубликованных воспоминаний К. Н. Бугаевой, жены писателя («Поездка на Кавказ»), в сборник включены письма Белого к Р. В. Иванову-Разумнику, П. Н. Зайцеву, точнее, извлечения из писем — то, что касается непосредственно армянских впечатлений. Особо надо отметить переписку писателя с Мартиросом Сарьяном, выдающимся живописцем и «тидом» Белого по Армении. Они были знакомы еще с 900-х годов, и, по мнению исследователей Н. А. Гончар, присутствующее Белому любознательность, отзывчивость духа, острота зрения, художническая восприимчивость и воспламеняемость всту-

пили в гармонический союз с сарьяновским умением видеть родную страну и ее показать. «Вы были проводником к душе народа и страны, которая без Вас нам не открылась бы», — писал Андрей Белый Сарьяну. А в разделе «Приложения» даны две содержательные статьи Н. А. Гончар: «Путевая проза Андрея Белого и его очерк «Армения», «Г. А. Джаншиев и страницы о нем в мемуарно-автобиографической прозе Андрея Белого». Исследовательница всесторонне рассматривает не только армянскую тему в творчестве писателя, но и поэтику его путевой прозы. Ее работа — статьи, комментарии, вообще составление сборника — заслуживает высокой оценки.

«Прекрасно — увидеть; прекрасней — заставить увидеть, снимая с зрачков катаракты: мы все — «катарактики»: видя, не видим». Белый был благодарен всем, кто помог ему увидеть Армению, и хорошо, что сегодня мы можем взглянуть на Армению его глазами — сквозь призму его беспокойного духа. Сборник, выпущенный ереванскими издателями, — это подарок всем заинтересованным читателям, шаг к новому узнаванию одного из оригинальных русских писателей XX века, шаг к лучшему пониманию русско-армянских культурных контактов.

Андрей Василевский.



**МАРГАРЕТ ФОРСТЕР. Записки викторианского джентльмена. Уильям Мейкпис Теккерей. Перевод с английского. М. «Книга». 1985. 368 стр.**

Роман английской писательницы Маргарет Форстер об Уильяме Теккерее построен необычно — как автобиография. Повествование ведется от первого лица, от имени самого Теккерей.

Скажем сразу: дерзкий художественный замысел М. Форстер удался. Уже в заглавии романа сквозит ирония, столь близкая Теккерею, который назван «викторианским джентльменом». Ведь к этой категории британцев принято относить тех, кто составлял одно целое с буржуазной Англией XIX века, а Теккерей резко критиковал бесчеловечность существующего порядка вещей. И вот от его имени провозглашается математически точный прогноз: «Потомки будут вспоминать викторианскую эпоху... как время двоедушия, когда слова всегда противоречили делам, и мудроно ли, коль нас ославят самыми отъявленными лицемерами, — такими мы и предстаем, если судить по нашим официальным лицам». Вот именно — по официальным лицам. Причем Маргарет Форстер пишет о прошлом, не забывая и о том, как эти лица выглядят в наше время, каковы их генетические связи с «викторианцами».

Политические истины, показывает романистка, подавались осмыслению не сразу. Так, первое путешествие в Америку (1853) вызвало у Теккерей восторг — результат поверхностного знакомства с Соединенными Штатами и политической наивности, далекой от объективного осмысления увиденного (как, скажем, в «Американских за-

метках» Диккенса). Совсем иной предстает перед нами характеристика США после второго путешествия писателя в заокеанскую страну (1856): «Вы начинаете замечать, кому принадлежат права, а кто бесправен, как власти распоряжаются народом, вы видите сословные различия, которых, как вам казалось прежде, в этой стране нет, и все становится на свои места».

В изображении М. Форстер жизнь Теккерей полна внутреннего борения, и это придает роману драматизм, вызывает напряженный интерес читателя.

Нелегко сложилась и личная жизнь Теккерей. Радость женитьбы на Изабелле Шоу была омрачена ее психической болезнью. М. Форстер выразительно рассказывает о том, как Теккерей противостоял невзгодам, о его настойчивости и терпении. При этом автор не скрывает противоречий характера своего героя: периоды напряженнейшего творческого труда сменялись у Теккерей ленивой праздностью, утехами клубных встреч.

Литературная деятельность писателя раскрывается в романе как составная часть жизни, а не сама по себе, что, к сожалению, часто встречается в книгах литературоведов. Однако мы улавливаем основные художественные установки писателя. Главная из них — «Искусство — это правда» — обловила реалистический пафос лучших произведений Теккерей.

«Как ни грустно, добро в отличие от зла или хотя бы греховности не вдохновляет моего воображения», — говорит в романе Теккерей о направленности своего творчества. Это совершенно справедливо. Не случайно лучшие произведения Теккерей — сатирические: «Ярмарка тщеславия», «Книга сновов», «Записки Барри Линдона». М. Форстер тонко уловила и принципиальную непримиримость Теккерей к собственным слабостям, выразившуюся, к примеру, в весьма трезвой негативной оценке таких романов, как «Ньюкомы» и «Виргинцы».

Так от страницы к странице постепенно вырисовывается правдивый «автопортрет» великого писателя, книги которого давно полюбили советские читатели.

И. Дубашинский,

доктор филологических наук.

Даугавпилс.



**ЮРИЙ ЖУКОВ. Журналисты. М. «Правда». 1984. 333 стр.**

В предисловии к своей книге Юрий Жукков приводит письмо школьника, спрашивающего, как стать журналистом. «Стремясь хоть чем-то помочь молодым людям, мечтающим стать политическими обозревателями, — пишет автор, — я попытался рассказать в этой книге хотя бы о некоторых из тех журналистов, с которыми мне довелось работать и дружить на своем веку». Ответом на вопрос школьника стала целая книга.

«Джентльмены! Убедительно прошу вас не копать в ящике с детским бельем и

не бросать окурков на пол. Если это будет продолжаться, я буду вынужден пожаловаться в Федеральное бюро расследований. Лучшего качества виски всегда к вашим услугам в холодильнике» — такой плакат повесил в своей квартире Вашингтонский корреспондент «Правды» Борис Стрельников, когда обнаружил, что сотрудники ФБР навеиваются туда в отсутствие хозяев. К иронии примешивается горечь, если вспомнить, что незаконные действия американских детективов относились к человеку, который несколькими годами раньше, в разгар «холодной войны», в лучшей своей книге «Как вы там, в Америке?» писал: «Может быть, книжка получилась немного грустной. Это оттого, что я люблю моих американских друзей, людей честных, добрых, прямых и открытых. Им нелегко. Но их много, и они — надежда Америки и ее будущее».

Если Борис Стрельников пришел в журналистику после войны, то Александр Андреев начал писать еще на фронте. Его письма в «Комсомольскую правду» вызвали столько откликов, что, когда в 1943 году в газету пришел капитан Андреев, лечившийся после ранения в подмосковном госпитале, редакция немедленно начала хлопотать о назначении этого литературно одаренного фронтовика военным корреспондентом. Командование удовлетворило просьбу редакции, ибо меткое слово, направленное против врага, ценилось не меньше меткого выстрела..

Не раз вспомнит автор книги тех, кто, по словам В Гюго, «сделал чернильницу из осколка снаряда». Многие из них не вернулись с войны: Сергей Диковский погиб в боях с белофиннами, Иван Меньшиков сгорел в подожженном самолете, Николай Маркевич был убит при возвращении с боевого задания из-за линии фронта. «Корпус военных корреспондентов несет такие же неизбежные потери, как стрелковый или танковый», — замечает Юрий Жуков.

И в мирное время журналистам приходилось порой откладывать перо и браться за оружие. Именно это случилось 7 ноября 1927 года с Давидом Заславским, корреспондентом газеты «Известия» в Китае. Сотрудники консульства собрались на торже-

ственный вечер в честь десятилетия Октября. «И вдруг с улицы донеслись нестройные хриплые крики, пение царского гимна, и сразу же зазвенели разбитые стекла окон. Толпа белогвардейских эмигрантов, пройдя беспрепятственно по улицам так называемого международного сэттлмента... устремилась в атаку на консульство». Вот как описывал это впоследствии сам Заславский на страницах «Известий»: «Два раза врывалась озверевшая толпа и два раза была выброшена за двери. Пальба шла с обеих сторон... Полиция появилась только тогда, когда на улице перед консульством уже лежали восемь раненых белогвардейцев».

Так и ведет Юрий Жуков повествование о журналистах: то комментируя события, то передавая слово самим участникам событий, то приводя выдержки из газет и документов. В книге более двадцати очерков, и каждый из них написан живо и убедительно, ибо автор знает своих героев не понаслышке, он вместе с ними прошел долгий сложный путь газетчика, шаг за шагом постигая науку беспокойной и важной профессии. «Шел тысяча девятьсот двадцать девятый год — счастливая и неповторимая пора нашего журналистского детства... Учиться приходилось на ходу, и корректуры укоризненно вздыхали, обводя красным карандашом орфографические ошибки в неших рукописях... И все же при всем том мы приносили нашему терпеливому редактору не так уж много огорчений: неопытность компенсировалась порывом юности». Без этой повседневной работы в небольших газетах, штат которых зачастую состоял из полутора десятков человек (как в «Луганской правде», где начинал автор), без этих малых дел не было бы впоследствии и дел больших: корреспонденций с фронтов, с международных симпозиумов и политических конференций, получивших широчайший резонанс.

Проработавший в «Правде» без малого сорок лет, Юрий Жуков, как и один из героев его книги кинодокументалист Р. Кармен, удостоен звания Героя Социалистического Труда. Среди журналистов он пока единственный, чей труд получил столь высокую оценку.

**Игорь Белоус.**

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Владимир Ильич Ленин.** Биография. 1870—1924. В 2-х тт. Том 2. 1917—1924. 364 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Долгий.** Разбег. Повесть об Осипе Пятницком. («Пламенные революционеры») 390 стр. Цена 1 р. 40 к.

**В. Евсюков.** Мифы о мироздании. («Беседы о мире и человеке») 112 стр. Цена 15 к.

**Об охране окружающей среды.** Сборник документов партии и правительства. 1917—1985 гг. Изд. 3-е, дополненное. 415 стр. Цена 90 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Адамович.** Хатынская повесть. Каратели. 400 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Д. Костолани.** Избранное. Перевод с венгерского. 543 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Г.-У. Лонгфелло.** Стихотворения. Эванджелина. Песнь о Гайавате. Поэмы. **У. Уитмен.** Стихотворения и поэмы. Публицистика. Перевод с английского. 559 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Г. Нарекаци.** Книга скорбных песнопений. Поэма. Перевод с древнеармянского. 350 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ф. Абрамов.** Чем живем-кормимся. Очерки. Статьи. Воспоминания. Литературные портреты. Заметки. Размышления. Беседы. Интервью. Выступления. Составитель Л. Крутикова-Абрамова... 527 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Ленинградские писатели-фронтовики. 1941—1945.** Автобиографии, биографии, книги. Автор-составитель В. Вахтин. 519 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Е. Носов.** Усыятские шлемоносцы. Повесть, рассказы. 318 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Б. Хотимский.** Куда тянутся ветви. Роман. 248 стр. Цена 75 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Быков.** Собрание сочинений. В 4-х тт. Том 4. Перевод с белорусского. 448 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Лампа, зажженная в полдень.** Рассказы канадских писателей. Перевод с английского, французского. 271 стр. Цена 2 р.

**Песня о Земле и Хлебе.** Стихи русских и советских поэтов. 366 стр. Цена 3 р.

## «РАДУГА»

**Ф. Аяла.** Избранное. Перевод с испанского. («Мастера современной прозы») 352 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Ж. Зайко.** Человек в камышах. Роман. Перевод с немецкого. 302 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Королевство деда.** Современная иракская повесть. Перевод с арабского. 319 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Я. Пиларж.** Лирика. Перевод с чешского. 208 стр. Цена 1 р.

## «СОВРЕМЕННОК»

**Г. Бакланов.** Военные повести. 583 стр. Цена 2 р. 90 к.

**В. Белов.** Раздумья на родине. Очерки и статьи. («О времени и о себе») 271 стр. Цена 80 к.

**И. Золотусский.** Трепет сердца. Избранные работы. 542 стр. Цена 1 р. 30 к.

**В. Личутин.** Дивись-гора. Очерки, размышления, портреты. 285 стр. Цена 90 к.

**Г. Тунай.** Поэмы. Перевод с татарского. 40 стр. Цена 20 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Афанасьев.** Поздно или рано. Роман, рассказы. 338 стр. Цена 1 р. 40 к.

**А. Бовин.** Космические фантазии и земная реальность. («По ту сторону») 112 стр. Цена 35 к.

**Русские шали.** Альбом. 182 стр. Цена 7 р. 70 к. (в футляре).

**В. Хлебников.** Стихотворения. Поэмы. Драмы. Проза. 366 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «НАУКА»

**М. Алпатов.** Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX в.). 271 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Восточные мотивы.** Стихотворения, поэмы. 507 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Д. Китс.** Стихотворения. «Ламия». «Изабелла». «Канун св. Агнессы» и другие стихи. («Литературные памятники») 391 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Контекст. 1984.** Литературно-теоретические исследования. 236 стр. Цена 1 р. 80 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращать в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.04.86 г. Подписано к печати 30.05.86 г. А 11622.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
27,14 уч.-изд. л.

Тираж 424.000 экз. (1-й завод 1 — 224.000 экз.). Зак. 1488.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1986, № 7, 1—272.